

Москва

2
1967

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
ГОД ИЗДАНИЯ ОДИННАДЦАТЫЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ



2



1967

Беглецов-каторжан,
 Бунтарей,
 Кровь бродяг буйно рвется
 Сквозь пути приличий и фальши.
 ...Капли крови моей.
 Солоны,
 Тяжелы
 И густы,
 Всю российскую землю
 Кропили в сражениях щедро.
 Там, где капала кровь,—
 Не бурьян,
 Не цветы,
 Не кусты,—
 Там дубы выросли,
 Как братья сибирского кедра!

...Нет, не прихоть поэта:
 На любую проверку беря,
 Современность меня
 Отличает средь легких и щуплых.
 Вот он, я,— чистокровный,
 Живой,
 Коренной сибиряк!
 Не слепой, так гляди,
 А не трус,
 Так попробуй пощупай...

• • •

А осень золота не прячет —
 Ее богатства всем видать.
 И воздух холодно прозрачен,
 Как родниковая вода:
 Вдохни, как выпей.
 Без движенья
 В ознобной радости замри —
 Познаешь мудрость постиженья
 Осенней мудрости земли.
 ...Пустынно выстывают пашни
 Но, помня летнюю теплынь,
 Отчаянно и горько пахнет
 Седая стойкая полынь.
 А в тихом шелесте и хрусте
 Лесов сквозящих и дубрав
 Так много шелестящей грусти,
 Покорности поникших трав.
 Но тоньше и неотразимей
 Растет сквозь тлен,

Сквозь грусть и сны,
 Сквозь ощущение предзимья
 Предошущение весны.

На давнем рубеже атаки

...Все скрыто дымкой,
 Скрыто дымкой,
 И снег висит как пелена.
 Со мною рядом невидимкой
 Идет война,
 Идет война.
 Она вопит безмолвным воплем,
 Она — во мне,
 Она — со мной...
 Я в этой тишине утоплен,
 Захлебываюсь тишиной.
 И в ней, звенящей и зловещей,
 Вновь падаю на землю ниц,
 А взрывы блещут,
 Взрывы блещут
 Бесшумной яростью зарниц,
 Дрожит земля...
 От этой дрожи
 На миг лишь ноги подогнем
 И встать не можем,
 Встать — не можем
 И — погибаем под огнем.
 Минуты тают,
 Жизни тают...
 Но вот мои семнадцать лет
 Сквозь смерть взлетают,
 В жизнь влетают
 И — цепь встает за мною вслед.
 «Ура» и мертвого поднимет
 И бросит в панику врагов!
 И смерть — над ними,
 Смерть — под ними!..
 А я — бессмертнее богов,
 Не взят ни миной,
 Ни снарядом,
 Не скошен пулей наповал.
 ...А где-то рядом,
 Где-то рядом
 Товарищ мой отвоевал.
 Коовь брызнула в сугробы дробно—
 И кровь горит,
 И снег горит...
 ...Как странно,
 Неправдоподобно
 На снег присели снегири.

СУД СКОРЫЙ...

Повесть

1. «СРЕДНЕВЕКОВОЕ СУДИЛИЩЕ»

Внезапно погас свет.

Еще секунду нити угольных ламп в люстре излучали красноватый, напоминающий о зареве свет, потом и они погасли. И сразу в тревожной тьме возник строгий четырехугольник окна, пересеченный толстыми прутьями решетки, за ними — призрачный, снежно-синий сумеречный свет...

В наступившем мраке все, сидевшие за судейским столом, словно по команде вскочили, судорожно ощупывая карманы. Рванулся, зазвенев наручниками Якутов, брякнула упавшая из рук конвойного шашка, заскрежетала о камень сталь. Кто-то угрожающе захрипел: «Но-но, балуй!» — слышалось сопенье и шум борьбы, но по тюремному коридору уже грохотали подкованные каблуки, перекликались испуганные голоса, в распахнутую дверь канцелярии бежали тюремщики, неся зажженные лампы.

Стоя за своим креслом у стола, председательствующий высвободил правую руку из кармана — ладонь противно запотела, и он, не глядя по сторонам, брезгливо вытирал ее батистовым платком. И только спрятав платок, покосился на подсудимого, прижатого конвоирами к стене. Потом болезненно поморщился: не выносил запаха керосина — это сулило головную боль, обессиливающие приступы тошноты, слабость и болезненную раздражительность, отравлявшую жизнь всем его близким. Иван Илларионович сердито махнул рукой помощнику начальника тюрьмы:

— Свечи! Свечи!

И когда через несколько наполненных тягостным ожиданием минут на столе перед каждым членом суда и по обе стороны подсудимого появились белые стеариновые свечи, председательствующий облегченно перевел дух. Но несмотря на то, что лампы унесли, керосиновый смрад плотно наполнял помещение — угрюмую квадратную комнату с серыми, безрадостными стенами, на которых двумя темными пятнами выделялись портреты: красочный портрет царя над столом суда, накрытым зеленым сукном, и на противоположной стене, как раз над головой подсудимого, портрет Столыпина в узенькой черной раме.

Якутов, стиснутый с обеих сторон конвоирами, сидел как раз под портретом министра, — председательствующему казалось, что у подсудимого две головы: одна стриженная, арестантская, с провалами на висках, с распухшими разбитыми губами и глубоко запавшими глазами, и другая — в черной рамке, с серебреным бобриком над узким высоким лбом. Это мешало председательствующему сосредоточиться, нарушало привычную обстановку суда, хотя, по правде говоря, и обстановка была не та, к которой он привык за тридцать лет своей судейской практики: последние два года, как и сейчас, из высших государственных соображений судить приходилось прямо в тюрьме, в одной из комнат тюремной канцелярии. Пляшущие тени, отбрасываемые свечами на стены и потолок, уродовали и смещали, переносили в какое-то иное измерение при-

вычные вещи, и это лишало покоя и уверенности. Что-то смутно шевельнулось в памяти, когда председательствующий, пытаясь взять себя в руки, еще раз оглядел комнату. Но он не успел уловить мелькнувшую в глубине сознания мысль — сидевший у стены напротив арестант громко и с отчетливо слышимой усмешкой сказал:

— Средневековое судилище!

В памяти председательствующего смутной чередой понеслись виденные лет десять назад в Мадриде картины и офорты Гойи, полные боли, ужаса и, пожалуй, ненависти,— одна из работ, кажется, так и называлась: «Заседание трибунала инквизиции»,— сейчас невозможно вспомнить, были ли там нарисованы свечи, но сама обстановка суда действительно повторяла что-то из Гойи. Этот сиволапый, не то машинист паровоза, не то слесарь, конечно, понятия не имел о Гойе, но откуда у них у всех этот пренебрежительный гон, уверенность в собственной правоте, эта безрассудная решимость? По долгу своей деятельности председательствующий знал, что только в прошлом году в России повешено и расстреляно за преступления против самодержавия около двух с половиной тысяч таких вот Якутовых,— должны бы, кажется, устрашиться,— так нет, лезут и лезут. Вспомнилась фраза из английского еженедельника; в России казнят теперь в тридцать раз больше, чем во всей Европе и Америке вместе взятых. И все равно лезут, идиоты! Внезапная, как взрыв, волна гнева и ненависти к улыбающемуся смертнику неожиданно для самого председательствующего заставила его подняться и крикнуть:

— Встать! И молчать, пока не спрашивают!

Якутов через силу, усмехаясь разбитыми губами, поднялся, — снова звякнули самозатягивающиеся, никелированные, так называемые американские наручники. Во время борьбы с конвоирами в минутной темноте кисти скованных впереди рук были намертво сжаты и теперь багровели, наливались кровью.

Председательствующий постоял молча,— портрет Столыпина скрылся за коротко остриженной головой арестанта и осталась видна только узкая черная рамка. Наваждение исчезло, и председательствующий, нервно потирая припухшие в суставах подагрические пальцы, скрипнув пружинами кресла, сел.

В это время под беленым известью потолком снова вспыхнул электрический свет — свечи стали ненужными, язычки их пламени словно растаяли в потоке льющегося с потолка и чуть дрожащего света.

Помощник начальника тюрьмы, в обязанность которого входило во время суда неотлучно находиться в здании тюрьмы, недавно назначенный и произведенный в офицерский чин, с бородкой и усиками под «самодержца», усердный и начищенный до блеска, скрипящий ремнями, с угодливой поспешностью бросился гасить свечи, но председательствующий остановил его, показав сердитыми глазами на люстру: а вдруг подведет снова. Иван Илларионович с мучительной отчетливостью вспомнил те несколько секунд омерзительного страха, которые он пережил во внезапно наступившей темноте,— теперь страх казался смешным, детским,— ну что мог сделать обреченный человек, стоящий в восьми шагах от стола, скованный по рукам, истощенный годом тюрьмы и следствия? Смешно. Дико... Нервы истрепались до предела, до невозможности — как только кончится полоса судебных дел, нужно уехать месяца на три в Баден-Баден или куда-нибудь к морю, к той же Адриатике, хоть на время отстраниться от ужаса этих лет...

— Итак, подсудимый Иван Якутов...— откашлявшись, начал секретарь, придерживая двумя пальцами пенсне, то и дело соскальзывающее с длинного хрящеватого носа.

Свечи не стали гасить, а только перенесли на подоконник; поставленные в ряд, они напоминали паникадило, тень тюремной решетки шести-

кратно повторялась на прихваченных морозом стеклах окна. Недовольно скользнув взглядом по своеобразному иконостасу, председательствующий передвинулся в кресле: мучила тупая, ноющая боль внизу живота, по всей видимости опять начинался приступ, один из них когда-нибудь сведет его в могилу... Нет, ехать, конечно, надо в Карлсбад...

— На чем прервали заседание, Александр Александрович? — осторожно повернулся он к секретарю, тоже, видимо, пережившему в темноте несколько трудных минут. «Все мы вот такие герои», — с внутренней усмешкой подумал председательствующий, нащупывая в кармане мундира плоскую коробочку с опиумными пилюлями и подвигая к себе графин с водой. — Ведите пока заседание, у меня, кажется, приступ язвенной болезни...

— Может быть, прервем, Иван Илларионович? — обеспокоенно прошептал секретарь. — Вы действительно не очень...

— Продолжайте. И так жандармское управление каждый день телеграфирует о повисших у нас на шее делах... Они там ориентируются на генералов Ренненкампа и Меллер-Закомельского, — эти немцы не очень стеснялись проливать русскую кровь...

Уронив пенсне и поймав его на лету, секретарь с удивлением оглянулся на председательствующего, и тот замахал рукой.

— Ведите, ведите заседание! Это так... про себя...

И пока секретарь задавал подсудимому почти ненужные вопросы, Иван Илларионович украдкой, из-под полуопущенных век, всматривался в лицо Ивана Якутова, уже, как казалось, отмеченное смертной печатью. Потом он подвинул к себе папку с агентурными донесениями и копиями отчетов жандармскому управлению и, стараясь сохранять строгое и задумчивое выражение лица, принялся перелистывать страницы.

«При сем представляется список лиц, подлежащих аресту, скрывшихся и ныне разыскиваемых. Полковник Я. Ковсик.

...Приметы: роста выше среднего, немного сутуловатый, телосложения плотного... передевается в офицерскую форму...»

Иван Илларионович мельком глянул на подсудимого, тот, чуть вскинув голову, смотрел в окно. Интересно, как такой тип выглядит в офицерском мундире — ведь выпирают же из рукавов эти натруженные узластые руки? Дурак! С таким же успехом мог бы, пожалуй, передеваться в рясу архимандрита...

Словно почувствовал востребованный на него взгляд, Якутов оторвал жадные тоскующие глаза от окна и посмотрел на люстру под потолком — три лампочки горели ровным красноватым светом. Арестант, которому, наверно, осталось жить не долее суток, смотрел на лампочки с такой же жадностью, с какой только что глядел в окно...

Иван Илларионович почувствовал, что у него сильнее засосало в животе, и без всякой связи с этой болью подумал, что свет не мог погаснуть сам по себе, может быть, те бесчисленные Якутовы, которые еще бродят по воле и знают, что сегодня судят одного из них и обязательно приговорят к смерти, может быть, они со злонамеренной целью повредили электростанцию, испортили что-нибудь в ее дурацких машинах или просто повалили столбы, по которым тянутся к тюрьме провода.

И снова как бы волна ненависти приподняла председателя в его мягком кресле, специально привезенном из дома, — при его геморрое он не мог высидеть на жестких тюремных стульях и одного часа. Он жестом остановил секретаря и продолжал заседание сам.

— Подсудимый, значит, вы не желаете отвечать: кто в Харькове, где вы были арестованы, и в Самаре, где вы некоторое время скрывались, кто из ваших единомышленников оказывал вам помощь?

Якутов молчал, спокойно, насупясь, будто не понимал смысла этих слов.

Сидевший крайним к окну тучный полковник, чем-то озабоченный, стараясь не шуметь и не мешать ведению заседания, неслышно поднялся, подошел к окну и, оставив в стороны стоявшие на подоконнике тяжелые и неуклюжие подсвечники с горевшими в них свечами, выглянул в окно. И все члены суда оглянулись на него. Замолчал и председательствующий, оборвав на полуслове очередной вопрос. И в наступившей тишине вдруг стали отчетливо слышны удары топора по дереву. Рыхлый полковник несколько секунд смотрел в окно — от дрожащего пламени свечей казалось, что его апоплексическое лицо дрожит, колышутся полные, нездоровой красноты щеки и губы. Он смотрел в окно со все возрастающим интересом и даже приподнялся на цыпочки, потом обернулся.

— Господин генерал,— обратился он к председательствующему.— Разрешите мне...

— Пожалуйста...

Рыхлый приказал от окна, чуть отступая в сторону:

— Унтер! Подведите Ивана Якутова сюда.

Не выпуская из рук обнаженных клинков, конвоиры принялись подталкивать Якутова к полковнику, а тот отступал.

Якутов подошел к окну, недоумевая, не понимая, что еще хотят от него в этой комнате в последние часы его жизни.

— Посмотрите, Якутов! — тучный полковник постучал согнутым пальцем по стеклу, на котором от стоявших на подоконнике свечей протаяло шесть круглых, похожих на иллюминаторы окошек.— Ну! Смотрите!

Якутов смотрел сначала равнодушно, потом напряженно, и даже наручники у него на руках перестали вздрагивать и не издавали того звона, которым был отмечен против его воли каждый его шаг. За окном, невдалеке, рядом с тюремной кирпичной стеной, под сторожевой вышкой возились, помахивая топорами, два арестанта. Несколько бревен лежало на снегу, свет яркого электрического фонаря падал со сторожевой вышки. Рядом со столбами чернел прямоугольник маленькой, недавно вырытой ямы для столба, отчетливо желтела глина.

Якутов некоторое время смотрел, не понимая, что строят там, у кирпичной стены, но вот лицо его дрогнуло, тело напряглось, и руки сами собой рванулись к окну и вцепились в каменный подоконник — наручники звякнули и опять замолчали.

— Вы видите, Якутов, что возводят плотники?

Якутов молчал, глядя в окно.

— Благодарю вас, полковник! — глухо сказал от стола Иван Илларионович.— Унтер! Верните подсудимого на место.

И опять звон наручников отмерил в тишине восемь шагов — расстояние от окна до табурета, на котором сидел Якутов.

— Что вы там увидели, Якутов? — спросил секретарь, когда подсудимый снова сел под портретом Столыпина.— Не поделитесь ли с нами своими впечатлениями?

Якутов молчал, лицо его словно окаменело, только желваки под серой нездоровой кожей набрякли. Иван Илларионович на какую-то долю секунды встретился с глазами человека, которого им предстояло осудить на смерть, и отвел глаза. И почему-то без всякой связи с происходящим вспомнил своего единственного внучонка, Ванюшку, названного старинным русским именем в честь деда. Ах, вот почему все время вспоминается этот ясноглазый малыш — у него ведь то же имя, что и у этого обреченного, сидящего напротив. Память Ивана Илларионовича отметила, что за все время суда над Якутовым, за время предварительного ознакомления с делом он ни разу не назвал арестанта по имени, ограничиваясь фамилией. Казалось невозможным, кошунственным, что этого

человека, для которого во дворе сооружается виселица, зовут исконно русским именем, так же как Ивана Илларионовича и его внука. Ненужно мелькнуло в памяти: Иван Сусанин, Иван Москва, Иван Калита, Иван Федоров, Иван Грозный... Боже мой, сколько на Руси было Иванов...

Словно сквозь сон пробивается голос, которому прокурор, молодой, еще не уставший от своей должности, недавний выпускник правоведческого училища, всеми силами старается придать грозное металлическое звучание:

— Произносили ли вы, Иван Якутов, перед толпой мастеровых речи, призывающие к свержению его императорского величества государя Николая Александровича?

— Да, произносил! Произносил! Потому что невозможно терпеть, потому что в тысячи глоток пьете нашу рабочую кровь!

— Отвечайте только на вопрос: да и нет, Иван Якутов!

Иван Илларионович недовольно поглядывает на прокурора. Какая бестактность: ведь знает, что и его, Ивана Илларионовича, и его внука тоже зовут Иванами, как этого преступника, которого ожидает смерть, — неужели нельзя обращаться к нему только по фамилии, неужели не понимает, что его, Ивана Илларионовича, это не может не коробить? Да, к сожалению, среди судейских можно еще встретить немало ограниченных чинуш, которые ничего не умеют видеть, кроме буквы закона...

Вспомнилась речь прокурора, когда судили преступников с броненосца «Георгий Победоносец», речь жестокая и беспощадная, требовавшая смертной казни для большинства заговорщиков, вспомнилась стриженная под машинку голова сына за барьером скамьи подсудимых, такой же вот, как здесь, холодный блеск шашек... Иван Илларионович просидел в зале, среди немногих зрителей, весь процесс, физически ощущая ненавидящий взгляд сына... И после приговора, и перед отправкой в Сибирь сын не захотел его видеть, не захотел принять от него помощи. Даже пытался писать куда-то ходатайства, чтобы отнять у Ивана Илларионовича четырехлетнего Ванюшку, хотя прекрасно знал, что внук для старика — самая большая радость в жизни.

Суд над Иваном Якутовым подходил к концу. Уже прочитаны все обличающие преступника материалы: донесения полицейских чинов и агентурные сведения, — осталось всего с полчаса, самое большое — час томиться в этой гнусной каменной берлоге. Скоро — дом, уютные стены, хотя они далеко не так уютны, как стены петербургской квартиры Ивана Илларионовича, где он прожил всю свою жизнь — с самого рождения, где качалась его колыбель, а позднее стояли гробы его матери и отца, где каждый уголок, каждая щель таила дорогое, радостное или горестное воспоминание... Все пришлось покинуть после того, как жандармы увезли осужденного сына в неведомую каторжную сторону. Ивану Илларионовичу, конечно, удалось бы узнать, куда именно «угнали» сына, но он побоялся любопытствовать — такая попытка могла быть расценена как проявление сочувствия к государственному преступнику, замышлявшему против престола и жизни государя. Если бы Иван Илларионович был один на земле, — может быть, он и нашел бы в себе мужество бросить все, выйти в отставку, затвориться в четырех стенах и жить анахоретом, благо и жить-то осталось не так уж много. Но он не имел права на это: у него еще были обязанности перед дочерьми — они заклинали отца не портить, не ломать им жизнь, вычеркнуть осужденного Аркадия из памяти; на руках у него оставался четырехлетний Ванюшка — последний продолжатель старинного дворянского рода... и Иван Илларионович принял назначение в эту нищую, инородческую проклятую Уфу, принял эту «ссылку»... Соглашаясь, он, правда, не думал, что здесь окажется вынужденным часто осуждать на смерть таких вот Якутовых. Но

судить надо. И судить сурово, беспощадно, иначе ему, Ивану Илларионовичу, не простят преступления Аркадия...

И все-таки — дико, противоестественно! — почему-то хотелось спасти Ивану Якутову жизнь, если бы тот хоть на минуту раскаялся в делах, которые творил, если бы стал вымаливать себе каторжную жизнь, если бы согласился выдать соучастников, еще оставшихся на воле, не сложивших своего самодельного оружия. Наивные — разве можно таким оружием сокрушить Романовых, которые через шесть лет готовятся праздновать трехсотлетие своего воцарения на российском престоле.

Иван Илларионович встал, несколько долгих минут смотрел в лицо Якутова.

— Так что же, Якутов? — раздумчиво сказал он. — Мы охотно допускаем, что вы — только слепое орудие...

Но нет, и этот, как сын Аркадий, не хочет милостыни, которую ему протягивают. Что? Ну что ему мешает? Неужели его не пугает казнь, небытие, тьма? Иван Илларионович уже давно не верил в бога, хотя никому о том не говорил и по привычке исполнял обязательные церковные обряды, в Петербурге исправно ходил вместе с семьей в собор, с неторопливым достоинством осенял крестом лоб. Правда, здесь, в Уфе, он ни разу не посетил церковь, не потому, что почувствовал себя свободнее от религиозных условностей, — нет. Но после первого же суда, на котором он вынужден был вынести смертный приговор, полицмейстер, встретив его в доме губернатора, осторожно намекнул, что на уфимских улицах пошаливают, «возможны, понимаете, эксцессы». И сразу же после первого суда к дому, который Ивану Илларионовичу отвели на время пребывания в Уфе, приставили полицейского — черная суконная фигура не престанно маячит перед окнами особняка...

Слушая последние слова Якутова, Иван Илларионович внезапно вспомнил, что он все время собирался посмотреть — сколько у подсудимого детей. Он перелистал протоколы дознания.

«Якутов имеет жену и четверых малолетних детей... Старший Иван...»

С почти мистическим испугом Иван Илларионович захлопнул папку. Значит, и у этого, которому через несколько минут будет вынесен смертный приговор, у него тоже есть сын Иван! И еще, кажется, две дочки — Маша и Анна... и четвертый ребенок, который родился уже позже, когда после подавления декабрьского восстания в Уфе Иван Якутов находился в бегах, носился, как затравленный волк, по всей России...

В совещательной комнате члены суда почти не говорили о деле — все было predetermined, решено заранее, до суда.

Сухо поблескивая пером и поскрипывая пером, секретарь аккуратно выписывал необходимые фразы приговора, а Иван Илларионович, стараясь приглушить боль внизу живота, ходил по комнатке, где обычно отдыхали во время дежурства начальник тюрьмы или его помощники. В углу стояла узенькая железная койка, покрытая серым казенным одеялом, на подоконнике зарешеченного окна тускло белел жестяной чайник.

Прислушиваясь к скрипу пера и ровному, домовитому дыханию секретаря, Иван Илларионович сердито шагал из угла в угол. В этой комнате было теплее и окна почти не замерзли — виселица у тюремной стены отчетливо виднелась и отсюда. Теперь плотники, столкнув в яму конец столба, пытались поднять столб с прибитой к нему перекладной...

— Иван Илларионович! — окликнул рыхлый полковник, устало раскинувшийся на казенной кровати. — Вы сегодня не собираетесь к Семену Платоновичу? Отец Хрисанф грозился из нас все потроха вытрясти за прошлый проигрыш...

— Нет. Не буду.

Иван Илларионович подошел к столику, где трудился секретарь, и глядя в начинающую лысеть розовую макушку, чуть виновато сказал:

— Александр Александрович...

— Слушаю, Иван Илларионович...

— Боюсь, что проклятая язва уложит меня в постель... Видимо, вам придется присутствовать при этой... операции.

— Вы имеете в виду казнь? — секретарь деловито блеснул стекляшками пенсне в сторону двери.

— Да.

Лицо секретаря стало строже, красивые губы под черными шегольскими усиками заметно напряглись.

— Как прикажете, — отозвался он и, помедлив немного, снова склонился над листом бумаги.

2. ТИШИНА И ПОКОЙ...

Наконец-то! Приговор прочитан. Якутова увели.

Иван Илларионович устало складывал ненужные свои бумаги, все эти циркуляры и установления, в кожаный коричневый портфель с крупной серебряной монограммой, подаренный ему петербургскими сослуживцами в третьем году, в день рождения и в связи с представлением к ордену. Давно это было, еще до расстрела на Дворцовой площади, из-за которого он тогда впервые поссорился с сыном и сын обозвал его царским лакеем.

Через тюремный двор Иван Илларионович прошел, стараясь не смотреть в сторону виселицы, и с досадой подумал о дурацком запрете ставить санки в тюремном дворе — приходится выходить из ворот, а там вечно толпа, люди не хотят понимать, что он, Иван Илларионович, не волен поступать так, как ему хочется! Если он не станет судить с требуемой строгостью, будут судить другие, — охотники найдутся.

А его на старости лет, за беспорочную службу затолкают в какую-нибудь дыру — как же, отец государственного преступника, осужденного на двадцать лет каторги! И маленькому Ванюшке придется тогда испытать невзгоды необеспеченной, а может быть нищенской жизни. Хорошо строптивиться тем, у кого, как у крамольного графа Толстого, имеется своя Ясная Поляна и тысячные гонорары за литературные труды. Так и против смертной казни протестовать можно!..

За воротами тюрьмы ждали трое санок жандармского управления, — озябшие кучера топтались с ноги на ногу, хлопали рукавицами, спины у лошадей закуржавели от инея.

И как только Иван Илларионович перешагнул следом за секретарем порог тюремных ворот, он увидел то, чего боялся: в десяти шагах, чуть в стороне от дороги, стояла на снегу закутанная шалью женщина с ребенком на руках. Рядом стоял мальчишка лет двенадцати в лохматом собачьем треухе и, ухватившись за материн подол, испуганно таращили глаза две девчушки. Когда распахнулась калитка тюремных ворот, часовой, ходивший взад и вперед у полосатой будки, бросился к женщине, замахиваясь винтовкой:

— Не положено тут! Слышь, не положено! Кому говорю, корова?

Инстинктивно, защищаясь от взгляда женщины с детьми, Иван Илларионович поднял воротник шинели и, стараясь смотреть прямо в спину шагавшему впереди секретарю, заторопился к санкам. Он старался не оглядываться, но оглянулся: женщина бежала к нему по колена в снегу, неся перед собой грудного ребенка.

— Ваше превосходительство!

Отогнув меховой воротник шинели, болезненно морщась, Иван Илла-

рионович смотрел на протянутого к нему посиневшего ребенка. Рядом с матерью, тоже по колена в снегу, стоял старшенький мальчонка. Иван! Да, маленький Иван Якутов, сын и наследник человека, которого сейчас отвели в смертную камеру. Похож — те же глаза, злые и непримиримые, те же губы, затаившие недетскую горькую складку.

— Кто такая? — спросил Иван Илларионович внезапно охрипшим голосом.

— Якутова я! Якутова, ваше превосходительство!

И опять взгляд Ивана Илларионовича невольно скользнул по лицу мальчишки и в голове пронеслась не мысль даже, а только ее ощущение, ее предчувствие: когда-то и этого, наверно, будут судить и приговорят к каторге или смерти...

— Ваше превосходительство! Какой ему суд? Куда?

Не отвечая, Иван Илларионович усаживался в санки, а Якутова пыталась забежать с другой стороны, девочки молча цеплялись за ее юбку. Малолетний Иван Якутов стоял неподвижно и исподлобья смотрел, как председатель суда усаживается в санки, как кучер застегивает у него на коленях медвежью полость.

— Трогай! — приказал секретарь, ловя упавшее пенсне, и когда санки, взвизгнув полозьями, сорвались с места, оглянулся на плачущую женщину.

— Зачем пошел, то и нашел, любезная! Мы вас отучим бунтовать, негодяи!

Иван Илларионович откинулся на спинку саней и, с силой зажмурив уставшие глаза, подумал с облегчением: хорошо, что санки крытые, никто на улице не увидит, не узнает! И хотя у него, как всегда после вынесения смертного приговора, ныло сердце, он снова с удовольствием подумал, что через полчаса будет сидеть дома, и на столе сервирован обед и уютно теплятся свечи, и можно снять опостылевший мундир и заменить штiblеты мягкими шлепанцами и обнять внука. Элеонора, невестка, тоже не хотела отдавать старикам внука, но вслед за мужем отправилась думать над содеянным в иркутскую ссылку, и слава богу, напоследок хватило благоразумия раскаяться и оставить мальчонку у деда с бабкой.

Сейчас, заслышав звонок в передней, Ванюшка бросится навстречу деду, сияя ясными глазенками и что-нибудь крича и остановится на пороге передней, ожидая пока дед отогреется с мороза. Потом побежит впереди Ивана Илларионовича в столовую, где дрожит, отражаясь в хрустале бокала, язычок свечи и теплится в переднем углу зала «неугасимая» лампада — всечасная забота Ларисы Родионовны: все еще надеется вымолить у бога милость своему несчастному сыну. Муж не перечит: чем бы дитя ни тешилось, как говорят... Он-то знает, что Аркадию сейчас милости ждать не приходится.

Но Ивану Илларионовичу не суждено было легко оторваться от служебных дел. Сидевший рядом секретарь неожиданно ухватил его за лежавшую поверх полости дряблую руку.

— Иван Илларионович! — У секретаря был очень озабоченный и даже испуганный голос.

— Что-с?

— А палач?! — шепотом выдохнул в самое ухо секретарь. — Ведь наш уехал!

Иван Илларионович очнулся от своих убаюкивающих дум о доме. Палача, который приводил в исполнение прошлые смертные приговоры, две недели назад вытребовали в Челябинск, где его ждала срочная работа. Он уехал на перекладных в сопровождении двух дюжих охранников... Тогда, помнится, Иван Илларионович в предчувствии неизбежного приговора Якутову, с вспыхнувшей вдруг завистью и ненавистью поду-

мал о Ренненкампфе и Меллер-Закомельском — каждый из них возил за собой палача, отгородив для него специальное купе в собственном поезде. Интересно будет, вернувшись в Питер, узнать, сколько за последние два года эти генералы понаवेशали, сколько тысяч лет каторжных сроков раздавали?.. И вдруг с необычайной отчетливостью встало в памяти... В девятьсот пятом Ивану Илларионовичу пришлось осудить на каторгу, на разные сроки, группу крестьян, разграбивших и поджегших в Тамбовской губернии помещичью усадьбу. Был тогда на суде девяностолетний старик, седой, сизый весь, словно поросший мхом, с умными и хитрыми глазами Толстого, одевшийся на суд во все белое, как на смерть... Иван Илларионович, еще исполненный тогда служебного рвения, спросил старика: «Ну, а ты, дед, чего полез? Тебе же о смерти думать, а не чужое добро грабить». Это происходило еще до осуждения Аркадия, до того, как сын обозвал старого отца мерзавцем. Старик ответил Ивану Илларионовичу: «А мне от миру не отставать, барин! Куда мир!» И когда старику вынесли пятнадцать лет каторги, он, выслушав приговор, недобро усмехнулся в белые усы и спросил Ивана Илларионовича: «А не многонько ли? Дотяну ли? В долгу перед царем-батюшкой не останусь ли, барин? Да и себе-то оставил ли годов, не все ли раздал?..»

Лицо старика стояло в памяти, а секретарь настойчиво тряс Ивана Илларионовича за рукав, за меховой отворот шинели.

— Как же, Иван Илларионович?

— А это не наше дело! — взорвался вдруг председатель. — Не наше дело — палачество. Наше дело судить! Да-с! Да-с! И только присутствовать при свершении... для соблюдения, так сказать... Передать приговор и присутствовать! А вешают пусть сами! Сами! Приговор передали?

— Да.

— Если осужденный не захочет просить у царя помилования, приговор приводится в исполнение... И пусть приво... — Иван Илларионович споткнулся о недосказанное слово и замолчал: всплыло перед глазами безумное лицо Якутовой и злые глаза ее сына. С какой ненавистью смотрел этот мальчишка, думая, наверное, что это он, Иван Илларионович, во всем виноват. А он — генерал — самая обыкновенная пешка в жестокой игре, которой не видно конца...

На улице стало совсем темно, только бессильно горели редкие керосиновые фонари. Санки скользнули с середины улицы, скрипнув полозьями, подлетели к крыльцу, — на втором этаже, в столовой, неярко светились окна. К санкам бегом подлетел дежуривший у дома городской, блеснув зубами и глазами, отбросил полость.

— Пожалуйте, ваше превосходительство... К утру, видно, морозца ждатель...

Не вылезая из санок, секретарь попрощался.

— Я обо всем позабочусь, Иван Илларионович, — сказал он сочувственно. — Вы не беспокойтесь и выздоравливайте. А это, надеюсь, обойдется. Должны же они кого-нибудь у себя в тюрьме найти. Ну, раскошелятся, заплатят подороже — подумаешь!

Иван Илларионович, уже направившийся было к дому, остановился и, сбывчившись, оглянулся:

— Кому подороже?

— Ну, палачу, конечно.

— А сколько платят? — помолчав, спросил еще Иван Илларионович.

— Четвертную за голову! Как раз столько я прошлую субботу отцу Хрисанфу в преферанс выложил. Ох, и жох батюшка!

Секретарь поднял руку, чтобы толкнуть кучера в спину, но не толкнул, глядя на топтавшегося на месте председателя суда. Тот невнятно бормотал себе в усы, словно силился что-то вспомнить и не мог.

— А! Ваш портфель, Иван Илларионович! — догадался секретарь, нащупывая под полостью заолодевшую кожу.

— А-а? Да, да! Благодарю.

Парадная дверь дома уже открылась, и на пороге стоял, прикрывая свечу ладонью, старый слуга дома Митрофан, не пожелавший бросить в беде своих господ и уехавший с ними в добровольное изгнание.

Да, дома ждали, как всегда, с нетерпением и любовью. Ванюшка уже стоял на пороге передней и сияющими глазами наблюдал, как Митрофан помогает деду снять тяжелую, на меху, шинель, как, присев на корточки, расстегивает штiblеты... Здесь, в Уфе, возвращаясь домой, Иван Илларионович всегда смотрел на внука с чувством вины перед ним. Раньше, в Петербурге, по пути из министерства Иван Илларионович обязательно заезжал в кондитерскую к Жану, покупал внуку сладостей — тот был изрядным сладкоежкой. Выбегая навстречу, Ванюшка кричал с порога: «Ты, деда, мне купилнибудь-чего?» Но здесь, в Уфе, генерал не решался остановить кучера у магазина, сойти и купить кулечек рахат-лукума или пакетик мороженых слив, — затаившийся город пугал своей молчаливой настороженностью. Настораживали и рассказы чиновников, живших здесь уже по нескольку лет. «Башкиры, татары, азиаты — что им стоит пырнуть, ваше превосходительство, ножиком? Да и русские тут — дай бог подальше. Сибирь-то каторга рядышком, рукой подать!»

Отдышавшись, потеряв руки, пригладив перед зеркалом серебряный бобрлик, заметно поредевший за последние два года, Иван Илларионович, держа за руку сияющего внучонка, пошел в глубь дома. Как он и ожидал, в столовой уже сверкал сервировкой стол, белели туго накрахмаленные салфетки, уютно, ненавязчиво горели свечи. Иван Илларионович снова вспомнил внезапно потухшее электричество и не удержался — болезненно поморщился. Кому нужны эти дурацкие изобретения? Жили, веками жили наши деды и прадеды при свечах, и умирали, и рождались, и свадьбы справляли... Свет, электрическая конка, телефон — он неприязненно покосился на неуклюжий высокий ящик аппарата, который ему поставили вскоре после его приезда. Он не любил этот полированный ящик, чем-то отдаленно напоминающий мраморные и гранитные кубы надгробий в усыпальнице царей в соборе Петропавловской крепости... Хотя электрический стул, придуманный американцами, может быть, и приятнее виселицы... Зябко передернув плечами, Иван Илларионович отогнал все чаще и чаще мучавшие его воспоминания — несколько раз ему по долгу службы приходилось присутствовать при исполнении смертных приговоров, и эти наполнявшие ужасом и дрожью картины врезались в память на всю жизнь. Теперь почему-то они и вспоминаются и снятся все чаще — наверно, это и есть старость.

— Ты устал, деда? — уже не первый раз спрашивал Ванюшка, пылливо заглядывая Ивану Илларионовичу в глаза и теребя его за руку.

— Устал, Иван... Слушай, я теперь буду тебя звать так же как бабушка...

— Жаном?

— Да.

— Хорошо! А я тебя — дедушка Жан! Или, может быть, Джон?

— Как хочешь. Но не Иваном.

Лариса Родионовна, неслышно распорядившись у обеденного стола, пылливо взглянула в осунувшееся серое лицо мужа, и он мельком оглядел ее — несмотря на тяжесть последних двух лет она все еще была красива только синие глубокие тени, казалось, навсегда легли под серыми жемчужного блеска глазами. И волосы стали седыми — не серебряными, а скорее платиновыми, что ли, — такая дорогая, благородная, чуть матовая седина...

Иван Илларионович никогда не рассказывал жене о том, как прошел день, но она всегда и безошибочно угадывала эти проклятые его дела, тяжесть которых с каждым днем все больше и больше гнула его к земле.

— Жан! Не мешай, пожалуйста, бабушке. Ему надо переодеться и принять ванну.

— Хорошо, бабушка...

В кабинете на столе лежали нераспечатанные письма, два — из Петербурга, одно — из Иркутска,— внезапно задрожавшими руками Иван Илларионович несколько минут вертел конверт, пока не понял, что это письмо от Зигфрида, сослуживца еще по Палате судебных установлений. Потом, потом....

Отложив письмо, Иван Илларионович достал из кармана брюк маленький плоский пистолет и, выдвинув ящик письменного стола, спрятал его, прикрыв письмами, на которые он так и не собрался ответить.

Затем, наслаждаясь тишиной и покоем дома, несколько раз прошелся по кабинету, шаги заглушал ковер. Два окна кабинета были наглухо закрыты тяжелыми бархатными шторами— хотя кабинет и помещался на втором этаже, было невыносимо думать, что кто-то может через окно увидеть его с улицы, может бросить камень или выстрелить. Ведь убили же в Гельсингфорсе прокурора сената Ионсона, стреляли в Трепова, в Выборге чуть не убили губернатора Мясоедова, в Варшаве швырнули бомбу в обер-полицмейстера барона Нолькена, в Баку убили губернатора князя Нашидзе. Восстания были даже на боевых кораблях, на «Потемкине» и «Георгии Победоносце», на «Очакове» и «Пруте»... Все это их рук дело, все это звенья одной цепи...

— Дедушка! Ты забыл про обед? — спросил от двери голос Ванюшки.

Иван Илларионович оглянулся. В дверь просунулась лукавая, обрамленная кудряшками головенка с яркими сияющими глазами. «Нет, ни за что нельзя пускать его в правоведение, потому что теперь... Что теперь?» — оборвал он себя и пошел, чуть наклонясь вперед, к внуку.

— Я не забыл... Жан.

— Тогда пойдем. Мы тебя давно ждем...

Дымылась аппетитным паром фарфоровая суповая миска, рубиново светилось сквозь хрусталь заботливо налитое вино, радовало глаз старинное фамильное серебро. Но ел Иван Илларионович без всякого аппетита, хотя в тюрьме не притронулся к обеду, принесенному для членов суда из ресторана Харлапова. И сразу же после обеда, сославшись на все усиливающуюся боль, ушел в кабинет, провожаемый грустным и просящим взглядом внука.

— А я, деда? — спросил мальчик, когда Иван Илларионович уже открывал дверь.

— А ты, Жанчик, пойдешь спать. И бабушке тоже надо лечь, он сегодня устал,— сказала Лариса Родионовна, снимая салфетку с шеи мальчика.

— Он, что ли, много писал сегодня?

— Да. Много писал...

От движения двери заколебалось пламя свечей на столе, как будто кто-то невидимый прошел возле. И успокоилось.

Иван Илларионович несколько раз прошелся по кабинету от окна к двери, потом приоткрыл дверь, прислушался к засыпающему дому. Дверь в детскую была приоткрыта, оттуда доносился голос жены:

— Ну, повторяй за мной... Иже еси на небесех... да святится имя твое... да будет воля твоя...

Иван Илларионович плотно прикрыл дверь... Да будет воля твоя! Он остановился посреди комнаты, сморщившись. А может быть, и та,

Якутова, сейчас заставляет своих детишек повторять; «Да святится имя твое, да будет воля твоя»?

Он отодвинул кресло и сел к столу, долго ерзал по мягкой подушке, выскивая положение, наиболее благоприятное для его геморроя. Где это он слышал: «Ерой, ерой, а у ероя-то еморой!»...

Письмо действительно было от школьного товарища, вместе с которым они учились в правоведческом, потом работали в Палате... Зигфрид всегда был чуточку женствен для такой суровой работы и еще в училище не раз сетовал на непреклонную волю отца, лишившего его возможности самому выбрать свой жизненный путь...

И словно в насмешку он оказался включенным в состав карательной экспедиции Ренненкампфа, судившего заговорщиков и бунтарей пятого года в Иркутске, Чите, Улан-Удэ... Каково-то ему, любителю Надсона, романсов...

После первых строк Иван Илларионович напрягся и резким жестом придвинул к себе свечу, тяжелый медный шандал, зацепившись за сукно стола, едва не опрокинулся. Свеча погасла. Иван Илларионович, нетерпеливо морщась от геморроидальной боли, придвинул к себе другую и, навалившись грудью на стол, принялся вчитываться в косые, сбегающие в правый угол лихорадочные строчки. Письмо было сумбурное, истерическое, где-то на грани умопомешательства, — хорошо еще, что почту Ивана Илларионовича здесь не перлюстрируют, а то неприятностей бы не обобраться...

«Это состояние я испытываю уже давно, — писал Зигфрид. — Оно охватило меня еще в экспедиции, в начале прошлого года. Я никак, ни во сне, ни наяву, не могу отогнать от себя... Я знаю, ты жестче, ты веришь в необходимость и целесообразность всего, что мы творим, а я... Ну, да бог с тобой, Иван. Не дай только бог и тебе пройти когда-нибудь через то, через что прошел я... Началось, говорю, еще в прошлом году... Тогда, в Верхне-Удинске, мы судили целую толпу рабочих с железной дороги, может быть, ты даже слышал — так называемое дело Александра Гольдсобеля, он был смотрителем какого-то там склада. Ну, ты, конечно, наслышан о характере моего принципала, его высокопревосходительства барона Ренненкампфа? Так вот, вынес он девять смертных. Приговор мы объявили осужденным, как сейчас помню, одиннадцатого февраля — о помиловании ни один из них просить не пожелал. Каковы? А?! А казнили через сутки, двенадцатого, в четыре часа дня. Почему днем — не помню, для устрашения, кажется, — так пожелал мой принципал, так сказать — принародно... Ну, вот. А нас всех, кто при нем состоит, генерал обязует присутствовать для укрепления духа. Ну, прихожу на площадь — куда денешься. Девять столбов, и веревки уже висят, покачиваются. А палач молодой, только накануне прошение подал о допущении к работе. Звали его Яков Нагорный, убил он троих, и самому ему грозила виселица. Ражий такой детина, толстогубый, что-то в нем от Квазимодо, что ли, хотя и сложен, как атлет, как бог... И позабыл этот неопит припасти табуретки. Понимаешь? Ну, побежал за ними. Осужденные стоят кучей, покуривают, разговаривают. И что поразительно, Иван, ни малейшего страха, ни капли раскаяния! А кругом толпа гудит — несколько тысяч собралось. Бегал Яшка за табуретками минут сорок, не меньше, и все стоят, ждут. Каково? И вешать-то он не умеет совсем, и руки у него, сказать по правде, трясутся. Тут-то этот самый Гольдсобель и показал себя. Яшку так безразлично, словно падала какую, оттолкнул, сам влез на табуретку, надел себе петлю на шею, и через наши головы кричит: «Прощайте, товарищи! За вас смерть принимаем!» Ну, кто-то догадался из-под ног у него табуретку вышибить, повис он. А дальше просто ужас, Иван, что было! Был там осужденный Николай Мамотинский, машинист, так у него оборвалась ве-

ревка, он упал на землю, вскочил и кричит: «Я жив! Я жив!» И вся толпа, что стояла кругом, за цепями солдат, рванулась к виселице, все кричат: «Невиновен! Невиновен!» Ты же знаешь, есть такое поверье — если веревка рвется, значит сам бог вмешался, значит действительно человек не виноват. А командовал солдатами подполковник Голубь, службист, выскочка, ему бы, конечно, досталось от генерала, если бы Мамотинский остался в живых — до разжалования, пожалуй бы, дошло. Голубь командует: «Залп». Выстрелили солдаты поверх, но и стреляли, правду сказать, не все. Толпа, конечно, отшатнулась, а Голубь с солдатами бросились к Мамотинскому и стали в него в упор стрелять из винтовок и пистолетов... Никак не могу я отделаться от этих...»

Иван Илларионович со стоном откинулся на спинку кресла, зажал ладонью глаза — поплыли в темноте оранжевые и красные круги, полетели косые искры. Легкие шаги послышались рядом, на плечо легла нежная, мягкая рука. Иван Илларионович прижался к ней щекой, от тонких пальцев веяло тонким ароматом духов, тех самых, которые он привез жене из Парижа в позапрошлом году.

— У тебя был трудный день, милый? — ласково спросила Лариса Родионовна, наклоняясь над плечом мужа.

— Да. Ты иди, — сказал он, будто бы нечаянно прикрывая лежавшее на столе письмо рукой. — Иди. Я скоро...

— Не сиди долго, милый...

Он опять остался один... Если бы не Ванюшка, он знал бы что ему делать, — ладонь почему-то сегодня весь день сохраняла ощущение лежащей в ней рубчатой рукоятки. Секунда мужества и — покой, отдых, тьма... «Да будет воля твоя»...

Резко и требовательно зазвонил телефон. Иван Илларионович с ненавистью глянул на аппарат, на его трубку. Вот еще эти Эдиссоны, Эриксоны — вот кого надо бы вешать...

Телефон все звонил и звонил, и Иван Илларионович принудил себя взять трубку. В ней щелкало и хрипело, и сквозь мешанину металлических шорохов с трудом пробивался властный мужской голос.

— Не спите, батенька? Ага, ага! Ну, давай бог, давай бог!.. Извините, батенька, что поздно тревожу, но дело, так сказать, не терпящее... Во-первых, поздравляю вас с мужественным и единственно возможным решением. Я завтра же не премину донести в столицу. Но наши люди, дражайший Иван Илларионович, сообщают, что каким-то образом о приговоре уже известно в городе и, что особенно важно, на железной дороге, будь она проклята, эта чугушка... возможны выступления и попытки освободить осужденного... Да, да, вот именно. Будьте сугубо осторожны. Я к вашему дому послал еще одного молодца, так надежнее... И важно, очень важно, батенька, чтобы ваше решение... э-э-э... как можно быстрее стало действием, — это, надеюсь, охладит горячие не в меру головы, внесет, так сказать, успокоение... Ну, почивайте, батенька! Поцелуйте ручку несравненной Ларисе Родионовне. Что-то не балует она нас своими визитами...

Телефон замолчал. Тикали в стоячем, черного дерева, резном футляре часы у самых дверей.

И вдруг что-то зазвенело, с грохотом посыпались за тяжелой бархатной портьерой стекла, и сама штора надулась, как багровый парус.

Иван Илларионович вскочил и, прижав руки к груди, застыл неподвижно, ожидая взрыва. Но взрыва не произошло. С легким шелестом ветер надувал штору, с улицы доносились свистки городских, крики. Постояв, Иван Илларионович с ненужной осторожностью погасил свечу и, ступая на дыпочках, пошел в спальню.

— Что случилось? — спросила испуганным шепотом Лариса Родионова.

— Ничего. Я нечаянно опрокинул телефон. Спи.

И уже натягивая на голову пышное теплое одеяло, с тревогой вслушиваясь в сонную и обманчивую, как казалось ему, тишину дома, Иван Илларионович с тоской думал: «Надо как можно скорее уезжать из этого проклятого города». Но кто-то, словно из-за угла, спрашивал: «Куда? Куда ты уедешь, Иван Илларионович? Куда?»

3. ИВАН-ЦАРЕВИЧ

Камера, где провел эту ночь Иван Степанович Якутов, находилась на верхнем этаже Уфимской тюрьмы. Каменный закуток — пять шагов в длину и три в ширину, плесень и ржавые пятна на стенах, высоко — не дотянуться рукой — маленькое, заделанное толстой решеткой окно. За ним — зимнее, полное крупных звезд небо. Мутный зрачок «волчка» в двери, на уровне глаз — за его пыльным мертвым стеклом — почти все время — недобрый, настороженный, стерегуший взгляд. «Глядят, ночь напролет глядят, — с бессильной ненавистью думал Якутов, шагая от окованной железом двери к стене, и назад, навстречу этому мертвому взгляду «волчка». — Блюдут, чтобы рук на себя не наложил, очень им хочется еще одного повесить. Мало понавешали, гады, за прошлый год!»...

На исходе ночи не сдержался, и подойдя к самой двери, с яростью плюнул в «волчок». За дверью угрожающе загремели ключи и глухой голос зло забубнил: «Но-но! Утре, как поволокут к виселке, кровавой слюной плевать станешь!»

Якутов останавливается у стены, под самым окном и принимается читать выскобленные на стене надписи — тень от его головы падает на стену. Надписей много, но они затерты и забелены руками тюремщиков, это — последние, неотправленные письма тех, кто прошел здесь раньше Якутова...

Запыленная, никогда не протиравшаяся лампочка в фрамуге над дверью горит тускло, безрадостно, и только самые крупные буквы на стене можно прочитать в этом безжизненном свете. Вот: «Панкратов Егор. Петля. 1906» — выцарапано то ли гвоздем, то ли еще чем. Это тот самый Гошка Панкратов, рядом с которым Якутов работал три года, балагур и балалаечник, — с ним вместе в позапрошлом декабре вывозили на тачке обер-мастера Уфимских железнодорожных мастерских Балашова, рыжеусого толстяка в сапогах бутылками, — пока довели до ворот, он нагадил в свои синие штаны. Как бить по зубам, штрафовать до последнего рубля да сильничать девчат по темным углам, на это хватало смелости! А как до расправы дошло, показал себя. За воротами, опрокинув тачку, они вывалили мастера в черный от копоти снег, и он, сгорбившись, поддерживая штаны, то и дело оглядываясь назад круглыми от страха глазами, побежал впритруску прочь. А они, Гошка Панкратов, Алеша Олезов, Володька Токарев и другие, стояли и хохотали вслед: «Туже портки держи, обер!» — не зная, как дорого и как скоро придется за эти шутки платить...

Якутов снова принялся ходить: пять шагов от двери, пять к ней, и даже спиной чувствовал неподвижный следящий взгляд. А в эти часы хотелось побыть одному, попрощаться без ненавистных свидетелей с теми, кого оставлял навсегда.

Картины жизни проносились перед ним. Нищее голодное детство в полурусской, полубашкирской деревне Королевке в Бирском уезде, — это вспоминается неясно, словно услышанная от бабушки и полубытая сказка...

А она все-таки хорошая была старуха, его бабка, но помнилось о ней обидно мало: рванье черного платка на седых волосах, глубоко запавшие, когда-то, наверно, синие, а теперь словно вылинявшие, как застиранная кофтенка, глаза, тонкие губы, беззубый рот. Он был ее любимцем, младший Иван; в холодные зимние ночи она грела его на нетопленной печи своим телом, глухо и ласково бубня ему в ухо сказку, чтобы не скулил, не просил поесть... Да, это она рассказывала ему про счастливых Иванов-царевичей и умных Иванушек-дурачков и, поглаживая его головушку трясущейся рукой, щедро сулила внуку судьбу Ивана-царевича... «Ты у меня станешь Иваном-царевичем, ты будешь счастливым...»

Царевич! Память споткнулась о ненавистное слово, и Якутов со злобой радостью припомнил, как тогда, в декабре, забравшись на решетчатые ворота мастерских, они ломиками и молотками сбивали приваженного над вывеской чугунного двуглавого орла, и как потом вышвырнули из окна, со второго этажа конторы, портрет царя в богатейшей позолоченной раме, проклиная «самодержца», убивающего трудовой народ перед своим дворцом... Помнится, Ивану очень было жалко золоченую раму — уж больно искусно сделана...

Да, о чем он думал? О бабушке? Ага. Она шепотом говорила ему, что царь каждый день ест калачи и щи со свинойной, и пьет чай с сахаром, и ездит по городу в золотой карете на паре кровных рысаков, убранных кумачовыми атласными лентами, и сбруя на них горит и блестит — вся из серебряных и золотых монистов, какие вплетены в косы богатых башкирок, байских дочек... Еще помнится: в голодные годы бабка воровала для Ванюшки на ховринских огородах картошку, и однажды сыновья кулака поймали ее и крепко побили. «Сраму-то, сраму, внучек, что приняла — нет конца. В крапиве, почитай, полдня лежала»... И померла бабка на той же самой нетопленной печке, померла тихо, словно уснула, обняв внука холодной рукой. А ему, когда проснулся, и не страшно совсем было, он ее и мертвую не боялся, любил...

...А на заре, помнишь? — мычали коровы, пел рожок старого Пахомыча и роса остро обжигала ноги. А вечером — девичьи пляски и хороводы у костра за околицей, рядом с башкирскими юртами; и пугающие закаты, раскинувшиеся в полнеба, словно огромные огненные петушиные хвосты; и шершавые добрые руки мамки, и скрип зыбки, подвешенной к жердине, воткнутой под закопченную щелястую матицу потолка. И работа в поле чуть не с шести лет, и обидные побирушки под чужими окнами: «Подайте кусочек Христа ради» — когда умер отец и когда на лавке в переднем углу стонала в полузабытье больная мать. И драки с сынками богатеев, дразнивших из-за угла: «Якут-голяк, мать с голоду помррат!», и осенью он и братья на дровяных салазках волокли на кладбище гроб... И многое-многое другое...

И кумачовые зори, розовые, как праздничные атласные рубашки богатых парней, и запах кизячного дыма, и седина ковыля, и орлиные круги высоко в небе — не докрикнешь, не досвистнешь до орла, а он, говорят, видит оттуда промелькнувшую в траве мышь. И свинцовая ломота в мальчишеских плечах после долгого дня косьбы, и бедняцкий хлеб с лебедой в голодные годы, — а сколько их было — не сосчитать!.. Эх, Иван, так и не удосужился побывать в родном селе, хотя и собирался из года в год, так и не поклонился погосту, где осталась сиротеть одна общая родная могила, так и не поклонился старикам за все доброе, что они дали тебе. А и было ли оно, это доброе? Да, кажется, все-таки было...

Это отец подтолкнул его к нищим башкирятам, всегда голодным и драным. Они как надевали лет шести первую рубаху, так, не снимая, и изнашивали до лоскутьев, пока не сваливалась с плеч, и вторую так

же, и третью. Башкирята, как и он, Иван-царевич из бабушкиных сказок, нечасто ели досыта, а уж если дорывались до еды, наедались так, что чуть не лопались животы. Отец, уже полуслепой от трахомы, тыкая ореховым посошком землю, не раз говорил: «Ты не гляди, Ваняшка, что наши, сельские, их не жалуют, дражнят и обижают. Они бедные, а и мы с тобой не больно богатые. И еще в селе многие говорят: «Бог, значит, у нас разный, вера разная». А на поверку: у ихнего Бушматбая и у нашего Ховрина один бог и вера одна, хоша и молятся они по-разному, одни намазят, а другие кресты да поклоны бьют. Ты гляди сам, Вань. У нас с тобой, сынка, и у голых этих башкиров тоже один бог и одна вера: как бы нажраться досыта! И ты их, башкиряток-то, не пужай, они и без тебя пуганые. А чего же, скажем, чужой беде смеяться, когда у нас своего-то горюшка неизбывно... Ты другому глазу не верь, ты своими гляделками смотри, сын...»

Лучший друг Ивана и был из башкиров, кривоногий, темноглазый Шараф, вместе они, с восьмью, что ли, годов, за кусок хлеба целыми днями месили ногами чужой кизяк и саман, а потом пасли байские стада и воровали из отар новорожденных ягнят. Принесет овца двойню, а хозяин далеко — не видит, не знает, — и пастушата прячут и душат второго ягненка, хотя, конечно, и жалко, а ночью, тайком, где-нибудь в овраге, варят на костре бешбармак и запивают надоенным украдкой молоком.

И сколько раз Иван дрался за дружбу с Шарафом с теми же Ховринными, и сколько раз бывал жестоко бит. Хорошо еще, что поначалу заступались за него старшие братья Роман да Большой Иван. Их, Иванов, в семье Якутовых было двое, — когда крестили меньшего, подвыпивший попик перепутал имена и нарек последнего якутовского наследника Ивановом, так же, как шесть лет назад нарек старшего. Братья ни перед кем не гнулись, ни перед кем не ломали шапки, будь хоть староста, хоть урядник, — и с малых лет Ивашка привык смотреть на Большого Ивана и на Романа снизу вверх. Старшие и в самом деле были, как сказочные Иваны-царевичи. Ростом оба — богатыри, русский чуб на загорелом, коричневом лбу и под выцветшими на солнце бровями — синие, веселые глаза. И губы — веселые, красивые, с ямочками по углам, и голос у обоих — на всю степь, — недаром девчата со всех окрестных деревень сбегались к их околице на вечерки и косили горячим глазом в сторону, где окруженные парнями куражились Большой Иван и Роман. Маленький Ивашка всегда вспоминал о сгнувшем Большом Иване с тоской и болью, и не мог простить третьему брату, тихому и смиренному, его нехотства с отцом и старшими — слишком обидной казалась разница...

Роман, а за ним и Большой Иван, которому до полусмерти надоело батрачить на всяких там Ховриных и Бушматбаев, подались в губернию, в Уфу, и вскорости сгнули там. На селе — кто с жалостью, кто со злобной радостью — говорили, будто заковали братьев в железы и угнали далеко на восток, не то в Нерчинск, не то в Кадаю, в какие-то страшные рудники...

...Потом — Уфа... Город показался тогда мальчишескому глазу огромным. Кирпичные стены вздымались на два и три этажа! И выше всех домов — красное кирпичное угрюмое здание тюрьмы за высоким, кирпичным же забором, с темными слепыми окнами. Мог ли думать тогда Иван, что именно за этими высоченными стенами, с караульными шатровыми вышками по углам, с полосатой в белую и черную косую полосу будкой у тяжелых глухих ворот, закончится его недолгая — до сорока не дотянул — жизнь... Его, мальчишку, поражал и как магнитом тянул к себе и рынок, бушевавший людским половодьем, — на уфимские базары и ярмарки съезжались и русские и башкиры чуть ли не за сотни верст. Мычали коровы, нетерпеливо ржали и бились у коновязей и в за-

гонах разномастные кони, блеяли тысячи одинаковых овец и словно дымилась на ветру горы овечьей белой и черной шерсти. Крепостными башнями громоздились бунты мешков с зерном и мукой. Звенели уздечки и серебряные и дешевые стеклянные монисты, визжали на точилах иступившиеся клинки, гнусаво выпрашивали подачки калеки и нищие. А у кабаков гудел пьяный гвалт и кружились разноцветные карусели, и пели шарманки про любовь и разлуку, и вспыхивали жестокие ножевые драки... Видел там Иван несколько раз и братьев Ховриных, избивших когда-то его бабку, и надменного Бушматбая, высоко сидевшего в седле и похожего на хищную птицу, косящую свысока острым карим глазом...

...Зачем все это вспоминается? Зачем?!..

Якутов останавливается посреди камеры и, закрыв глаза, вдруг отчетливо видит перед собой седоусое, усталое, иссеченное мелкими морщинками лицо председателя суда.

— Произносили ли вы, обвиняемый Якутов, перед толпой мастеровых речи, призывающие к свержению его императорского величества государя Николая Александровича?

Прежде чем ответить, Якутов секунду всматривается в равнодушное и бесцветное лицо царя на портрете, в полковничий мундир с блестящими пуговицами. В стекле портрета тускло отражаются обнаженные клинки стоящих по бокам Якутова стражей, — даже здесь, даже законного в наручники, они боятся его... Рядом с председателем недовольно морщится, поглядывая сквозь стекляшки пенсне, секретарь, — тонкие длинные пальцы барабанят по зеленому сукну, по крышке лежащего рядом серебряного, с монограммой портсигара.

— Вы оглохли, подсудимый?! — резко спрашивает он. — Вы слышали вопрос господина председательствующего?

Что им сказать? Что они понимают о жизни моей и моих товарищей? Разве видел этот, с бородкой, подстриженный «под самодержца», как от взорвавшегося паровозного котла тащили на рогожке изуродованного, превращенного в кровавое месиво Шарафа? Разве стоял он над посиневшим трупиком первого своего ребенка, умершего в дни забастовки от голодухи?

— Тебя спрашивают, сукин сын! — визгливо кричит, ударяя кулаком по столу, третий член судилища, худой и черный, похожий на старика Ховрина. И клинки шашек по бокам Якутова вздрагивают от его крика.

Срываясь с голоса, Якутов тоже кричит в ответ:

— Да, произносил! Произносил! Потому что...

— Молчать!

...Пять шагов к двери, навстречу оловянному взгляду, пять к стене, и взгляд в зарешеченное высокое окошко, за которым скоро займется последний в твоей жизни день. Якутов долго стоит и смотрит ввѣрх — звезды стали тусклее и мельче... Если бы подпрыгнуть и уцепиться обеими руками за прутья решетки, подтянуться — может быть, удалось бы увидеть и домишко, где живет семья, и серый дом на углу Тюремной и Жандармской. Семь лет назад он бывал там у Надежды Константиновны и туда два раза заезжал ее муж, Ульянов. Как это он тогда смеялся над Надеждой Константиновной: «Угол Тюремной и Жандармской, Надюша? Гм-м! А знаешь, ведь самое подходящее для тебя место! А?» Интересно, удалось ли ему избежать жандармских когтей, ведь в пятом он был в самой гуще драки?

Пять шагов, пять шагов, пять шагов...

Жалеешь, Якутов? — он резко останавливается у стены. Нет, ни о чем не жалею, ни о чем...

Ведь не только за свою долю боролся. Хотя и за свою — тоже! Ведь вон их четверо осталось у Наташки на руках: старшему, Ванюшке,

самому смышленому, недавно стукнуло тринадцать. Может, изловчилась как-нибудь Наташка, может, испекла на рождение сына пирожок с капустой или там с солеными грибочками! И сидели они нынче вечером все вместе за столом и поминали как сквозь землю провалившегося батьку. Хорошо еще, не знают, что отца схватили в Харькове и привезли сюда и ждет его «столыпинский галстук»... Эх, Наташка, Наташка! Где возьмешь сил пережить, перенести...

4. «БОРЬБА ПРЕДСТОИТ ЖЕСТОКАЯ, ТОВАРИЩИ»

...И снова — как в дыму, как сны летучие, воспоминания...

Мурлычет вода Белой реки, проплывающие в глуби невидимые рыбы качают зеленые перья рогоза, курчавится неяркая зелень прибрежного тальника, — далеко на берегу горит то ли рыбачий, то ли пастуший костер. Небо — высоко-высоко, теплое Наташкино плечо под огрубевшей от металла рукой, и жизнь кажется впереди — без конца...

В те годы, перед революцией, нередко артелями уезжали на праздники по Белой вниз, в пойменные луга, — для отвода стерегущих глаз грузили в лодки водочные и пивные бутылки, чаще — пустые. До хриплого визга растягивали гармони и пели на все голоса: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горюшь в огне» — любимая тогда была песня, — и «Стонет сизый голубочек», а отъехав пять-шесть верст, выгружались где-нибудь на островке, а то на отмели, подальше от ненужных глаз, и судили-спорили, как жить дальше, как бороться с нуждой и неправдой...

Уже тогда — да и раньше, в Иркутске тоже, мастеровая братва признавала Якутова своим вожаком. Может, как раз потому и потянулась к нему Наташа, статная, ладная, с толстой светлой косой. Она чуток картовила и один зуб у нее был с щербинкой, но это не портило ее.

После первомайской сходки они уходили вдвоем подальше от других и, бросив весла, вслушивались в затихающий говор уплывающих к городу лодок, вглядывались в неяркие огни Уфы на левом берегу. Наташа укладывалась на дно лодки и, положив голову Ивану на колени, смотрела в его лицо, в усыпанное звездами небо. Иван перебирал пальцами пушистые колечки ее волос, ощупывал кончиками пальцев, как это делают слепые, ее лицо — лоб, нос, щеки. Они молчали, да и не надо было ничего говорить, чтобы не пугать, не тревожить свое тихое счастье. Наташе было легко и спокойно, а Иван нет-нет да и стискивал в темноте губы и однажды — это уже когда Нютке шел, наверно, пятый годок — он рассказал Наташе, что сосланные в Уфу политические Цюрупа и Свидерский несколько лет назад организовали при железнодорожных мастерских революционный кружок из двенадцати человек и он, Иван, руководит им.

Он ждал, что жена испугается, заплачет, но она, помолчав, спросила:

— А ты, глупенький, думаешь, ничего не понимаю? Эх ты, телок! А не видишь, как я тебе да твоим дружкам помогаю? Нешто делала бы все как надо, ежели бы сама не понимала, не верила? И ты, как все: курица не птица?

Иван смущенно засмеялся.

— Да не в том дело, Наталка... Тут, понимаешь, что... Вдруг снова, как в третьем годе в Иркутске, схватят, да в тюремный замок сволокут, да допросы всякие, да кулаками под ребра да в зубы... Вдруг и тебя потащут... Детишек-то теперь целый воз...

— Ничего они с меня не взыщут. По их понятиям, как и по вашим: баба не человек, чего с нее взять...

Пять шагов и еще пять шагов. И снова в памяти — монотонный, отчетливо выговаривающий каждую букву голос прокурора:

— А скажите, подсудимый Якутов, какое отношение к вашим преступным делам имела жена ваша Наталья Константиновна Якутова? Какую помощь оказывала она преступным деяниям?

У него хватило силы рассмеяться в ответ, хотя очень болели разбитые на допросах губы.

— Да что бабы в этих делах смыслят, ваше благородие?! Их дело — пеленки да соски. И то — редкого пацана убережешь. Земские газеты еще в третьем году писали: пятьдесят шесть процентов детишек в нашей милой губернии до году на погост сносят.

И опять вздрогнуло от генеральского крика по сторонам Якутова лезвия стерегущих его шашек.

— Молчать! Своей идиотской агитацией вы, Якутов, только усугубляете...

— А чего усугублять-то, ваше превосходительство? А? Ведь и так повесите. Скоро в России веревок на вожжи не останется, все на столыпинские галстуки переведете!

— Молчать!

— Чем орать, руки велели бы расковать. Кровь с губ отереть нечем...

...А может, зря он с ними так, а? Может, если тихонько, если покориться да расплакаться: дескать, не я, все товарищи, это они подбили, завлекли, а я — хороший, все, мол, по дурости вышло! Глядишь, и не стучали бы вчера плотники на тюремном дворе топорами, не готовили Ивану Якутову последнее прибежище? Назвать бы всех товарищей, — так, мол, и так, осознал?..

Он даже рассмеялся над горькой своей шуткой, рассмеялся так громко, что в коридоре спешно загрохотали шаги и тускло высветлился волчок на темной двери...

— Сгинь! — крикнул Якутов, подойдя вплотную к двери. — Сгинь, а то удавлю, гнида! — Он рванулся к волчку, и там испуганно щелкнуло и тусклый свет погас. Тыльной стороной руки Иван вытер с губ кровь и снова принялся ходить взад и вперед. Попробовал прилечь на прикованную к стене незастланную железную койку, но сейчас же вскочил: лежать вовсе не вмоготу...

Да, товарищи: Алеша Олезов, Федя Брынских, Токарев, Мосягин... Сколько они провели вместе часов и дней, сколько сказали друг другу слов, и какая невысказанная никакими словами порука, какая сила накрепко, до самой смерти, связывала их? Помнишь, как в декабре перед самым девятым ковали в кузнице и в мастерских кинжалы и пики, как пробовали из охотничьего пороха мастерить бомбы? Смешняки! Да разве с эдакими самоделками можно повалить, опрокинуть царскую машину, сглодавшую десятки и десятки тысяч жизней... И каких жизней! Еще в Иркутском тюремном замке, в девятьсот третьем, старый политкаторжник Николай Васильевич Набатов рассказывал ему о Гриневицком и Кибальчиче, о Желябове и Перовской, об Александре Ульянове и его товарищах, повешенных в Шлиссельбурге. Он тогда слушал эти рассказы с остановившимся сердцем, слушал и вспоминал лицо другого Ульянова — Владимира. Вот и ему, Якутову, суждено погибнуть так же, как погиб брат Владимира Ильича. Набатов на память приводил слова, сказанные Александром Ульяновым на суде: в России всегда найдутся люди, которые с радостью отдадут свою жизнь за свободу родины.

И в Харькове, когда Якутов, таясь от полиции, рыскавшей по его следу, ночевал в депо, товарищи, и даже незнакомые совсем, приносили ему туда есть и пить, ему рассказывали о лейтенанте Шмидте, поднявшем красный флаг над броненосцем «Потемкиным». Он сказал в лицо своим судьям: «Я знаю, что столб, у которого встану я принять

смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины, сознание это дает мне много сил, и я пойду к столбу как на молитву... Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию».

...Да, умели умирать люди! А тут, завтра — или это уж сегодня? — на рассвете, даже последнего твоего слова никто не услышит, так и не дойдет твое слово до товарищей, до детей... Неужели так ничего не изменится, неужели никогда народ не возьмет верх над палачами?

И — снова Наташа. Нет, она не пыталась увести его с революционной дороги, только однажды, ночью, когда только-только родила меньшенькую, заплакала и сказала, глядя сквозь слезы:

— Ванечка! А может, миленький, бросить тебе все это, не доведет такая жизнь нас с тобой до добра! Как же тогда ребятишки наши? А?

Он ничего не ответил, да и что ответишь? Только осторожно погладил лежавшую поверх одеяла тонкую, искудавшую руку. И у Наташи это была только минутная слабость.

Конечно, он и сам понимал, что живут они бедно, скудно до чрезвычайности, его заработков едва хватает на хлеб, одежонка вся штопаная да рваная, ботинки и на Ивашке и на Машеньке всегда каши просят, и все дома — в обрез. Как-то осенью он повел своих старшеньких, Ванюшку и Машу, на ярмарку, — повел и потом жалел чуть не целый год: с такой жадностью смотрели кругом его ребятишки, так им хотелось всего — и пряников, и печенья, и ленту Машутке в косы новую, и на карусели бы без конца крутиться-кататься. А у него бреньчали в кармане то ли десять, то ли двенадцать копеек. В обжорке на рынке пузатые купчины и подрядчики сидели и жрали до отвала, и пили пиво, и кумыс, и всякие заморские вина, а Иван Якутов проходил мимо, таща за собой упирающихся детей. Хорошо еще, что Ванятка все понимает, делал вид, что ему и не хочется ничего, сыт и пьян, дескать, и нос в табаке, а Машуня так и тянулась, так и рвалась к каруселям и пряникам, так и всплескивала ручонками: «Гляди, тятя! Гляди! Вот бы мне такую...»

Да, мало доставил он радостей своим детишкам, а теперь, когда его царской и божьей милостью повесят, кто им протянет руку, кто поможет? Там же, на ярмарке, встретил он одного из своих старых дружков, еще в Иркутске, в паровозном депо сошлись. Оказывается, забрали в японскую, вернулся без ноги, хотя и с «Георгием». Якутов шел вдоль обжорного ряда, шумели кругом пьяные голоса, и вдруг увидел Шурку Ястребова — в драной шинелишке, на костылях, и хотя по-осеннему холодно — босиком. Якутов шел и вглядывался: он, не он? А тот под хмельком, со вчерашнего, видно, перепоя, ковылял на своей деревяшке, поспешал к кабаку, считая на заскорузлой, давно невымытой ладони мелочь — нахристардничал, должно быть. Бормоча матерное, Шурка проковылял мимо, но какая-то сила взяла Якутова за руку, подтолкнула к Шурке.

— Шурик?

— А? Чего? — Тот остановился, не понимая. И вдруг в его красных, запущих глазах вспыхнули радость и удивление.

— Никак Якут?

— Шурка!

— Он самый, друг. Только вот подкоротили малость, под Ляояном одну ногу закопать пришлось... Это твои, что ли? — Ястребов оглядел якутовских ребятишек.

— Ага.

— Стало быть, семья? Ну-ну, дай бог... А я вот, видишь... — Ястребов разжал грязный кулак, там тускло блестели медяки и одна-две серебряные монетки. — Вот — иду... — Он странным потерянном взглядом огля-

делся кругом, будто просыпаясь.— Слушай, Вань! Айда-ка ты со мной, вон видишь купца Хлопотова заведение... Поговорить мне с тобой охота, а так, без похмелки, не могу... Айда. И детишкам вот что-нибудь купим, требухи там жареной, каймаку. А?

Он смотрел на Ивана с такой просьбой, что Иван не мог отказать, хотя и не хотелось вести в кабак детей...

Они долго сидели за грязным, залитым пивом столиком, вспоминая прошлое. Детей Иван отпустил — дал им гривенник, и они побежали крутиться на карусели. Гудели кругом пьяные голоса, кто-то пел, кто-то матерился на чем свет своят, а Иван всматривался в отекавшее лицо друга, всматривался и с жалостью и, пожалуй, даже с ненавистью: до какого скотства может допустить себя человек.

Прямо оттуда, с ярмарки, из кабака, Иван привел Шурку к себе — не мог же он бросить на верную погибель бывшего друга. Наташа ничего не сказала, не попрекнула, только глаза стали построже, похолоднее. Выстирала она Шурке его бельешко, позалатала, и повел его Иван в свой кружок в мастерские — пусть расскажет правду о войне — как Порт-Артур продали ни за грош, ни за денежку, как в Цусимском проливе загубили эскадру...

А вернувшись домой, застали там Иванова брата — шел из церкви, от поздней обедни, зашел по-родственному проведать. В новенькой поддевке синего сукна, чистенький, напомаженный, сидел в переднем углу, Наташа поила его чаем. Хоть и не очень любит его, но встречает всегда ласково — как-никак мужнин брат. Вот уж который год нашептывает он Наташе про рискованную Иванову жизнь — не доведут до добра крамола и бунтарство. Мог бы Иван, как и он, освоить портняжное дело-ремесло, шил бы пиджаки да поддевки — вот он и хлеб, кормись всю жизнь — нагишом-то люди никогда не станут ходить. Неодобрительно оглядел он колченогого грязного Ястребова, притянул к себе племянника, сунул ему пряник.

— Ешь, племяшка, расти большой. Пойдем ко мне в подмастерья, я тебя всякому шву обучу, будешь жить не тужить. А? Вот, гляди, — сукно, дигональ называется, самые чиновники из такой дигонали сюртуки да мундиры шьют... А ежели ты в мастерские подашься, гляди: так же как дядья Большой Иван да Ромашка, по каторжной дорожке загремишь... А хорошего чего же?

— Ну будет, брат! — остановил его Иван. — Твоя мудрость не по рабочему... чину...

— А я, стало быть, не рабочий? По двенадцать часов в день хрип гну.

Иван знал, что в его отсутствие — дядя Степаныч, как его все кругом звали, — все время напоминает Наташе: дескать, старших братьев, Ивана Большого да Романа, угнали же на восток, в ссылку ли, на каторгу ли, — пусть не баламутят мастеровых, не разводят смуту. То же, наверно, и Ивана меньшого ждет, по той же дорожке потопал, все ему плохо, все нехорошо: и попы, и цари, и генералы, и стражники, и кулаки, и фабриканты... Сколько раз Степаныч слышал, что меньшей Иван то на чугунолитейном, то на лесопилке, то на чаеразвесочной фабрике шушукается. И дошушукается. Нет, не одобрял этих тайностей Степаныч. Помолвившись в пустой угол в братниной избе, осторожно предупредил:

— Ой, гляди за ним, своячения, гляди, Наталья. В тюрьму ворота широки, назад — щель...

...Господи, и зачем все это вспоминается? Зачем?!

...И опять перед глазами — суд, колючие холодные глаза, холеные, униженные перстнями руки на зеленом сукне,

— Когда и с какой целью вы, Якутов, вступили в преступную организацию социал-демократов?

Опять! И опять: ну разве можно рассказать этим сытым, жирным людишкам о том, что привело его, Якутова, в партию, поставившую перед собой цель — освободить рабочего человека, разве поймут? Вот сейчас они приговорят его к смерти, выйдут из ворот тюрьмы, сядут в ожидающие их санки и разъедутся по домам — жрать, любить своих жен, играть в преферанс, пить вино... Разве услышат они его больное слово, разве поймут? Нет, не надо ничего говорить, тем более, что судят его при закрытых дверях, судят тут же, в тюрьме, в одной из комнат тюремной канцелярии — побоялись, мерзавцы, везти по городу.

Они снова и снова спрашивают Якутова, где скрываются его товарищи по Уфимским железнодорожным мастерским, руководившие вместе с ним восставшими рабочими в декабре пятого года: Алексей Олезов, Владимир Токарев, Федя Брынских, Иван Мавринский, другие — он только смеется судьям в лицо: ищите! Они еще вернутся, они спросят с вас за погубленных, за повешенных и насмерть забитых на допросах, вам не уйти от ответа!

За судейским столом сидят пятеро, один из них скучным монотонным голосом читает материалы дознания, а Якутов задумчиво глядит в окно, за которым угасает короткий зимний день, наверно, последний в его жизни... Остро и холодно блестят на стеклах искры инея, синие столбы дыма поднимаются за красной тюремной стеной, на вышке кутается в бараний тулуп часовая...

— ...По агентурным и негласным сведениям Якутов является организатором в городе Уфе боевой рабочей дружины. По свидетельским показаниям 9 декабря бросал бомбы в воинскую часть и был руководителем вооруженного сопротивления, за что и привлечен в качестве обвиняемого судебным следователем Уфимского Окружного суда по важнейшим делам. В 1903 году привлекался к дознанию в качестве обвиняемого...

Отвесно поднимается синий дым, может быть, и в доме Якутовых, не в доме, а в квартирешке, которую он снимал за трешницу и за которую задолжал за полгода, — тоже топится печь и Наташа варит детишкам поесть. ...Один из членов суда, тот, что в пенсне, скучно зеваает и барабанит пальцами по столу, поглядывая на лежащие перед ним серебряные часы, сопят по бокам Якутова часовые с обнаженными шашками, металлическая тяжесть наручников оттягивает Ивану руки...

Голос:

— ...по агентурным и негласным сведениям до прибытия в Уфу Якутова Брынских являлся самым главным руководителем рабочих беспорядков, выступал в качестве оратора, разбрасывал прокламации и прочее, а с прибытием же Якутова стал деятельным помощником последнего...

Синий дым в небе, голуби в небе. Жизнь... В июне Якутову исполнилось тридцать семь лет, из них пятнадцать отдано борьбе... Нет, он ни о чем не жалел — надо же кому-то начинать. С благодарностью вспоминал он Цюрупу и Свидерского, Крупскую и Бойкову — это они научили его понимать смысл происходящего, научили мужеству и борьбе...

А монотонный скучный голос читал:

— ...Помощник коменданта поручик Бакулин по распоряжению коменданта станции есаула Мандрыкина отправился в мастерские с командой казаков... Его обезоружили и арестовали... Вслед за тем дежурный жандармский унтер-офицер Полетаев, узнав о митинге, тоже отправился в мастерские с командой пехотных солдат... слышали, как Якутов ораторствовал...

Якутов снова перестает слушать: слушай не слушай, это ничего не

изменит, ничему не поможет... Он снова всматривается в свое прошлое...

Тогда, в июне 1900 года, положив ему на колено худую руку, Ульянов говорил о трудностях предстоящей борьбы, о том, что царское правительство не остановится ни перед какими жестокостями, чтобы задуть революцию. Собственно, Якутов и сам это хорошо знал. И помнил: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем». Эту работу Ленина он прочел вскоре после первой своей встречи с Владимирой Ильичем.

Тогда, в июне, еще никто, конечно, не предполагал, что именно Ульянов, этот возвращающийся из Минусинской ссылки молодой человек с живыми яркими глазами, станет вождем революции...

Тогда, в июне, — вечер, помнится, был душный и пыльный, несся откуда-то со стороны базарной площади пьяный шум, мычало, проходя по заросшим травой улицам, коровье стадо, кто-то невидимый пел унылую башкирскую песню.

Надежда Константиновна жила тогда в крошечной комнатушке. На столе кипел и фыркал помятый, но ярко начищенный медный самовар — чай пили с кренделями, с бубликами. Сынишка, то ли хозяйки, то ли соседки, посвистывал, сидя на завалинке под окном, караулил, чтобы не совались к окошку чужие, — а их, шпиков, в те годы развелось предостаточно.

Крошечная девчушка, беловолосая и синеглазая, все топталась возле стола, лукаво поглядывая снизу вверх, пока Надежда Константиновна не взяла ее к себе на колени.

— Борьба предстоит жестокая, товарищи, — говорил тогда Ульянов, внимательно оглядывая сидевших за столом, — было человека четыре, кажется, — теперь Иван уже не мог в точности вспомнить — кто. Цюрупа? Свицерский? Кто-то еще из мастерских? — Жестокая и беспощадная! Царизм не остановится ни перед чем, чтобы вечно держать в рабстве рабочий класс. Надо по крупнице собирать силы, надо готовиться к решительной схватке, она не за горами...

Надежда Константиновна смотрела на гостя влюбленными глазами и все подливала ему чай. Но поговорить как следует не дали — заглянул «на огонек» околоточный, пыхтя и отдуваясь, тоже выпил стакан чая, пожелал господину Ульянову скорейшего дальнейшего следования, «ибо возможны осложнения», и ушел.

А вскоре уехала и Надежда Константиновна, и уже не горел допоздна бессонный огонек лампы за легонькой занавеской на углу Тюремной и Жандармской...

А судья все продолжает читать:

— ...Военную силу пришлось применить для усмирения забастовщиков на Самаро-Златоустовской железной дороге лишь один раз, на станции Уфа, 9 декабря. Станция эта выделялась из других своим беспокойством еще в середине ноября в главных мастерских, а 17 ноября в депо мастеровые и рабочие самовольно установили восьмичасовой рабочий день...

Да, они не только установили восьмичасовой рабочий день, они избрали Совет рабочих депутатов, так же, как он был избран в Питере, в Москве, в Иваново-Вознесенске и во многих других городах России. Восстание было подавлено, убито на допросах, на виселицах, прошло по торным каторжным путям Сибири. Но оно не было напрасно, — об этом и думал Якутов, глядя в лица своих судей... За несколько дней до ареста, когда он прятался по ремонтным ямам в Харьковском депо, машинист Звонцов вместе с хлебом и ливерной колбасой принес ему затертую, зачитанную до дыр листовку — приказ штаба краснопресненских боевых дружин:

«Мы начали. Мы кончаем. Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это — ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству...»

А что, разве у них, у уфимских железнодорожников, нельзя поучиться тому же упорству?

Синие столбы дыма в морозном блеклом небе, сизые голуби, последний или предпоследний день его жизни... Смертный приговор он выслушал спокойно, он был готов к нему. У него даже нашлось сил усмехнуться разбитыми губами:

— Придет и ваш час, благородия! Поболтаетесь и вы, ваше превосходительство, с пеньковым украшеньицем на шее...

Но нет, он ошибся, это еще не было концом, это была попытка взять на испуг, устрашить его видением виселицы, заставить говорить, плакать, умолять о пощаде, о сохранении жизни.

И когда он уже готов был уйти из «зала суда», председательствующий жестом остановил конвоиров.

— Погодите...— Теперь он смотрел на Якутова почти отеческим, теплым и жалеющим взглядом, его глаза в красноватых прожилках подернулись усталой грустью.— Слушайте, Якутов... Есть еще возможность изменить все... Ваше преступление безусловно заслуживает самой жестокой кары, которая и определена судом. Но... мы совещались между собой. Если вы чистосердечно сознаетесь во всем, назовете, кто были вашими соавторами, с кем вы общались в Харькове и Самаре, мы готовы еще раз вернуться к определению меры взыскания... Вы — человек молодой. У вас семья. Неужели ради детей своих вы не поступитесь преступными идеями, которыми вас вдохновляли на разбой?.. Мы обещаем вам, что вы получите возможность уехать отсюда и начать новую честную жизнь...

Якутов всматривался в лица сидевших перед ним. У председателя суда тоже, наверно, куча детей, и он любит их и заботится, чтобы они выросли преданными престолу, чтобы кто-то из его сыновей занял через несколько десятков лет вот это судейское кресло и вершил суд и расправу над такими, как якутовские Ванюшка и Маша... И так же лицемерно жалея, будут обещать жизнь за предательство, за измену всему, чему веришь...

Второй член судилища, в пенсне, тот деловито рассовывал по карманам персигар, часы, складывал лежавшие перед ним бумажки, на которых он все время рисовал женские головки со вздернутым капризным носиком. Этот, наверно, желчен и зол, и дома все у него ходят по струнке, боясь дышать, когда глава семейства не в духе, когда он проигрывает лишнюю красненькую или когда у него с перепоя трещит голова...

— Так что же, Якутов? — снова прозвучал благожелательный голос председателя.— Мы охотно допускаем, что вы — только слепое орудие смуты, которую сеют в государстве враги правопорядка — они всегда и всем недовольны. Но вы же... вы простой русский человек, вас не могла тронуть ржавчина крамолы, вы существом своим преданы престолу царя, помазанного на царствие самим богом...

Якутов потрянул руками, звякнули наручники.

— А я, ваше превосходительство, всегда...— он долго подыскивал слово,— обожал, так, что ли, сказать, нашего царя Николая Александровича... Особо после 9 января пятого года, когда перед его дворцом было убито нашего брата больше тысячи человек да несколько тысяч поранено. Тут он сам-то, царь, без божьей помощи, разве управился бы? Да ни в жизнь... Тут без божьего соизволения где же одному человеку управиться? Даже ежели у него помощнички вроде вас...

Глаза у председательствующего снова стали тусклыми и опять в них скользнула ненависть, словно приправленная страхом...

— Уведите!

На тюремном дворе арестанты-плотники уже кончали сооружать виселицу. С порога корпуса Якутов оглянулся на виселицу и усмехнулся: вот он «суд скорый, правый и милостивый»,— приговор еще не был вынесен, еще не было прочитано: «к смертной казни через повешение», а виселица уже строилась...

Когда за ним с ржавым скрежетом захлопнулась дверь камеры, он подумал еще: «Хорошо, что ни Наташа, ни дети ничего не знают»...

5. «БЕЖАТЬ ИЗ ТЮРЬМЫ БАТЕ НАДО!»

Он ошибался, жена уже многое знала. В конце октября поздно вечером она вернулась с фабрики и, покормив детишек, укладывала их спать. В дверь осторожно стукнули три раза—так стучали к Ивану только друзья.

Тускло горела на столе, чадила остатками керосина трехлинейная лампешка, от ее света по бревенчатым стенам расплзались лохматые тени. Младшая дочушка, которая родилась уже после того, как пропал Иван,— ей только-только исполнился год,— недавно уснула, и Наталья сидела над ней, понурясь, безрадостно думая о будущем. От друзей Ивана, оставшихся в мастерских, она знала, что Ивану удалось бежать от жандармов и где-то возле разъезда Воронки он вскарабкался на ходу в тамбур идущего в Россию товарняка, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Изредка к ней навевались из мастерских узнать— не было ли весточки, передать что-нибудь детишкам. Слава богу, не забывают. Приходили и женщины—кто-кто, а уж женщина в беде куда больше понимает, чем любой мужик... Они-то, бабы, и рассказывали, как свирепствуют по всему Уралу и Сибири царские суды...

Наталья неподвижно смотрела на огонек лампы. На хозяйской половине залиvisto храпел кто-то, шуршали в стенных пазах тараканы, глухо стучала за окошком деревянная колотушка сторожа, изредка злобно взлаивали псы.

Хотя и уставала Наталья на фабрике за одиннадцать часов до изнеможения, хоть и ныли всеми косточками спина и ноги, сон не шел и не шел. И все думалось про Ивана, где, что с ним? А слухи ползли и ползли, один тревожнее, страшнее другого: во всех больших городах вдоль чугунки идут суды над машинистами и кочегарами, над слесарями и токарями— за декабрьскую смуту, за советы, которые против царской воли выбирали, за восьмичасовой день. А ведь и их, мужиков, пожалуй надо бы— не железные. Бывало, Ваня придет со смены, так, не сняв обуви, и валится в сон. А утром— спать бы да спать, а уже режут гудки эти окающие, опять краешку в рот и бежать— на весь день, до позднего вечера...

В тот октябрьский вечер она, уложив детей, села к столу и латала сыновьи штанишки. Дети спали прямо на полу, подложив под голову старый промасленный отцовский пиджак.

Уронив на колени шитье, заслонившись ладонью от лампы, Наталья всматривалась в худые лица детей. Как вырастить их, как довести до дела? Ванюшка вон какой тощей стал!.. Может, и впрямь отдать его в подмастерья к дяде Степанычу— портные завсегда в достатке живут...

Как раз в это время и стукнули в дверь условным стуком. Кто? Кто там? Она вскочила, прижимая к груди руки... А может...

Поспешно распахнула дверь, из сеней дунуло крутой осенней стужей— билась и крутилась в улицах первая в том году метель.

— Кто? — спросила Наташа, сиюсь разглядеть в полутьме лицо пришедшего.

— Залогин это, Наталья... — Сняв у порога шапку, пришедший отряхнул ее от снежной крупы, отряхнулся сам. — Ребятишки спят?

— Ага. — Наташа смотрела на Залогина с надеждой. — Проходите, Матвей Спиридоныч...

— Пройду, пройду. — Залогин отер сивые, по-хохлацки свисающие усы, осторожно покашлял в кулак. — Как живешь, Наталья? На фабрике не забижают?

— А уж больше куда забирать, Матвей Спиридоныч? И рады бы, наверно, да некуда... Проходите сюда, Спиридоныч... Чаю не заварить вам?

Залогин уселся у стола, посматривая вниз, под ноги, где разметались на полу дети.

— Чай-то поворовываешь, поди? Обижаеть господина Высоцкого?

— Обыскивают дюже, Спиридоныч. Боюсь.

— Боишься-то боишься, а ишь сколько заварила...

— Жить-то надо...

Наташа сунула в недавно протопленную, еще неостывшую печурку фарфоровый чайник с отбитым носиком, суетясь без меры, ожидая и боясь рассказа Залогина.

— В мастерских как, Спиридоныч?

— А так же, как до пятого, только еще больше прижали нашего брата. Обыски бесперечь, дознания всякие, зачинщиков ищут... Того и гляди, там же очутишься, где твой Иван...

Наташа обмерла.

— Неужто взяли? — она задохнулась от этих двух слов.

Залогин не сразу ответил, прижигая от лампы сигарку.

— Затем и пришел... Днями ребята выглядели... Мы теперь, как столыпинский вагон где к поезду цепляют — по всей дороге знаем. Ну и глядим, кого куда волокут... На телеграфе остались еще наши, не из всех душу в собачью конуру загнали. Ну и сообщают... И вот третьего дня, значит, стало известно: везут полон вагон — а кого куда, пока не дознались. Ну и следим по станциям, кого где сымают...

В печурке засипел, заплывался чайник, и Наташа, обжигая руки, налила чаю в синенькую эмалированную кружку.

— Попейте, Матвей Спиридоныч. Попейте.

И снова села и не спуская глаз следила, как он глубоко затягивается дымом, как глотает черный, похожий на деготь чай.

— Третьего дня, стало быть, вагон прошел через Уфу. Сняли с него четверых, погнали к тюряге. И один из них будто Иван... Стали мы через тюрьму узнавать, там тоже людишки на денежку падкие водятся... И подтвердилось: Иван. И будет ему здесь, вроде, суд, за все декабрьские наши дела... Вот ребята и рассудили: не пойти ли тебе передачку ему снести и сигнал подать: дескать, знаем. Ты — жена, от тебя должны взять. Ну, табачишко там, исподнее, хлеба кусок... Тут, Наталья, ребята кое-чего пособрали — знаем: у тебя не густо... — Он выложил из карманов на стол две осьмушки табаку, две книжечки рисовой бумаги для самкруток, два кругленьких калача, кулек с сахаром.

— Тут, главное, считай, не курево, скажем, или там сахар. А весть чтобы ему подать, дух в нем поднять, дескать все знаем. И станем думать...

Теребя на груди пуговку кофты, Наташа смотрела неподвижными глазами и не могла сказать ни слова. Потом глубоко вздохнула, легко всхлипнула:

— Живой, значит? Живой, Спиридоныч?

— Живой, Наталья... И скажи спасибо богу: Меллер-Закомельский

сейчас убрался отсюда, — может, кто другой станет Ивана судить. А тот никого не миловал. Одно слово — зверь... Ну, достигнут когда-нибудь его наши руки!

— Спиридоныч! Милый вы мой! Не отступитесь вы от Вани! Ведь кроме вас — кому помочь! А? — И схватив огромную заскорузлую руку Залогина, лежавшую на столе, прижалась к ней губами, лицом.

Тот сердито отдернул руку, встал:

— Сказано: думать будем!

На другой день до света Наталья пришла к тюрьме, принесла и табак, и калачики, и самодельную лепешку в узелок положила, на ней, на корочке четыре мордочки нацарапала: думала — может поймет, дети все живы. А чего же еще сделать? Записочку в лепешку запечь, в сахарный кусок замазать — так ведь говорят, каждую лепешку тюремщики разламывают, каждый кусок сахару пополам колют. И положила еще старенькую рубашку, синюю в белых полосках — в ней Иван под венец ходил, — эту он не мог не узнать, ежели, конечно, не забили до полу-смерти.

Но в тюрьме передачку не приняли, выкинули назад в воротное окошко, сказали: «Не положено! Поди прочь!» И она ушла, думая: а может, и в живых уже нет? Но ребята опять узнали: Иван живой и идет ему следствие — Плешаков ведет, — и будет, наверно, суд, а к чему приговорят — неизвестно, хотя жалости по нынешним временам ждать нечего.

Она пришла домой, и испеченную ночью для Вани лепешку, как просфору, разделила детям, хотя и не сказала ни слова. Вдруг, подумала, бог есть, и детская молитва, хотя и без слов, дойдет до святых ушей. Ну пусть срок, пусть каторжный, не дадут же на всю-то жизнь, — она дождеться и детишек подымет. И не пошлет она своего старшенького в подмастерья к дяде Степанычу, чтобы учился там спину гнуть перед каждой золотой пуговицей, пусть всю жизнь мозоли да разбитые сапоги, только бы — честность, только бы не исподличался...

Прошли первые метели октября, лег снег, и каждый день тянулся как год, и к тюрьме никак нельзя было подступиться, Много раз Наталья ходила к ее глухим воротам, подолгу стояла там, пока не гнали от ворот. И часовые на вышке смотрели из воротников бараньих тулупов строго, а за стенами тайлась тишина, словно там не жила тысяча людей, а раскинулся большой тихий погост... Иногда с вокзала пригоняли новую партию арестантов — лица изможденные и серые, на руках и ногах у многих кандалы звенят...

И на фабрике бабы относились по-разному. Одни жалели, украдкой совали в руку кусок пирога для детишек, бормотали утешительные слова. А жена тюремщика Присухина однажды кричала в отхожем месте, что таких, как Наташка Якутова, следом за мужем на каторгу посылать надо! Мутят-де народ, нет от них никакого покоя: на царя, на венценосца, на славу России руку подлую подымают. Ах, как хотелось Наташе хоть раз вцепиться в рыжие патлы этой сучки! Присухина сама не работала, не знала, что такое мозоли, а только надзирала за другими, ходила и покрикивала, мастеров на штрафы науськивала... Дома у них теплынь, и поесть ребятишкам, наверно, есть чего, и никакая беда над ними не висит ежечасно...

В тот вечер, проводив Залогина, Наташа тихонько, чтобы не греметь запорами, закрыла дверь и вернулась в свою комнатку. И тут увидела, что Ванюшка не спит, а сидит на постели и глядит на нее ожидающим взглядом. Сначала она растерялась, а потом, скрывая смущение и тревогу, спросила:

— Все слышал, сынок?

— Да.

И Наташа села на пол, рядом с разметавшимися во сне девчушками, рядом со своим старшим, и, обхватив руками его худую жилистую шею, заплакала. Она плакала, а сынишка сидел, не шевелясь, и смотрел в полутьму перед собой.

— Стало быть, все слышал? — переспросила еще мать, вытирая слезы.

— Не глухой, — грубовато отозвался он.

Ванюшке кончался тринадцатый год, и не было, конечно, дива, что он все видел и понимал: горе не только мучит, а и учит. Через месяц после того, как сгинул отец, Ванюшка пошел подсобничать на чугуполи-тейный, а после работы каждый день собирал в шлаковых отвалах уголь.

Наташа не понимала, что Ванюшка теперь чувствовал себя старшим в семье, заместо отца, — кому же еще заботиться о малышах, если не ему. Мать одиннадцать часов мается на чаеразвесочной, приходит домой, так пальцы у нее прямо деревянные — не гнутся совсем, Ванюшке приходится все по дому делать, и платышки сестренкам постирать. Сла-сибо еще, хозяйка, старенькая Артемьевна, не злобится, входит в положе-ние, приглядывает, а то бы совсем пропадать...

— Ты, мамка, не плачь, — строго сказал тогда Ванюшка. — Слезы вроде воды, никакой от них пользы...

— А чего же делать, Ванечка? — Она спрашивала так, словно сын был старше, словно он мог сказать нужное слово.

— Бежать из тюрьмы бате надо, — решительно сказал Ванюшка. — Бежать, пока до смерти не засудили.

— Да как же бежать, миленький? Стены-то, видел, какие? Птицей была бы — перелетела...

— Птицей-птицей! — рассердился Ванюшка. — В стенах ворота есть. В ворота-то каждый день люди проходят...

— Туда проходят, миленький, а обратно — вперед ногами выносят! Уж сколько, говорят, повесили, — и закопать-то по христианскому обы-чаю не дают, ироды...

— Я не о тех, мамка...

Ванюшка думал о другом. Два года назад ходил он в начальные классы школы вместе с единственным сыном Присухиных — тихоньким, незлобивым Серафимом, в длинной, на вырост, бекеше — ее перешили, как хвалился сам Симка, из перелицованной отцовской тюремной ши-нели. Симка был непохож на отца, рослого и здорового мужика, — неда-ром же Симку с первого же класса прозвали монахом, девчонкой и дру-гими обидными прозвищами. Симка на прозвища не обижался, он только улыбался в ответ. И как Ванюшка ни ненавидел с малых лет тюремных служителей, к Симке он не питал злобы, — наоборот, мальчишка вызы-вал чувство жалости своей беззащитностью, своей монашеской кротостью... Другие кичились богатством отцов, грубили учителям, лупили по чем свет стоит тех, кто боялся дать сдачи, — их Ванюшка ненавидел непри-миримой ненавистью. И не раз дрался с ними, иногда просто так, чтобы дать выход злобе. Один раз — это когда железнодорожники первый раз бастовали и дети их сидели, как говорят в Сибири, голодом, — Пшебыж-ка, сын торговца москательными и колониальными товарами, разложил на своей парте хлеб с маслом и икрой и какие-то диковинные желтые фрукты, похожие на большие яблоки. И на виду у всего класса, поло-вина которого голодала, принялся жрать. Ванюшка подошел и смахнул еду с парты на пол и, пока его не оттащили, топтал хлеб и икру, пинал апельсины...

Так вот, слушая Залогина, Ванюшка и вспомнил о Симке — тихонь-кий мальчишка всегда тянулся к нему. Раза два Симка зазывал Ва-нюшку к себе в дом — там были всякие диковинные вещи, о которых

Ванюшка даже представления не имел,— скажем, граммофон. И еще Симка без памяти любил голубей, хотя — какой уж из такого тихони голубятник, он даже встать на крыше во весь рост боится.

И вот, купив на последние деньги красивую шилохвостую голубку, Ванюшка и пошел к Симке. Ему пришлось долго стучать в калитку высоких ворот, за которыми лаял, брэнча цепью, не признающий старых знакомств Султан, большеухий, черно-белый пес. Наконец скрипнула на крыльце дверь, и голос Симкиной бабушки сердито спросил:

— Кто тама?! Все свои дома. А милостыни не подаем.

И Ванюшка не решился назваться, не решился откликнуться — так и ушел от дома Присухиных, унося за пазухой шилохвостку. Дома, когда он насыпал голубке хлебных крошек, мать сердито спросила:

— Чего еще удумал? Дома жрать нечего, а ты снова с голубьями возиться станешь?

Ванюшка ответил не сразу. Присев возле голубки на корточки, поглядел, как она неторопливо и с разбором клюет.

— Я к Присухиным ходил. Симка голубей любит...

И мать сразу поняла, робко присела рядом на корточки и, помолчав, глухо спросила:

— Узнал что?

— Не в час попал... В воскресенье пойду.

— Голубя Симке подаришь? Да? Это здорово придумал, Ваня. Может, что и узнаем про батю.

— Дарить! — усмехнулся Ванюшка. — Ежели дарить, сразу поймут: не зря. Продавать понесу.

Мать встала, принесла из кухни горсточку пшена, высыпала перед голубкой.

— Гуль-гуль, милая. Ты — ешь...

6. ВАНЮШКА И ХМЫРЬ

В воскресенье Ванюшка застал Симку во дворе, тот что-то мастерил на отцовском верстаке под навесом. Симка обрадовался товарищу, отложил шерхебель, отряхнул с пиджака курчавые липовые стружки. Укоротив у Султана цепь, приказал ему:

— Куш тут! Куш! — и мальчишки уселись рядышком на крыльце.

— Чего же ты в школу не ходишь? — спросил Симка. — Без тебя скушно.

— Работать пошел, — неохотно отозвался Ванюшка. — На чугунолитейном оббойщиком работаю, заусеницы молотком сшибаю. Матери одной трудно. Батка-то мой в вашей тюрьме сидит.

Симка кивнул:

— Ага. Папаня сказывали.

Ванюшка проглотил подступившую вдруг слюну.

— Здоровый он? Отец ничего не рассказывал? И суд ему, что ли, будет?

— Об этом папаня не сказывали, — равнодушно отозвался Симка. — Там их больше тыщи сидит. Про всех не расскажешь. А чего у тебя в пазухе?

— Это? — переспросил Ванюшка. — Голубку несु продавать. Жалко, да возиться времени вовсе нету.

— А ну, покажи! — карие глаза Симки загорелись, заблестели.

Ванюшка достал из-за пазухи красивую, белую, в рыжих подпалинках птицу. Сидевший за спиной мальчишек жирный сибирский кот Башкир хищно выгнул спину.

— Пшел, Башкирка! — Симка ткнул кота кулаком в морду. — Ух ты, красивая какая! Сколько просишь?

— Целковый.

— Дорого больно! За целковый в базарный день штук пять купить можно.

— Можно, да не таких...

Голубка пугливо косилась в сторону кога.

— Целковый! А мне папаня в воскресенье только по гривеннику на карусель да на пряники дают.

— А ты у мамки спроси.

— У мамани денег нет — папаня завсегда при себе деньги держут...

— А вдруг он даст... Дома он?

— Утресь с ночного дежурства пришли. Теперь чай пьют.

— Вот и спроси. Не съест.

Симка нерешительно встал.

— И то! Только знаешь чего, Вань? Айда и ты со мной? А?

У Ванюшки все дрожало внутри от нетерпения, но он с деланной неторопливостью поднялся со ступенек.

— Как хочешь. Я и ему скажу: меньше чем за целкаш не отдам. Она, знаешь, мне в прошлом году сколько голубей привела? Рубля на три на базаре наторговал. Она себя всегда оправдает.

— И про это скажи. Дай-ка ее мне...

Василий Феофилактович Присухин в одном исподнем сидел на кухне за выскобленным до желтизны столом и, дуя в блюдечко,пил чай. На столе пофыркивал самовар. Жена надзирателя, рыхлая полнотелая Ефимия, сидела напротив мужа, наливала ему стакан за стаканом, придвигала варенье, пироги... И сама пила, не отставая, вытирая лицо переброшенным через плечо вышитым полотенцем.

Ванюшка остановился у порога, не решаясь пройти дальше. В застланной самоткаными половиками прихожей, через которую они прошли, в глаза ему бросилась черная шинель, форменная тюремная шапка. На полке над вешадкой желтели тщательно уложенные столярные инструменты — рубанки, шершебки, два фуганка, висели всевозможных размеров струбцинка. Когда-то, еще до поступления в тюрьму, Присухин столярничал, делал детские колыбели и гробики, бабьи прялки и рамки для портретов и фотографий. Потом, как определился в тюрьму, нужда прошла, работу со стороны брать перестал и столярил теперь только «для души». В горнице, куда с кухни была распахнута дверь, стояли поделанные хозяином стулья с высокими резными спинками, и на каждой спинке, как и на шинельных пуговицах, — двуглавый орел. В переднем углу по случаю воскресного дня теплилась лампадка голубого стекла, похожая на диковинный цветок.

Все это Ванюшка сейчас увидел сразу, хотя и раньше бывал в этом доме, но не замечал ничего.

— Чего тебе, Симушка? — спросила от стола мать. — Еще почаявничать захотел?

— Не, маманя. Вот Ванюшка голубку несет продавать. Погляди! Красивая, прям глаз не оторвешь...

Не обращая внимания на стоявшего у порога Ванюшку, Василий Феофилактович и его жена по очереди потрогали голубку, она косилась на их руки красным круглым глазом.

— Тошя. Вовсе заморенная, — с грустным осуждением сказал Василий Феофилактович. — Ей конопляное семя полагается, тогда в тело войдет... А чего ж он продает? Га? — спросил он, все еще не глядя на Ванюшку.

— А потому, дяденька, — отозвался от порога Ванюшка, — кормить нечем. Летом-то она у меня справная была. Шестерых голубей на крышу привела, от самого Насхутдинова даже...

— Не может быть того, — с сомнением покачал головой Присухин. —

Насхутдиновские на чужую крышу не полетят. У татарина голубь сытый, ухоженный...

— А вот прилетели...— упрямо повторил Ванюшка.

Василий Феофилактович, полуобернувшись, в первый раз внимательно оглядел Ванюшку.

— Погоди, погоди, малый. Я тебя игде же видел? Га?

— А у нас и видели, папаня,— ответил за Ванюшку Симка.— Он к нам в позапрошлом годе сколько разов заходил. Запоматовали вы.

Василий Феофилактович, неотрывно глядя на Ванюшку, встал из-за стола, подошел к двери.

— А ты чьих же будешь?

— Якутовых,— хрипло выговорил Ванюшка.

Лицо Василия Феофилактовича построжело, вытянулось, глубже прорезались кривые складки от крыльев носа к углам губ. И глаза словно налились холодной светлой водой.

— Ивана Степанова Якутова? — спросил Присухин строго. Наверно, таким голосом он разговаривал с арестантами в тюрьме.

Ванюшка кивнул, с трудом сдерживая охватившую его дрожь.

— Н-да,— многозначительно протянул Присухин, вздохнув.— Вот до чего доводит забвение своего места и отечества и всех покровителей наших. Брал бы Иван пример с брата своего Степаныча. Вся губерния его уважает, вся управа в его пальтах да шинелях сколько годов ходит. И в почете человек, и в достатке. И в церкви божьей — кажное воскресенье. Вот и нынче за обедней его видел: стоит, молится — все как следует быть. И свечи перед иконами поставил, и на поднос пономарю рублевую бумажку выложил, и на паперти нищей братии по копейке бросил... А хотя и замаливать человеку будто бы нечего — грехов за ним не числится...

Ванюшка стоял, стискивая кулаки. С тех пор как сгинул отец, дядя Степаныч только один раз заходил к ним, чтобы уговорить мать просить за мужа у царя прощенья. Наташа спросила его: «А за чего же мне прощенья просить? За голодную нашу жизнь, что ли? За угол, в котором как собачата, детишки на полу в рванье спят? За то, что Ивану в Иркутской тюрьме два ребра повредили? Еще за что? — Она подошла к двери и широко распахнула ее: — Идите-ка вы, Степаныч, по своим святым делам, идите в хоре церковном святыя молитвы пойте, за богачество свое господя-бога благодарите. А тут, у нас, у нищих да у крамольников, что ж вам делать? Еще беды наживете». — Степаныч вздохнул, перекрестился в пустой угол, кротко сказал с порога: «Я на тебя, Наталья, зла не держу: злоба твоя от неведения, от неразумения... А ежели будет нужда — мучицы там, одежонку ребятишкам — мой дом тебе завсегда открыт. Не чужие...»

Это воспоминание промелькнуло в памяти Ванюшки, но он ничего не ответил Присухину — стоял и смотрел, как шевелятся у того рыжие брови. Надзиратель повернулся к столу, на краю которого, ожидая своей участи, покорно сидела голубка. Симка слегка придерживал ее рукой, не пуская к миске с пирогами.

— Папаня, купите вы мне эту голубку,— попросил Симка.— До весны в клетке жить станет, а весной снова голубятню заведу...

— Голубь — птица божья, безвредная, ее купить греха нету. Ежели не купить — глядишь, и заморят до смерти.— Присухин подошел к висевшей на стене форменной тюремной тужурке, достал из кармана потертый кожаный кошелек.— На вот тебе, малый, другривенный, и еще на вот гривенник, пушай божья птица живет.— Протянув монетки Ванюшке, он поманил его к столу.— Да ты чего стоишь у порога вроде как статуя? Не к зверям пришел, к людям. Мать, налей-ка ему чаю, пусть с пирогом попьет. Проходи, малый...

Ванюшка несмело сел на краешек лавки. С недоумением поглядывая на мужа, Ефимия налила чашку чаю, придвинула мальчику.

— Пей с богом.

Обжигаясь, Ванюшка пил чай, глотал, почти не жуя, пирог с мясом, а Присухин сидел напротив и с какою-то даже скорбью разглядывал его. Потом заговорил, и в голосе тоже слышалась жалость.

— Ты на меня не серчай, парень, за верное мое слово, а дурной у тебя батька. Его начальство по-хорошему просит: повинись, мол, Якутов, поклонись царю-батюшке, может, и выйдет тебе по злодейству твоему какая поблажка. Так нет, молчит, словно пень дубовый, будто все слова позабыл. Я у него же в продоле, бывает, дежурю, и я ему сколько раз говорил: «Повинись, Иван, плетью обуха не перешибешь». Нет. Шипит, все равно как змей, нет в нем никакого человечества. И к вам, к детишкам, которых нарожал цельный короб, тоже нет у него снисхождения... Не жалеет он вас, не любит... Его спрашивают: с кем смуту заводил, кто где теперь хоронится? — Молчит. Спрашивают: в Харькове, в Самаре кто дружки твои — назови — помилуем. Молчит...

— А вы слышали? — шепотом спросил Ванюшка.

— Чего? — насупился Присухин.

— Ну вот, как спрашивали его?

— Как же! Я тут же у двери стоял, за порядком приглядывал... И опять же интересуется господин следователь Плешаков, кто теперь к вам в дом ходит, кому ты свое тайное дело препоручил? И снова — молчит... Ты вот, малый, видать, не глупый. Я тебе по секрету скажу: ты мог бы... отцу помочь... из смертной ямы его вызволить... Ты ведь помнишь, кто в дом хаживал, а кто и теперь нет-нет забежит по ночному делу, на огонек... Чего они, так сказать, думают, чего супротив замышляют? Га? Ты бы вот припомнил все, обсказал мне, я — по начальству, так мол и так, сынишка Якутов нам в помощь пришел, сделайте отцу его поблажку. Глядишь, и облегчает участь. А то и вовсе из острога выпустят. Га? Вот, скажем, кто из мастерских, из слесарей да из машинистов, к мамке заглядывает, об чем речь ведут. Поди-ка, понимаешь — не маленький?

Ванюшка молчал, до боли стискивая под столом кулаки... В голове путались, мешали одна другой разные мысли. Может, и правда, если сказать про Залогина, да еще про младшего братишку Олезова, что на днях поздно вечером забегал к мамке, — если сказать про все, может, и правда отцу облегчение в тюрьме выйдет?

Василий Феофилактович доставал из пачки папироску «Тары-бары». Он сейчас казался Ванюшке добрым: лицо не хмурится — мягкое, улыбочное, — и в глазах нет ни зла, ни настороженности. Ну что ж в том, что работает в тюрьме, — там всякие сидят, и настоящие разбойники, и убийцы, и воры, их и полагается караулить, чтобы не воровали да не убивали. А батя что же? Он ведь за правду, и кто судить его станет — должны разобраться...

— Я дядю твоего Степаныча, — продолжал Присухин, закурив, — очень даже прекрасно знаю. Раньше мы каждый вечер бывало в шашки схлестывались, — ну и мастак он в шашки — Степаныч! Король, можно сказать. Чуть проглядишь, тут тебе и сортир на три, а то и на четыре персоны состроит. А то и дамочку где в углу прижмет — вот какой человек! А как с отцом твоим это безобразие приключилось — перестал Степаныч ко мне захаживать — сам понимает: я лицо казенное, при царском деле состою, и мне с Якутовым братом вроде не положено в шашки играть. Хотя, по совести, греха не вижу... Закончится Иваново дело, все придет в спокойствие, в порядок, опять, глядишь, мы с Степанычем наладим наши стражения... Дока он, высокой гильдии дока, прямо скажу, хотя, конечно, и обидно проигрывать...

Ванюшка сидел на краю скамейки ни жив, ни мертв. Как помочь батьке?..

А Присухин, будто и позабыв об отце Ванюшки, почесывал в открытом вороте рубашки вспотевшую от чая, поросшую золотистым пухом грудь, задумчиво пускал к потолку дым, запрокидывая голову и выпячивая кадык. Симка продолжал возиться с голубкой. Ефимия убирала со стола посуду, пироги, чашки...

— Ну и как, парень? — спросил Феофилактович, осторожно стряхивая с папиросы пепел в жестяную ладонку пепельницы. — Или неохота тебе отцу в смертной беде на помощь прийти? Га?.. Я ведь тебе все досконально обсказываю. И когда будет суд, ежели Иван не повинится, своих дружков, товарищей по всему этому безобразию не назовет, — не миновать ему петли, парень.

Смертельно поблдев, Ванюшка привскочил на скамейке и снова в изнеможении сел. Кровь отлила от губ, они стали синевато-белыми, как у покойника. Василий Феофилактович мельком взглянул на него и занялся своей папироской — она курилась неровно, с одной стороны.

— Ну так чего ты мне скажешь, парень? — снова спросил Присухин, старательно притушивая в пепельнице папиросу. — Теперь, я так полагаю, отцу твоему только что со стороны и можно в помощь идти. Сам ни слова говорить не желает, супротивится все, с начальством, со штаб-ротмистром, а то и с самим товарищем прокурора Окружного суда господином Шеерером на рожон лезет. — Присухин сокрушенно вздохнул. — Ну, как такое можно позволить? Га? Ну, поднял на престол руку, ну и повинись, признай. Ведь это слово сказать: престол! — Он вскинул вверх толстый прокуренный палец. — Престол!.. И теперь, дурак, молчит. Так и загубит свою жзнь, и семья вся по ветру рассеется. Где матери этакую ораву выкормить?.. Поди-ка, на чаеразвесочной?

Сглотнув набивающуюся в рот слюну, Ванюшка кивнул:

— Ага...

— Ну вот... И сколько же вас ртов? Га?

— Нас четверо. И сама мамка.

— А ты — набольший, что ли?

— Да.

— Ну, тебе и помогать. Ты же — парень, мужик, тебе пропитание в дом надо нести... Да и в тюрьму отцу, поди-ка носите? Га?

— Не берут, дяденька.

— Как то есть, не берут?! — Присухин поднял на лоб пышные рыжие брови. — Нет такого порядку, чтобы не брать. Не по закону. Какой там ни есть государственный, сказать, преступник, а взять ему передачу от сродников — такого запрету нет...

— Мамка носила. Назад выкинули...

Василий Феофилактович снова почесал в вырезе ворота грудь.

— Я в этом деле разберусь, парень... Пусть-ка она завтра снова принесет — примут.

— Вы поможете? — обрадовался чуть не до слез Ванюшка.

— Все сделаю. Пусть приходит. Только чтобы запрещенного, конечно, ни-ни!

Ванюшка быстро расстегивал и застегивал полуоторванную пуговицу на пиджаке.

— А ежели... а ежели он, дяденька Василий, смолчит, чего же ему тогда?

Присухин вздохнул, покосился в передний угол, где тихим бестрепетным пламенем горела лампада.

— Так ведь что, парень... Ежели сам не хочет спастись да никто со стороны не окажет — тут дело, прямо повторяю, веревкой пахнет. И когда суд свое дело вырешит — поздно будет локоточки кусать...

— Повесят? — шепотом спросил Ванюшка.

— А как же, милый? Ты гляди: смута-то, смута какая по всей стране идет-катится, прямо страх сказать... Ведь ежели этот пятый год вспомнить — волосы дыбом встают. Вот слушай, парень.— Василий Феофилактович разволновался, лицо его покрылось багровыми пятнами.— У нас ведь в тюрьме все самые государственные новости — в первый черед... Вот гляди. В генерала Трепова в Питере стреляли? Стреляли. Мало-мало не убили. Во время водосвятия на Неве в царский павильон картечью палили? Палили! А ведь там император со всей святой семьей пребывали... Опять же — в Москве злоумышленник Каляев великого князя Сергея Александровича из пистолета повалил наповал? Это как? Га?.. И ты что же думаешь: их всех, этих убивцев, миловать? Так они же всю царскую фамилию на распыл пустят, под корень срубят!.. Не может им быть никакой пощады! — Лицо надзирателя налилось кровью, светлые глаза, с маленькими, едва видимыми зрачками сердито блестели.— Вот ты и суди, парень, какой будет по теперешнему времени отцу твоему суд, ежели не раскается, за ум не схватится? Может он милости ждать? Да ни в жисть!

— Дяденька... Ну, а если... кто-нибудь скажет про других... бате будет облегчение?

— А как же! Милый ты мой! Нынче сказать, он всю вину на себя одного берет, за всех вроде ответчик, а ежели грех и на других разложить, ему же поменьше останется? Возьми, к примеру, воз, впряги в него одну лошаденку, тяжело ей? А ежели пару запречь, а то тройку, или еще, сказать, цугом? Тут и дураку ясно...— Василий Феофилактович звучно зевнул, мелко перекрестил рот.— Поспать, что ли? Дежурство нынче тяжелое было, одна бабеночка, из Питера ведут в город Енисейск, всю ночь плакала, кричала в голос да песни пела. Молоденькая, тоненькая такая, соплей перешибешь, а карахтер — не приведи бог! Вепря! — Присухин встал.

Напрасно стараясь унять дрожь в коленях, тиская в руках рваную шапчонку, Ванюшка отошел к двери. В голове все помутилось от страха за отца, от жалости к нему, от собственного бессилия. Что делать? Что делать? Раньше, когда было в жизни что трудное, шел к батяне — тот послушает, посмеется, скажет слово, и — все станет просто и легко. А теперь к кому пойти?

Василий Феофилактович остановился на пороге спальни, подумал, потирая одну босую ногу другой. Потом строго оглянулся на Ванюшку.

— Только слышь, парень, ты об нашем с тобой разговоре — никому ни гу-гу! Понял? Ежели надумаешь отцу в помощь прийти, вспомни все, что было у вас в дому, приходи ко мне — вот когда выплюсь, — да и обскажи. Нынче воскресный день, ни следствия нынче, ни допросов, ни суда никому нету... А ежели мы с тобой к завтраму обдумаем про помощь, значит — аккурат ко времени придется... И, говорю: никому ни-ни! А ежели ты мне все перескажешь, я тоже — могила! Понял?! А батьке, глядишь, облегчим. Га?

И Присухин, позевывая, скрылся за цветастыми занавесками, висевшими по обе стороны двери. У стола Симка, забыв обо всем на свете, возился с голубкой.

Ванюшка вышел на крыльцо, постоял, не слыша истошного лая, не видя рвущегося и захлебывающегося пеной пса, и, ссутулившись, как старик, побрел к калитке...

7. СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ ИВАНА ЯКУТОВА

Вернувшись домой, Ванюшка рассказал матери только, что Присухин дежурит в том продоле, где сидит отец, и что завтра ему можно отнести передачу. Обязательно примут.

Они сидели — мать и сын — рядышком на скамейке у стола, прилонившись плечом друг к другу, а на полу возле стола играли в тряпичные куклы сестренки. Старшая родилась всего на год с небольшим позже Ванюшки, но выглядела младше — последние три года жили впроголодь — зимой ели мороженую картошку да хлеб, самым большим лакомством казалась подсолнечная полба, — отец как-то приволок ее с базара целый круг...

— А про суд чего говорил? Что ему будет, отцу? Неужли на каторгу погонют? Не может того быть...

У Ванюшки не поворачивался язык сказать про «веревку», которой его пугал надзиратель, — может, тот просто нагонял страху, куражился? Ведь отец не ограбил никого, не убил. А что солдат в мастерские не пускали, так солдатам там и делать нечего: не слесаря, не машинисты. Еще стали бы бить кого ни попадя. А за что? Ведь сколько лет, отец сказывал, по-доброму, по-хорошему просили, чтоб рабочему человеку побольше платили да чтобы не работать с утра до поздней ночи. Люди-то не железные.

— Про суд чего ж... — тянул Ванюшка, — говорил — суд обязательно. И должно засудят, потому как батя вины своей ни в чем сознать не хочет, признает, что поступал по совести. А ежели нескольких солдат там побили, так солдаты первые со штыками лезли.

Наташа смотрела на сына испуганными глазами.

— И на сколько годов осудят — не говорил?

— Нет, маманя...

— Ежели годов там пять — это вытерпим, сынка. Правда ведь, милый, вытерпим?

— Вытерпим...

— А там и ты ремесло в руки возьмешь, полегче станет. И вот я еще чего думаю, сынок... Ежели этому Присухе сунуть несколько красненьких, может, вправду, какое отцу облегчение выйдет? Они же там, в тюрьме, поди-ка, друг дружку слушают — одна шайка. И ежели, скажем, через Присуху этому штабсу передать денег, помягче писать станет. А?

Угрюмо глядя в стол, Ванюшка ковырял ногтем щелястую доску.

— А где же денег взять?

— Ну уж ежели такое дело, так я до дяди Степаныча побегу, и до Ваниной сестры Лукерьи тоже пойду. Муж-то у нее подрядчик мостовых работ, каждое лето денежку, поди-ка, в кубышку прячут. Родная сестра, уж ежели брату не помочь — тогда как? Глядишь, сынка, у дяди Степаныча да у Лукерьи и зайдем денег. Отец выйдет — вернем, все вернем — отец в долгах не любит ходить...

— Так ведь она, тетка-то Лукерья, у нас в дому не бывает почти. Она...

— Ну и что? — перебила Ванюшку мать с загоревшимися глазами. — Ну и что? Да я бы, сынка, сейчас хоть к самому сатане побежала бы — только бы Ване помочь. И дядю-то Степаныча не больно привечала, а теперь пойду, на колени встану: помоги! Он же сам, помнишь, говорил: ежели мучки или одежонку — приходи. А тут Ванина судьба зависит... Неужели же не войдут в положение? Родные же, одной крови. Завтра же утром, как передачку снесу, побегу, все обскажу. Ты что же молчишь, сынка?

— А чего же говорить, мамка? — поднял он наконец глаза. — Пойди. Только ведь побоятся они.

— Упрошу, миленький, упрошу-умолю. Вдруг, да и вправду, отца ослобонят... Выйдет он из тюрьмы, и уедем мы из этой Уфы проклятушей, чтобы никто нас не знал. Хорошо бы в деревню, а? Коровку завести, огород свой, чтоб и молочко маленьким каждый день... А?

Ванюшка вздохнул:

— Это — да... Только я считаю, мамка, надо наперед к дяде Залогину сходить, он умный и бату уважает. Давай наперед сходим до дяди Матвея. А?

— Пойдем, сынок... Только вечером надо, чтоб не уследил кто...

Залогин жил под горой, неподалеку от мастерских, снимал комнатку у извозчика-татарина.

На улице бушевала снежная замять, переметала тропки. Крыши домов и сараев дымились на ветру. Качались и ржаво скрипели жестяные вывески, изредка позванивал сам собой — от ветра — колокол на пожарной каланче, людей на улицах не было, и даже колотушки сторожей молчали, словно онемели, и собаки за высокими заборами не влзлаивали, позабывались от стужи в конуры...

Окошки у Залогиных темные, но Наташа все же постучала, и сейчас же, словно в доме только этого и ждали, в глубине за заледенелыми окнами заколебалось бессильное пламя спички, потом стало светлее, зажгли лампу. Во дворе заскрипела дверь, что-то испуганно бормотнул женский голос, звякнула щеколда калитки.

— Кто здесь?

— Якутовы. Нам Матвея Спиридоновича... Вы уж извините, за ради бога...

— Якутовы? Ивана Степаныча? — спросил женский голос уже теплее, и темная фигура отодвинулась, освобождая проход. — Проходи, милая. Что-то имени твоего я не помнила.

— Наталья...

— Сынок с тобой, что ли?

— Ага.

— Сюда шагайте... Снегу-то, снегу што намело. Как завтра на работу идти — страх...

Залогин сидел у стола полуодетый, яростно дымил самокруткой, темное лицо его казалось еще темнее, чем всегда. Увидев на пороге Наташу, встал, облегченно вздохнул.

— Вон кто! А я, признаться, Наталья, каждую ночь других гостей жду... Чего стряслось?

Жена Залогина, крепкая светловолосая женщина с ранними морщинами на широком плоском лбу, старательно занавесила окошко, придвинула к столу табуретки.

— Садись, Наталья. Рассказывай, — сказал, гася сигарку, Залогин. — С Иваном что?

— Вот сын расскажет...

Залогин слушал молча, огромные шершавые его руки неподвижно лежали на столе. Когда Ванюшка замолчал, Залогин встал, прошелся по комнатке, огромная тень проползла по стенам и потолку. Потом он снова закурил и сел.

— Тут слов нет, Наталья, — протянул наконец он, окутанный ядовитым дымом. — Все, что может помочь Ивану, используем. И хотя веры моей этим цепным псам никакой нету, — кто знает, ведь и среди ихнего брата не все же слепые, не все же без совести... Авось и вызволим Якута...

И тут Ванюшка не выдержал.

— Дядя Матвей! — Боясь поглядеть на мать, глухо сказал оң. —

Присухин еще сказал, что бате обязательно... веревка... Он... Он за собой вины не признает. И молчит... не выдает...

Наталья судорожно вцепилась побелевшими пальцами в край стола.

— Какая?.. Какая веревка?!

Залогин хмуро посмотрел на Якутову, выразительно провел ребром ладони по шее. И Наталья откинулась к стене, стала белая, зажала ладонями рот, чтобы не закричать.

— Цыц! — прикрикнул на нее Залогин. — Мать, подай ей испить!..

И пока Наталья пила, в комнате было тихо.

Потом Залогин снова заговорил:

— Денег, конечное дело, этому хмырю дать надо. Помощь там — не помощь, а из первых рук знать будем, как суд Ивану идет... Что касаемо веревки, думаю, просто хмырь цену набивает, чтобы побольше попользоваться... Не может же быть, чтобы к виселице, никак не может такого быть! Ну, срок, конечное дело, обязательно дадут... Бежать ему с этапа ли, или уж с места — дело само покажет... Документы мы справим, есть в Иркутске такой дока — любую печать, любую бумажку мастерит... Уедет Иван куда подальше, в работу определится, а после и вы, Наталья, к нему переберетесь, как поостынет трошки лютость эта... А там, глядишь, и новая революция рядышком, тогда наша окончательно возьмет, тогда мы им суд чинить станем за все их злодейство, за кровь рабочую... А что касаемо денжат, Наталья, поговорю я с братвой, наскребем кой-чего... И ты у сродников прихвати — кто знает, сколько они за Иванову жизнь затребуют. И мне обо всем знать давай — будем побег думать... С этими столыпинскими вагонами иногда неплохие ребята ездят, глядишь, и спворим чего. А уж если нет — с места будем что-ничто придумывать. Ежели ссылка — совсем пустое дело. В прошлые годы сколько мы разного народа из Красноярска, Енисейска да Якутска в Россию перевалили... — Он встал, отогнув уголок ряда, выглянул в окошко... — Вроде поскребся кто. Вы, Наталья, шли — у дома никого?

— Вроде, никого не было...

— Ну и добро... А то ведь все надзирают, все надзирают, сволочи. Дышать не дают...

— За совет спасибо, Спиридонич.

— Пустое!.. Что Иван молчит — молодец. Развязал бы язык, сколько бы народу нашего полетело!..

Утром на другой день Наталья отнесла в тюрьму передачу, и ее приняли. Этот факт, мелкий сам по себе, окрылил и мать и сына. Им стало казаться, что теперь все страшное позади — значит, не такой уж жестокий будет отцу суд...

— Стало быть, правду Присухин говорит, есть у него сила в тюрьме... Без слова приняли, это его дело. Отнесем ему денежек — побольше бы набрать только — передаст он кому след, и облегчат батину долю...

И Наталья пошла к родным мужа.

Брат Ивана построил себе в прошлом году небольшой дом — три окошка, украшенные резными, похожими на кружева, наличниками, выходили в палисадник. Парадное крылечко спускалось пятью ступеньками прямо на улицу, но по нему, видно, не ходили — белел нетоптанный снег, точеные перильца и балясины блестели свежей голубой краской. На окнах пузырились белые кисейные занавески, зеленели неизменные герани.

На стук в калитку вышел сам Степаныч, в накинутом на плечи черном романовском полушубке, в высокой каракулевой шапке. Когда увидел Наталью, худое лицо его дрогнуло, глаза бегло оглядели улочку из конца в конец.

— А?! Кинстентиновна?! — удивился он, поспешно отступая от ка-

литки и давая ей пройти.— Заходи, заходи, своячения... Давненько, давненько... И что-то исхудала ты, милая, с лица вовсе спала... Детишки-то здоровы? Бог милует?!

Заперев калитку, Степаныч пошел впереди Натальи, говоря на ходу: — Моей супружницы дома нету, к своим старикам на денек в Белебей подалась, так что я бобыльничаю, сирота, можно сказать... Н-да... Снежок-то вот метелкой обмети, милая...

Из передней прошли в большую комнату, где вдоль глухой стены стояли широкие портновские нары, на них валялись куски синего и зеленого сукна, сверкал черный коленкор, блестели тонкие острия ножиц... Над нарами висел цветной портрет царя в военном мундире, при погонах и сабле. В переднем углу блестел фольгой и латунию иконостас...

— Вот тут и садись, милая,— приговаривал Степаныч, смахивая со стоявшей рядом с нарами табуретки лоскутья материи.— Тут вот и садись, милая... Стало быть, живешь не тужишь? Это хорошо, милая, хорошо, бога благодарить надо! Детишки, глядишь, скоро в возраст войдут, тоже копейку в дом понесут, сразу тебе облегчится.— Сухие, худые руки Степаныча не находили себе покоя, то разглаживали сукно на нарах, то смахивали невидимую соринку.

— Я ведь к вам, дядя Степаныч, с бедой да с нуждой пришла,— сказала Наталья чуть слышно.— Ваню заарестовали. Сюда теперь привезли. В тюрьме содержится...

Лицо Степаныча странно напряглось, губы болезненно дрогнули.

— Привезли? — задыхающимся шепотом переспросил он.— В тюрьму? — Мелко семеня, он пробежался по комнате, глянул в окно, затем снова пробежался из угла в угол.

— Я говорил! Я завсегда говорил: поберегись, брат, вернись на путь. В тюрьму ворота широкие, назад — щель. Не послушал, а? Не послушал! А ведь и в нем, Наталья, талант к портновскому делу. Жил бы, как люди, иголкой зарабатывать всегда можно. Теперь и купец вон, и всякий чиновник — даже сказать, четырнадцатого классу, и тот норовит, чтобы шинель или виц-мундир тонкого сукна. Или ежели с умом — и полицейскому начальству и тому же тюремному справная одежда требуется. Вон в прошлом годе я штабс-ротмистру Плешакову мундир работал,— очень даже довольны остались. Я тебя, говорят, Степаныч, всем нашим господам рекомендовать стану: шов у тебя ровный и чистый... Даром что чиновник большого звания, а в шве понятие имеет не хуже нашего брата...— Степаныч с разбега остановился перед Натальей.— И как же он? Надеется?

Наталья сидела неподвижно, сцепив на коленях пальцы.

— Помощь ему требуется, Степаныч. Надзиратель Присухин сказывал...

— Василий Феофилактыч? Знаю, знаю, как же! В шашки мы с ним сколь раз игравали. Ну, по правде ежели, да без похвальбы,— не силен он в шашки-то, куды ему супротив меня... Нету в нем того зренья, чтобы...— Степаныч замолчал на полуслове.— Ты чего это, Наталья? Слезы-то здесь к чему? Я же тебя сколько разов предупреждал: гляди! А ты? Нет в вас, в бабах, понятия, что к чему. Говорил? Ну скажи: говорил?

— Говорили, Степаныч,— чуть слышно, сквозь слезы, согласилась Наташа.

— Нет, не слушала! Мы, дескать, сами с усами,— вот и допрыгалась, дождалась. Чего же ему будет теперь? Каторгу определяют или как?

— Не знаю,— всхлипнула Наташа.— Василий Феофилактович говорит — денег надо, сунуть там по начальству, обязательно будет по-блажка...

Степаныч отступил шаг назад, сложил на груди вздрагивающие руки.

— И стало быть,—медленно и с расстановкой начал он,—стало быть, ты ко мне за этими деньгами и пришла?

— Да, Степаныч!

— Вон как! Как послушать доброго слова — так все нету. А как выручать из-под законного приговору — пожалуйста-с! Так? Перво-на-перво — откуда у меня деньги, Наталья? Что и было накоплено, все в дом вбито. Не помирать же на старости лет под чужой крышей? А? Все и ушло. Даже, по секрету сказать, в долгишки к верным людям влез, под божеский процент... Три года выплачивать. А второе: как же это деньги на такое дело давать? Шел Иван твой супротив царя? Шел. Подымал руку? Подымал! Положена ему за такое дело кара? А как же! Да ты мыслишь ли, о чем просишь? Да ведь ежели кто узнает да по начальству доложит? Что же, выйдет — я бунтовщикам помощник? Меня ведь тоже по головке не поглядят. Возьмут за это самое место! — Длинной худой рукой Степаныч подергал себя сзади за воротник.— Мне уж и так, кто поумнее, советуют на высочайшее имя о перемене фамилии хлопотать... У меня же у самого семья, Наталья! Пойми, милая!

Наталья молча встала и пошла к двери. Толкнув ее, вышла в сенцы и, не закрывая за собой двери, пошла к калитке. Степаныч торопился за ней, хватал за рукава — она не слушала, не останавливалась.

— Да погоди же ты, дура чертова! — крикнул Степаныч вне себя.— Постою тут, сейчас вынесу!

Наталья остановилась, а Степаныч, мелко семеня, вернулся в дом и вскоре вернулся, держа в руке две красненькие десятирублевки.

— Только смотри, Наталья, с тем даю, чтоб ни одной душе. Мне в чужом пиру похмелье тоже не больно требуется. Никому, поняла, даже детишкам...— Он протягивал деньги чуть подрагивающей рукой.

— Не скажу, — чуть слышно пообещала Наталья.

Лукерья жила на другом конце города, тоже в собственном доме, неподалеку от ярмарочной площади. Здесь метель бушевала сильнее, намела сугробы по самые окошки. В десяти шагах ничего не разглядеть — только белые вихри, как столбы, крутятся, поднимались к небу. В невидимой за метелью церкви медленно и тягуче бил колокол — кого-то, видимо, хоронили.

Муж Лукерьи, подрядчик мостовых работ, известный всей Уфе, много лет покупал у городской управы и земства подряды на производство мостовых и дорожных работ. Наталья не раз видела, как каждое лето на улицах и дорогах работают мрачные испитые люди в серых тюремных куртках, в шапочках блином, — женщины жалели их и, проходя мимо, давали либо стражнику, либо старшему артели то буханочку хлеба, то связку бубликов... Может быть, и Ивана ждет такая доля...

Лукерья месила на кухне тесто, жарко пылали дрова в большой русской печи, пять или шесть разномастных кошек лежали по лавкам, на подоконнике, на полу, застланном домоткаными половичками.

Двери оказались не заперты, и Наталья вошла, не постучав. Увидев ее, Лукерья побледнела, принялась торопливо соскабливать с рук тесто.

— С Ванюшкой что? — спросила она шепотом, хотя в доме никого не было.— Садись, садись, милая! Ну...

Наталья коротко рассказала о судьбе мужа, и женщины, обнявшись, заплакали.

— Он ведь, Ванюшка-то, из всей нашей семьи самый сердешный, самый ласковый,—говорила Лукерья, вытирая слезы.— Старший-то Иван да Роман те чисто кремневые ребята были, а Ванюшка меньшенький — ровно телок. И — вот скажи ты, в какую лихую беду впутался... Я уж и то слышала, Наташенька, что судят за пятый год лютым люто,

Не миновать и ему кандалного срока, ежели не откупится... Это ты верно удумала, чтобы хмырям этим тюремным в пасть кусок сунуть. Авось Ванюшке облегчат, срок поменьше определят...

Лукерья торопливо ушла в горницу и сейчас же вернулась с пачкой денег.

— Вот, Наташенька, тут у меня на шубенку отложено, — собиралась бархатную сшить, чтобы по моде, чтобы все, как у людей... Да шаль оренбургскую хотелось... Тут с сотню должно быть... Я себе пару красненьких оставлю, пока и обойдусь. А это — бери... Ах, Ванька, Ванька, что же ты с собой сделал, бедолага!? В тюрьме-то, слышно, бьют? А?

— В Иркутском замке в третьем годе ребра поломали. И нынче, должно, бьют. Их дело такое, царева служба... — Наталья пересчитала деньги, сунула за пазуху. — Выйдет Ванюшка — все верну, Луша. Спасибо, милая... Побегу. Еще ребята из мастерских обещали собрать — кто сколько... Может, и правда, вызволим... А твой-то, сам, не заругает?

— Не. Его дело заработать, принести да мне отдать. А уж дальше я — хозяйка... Ты, как узнается с Ванюшкой, пришли хоть кого из детишек, чтобы я знала...

Наталье этот день показался одним из самых длинных дней ее жизни.

Совсем поздно, когда по всей улице погас в окнах свет и только бесильно и тускло горели два фонаря на главной улице, возле дома губернатора, пришел Залогин.

И по его лицу Наталья сразу увидела, что произошло непоправимое. Залогин ненужно долго отряхивал у порога снег, стучал намерзшими валенками, сморкался, сдирал с усов сосульки. Наталья стояла рядом, не могла сказать слова.

Залогин прошел к столу, свернул папиросу, прикурил от лампы, прибавив на минутку огня. Потом сел.

— Ну, чего? — шепотом спросила Наталья. — Я ведь, Спиридонич, нынче опять к тюрьме бегала, вместе с ними, — она кивнула на спавших на полу детей. — Пришла, стою. Возле ворот трое санок, ну, думаю, значит, начальство тут, значит, суд. Ему ли, Ванюшке, другому кому — не знаю, часового спрашивала, облаял... И вот вечером выходят пятеро, важные все, сытые. Я к ним... «Чего ему, — кричу, — ваше превосходительство? Куда?» А один и говорит: «За чем пошел, то и нашел, любезная». Это как же понимать, Спиридонич? А? Стало быть, засудили?.. Да что же вы молчите, Спиридонич?

Залогин тяжело положил на стол большие, в шрамах и царапинах руки.

— Ивану суд и был, — глухо сказал он. — Ему. И помилование Иван просить отказался...

— Помилование? — дрогнувшими губами переспросила Наталья. Лицо ее медленно белело, сначала лоб, потом виски и щеки. — Это стало быть... стало быть...

— Да, — Залогин кивнул. — Ну, ты погоди реветь... Есть у нас в земской больнице один свой человек, доктор. Тоже и под ссылкой был, и кандалами по Владимирке благовестил. Теперь вроде отступились от него. Так вот и присоветовал он такую историю... Дал он мне порошок, чтобы Ивану передать. Сглотнет он порошок и станет ему плохо, здорово плохо... Помереть не помрет, а в больницу его везти придется. При тюрьме у них своей больницы нету. А там, в больнице, вроде камеры, все как полагается: и замки, и решетки, и стражник тут же... А вешать больного не станут, хотя и такое у нас бывало... Был такой поляк Сераковский, так того к виселице на носилках принесли... Ну, авось обойдется на этот раз... Так вот, значит, Наталья, теперь дело, чтобы передать порошок и записку Ивану. Вот тут цифрами, секретно написано.

И не позднее, чем завтра утром, иначе — не опоздать бы... Перевезут Ивана в больницу, а оттуда мы ему и поможем уйти... Ты денег хоть трохи достала?

— Ага!

— На вот еще тут пятьдесят восемь, по всей мастерской тайком сбирали. И пусть твой мальчонка снесет завтра Присухину... Деньги ему — нехай давится! — а записку и порошок чтоб Ивану передал... Другой дороги, Наталья, нету...

— А может, прямо сейчас нести?! — вскинулся лежавший рядом с сестренками Ванюшка.

— Нет, — покачал головой Залогин. — Стучи не стучи — ночью не отопрут. Они и днем-то за десятью замками от народа спасаются. Нет. А вот с утра пораньше, пока хмырь на дежурство не ушел — беги. И скажи — еще денег наберем, через неделю в мастерских получка... Ежели передаст — получит... — Залогин тяжело встал. — Выгляни, Наталья, нет ли хвоста возле дома. И — прощайте.

8. ЗАВТРА УТРОМ...

Секретарь суда приехал в тюрьму рано. Вечером, накануне, у Семена Платоновича собралась привычная компания. Отсутствовал только Иван Илларионович. Умеренно выпили, сгоняли «пулечку», и Александру Александровичу здорово повезло: при подсчете отец Хрисанф и хозяин дома вынуждены были выложить ему около тридцати рублей. Играли по копейке вист, и, памятуя о проигрыше в прошлую субботу, Александр Александрович не лез на рожон, не рисковал зря. Отец Хрисанф даже сказал ему напоследок: «А имея на руках верных восемь, батенька, не полагается играть семь! Да-с! Для определения такой игры даже существует, батенька, специальный термин. И не особенно лестный!» — «Но ведь расклад какой, отец Хрисанф! — вскричал Александр Александрович. — Пики поровну в обе руки!» На это отец Хрисанф только погрозил пальцем.

Перед выездом из дома секретарь позвонил Ивану Илларионовичу, — тот оказался совершенно болен — не спал ночь, опиумных таблеток проглотил шесть штук. Стало ясно, что именно Александру Александровичу предстоит заняться последними часами жизни Якутова. И сидя в санках, прикрываясь краем полости от бьющего в лицо резкого ледяного ветра, Александр Александрович думал, что еще два-три дела, вроде якутовского, и, пожалуй, можно ждать и повышения, и представления к ордену... Эта старая развалина, Иван Илларионович, явно не годится для решения таких дел, — ведь стоило Якутову вчера принять предложение, сделанное в последнюю минуту, и смертного приговора бы как не бывало. Либеральничает старикашка, а надо железной рукой вершить... Семен Платонович обронил вчера, что в мастерских и в депо снова назревает бунт, снова зашевелились...

Потом секретарь стал думать о незаконченной статье для «Юридического вестника», где он подводил итоги ряда дел и старался привлечь внимание общества к необходимости самых суровых мер наказания политическим. В статье и делу Якутова давалась соответствующая оценка, раскрывалось злобное и непримиримое нутро преступника. «Средневековое судилище!» — какво, а?! Им, этим слесарям да машинистам, надо вообще закрыть доступ в учебные заведения и в библиотеки... А что касается вчерашней пульки — то, что он играл семь при верных восьми, — так ведь на то и игра, господа дорогие!

Усмехнувшись, Александр Александрович бережно потрогал сквозь шубу боковой карман тужурки, где лежал выигрыш.

Оставив санки за воротами, секретарь бодрым военным шагом прошел через двор, где несколько арестантов широкими деревянными лопатами расчищали выпавший ночью снег. Трое из них лениво копошились около водруженной вчера виселицы... «Столыпинский галстук» — а ведь метко сказано. Вот как сказочно может повезти человеку — был губернаторишкой в Саратове: — «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов», — а на какую недостижимую высоту взлетел, в кабинете министров — одна из важнейших фигур. И все потому, что в пятом сумел как следует расправиться с мужчиной.

В первом коридоре тюрьмы, куда Александр Александрович спустился по трем выщербленным каменным ступенькам, в полутьме, чуть разреженной светом угольных электрических ламп, он едва не столкнулся с двумя арестантами — на палке, протодетой сквозь ушки, несли большую кадущку. Резко и отвратительно пахло карболкой и нечистотами. Прикрыв перчаткой нос, Александр Александрович прижался к стене, давая арестантам пройти, но один из них споткнулся, параша качнулась, и к самым ногам секретаря, чуть не прямо на его шегольские ботинки, выплеснулась струя желтой, вонючей гадости.

— Но-но! — прикрикнул шедший позади арестантов тюремщик и, узнав Александра Александровича, козырнул. — Уж вы извините, ваше высокоблагородие. Серость, она серость и есть. Какой, скажем, со свиньи может быть спрос!

В кабинете начальника тюрьмы собралось человек десять — ночная смена только что сдала дежурство и еще не все успели разойтись. Вместе с помощником начальника тюрьмы, невыносимо скрипевшим ремнями и сапогами, секретарь прошел в комнату, где они вчера судили Якутова. Александр Александрович рассказал о болезни председателя суда и о том, что именно ему, секретарю, предстоит зачитать еще раз, перед казнью, приговор осужденному.

— По долгу службы я, конечно, должен еще раз увидиться с осужденным и предложить ему ходатайствовать о помиловании, но, как мне представляется, ничего не выйдет. Закоренелый!

— Точно-с! — готовно откликнулся помощник начальника тюрьмы, любовно поглаживая темные бархатные усики. — Их, Якутовых-то, уже через наши руки трое прошло: еще один Иван да Роман. Не люди — звери! Слово чести! Я бы таких пролетариев собственными руками вешал.

— Вот бы и повесили этого! — усмехнулся Александр Александрович.

— Никак невозможно-с! Во-первых — по офицерскому моему званию-с не положено. А — во-вторых — убьют! Как пить дать — убьют! В этих железнодорожных отчаянный народишко. Бандит-с! А в-третьих-с — палач объявился. Из уголовных-с... Два убийства!

В тот год уголовников в Уфимской тюрьме содержалось немного, всего в пяти или шести камерах, а все этажи были забиты политическими — в одиночках сидели по пять и шесть человек, только самых опасных, вроде Якутова, держали отдельно. Здесь были рабочие, участвовавшие в декабрьском восстании, крестьяне, грабившие помещичьи усадьбы и хлебные амбары, были ожидавшие суда и уже осужденные. В пересыльных камерах сидели те, кого везли на следствие по месту «свершения преступления» в сторону России или на восток, для отбывания ссылки и каторжного срока.

Уголовники по сравнению с «политиками» пользовались кое-какими привилегиями, работали в качестве услуги: убирали коридоры и контору, разносили бачки с пищей, сгребали во дворе снег. За работу им подбрасывали лишнюю пайку хлеба и миску баланды, предоставляли право свиданий с родными, разрешали передачи... Люди это были раз-

ные, как различны были и совершенные ими преступления: убийства, кражи, поджоги, грабежи. Разные по характерам, по привычкам и склонностям, они и вели себя по-разному. Одни целыми днями лежали на нарах лицом к стене, поднимаясь только для того, чтобы оправиться и поесть, другие целыми днями резались в карты, в буру, железку или очко,— карты за известную мзду проносил в тюрьму тот же Присухин — его уголовники считали самым добрым и покладистым надзирателем и звали «Папашей»,— третьи хватались за любую работу, которую им поручали, стараясь забыть...

Но одно обстоятельство объединяло почти всех, сидевших в шестой камере: ненависть к «политикам», к «врагам царя и отечества», которых без конца таскали на допросы в комнатухи при тюремной канцелярии и там нередко били смертным боем, потом судили, приговаривали к каторжным и кандалным срокам, к вечному поселению где-нибудь на крайнем севере, а то и к смерти. Тюремный телеграф работал безотказно, ни избиения, ни холодные подвальные карцеры, где зимой на стенах настывало льда на палец и куда сажали в одном исподнем, и где не полагалось ни кровати, ни стола, ни стула,— ничто не могло окончательно оборвать работу «телеграфа». И когда выносился очередной смертный приговор и «политики» узнавали об этом, тюрьма поднимала бунт, объявляла голодовки: выкидывала в коридоры хлеб и миски с баландой, требовала прокурора, отказывалась строиться на вечерние и утренние поверки, отказывалась от прогулок. Кончалось это всегда зверским избиением тех, кого администрация тюрьмы почитала зачинщиками, а после избиения бунт карался карцером на максимальный срок, двадцать суток на воде и хлебе. И из карцера арестанты зимой редко выходили сами, оттуда выносили с воспалением легких, с плевритами,— и люди исчезали неведомо куда.

За месяц до суда над Якутовым в одной из общих камер заключенный поляк Пшесинский, выпоротый розгами за то, что на поверке плюнул в лицо дежурному по тюрьме, обозвавшему его польским дерьмом, покончил с собой, взрезав себе вены разломанным стеклом очков. Вынести тело самоубийцы из камеры надзиратели заставили уголовников из шестой камеры — Ховрина, сидевшего «за двойное убийство», и Кедрача, прозванного так за саженный рост и бычью силу,— он ожидал суда за изнасилование племянницы, но надеялся на снисхождение: «потому как я хотел, чтобы все по-доброму, чтобы она мне, стал быть, жаной стала».

Вытаскивая тело Пшесинского в коридор, Ховрин уже от двери сказал в камеру, где вдоль нар стояли «политики»:

— У, вражины! Со всеми так будет! — И за порогом камеры пнул мертвого поляка ногой в бок.

Пять или шесть надзирателей во главе с дежурным по тюрьме стояли по сторонам двери, и все равно вся камера, как один человек, рванулась к двери — ее едва успели захлопнуть и набросать засов. В течение всего последующего дня заключенные били в окованные железом двери досками разломанных нар, табуретками, глиняными и железными мисками, кулаками. «Бестужевка» разнесла новость по тюрьме, по всем этажам, и тюрьма неистовствовала трое суток, пока прибывший прокурор не объявил, что дежурный по тюрьме, распорядившийся экзекуцией, будет наказан и уволен. Правда, как позже стало известно, дежурного не уволили, а назначили начальником конвоя, сопровождавшего столыпинские вагоны...

— Ну что ж, прекрасно! — Александр Александрович снял пенсне, достал платочек и, дыша на стекла широко открытым ртом, протер их.— А теперь придется все-таки соблюсти эту формальность. Я думаю,

что нам лучше подняться в камеру, чем вести его через все продолы... Кстати,— тюрьма еще не знает о приговоре?..

— Кажется, нет.— Помощник тоже поднялся, скрипнув всеми своими ремнями.— Мы стараемся сохранять в тайне.

— А глаголь?

— Мы все время применяли к Якутову режим самой строгой изоляции. Нам известно, что еще в Иркутском тюремном замке он изучил «бестужевку», и поэтому держали его между пустыми камерами, хотя, как вы, конечно, понимаете, при теперешней перенаселенности тюрьмы, это нам затруднительно. И выводили его из камеры минимальное число раз со всевозможными предосторожностями, чтобы не было нежелательных встреч. Так что тюрьма насторожилась, ждет, но еще не знает...

Грохотали замки и высокие, до самого потолка, решетки, перегораживающие проход; чугунно гремели под ногами лестницы. И вот в сопровождении надзирателя секретарь и помощник остановились возле двери угловой камеры. Коричневое железо, недавно окрашенное, свинцовое веко, закрывающее стекло волчка, форточка для подачи пищи.

Заскрежетала дверь. Они вошли, остановились на пороге. Якутов стоял в глубине, прислонившись к стене под самым окном.

— Осужденный Якутов,— негромко начал секретарь, когда они с помощником вошли глубже в камеру и из предосторожности, чтобы не было слышно в проходе, прикрыли за собой дверь.— Вам объявлен приговор за ваши злодейства, за ваши преступные замыслы, которым, к счастью, не дано осуществиться... Но государь, исполненный гуманных намерений по отношению к своим верноподданным, дает каждому осужденному право обратиться с ходатайством о помиловании...

Якутов молчал, стоя неподвижно; снежный, неяркий, мягкий свет падал из высокого окошка на каменный, выбитый ногами пол.

Повременив, секретарь продолжал:

— Но обязательным условием подачи такого ходатайства на высочайшее имя является чистосердечное раскаяние и выдача сообщников!

Тишина.

— Намерены ли вы, осужденный Якутов, подать такое ходатайство?

Якутов сделал шаг от стены, глаза его блестели.

— А пошел ты, царский холуй, к... матери!

— Завтра утром вы будете повешены.

...И снова снег сухо и морозно скрипел под узкими полозьями санок, снова взблескивали полумесяцы подков на копытах несущегося впереди жеребца, летела в лицо колючая, снежная пыль...

9. ЖАР-ПТИЦА...

Народ говорит: беда никогда не ходит одна! Эту горькую истину Наталья вспоминала, сидя на постели больной Нюшки. Девочка металась в жару и непрестанно просила пить, лобик и щеки горели, она бормотала несуразное: «Мам, подол подоткни, а то ноги застудишь... И не надо меня в печку, мам, и так жарко — мочи нет». А то вдруг принималась тихо и счастливо смеяться: «Мам, а папка сызнова полбы подсолненной цельное колесо приволок, на-ка, нюхай, до чего гоже пахнет...»

Боясь, чтоб не заразились другие, Наталья переложила больную на деревянную скрипучую кровать, на которой раньше она спала с Иваном. И уходя на работу — хлеб-то ведь каждый день нужен — наказывала старшенькой:

— Гляди, Маша, на пол бы не скатилась... И испить подавай, когда просит. А сама без нужды не касайся — не ровен час тоже сляжешь. Куда я тогда с вами!

И бегом бежала на фабрику, боясь опоздать, а в уме все стояло: удастся ли Ивану уйти от петли? И совсем ни к чему вставали в памяти давние картины: как катались на лодке и заехали в камыши и там Ваня ее первый раз поцеловал, и она прижалась к нему и заплакала от счастья — она так долго его ждала... Она же сразу полюбила Якутова, как только увидела, и подумала со сладкой тоской: вот такой полюбил бы — куда хочешь за ним пошла... А он целовал ее в губы и осторожно, одним пальцем, гладил ее брови, они были тогда у нее словно насурмленные и ровные-ровные. Он подарил ей маленькое зеркальце с ручкой, чтобы видела, какая красивая, и все смеялся:

— Бабка покойная сулила мне: буду счастливый, буду Иван-царевич. И ведь угадала, старая! Говорила: «Поймаешь ты, Иванка, жар-птицу, ей цены нету, и каждое перо у нее золотым жаром горит». Ты вот и есть та жар-птица.

От этих воспоминаний волна боли заливала сердце: невозможно было думать, что Ваня сейчас ждет смерти. И зубы, наверно, повыбились — он же упрямый, ни за что не покорится...

Перед тем как уйти на фабрику, положила на горячий лоб дочки руку и все смотрела и смотрела на часы: вот-вот должен был вернуться Ванюшка — понес Присухину деньги и записку отцу. Возьмет ли еще Присуха деньги — может, скажет, мало даете за преступную Иванову жизнь, не стану за гроши рисковать. А хотя, в улице говорят, — жаден он без меры, даже жене своей по копейкам на хозяйство выдает — такой и на рублевку бросится. А ведь Ванюшка понес много, две коровы купить можно, — не устоит Присуха, возьмет...

Но ходики тикали и тикали, и царь смотрел с жестянки вниз важно и равнодушно, а Ванюшка все не возвращался. И когда большая стрелка догнала маленькую на восьмой цифре, Наталья торопливо натянула кацавейку и побежала из дома: не опоздать бы, не дай бог выгонят — что тогда? Но все-таки не вытерпела, пробежала мимо дома Присухиных, глянула в щелку ворот — за ними яростно выкусывал блох из шкуры огромный цепной кобель. В присухинском доме было тихо, и во дворе — никого, только ярко-красный петух сердито звал кур, и они бежали к нему со всех сторон и что-то клевали под самыми его лапами, а он стоял и довольно смотрел.

Прибежала Наталья на фабрику вся в поту, успела до последнего гудка, не опоздала. Но на пороге ее остановил приказчик Тигунов, смазливый черноусый молодец, — он приставал на фабрике ко всем бабам и девкам, прижимал их в темных углах и с каждой норовил получить свое. С месяц тому назад Наталья вместе с двумя другими развесчицами, что побойчее, написали печатными буквами письмо Тигуновой жене, что от ее мужа ни бабам, ни девкам на фабрике прохода нет, и та, словно разъяренная фурия, ворвалась тогда на фабрику и при всех была мужа подхваченной с пола грязной тряпкой по лицу и по голове. А он только пятился, закрываясь локтями. А когда жена ушла, пообещав, что дома еще добавит ему, кобелищу этакому, Тигунов прошелся между рядами работниц, не отводящих глаз от весов, и бормотал, ни к кому не обращаясь:

— Я вас, падлы, которые тут грамотные, всех с волосами съем! Я вам покажу, кто есть Тигунов!

И сейчас, встав в дверях, мешая Наталье пройти, он рассматривал ее, издевательски улыбаясь.

— Ага! Вот и еще одна грамотная!.. Ну, шкура барабанная, придется тебе в другом месте жратву своим щенятам искать... Мы тех, кто на самодержца руку подымает, держать не станем. Фирма наша на весь царский двор работает, у нас одних медалей сто штук! Поворачивай отсюда скоренько, швабра, чтоб духу твоего не было... Твоего-то охла-

мона не нынче-завтра вздернут, как и положено, а ты тут подметные письма печатными буквами пишешь?! В тюрьме, шкура, и тебе место найдется! Ну, чего застыла? Брысь отсюда, пока по шее не получила. Эй, Захар! Что же ты, рыба твоя голова, посторонних в фабрику впускаешь? Тебе об етой шуке что было приказано? А?!

Наталья ушла, даже не получив нескольких заработанных рублей, ушла, думая с отчаянием: уже и здесь знают про Иванов приговор — значит, все правда, все верно. Теперь только на Присуху и надежда.

И опять пробежала мимо присухинского дома, и опять в доме и во дворе было тихо, как на кладбище, только зевал, разевая зубастый рот, огромный псиде. Под навесом, у верстака курчавились свежие стружки, торчала в сугробе деревянная лопата.

А дома Наталья ждала новая беда. У ворот, на деревянном сундучке и на узлах с тряпьем, сидели две ее дочки, и Маша держала на руках маленькую, закутанную в старый отцовский пиджак, а рядом, на снегу, стояли черные закоптелые чугушки и кастрюли, ведро и жестяный таз для купанья детишек, и вверх царским лицом лежали ходики, и цепочки с гирами разметались в снегу, словно ноги убитого.

Падал реденький невесомый снег; падал и таял на лбу успокоившейся, уснувшей Нюшки, а Маша плакала и не могла вытереть слезы, руки были заняты больной сестрой.

В калитке, засунув руки за шелковый витой шнурок пояса, стоял «сам» хозяин дома, в кургузой поддевке, в летнем высоком картузе, хмуро смотрел из-под насупленных седоватых бровей.

— За квартиру не плачено? — спросил он, когда Наталья подошла и остановилась, в страхе глядя на детей и вещи. — Не плачено. Твоего бандита к виселице представили? Представили! Ходят к тебе по ночам смутьяны всякие? Сам видел и слышал... Ну и вот... — Он постоял еще немного молча, потом отступил в глубину двора и, закрыв калитку, задвинул засов. И сказал оттуда, сквозь дерево: — У меня, баба, шея не чугунная! И мне дорогая. Своих бед и обид, можно сказать, омет цельный, а тут ты... Не обессудь!

Наташа взяла у Маши спящую дочку, прикрыла ее лицо концом одеяла и еще раз поглядела в сторону присухинской улицы: не бежит ли Ванюшка? Нет. Растерянно оглядывала она свой жалкий скарб — все, что нажили они с Иваном за четырнадцать лет. Унести все сразу невозможно, а оставить — растащут, раскрадут последнее. Держа одной рукой больную, она хваталась то за сундучок, — там ждала возвращения Ивана его праздничная рубаха, и пиджак с жилеткой, и летняя фуражка с лакированным козырьком, то за таз — купать детей надо же, то за узел с постелью.

— Хоть бы Ванюшка подошел, подсобил, — бормотала она.

Маша надела таз себе на голову, а руками старалась приподнять с земли узел с постелью, но это оказывалось ей не по силам. Наталья смотрела из стороны в сторону; а куда же идти? Ни к Залогину, ни к Олезовым нельзя — и на них накличешь беду, она же теперь вроде чумной.

Возле небольшой саманной хибарки открылась низенькая, сколоченная из жердинок калитка и на улицу, шаркая старыми разношенными валенками, вышел старик Юлай, — фамилии его Наталья не знала — помнила только, что раза два он заходил к мужу — Иван писал старику прошение в суд, что ли. Поправляя на голове облезлый лисий малахай, Юлай, не торопясь, перешел улицу и, почесывая в седой бороде и горестно чмокая губами, долго разглядывал Наталью и ее детей и ее скарб.

— Он тебе квартир гонял, да? — спросил он наконец.

Наталья, глотая слезы, кивнула.

— У, какой собак селовек! Такой зима, снег, баранчук улица гонял,

сапсим яман селовек,— такой прям палкам бить нада...— Кряхтя, Юлай наклонился, с трудом приподнял за железную ручку сундучок и пошел через улицу к своей калитке.

Наталья молчала, не понимая, смотрела ему вслед. Юлай оглянулся, седые брови его удивленно встопорщились.

— Зачим стоишь? Баранчук холодно улицам. Айда, айда!

Наташа пошла следом, но у калитки, догнав Юлая, осторожно тронула его за рваный рукав овчинного полушубка.

— Дедушка Юлай... А вы знаете... Моего мужа... в тюрьме... приговорили...

Старик оглянулся на Наташу почти бесцветными, слезящимися глазами, морщинистые его губы под реденькими усами смешно и жалобно сжались.

— Знай, знай... Нам, башкир, се равна, тут тюрьма, там тюрьма. Моя Муххамет тоже тюрьма. Купцам работал, морда ему мала-мал бил... Твой Иван мне гумага писал. Зря писал. Иван правильно говорил: не гумагам, палкам железным бить нада... Айда, Наташ, гость будешь, баранчук греть нада...

Избенка у Юлая была небольшая, саманная, крытая обмазанным глиной камышом, с глинобитным полом, устланным для тепла соломой, но было в ней довольно просторно и — главное — тепло. В углу, за низеньким столом, горкой лежали подушки в цветастых ситцевых наволочках, у одной из стен жарко топилась печка, на ней чернел небольшой котел, в нем что-то кипело и булькало. Возле печи, сгорбившись, встала старая-старая жена Юлая, сморщенная и седая, мужу под стать, подкладывала в огонь кирпичики кизяка. У порога бродили, покачиваясь на тоненьких точеных ножках, два ягненка, родившиеся, видно, совсем недавно. На деревянном штыре, вбитом в стену у двери, висела плеть, уздечка, то ли круг бечевки, то ли аркан, и такой же, какой был надет на Юлае, овчинный полушубок — из дыр его во все стороны торчала грязная шерсть.

Эту предельную нищету Наталья увидела одним взглядом.

Возвисясь у печки старуха оглянулась на скрип двери, выпрямилась. Юлай что-то сказал ей по-башкирски, и она улыбнулась сморщенным беззубым лицом, закивала Наталье:

— Якши, якши, Наташ... Салма счас кипит, ашать нада...— И, повернувшись к печке, принялась мешать большой деревянной ложкой в булькающем котле...

Вдоль одной из стен тянулся от печки кирпичный, обмазанный глиной боров; укладывая на него спящую Нюшку, Наташа ощутила исходящее от него тепло — боров служил дымоходом, обогревая избенку...

Машенька сняла с головы жестяной таз, он гулко звякнул помятым днищем, словно ударили в треснувший колокол, и старуха опять оглянулась и улыбнулась прежней улыбкой.

— Раздевай нада,— кивнула она Маше и похлопала темной заскорузлой рукой по печке.— У, тепла...

Юлай между тем поставил в угол у двери Натальин сундучок, снял полушубок и, шурша по полу соломой, прошел к одному из двух небольших окошек.

— А я мал-мала гляжу, мужик чугунок снег кидать, еще эта коробкам балшой,— он кивнул на сундучок,— патом баранчук гонял. Ай-яй, думаю, какой сапсим сабак селовек! Малахай надевал, шуба надевал, улица шел... Знаю, Иван дома два года нет, слышал — тюрьмага китты. Иван мне гумага писал, денег не брал... А этот,— махнул на окно рукой,— сапсим сабак селовек, жадный — все равно Бушматбай, думаю... Ай-яй-яй...

Юлай внимательно оглядел Наталью, присевшую возле спящей

дочки. Две ее старшие девочки примостились рядом, разглядывая топтавшихся у двери ягнят. Ягнята — черненькие и курчавые, так и хочется потрогать маслянисто блестящие кудряшки...

Потянувшись к окошку, Наташа выглянула сквозь составленное из нескольких осколков стекло — боялась пропустить Ванюшку, — должен же он вернуться от Присухина — сколько времени прошло! Неужто не взял Присуха записку и деньги, неужто отказался? Что же тогда? Бежать по начальству и в ногах валяться, чтобы не убивали Ивана, — он не со зла, а против неправды, ведь жить вовсе невозможно стало...

И тут сквозь мутное, давно немывое стекло Наташа увидела бегущего по той стороне улицы сына — Ванюшка торопился, размахивая руками, полы его пиджачка распахивались, как крылья, шапчонка сбита на затылок.

Наташа вскочила, бросилась к двери. Юлай проводил ее удивленным взглядом, но, выглянув в окошко, сказал жене, наливавшей салму в большую глиняную миску:

— Старший сын...

Ванюшка изо всех сил стучал кулаками в калитку дома, где они еще несколько часов назад жили.

— Иван! — крикнула Наталья. — И когда сын удивленно оглянулся, поманила к себе. — Сюда! Сюда иди.

Мальчик перебежал улицу и, задыхаясь от быстрой ходьбы и расправившей его радости, крикнул:

— Взял И деньги взял, и записку. Сказал: нынче же передам!

— Так и сказал? — Наташа прижала руки к груди, на глазах у нее выступили слезы. — А что сказал? Еще что? Батьке-то нашему будет какое облегчение? А?

— Сказал: хлопотать стану по начальству... все, как надо, говорит, сделаю... Ну, говорит, я — человек маленький, последняя спица. Однако передам...

— А что долго так?

— Ждал я, мамка. У них свинью утром зарезали. Прихожу, мне Симка открыл. А Василий Феофилактыч, клеенка на грудь вот так повешена, и большущим ножом мясо на куски режет. На столе. А в тазу — полно крови. Обожди, говорит, не до тебя. Видишь, говорит, чего делаю... А потом, как деньги считать, руки мыл, да считал раза четыре. И записку читал, и порошок разворачивал, нюхал... Я уж думал — и не возьмет, скажет: иди отсюдава...

— А он?

— А он опять стал свинью резать. И голова свиная возле стола лежит, зубы оскалила...

— А пойдет-то когда же?

— Сказал: вот разделаю Машку на сорта, тогда и пойду. Мясо-то паровое, говорит, на базаре нынче в цене...

— Господи! — шепотом отозвалась Наталья и, взяв сына за руку, повела за собой. — А меня, сынка, с фабрики выгнали. И живоглот наш с квартиры выкинул...

— У! — скрипнул Ванюшка зубами. — Я ему дом сожгу! Ночью!

— Очумел! Право, очумел! Следом за батькой хочешь? А чего же я тогда одна с девками делать стану?

В избенке Юлая Ванюшка увидел сестренку, жадно хлебавших деревянными ложками из большой миски дымящееся варево.

— Ашай нада, — поманил от стола Юлай. — Наташ! Тащи сынок, садись прям каробка твой, табуретка-мабуретка нету, не купил еще.

Наташа съела всего несколько ложек горячего пахучего варева и отложила ложку, а девочки ели с жадностью, поглядывая то друг на друга, то на стариков хозяев...

А в это время Присухин, разделавшись со свиной тушей, сидел в передней горнице в одних подштанниках и в десятый, наверно, раз разглядывал записку, которую ему предстояло передать Якутову. В записке было только два слова: «Дорогой Иван!», а дальше сплошняком шли цифры, целая страничка из школьной тетради покрыта парными цифрами. Что эти цифры значили — понять совершенно невозможно, — и именно эта непонятность навевала на Присухина почти мистический страх. Деньги он пересчитал еще раз и спрятал в тайник; ключ от шкапулки тайника носил на шее, на том же шнурке, на каком висел нателный крест...

— И что же это здесь накарябано? — со страхом спрашивал он себя, вглядываясь в цифры. — Стало быть так: 3-5, 3-4, 2-5... что же все это предназначено обозначать? Га? Или вот тут: 1-2, 3-4, 3-1, 3-3, 2-4... Может, тут опять про царя, скажем, нехорошее записано? Может, снова умысел какой? И как же тогда я, ежели вскрыется? А? Тут его, скажем, повесили, а в кармане эта цифирь. Чего такое? И станут самые умные ученые над этой цифирью думать и разберут — что к чему... — Он с тоской посмотрел в угол, на верхний, аккуратно пригнанный изразец — за ним сейчас лежали полученные им деньги... — И тогда вопрос: кто передал Якуту цифирь? Кто в тот день дежурил в смертном продоле? А? Тут тебе смотрят в дежурный табель... Дежурил, значит, Присухин, Василий Феофилактыч. Ага!.. Он, стало быть, и передал... А в записке, скажем, умысел на царя-помазанника, чего-то такое.

Распаренный от работы над свиной тушей, Присухин покрывался теперь холодным потом, все тело охватывала дрожь, словно сидел он не в жарко натопленной горнице, а стоял на ледяном ветру...

— Не брать было записку эту тайную? А? — бормотал он, с тоской оглядываясь на распахнутую кухонную дверь, где в конском ведре Ефимия мыла свиные кишки. Два сытых, гладких кота, хищно урча, жрали что-то под столом... — Не брать?! А деньги? Такие на улице не валяются! Тут тебе две, а то и три коровы купить можно... Разве такими деньгами поступишься? Прокидаешься, мил человек.

Присухин снова долго и пристально с прежним страхом всматривался в коряво написанные цифры — от них тетрадный листок казался рябым. Что таилось за этими цифрами, о чем они должны были сказать томящемуся в смертной камере преступнику? Может, тут сказано, как убить его, Присухина, и как потом бежать в его тюремной одежде? Он снова оглянулся: нет, шинель пока висела на месте, и тужурка с орластыми пуговицами, и круглая шапка с белым знаком... Ах ты, боже мой милостивый, чего же делать? И к чему порошок? Может, какой новый такой динамит придумали, чтобы стены взрывать? Взорвал же Степка Халтурин царскую столовую в самом Зимнем дворце!..

В одних исподних, накинув на голые плечи старенькую тужурку, он долго ходил по горнице, тяжело топоча босыми ногами по чисто вымытому полу, по домотканым половичкам.

— Ты чего, отец, маешься? — озабоченно окликнула из кухни Ефимия.

— Не бабьего ума дело! — сердито огрызнулся Присухин и вдруг стал с судорожной торопливостью одеваться.

10. «ВЫ ЖЕРТВОЮ ПАЛИ...»

А Якутов все ходил и ходил по камере: пять шагов к двери и пять назад. Нет, у него хватит мужества принять смерть так, как принимали многие, не пресмыкаясь, не прося пощады...

День тянулся, как год. Но вот уже сгустились сумерки, погасло за

окошком вечернее небо, в фрамуге над дверью зажглась оплетенная проволокой пыльная лампочка. По коридору безостановочно ходил надзиратель, стучали сапоги, звенели ключи, мертво блестел в волчке глаз.

Якутов попробовал постучать в стену соседям, еще в 1903-м в Иркутском тюремном замке выучился тюремной азбуке, изобретенной декабристом Бестужевым: шесть рядов букв по пять в каждом ряду, — стучишь сначала ряд, потом место буквы в ряду...

— Кто? Кто? — стучал он, напряженно прислушиваясь к шороху шагов в коридоре. — 2-5, 4-3, 3-4... — И опять после короткого перерыва: — 2-5, 4-3, 3-4... — Но ни с той, ни с другой стороны на стук не отзывались, — конечно, его нарочно посадили между пустыми камерами, чтобы в эти последние часы не было товарищей рядом...

В шесть часов вечера сменялись в проходе надзиратели, по очереди они заглянули в волчок, пошептались о чем-то, он не слушал — о чем. Потом заскрежетал замок, окованная железом дверь раскрылась, и Якутов увидел надзирателей и дежурных по тюрьме — сдающего и принимающего смену. Стоя в коридоре, они смотрели на него с каким-то особенным вниманием, и он почувствовал вдруг, как рванулось в груди и отчаянно заколотилось сердце: за ним! Когда он думал об этой минуте, ему хотелось верить, что он засмеется палачам в глаза, плюнет им в морды, а сейчас роковая минута пришла, и он, откачнувшись к стене, оперся на нее спиной, чувствуя, как подгибаются ноги. Тюремщики молча стояли не меньше минуты, а Якутову показалось — часы и годы, потом ночной дежурный по тюрьме приказал Присухину:

— Решетку!

В руках у Присухина оказался длинный железный прут. С опаской поглядывая на Якутова, надзиратель прошел в глубь камеры и несколько раз стукнул по переплетениям решетки, они отозвались спокойным и ровным звоном. «Словно похоронный колокол», — подумал Якутов. Если бы у него не накопилось тюремного опыта, он, наверно, удивился бы предосторожностям своих стражей: чем, ну чем он мог бы перепилить здоровенную вбетонированную в стену решетку, как мог достать до нее? И что делать потом? Прыгать с четвертого этажа? Но Якутов не удивлялся. Около двух месяцев назад, когда его везли этапом через Сызранскую пересылку, как раз в ночь, что он провел там, из смертного корпуса, перепилив решетку, бежал приговоренный. На его счастье камера оказалась угловой и в полутора аршинах от окна спускалась с крыши водосточная труба, по ней смертник и слез. Но уйти ему не удалось, тюремный двор обнесен высоченной кирпичной стеной, а надзиратель смертного прохода скоро хватился — камера осужденного пуста... С тех пор особым приказом по министерству и ввели эту проверку решеток и обязали надзирателей не сводить глаз с приговоренных.

— Цела, ваше благородие! — отозвался Присухин, отходя от окна и напряженно посматривая на Якутова.

А тот стоял, готовый упасть от прихлынувшей вдруг к сердцу горячей волны, от догадки: нет, еще не сейчас... Если бы его хотели увести сейчас, на кой черт проверять решетку? Значит, еще не сейчас, значит, еще целая ночь впереди. И он нашел в себе силы улыбнуться.

— Все трясетесь, хмыри?

Ему не ответили, а дежурный по тюрьме, принимающий смену, строго приказал деревянным голосом:

— Гляди в оба, Присухин!

— Есть, ваше благородие!

Дверь захлопнулась. Якутов подошел к ней вплотную и прижался ухом к холодному железу. Тюремщики прошли мимо соседней камеры, не останавливаясь, значит, она действительно пуста. Интересно, кто же еще, кроме него, сидит сейчас в этом проходе, у кого такая же судьба?

Из коридора не доносилось ничего, кроме звука шагов, дребезга ключей и замков. Потом обе смены прошли назад, к выходу, а еще через минуту в волчок заглянул неразличимый по цвету глаз и смотрел долго, не мигая, словно хотел запомнить Якутова навсегда. Этого Присухина Якутов смутно помнил, не раз встречал на улице, на базаре. Ведь все, связанное с полицией, жандармами и тюрьмой, все люди, на пуговицах которых пластался ненавистный двухголовый орел, невольно притягивали к себе взгляд, запоминались в предчувствии неизбежных в будущем встреч.

Шелестели в коридоре шаги, чуть слышно шелкала заслоночка волчка, смотрел в него мертвый рыбий глаз. И больше ничего — в продоле было тихо и мертво. Якутов знал: у самого начала продола, у решетки, перегораживающей коридор, стоит столик дежурного надзирателя и табуретка, над ним — керосиновая лампа, на случай, если погаснет электрический свет, на столе — белый жестяной чайник и оловянная кружка. Устав ходить, надзиратель присаживался к столику и дремал или читал. Когда вели в камеру, Якутов заметил лежавшую на столе газету и книжечку в черном переплете с тисненым крестом на обложке — библия или евангелие. Значит, этот хмырь верит или думает, что верит в бога, всемогущего и милосердного, защиту и надежду угнетенных и обремененных. Как это? «Приидите ко мне вси нуждающиеся и обремененные и аз упокою вы...» Да, упокоит...

Знакомым фальцетом пропел гудочек на чаеразвесочной фабрике — кончилась смена, и теперь работницы стайками разбегаются по домам. Может, вместе с другими бежит и Наташа, — ведь пришлось же ей куда-то устраиваться работать, иначе не прожить. А в мастерские ее, конечно, не взяли — из-за него.

Потом хриплым баском прогудело в мастерских, и измазанная машинным маслом и мазутом братва рванулась к воротам, на которые, наверное, снова припаяли, приварили сбитый в девяносто пять орластый герб... «Приидите ко мне вси нуждающиеся и обремененные...»

Говорят, что приговоренные к смерти последнюю перед казнью ночь спят спокойно и крепко. Это неправда. Это, наверно, придумано из любви к эффектным контрастам. Наоборот, осужденному на смерть последняя ночь кажется не только самой длинной в его жизни, она повторяет всю жизнь, вынося на поверхность воспоминаний мельчайшие подробности, казалось бы намертво похороненные памятью. Человек судорожно торопится оглянуться на прошлое, стараясь не упустить ничего; непрерывной вереницей проносятся перед ним и дорогие, и ненавистные лица, вспоминаются места, где ступали когда-то его ноги, где пережито счастье или горе. Возникают в памяти картины детства и юности, мучают поздние и бесполезные сожаления об обидах, нанесенных дорогим, кому так и не успел ответить добром на добро, у кого не успел, не смог попросить прощения за причиненные горести... В памяти текут убранные тальником и камышом речонки детства, лепечет березовая листва, мчатся людские реки в каменных ущельях городов, проносятся первые поезда по еще не обкатанным, ржавым рельсам; бьет в берега море, где никогда не плывал, — оно всегда, с самых мальчишеских лет, с первой прочитанной книжки бессмертно жило в воображении.

И в то же время последняя в жизни ночь безжалостно коротка — все время одолевает боязнь: вдруг осталось что-то дорогое, чего не успел вспомнить... И глаза то и дело тянутся к высокому зарешеченному окну, боясь поймать за ржавым железом прутьев неяркую голубизну начинающегося рассвета, просвеченную кровью полоску новой зари...

Якутов ходил по камере, ходил без конца, не в силах остановиться, словно неподвижность еще больше приблизила бы к нему смерть. Он боялся поднимающегося где-то из самой глубины ледящего страха.

Страх рождался где-то внизу живота, холодил там, словно шевелилась притаившаяся змея, поднимался выше, касался сердца. Хотелось закричать, завывать, биться головой о стены, о каменный шершавый пол, об окованную железом дверь. И, стискивая кулаки, кусая губы, Якутов ходил все быстрее, почти бегал...

Останавливаясь у стены, он вновь и вновь перечитывал выскобленные в кирпиче имена и календарные даты, и последние слова, которые оставили на память о себе те, кто прошел раньше... Внезапно Якутову тоже захотелось оставить по себе в этой камере какой-нибудь знак, сказать что-то тем, кто придет сюда следом. Конечно, он знал, что после каждого смертника тюремщики осматривают камеры, стараясь стереть все оставленные здесь следы. Но если это врезано в кирпич глубоко, как например: «Панкратов Егор. Петля. 1906», даже все усилия тюремщиков не могут затереть этот след — он так и будет оставаться до капитального ремонта, когда стены заново покроют слоем штукатурки. Но и тогда, под штукатуркой, эти слова, эти имена будут жить, жить скрытно, ожидая своего часа, и штукатурка неизбежно обвалится, и похороненные под ней слова снова обретут жизнь...

Он обшарил глазами камеру: ни гвоздя, ни осколка стекла — ничего, чем он мог бы выцарапать на стене свое имя. Перед тем, как отвести Якутова сюда, у него отрезали со штанов пряжки и металлические пуговицы: край пуговицы или пряжки можно наточить о камень и взрывать вены — такая смерть все же легче, чем ожидание виселицы. Он обшарил карманы — ничего! Облазил все углы в камере; улучив минуту, когда Присухин отошел, заглянул под прикованную к стене железную койку — ничего!

Он метался по камере, словно обезумев, словно решение этой задачи — оставить здесь по себе след — могло сохранить ему саму жизнь, словно от этого зависело сейчас все... И вдруг вспомнил: сапоги! Еще в Харькове, недели за две до того, как его схватили на улице жандармы, он сам ремонтировал свои сапоги, прибил набойки, прибил чуть ли не полувершковыми гвоздями.

Присев на койку, торопливо стянул с левой ноги сапог и облегченно засмеялся: набойку можно отодрать — тогда в руках у него окажется гвоздь. С тревогой посмотрев на дверь и в засиненное ночью окно, яростно впился зубами в край набойки, подумав при этом: хорошо, что на допросе не все зубы повыбивали, сволочи. Сопя и кряхтя, забыв о только что одолевавшем его страхе, он рвал зубами пахнущую дегтем кожу. И через десять минут на ладони у него лежало три гвоздя!

Якутов почувствовал, что он внезапно очень устал, и с лица и шеи ручьями тек пот, и ему вдруг захотелось есть. На приделанном к стене крошечном железном столике темнела его дневная пайка хлеба и стояла глиняная кружка с водой. Схватив хлеб, он принялся есть его с неожиданной жадностью, глотая непрожеванные куски, запивая большими глотками теплой, пахнущей жестью воды. Наевшись, вытер тыльной стороной ладони рот, отряхнул с рубахи в руку крошки и, бросив в рот, встал. Он не боялся, что Присухин помешает ему сделать задуманное, этот хмырь не решится открыть дверь, а вызывать по пустякам начальство тоже не посмеет...

И вот под полузатертыми словами «Панкратов Егор» появилась первая царапина — сквозь недавнюю побелку проступила кирпичная краснота, словно действительно кто-то оцарапал стену до крови, до мяса. Якутов не думал, что именно он будет писать, слова возникали под рукой сами: «Якутов Иван. Тоже. 1907. Мы победим!»...

Пальцы уставали держать маленький гвоздь, шляпка его врезалась в мякоть до крови, приходилось останавливаться, делать передышку. А в глазок, не отрываясь, смотрел рыбий, мертвый глаз...

А между тем человек, стоявший по другую сторону двери, сжимал запотевшей рукой то, что могло бы спасти Якутову жизнь: испещренную цифрами бумажку и маленький порошок — белого, чуть желтоватого цвета. Присухина мучили угрызения совести: деньги взял, значит, надо передать то, что обещано. Но что будет потом, что значит эта идиотская цифирь в записке, что таит в себе шепотка белого порошка, завернутая в вощеную бумажку? И кроме того, Присухин действительно боялся открыть камеру и остаться один на один со смертником. Кто-кто, а тюремщики хорошо знают, на какие отчаянные поступки способен человек, когда в жизни терять ему уже нечего. В продоле Присухин дежурил в это время один. По рассказам старых надзирателей он знал, что страх смерти удесятерляет силы обреченного, даже истощенный тюрьмой, слабый, он может убить ударом кулака... А если удастся передать без риска быть изувеченным, что будет, когда у Якутова найдут записку? Может быть, этой проклятой цифирью и обозначено, что записку и порошок передаст Якутову Присухин? Что с ним самим будет тогда? Тюрьма?! Ка-торга? Ссылка?..

Уже под утро, отряхнув с пальцев кирпичную пыль, Якутов присел на койку, по-хозяйски осмотрел сапоги. Что ж, если поставить снова набойки да подлатать подметки, еще послужат. И пиджачишко, пожалуй, сгодится...

Он свернул сапоги и пиджак в один узел, постучал в дверь. Волчок сейчас же открылся — видно, Присухин стоял под самой дверью...

— Чего? — хрипло спросил он.

— Отопри, служба.

— Не велено.

— Ну, отопри на минутку.

— Не могу.

— Тогда слушай. Вот гляди, тут у меня сапоги да пиджак жене бы передать, а? Сам понимаешь, мне ни к чему теперь, а мальчишке сгодятся.

Присухин долго молчал, и глаза его рассматривали Якутова с удивлением и страхом.

— Оставь. Ежели дозволят — передам... Не труд...

Но каменный пол в камере был холоден как лед, и через несколько минут, озябнув, Якутов в ожидании, когда загремят в продоле решетки и двери, снова надел сапоги и опять принялся ходить взад и вперед. И — странно: то, что ему удалось уговорить Присухина передать Наташе сапоги и пиджак, неожиданно успокоило его, с чем-то непримиримым примирило. Может быть, это чувство возникло потому, что где-то в подсознании родилась еще не оформленная словами мысль: возьмет Наташа в руки его сапоги и его пиджачишко, который сама же столько раз латала, и поймет, что Иван никогда не забывал ни ее, ни детей, и даже в самую последнюю минуту помнил о них...

Утром, когда за ним пришли, тюрьма не спала. Еще не было подъема, еще камеры не водили «на оправку», еще не принесли с кухни и хлеборезки кипятка и хлеб. Но тюрьма была полна напряженными, таинственными шорохами, во всех камерах, прижавшись к дверям, ждали. До всех политических, даже до тех камер, которые были лишены прогулки, тюремный телеграф донес весть о сооруженной во дворе виселице...

Якутов сидел на своей койке, вцепившись руками в железный край, неподвижно смотрел на дверь. Вот где-то внизу два, три и четыре раза грохотнули решетки, перегораживающие коридоры, кто-то приближался, звенели ключи, по-военному стучали о каменный пол подкованные сапоги... Ближе, ближе...

— Сюда, сюда, батюшка, проходите! — сказал у самой камеры глухой голос Присухина.

Якутов встал. Дверь распахнулась, за ней в полутьме коридора белели лица, блестели погоны и кокарды, но все это Якутов видел смутно, словно сквозь дым. Все те, что пришли за Якутовым, остались в коридоре, а в камеру прошел только священник, отец Хрисанф,— его Якутов, так же как и Присухина, не раз встречал в городе,— медлительный, неторопливый человек с полным и мучнисто белым лицом, обрамленным мягкой каштановой бородкой, с красивыми карими, чуть навывкате глазами.

— Сын мой! — негромко и печально сказал священник, придерживая одной рукой полы рясы, а другой поднимая нагрудный крест.

И снова, оказавшись лицом к лицу со своими врагами и убийцами, Якутов почувствовал, что страх, одолевавший его в последние часы, отступает. Он отвел в сторону серебряный крест, который священник поднес к его губам.

— Не нуждаюсь, батюшка! — покачал он головой. Сел на койку, стащил с ног шерстяные носки, засунул их в сапоги. Встал и, побледнев, посмотрел на стоявших в дверях секретаря суда, начальника тюрьмы, надзирателей и конвоиров.

Отец Хрисанф, беспомощно оглянувшись, еще раз протянул Якутову крест.

— Примирись со господом, сын мой. Не губи душу бессмертную. Велик твой грех на земле, но отринув в последний свой час господа бога нашего, ты свершаешь еще больший грех, тягчайший и непростительный... Разве душа твоя на пороге вечности не жаждет...

— Отойди, батя, со своей вечностью! Не путайся на дороге! — Якутов отстранил одной рукой священника и шагнул к двери.

— Почему босиком? — строго спросил из-за порога начальник тюрьмы, ражий и толстый, которого вся тюрьма за глаза звала Квачом.— Непорядок.

— Сапоги мои и пиджак тут вот. Вдове моей отдайте,— показал, обернувшись к койке, Якутов.— Я и так, глядишь, дошагаю...

— Стой! — приказал Квач и, полуобернувшись к начальнику конвоя, приказал: — Руки!

— Бойтесь? — усмехнулся Якутов.— Бойтесь — передущу вас, гады?

Но два дюжих конвоира уже стояли по бокам его, и ничего ему не оставалось, как протянуть руки. Никелированные, блестящие, как игрушки, американские наручники замкнулись у него на кистях с мелодичным звоном.

— Выходи!

Священник шел следом и все пытался уговорить вероотступника примириться с богом и смертью.

А тюрьма молчала. Якутов вышел в коридор, глубоко вздохнул, остановился, собравшись с силами, крикнул:

— Прощайте, товарищи! Якутов идет умирать!

И тюрьма сразу же, в то же мгновение, откликнулась на его крик тысячами голосов, дребезгом разбиваемых глиняных мисок, грохотом дверей, в которые били всем, что можно было найти в камерах.

— Якутов! Якутов!

Он медленно шел из коридора в коридор, с этажа на этаж, и не слышал ни топота шагов окружавших его тюремщиков, ни звона наручников.

— Якутов!

— Якут!

— Иван!

Он шел, чуть поеживаясь,— каменный пол настыл, от него дышало холодом, зимой; по бокам шли тюремщики; кто-то подталкивал Якутова в спину.

— Шевелись! Шевелись! — испуганно поторапливали его.

— А мне торопиться некуда,— зло оглянулся Якутов.— Успеете! — И останавливаясь на каждом этаже, кричал: — Прощайте, товарищи!

— Рот... рот бы заткнуть... — бормотал кто-то сзади.— Не доперли, идиоты.

Тюрьма, казалось, вот-вот развалится от тысячеголосого крика, от ударов в двери,— проходя мимо камер, тюремщики со страхом косились на двери, словно боялись, что железо не выдержит, сорвется с петель и в коридоры хлынет человеческая лава.

— Давай! Давай!

Когда Якутов со своими стражами дошел до второго этажа, кто-то в одной из камер запел высоким срывающимся голосом:

— «Вы ж-жер-твую... п-пали-и...»

— ...«в борьбе роковой!» — подхватили сразу сотни голосов, и через несколько секунд пела вся тюрьма, все ее этажи, все камеры. Надзиратели перепуганно кидались от двери к двери, стучали кулаками, кричали в глазки:

— Молчать! Прекратить пение!

Но отпирать камеры не решались: так страшно, так грозно звучало это пение, провожающее уходящего на смерть...

А Якутов вдруг странно успокоился, перестала бить нервная горячая дрожь. Он шагал теперь твердо и сам вместе со всей тюрьмой пел знакомые, торжественные, берущие за сердце слова. Только сейчас он вдруг понял: всю эту долгую ночь он боялся больше всего, что умирать ему придется в одиночку, что никого из своих не будет рядом в последнюю минуту, что никто даже не узнает, не передаст на волю, как и где умер Иван Якутов. А сейчас он словно шагал по тюремным коридорам не один, а впереди многих тысяч таких же, как он, борцов, товарищей, братьев...

Во дворе было еще совсем темно, на снегу лежали глубокие синие тени, в небе — щедрая россыпь крупных звезд. Он пошел по двору, снег обжигал ноги. А тюрьма за его спиной гремела тысячами голосов...

Из окошка верхнего прохода, вцепившись побелевшими руками в прутья решетки, с полуоткрытым от страха ртом, смотрел вниз на тюремный двор Присухин. И когда Якутов, оттолкнув палача, взгромоздился босыми ногами на табурет, Присухин не выдержал. Судорожно всхлипнув, он опрометью понесся кричащим и поющим коридором и в пустой арестантской уборной дрожащими руками долго рвал на мелкие клочки листок из школьной тетради с непонятной цифирью. Ключки записки вместе с порошком бросил в зловонное отверстие и отошел от него только тогда, когда вода унесла все... И еще долго стоял здесь, обессиленный, прислонившись спиной к стене...

А тюрьма продолжала петь... Из тюремных окон со звоном летели в снег стеклянные брызги, арестанты били стекла, и слова похоронного марша снова и снова повторялись, мешая секретарю суда читать приговор. Якутов не слушал слов приговора, он слушал голоса тюрьмы, поджимая под себя то одну, то другую ногу, он думал о Наташе, о детях, радуясь, что они не видят его смерти, не знают о ней...

Наташа стояла за тюремной стеной рядом со своими детишками. Что, какая сила, какое предчувствие сорвало ее в ранний час с постели и привело сюда? Этого объяснить, наверно, никто не сможет. Но она стояла рядом с детьми и слушала похоронный марш, она узнавала его слова — так пели рабочие железнодорожных мастерских, когда в девятьсот пятом хоронили убитых солдатами рабочих.

— Мамка,— потянула ее за подол Маша.— Это чего такое поют?

«Это батю нашего отпевают»,— хотела было сказать Наталья, но,

глянув в напряженное лицо сына, в бледное, посиневшее на морозе лицо Нюшки, ничего не сказала.

У ворот тюрьмы, позвякивая сбруей, топтались лошади, впряженные в извозчицьи санки, плясали и хлопали друг друга по плечам, согреваясь, кучера, ходил возле полосатой будки закутанный в бараний тулуп часовой...

Когда через два часа Наталье Якутовой выбросили из тюремной калитки сапоги и пиджак мужа, она упала на них, и Ванюшка долго поднимал ее из снега. Девочки плакали и со страхом оглядывались на ворота тюрьмы — оттуда один за другим выходили люди и рассаживались в санки. И кто-то сквозь зубы, стараясь, чтоб не дрожал голос, бубнил:

— У вас, батенька, на руках верных семь, а вы объявляете шесть! Я с вами больше играть не сяду...

— Сядете, сядете, отец Хрисанф...

Поддерживая мать, Ванюшка смотрел в сторону уезжающих и бормотал сквозь слезы:

— Не плачь, мамка... Я их всех убью, всех, всех...

Два дня Якутова просила, чтобы ей выдали тело мужа, караулила у ворот, чтобы его не увезли тайком, — но тело ей не дали, боялись, что похороны могут вылиться в новое восстание...

«Он умирал на тюремном дворе, а вся тюрьма пела,— во всех камерах пели,— и клялась, что никогда не забудет его смерти, не простит ее.

Н. К. Крупская».



ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ — ЛЮБОВЬ?..

I

Дали третий звонок. По внутренней трансляции Розочка Балашова, ведущая сегодня спектакль, говорит быстро и монотонно: «...Товарищи актеры, первая картина! Товарищи актеры, занятые в первой картине, просьба — на сцену!» Похоже, будто Розочка Балашова объявляет трамвайные остановки. И ее кондукторский голос, механически хриплый, потрескивающий, одинаково бесстрастно раздается в артистических гримуборных, в коридорах, на лестнице, в буфете, в кабинетах директора и главного режиссера.

Потом Розочка включает сцену, и в динамиках слышен докипающий, неожиданно близкий гул зрительного зала. Наверное, никто из зрителей не предполагает, что вот эта разноголосица, стук откидываемых кресел, звон упавшего номерка, смех, кашель, — вся эта увертюра, исполняемая зрителями, — звучит сейчас по всему громадному зданию театра, по всем его этажам. И актеры, что стоят на выходе, бегут за кулисы, гримируются, жуют казенные бутерброды в буфетике, курят на лестнице, — все актеры ее слушают. Они продолжают говорить, думать о своем, торопиться, но эта музыка уже проникла в них, неощутимо заполнила их, и теперь они будут чувствовать ее непрестанно, сквозь все остальные переживания. Спектакль пошел...

Спектакль старый. Вернее, играли его немного, но успеха он не приобрел, и теперь его пускают раза два в месяц, непременно по субботам и воскресеньям. Главный администратор Лев Левыч знает свое дело. В понедельник назначит «боевик», пулевой спектакль, на который билетов не достать, а в субботу даст самый плохонький. В субботу некуда деться зрителю, посещает волей-неволей...

Оформление спектакля модное. Сцена открыта, вместо занавеса наискось протянута рыболовная сеть. Оркестровая яма укрыта голубым нейлоном, изображающим водный простор. Справа и слева поставлены треугольные бакены. Двое рабочих уже сидят в кулисах, дергают за веревки, — бакены раскачиваются, как на волнах, пускают в зал игривые зайчики. Создают настроение.

А в сумеречном, прохладном, наливающимся темнотой зале смолкает разноголосица, пустует проходы, замирает бегодня. Лишь в одном месте, в пятом ряду, небольшая кутерьма. Это главный администратор Лев Левыч, заикающийся красавец, блестя лакированными волосами, смутно белея нанудренным сухим лицом, быстро и деловито гонит каких-то мальчишек с незаконно занятых мест и, усмехаясь покровительственно, усаживает в кресла взволнованного автора пьесы и его молодую жену.

II

Сегодня Лера чуть не опоздала на спектакль. В Коврине, в новом районе, где она живет, еще мало транспорта. Туда, на край города, ходят только автобусы. Лера прождала в очереди полчаса, но автобусы шли переполненные, не открывали дверей; такси в разгульный воскресный день тоже не попадались. Лера выскочила на середину проспекта и голосовала подряд всем машинам — легковым и грузовым. Сжалился какой-то инвалидский «Запорожец» с буквой «р» на ветровом стекле, затормозил, тарахтя; Лера прыгнула в низенькое, неудобное, как детский стульчик, сиденье, сказала, задыхаясь: «Хоть куда-нибудь поближе к центру...» Хозяин «Запорожца», весьма крепкий и упитанный инвалид, все поглядывал на пассажирку, строил куры. «На свиданье опаздываешь?» Если бы Лера ответила, куда опаздывает, — не поверил бы. Сидела в «Запорожец» не ведущая актриса первой категории, сидела страшенькая, замызганная девчонка, с бледным и прыщавым личиком, некрашенная, нечесаная, поправляла мокрый шарфик на голове и запахивала вытертую, старую шубку из стриженной овчины, запахивала и придерживала рукой, потому что нету на шубке пуговиц, оторвались.

«Брякни вечером!» — сказал инвалид на прощанье, и на сигаретной обертке нацарапал номер телефона.

А в театре, прямо в дверях, уже стоял зав. труппой, клокоча и негодуя, нервничала костюмерша, принесшая платье, и главный режиссер, встретившийся в коридоре, даже застонал тихонько и сморщился: так ему стало больно, что Лера опоздала. Быстро-быстро натерлась Лера коричневой морилкой, наклеила ресницы, подвязала фальшивую косу, положила тон; где там рассматриваться в зеркале, пусть один глаз поллучился больше и губы намазались криво; некогда, некогда, вот уже третий звонок, а надо еще платье надевать.

Платье же, к несчастью, только что принесли из химчистки. И оно село. С ужасом Лера чувствовала, как трещит это платье по швам, как морщится и тянет под мышками. И костюмерша смотрела, ужасаясь. Но ничего не поправить, поздно; прозвучал в динамике голос Розочки Балашовой: «Товарищи актеры, просьба — на сцену!», донесся гул зрительного зала, магическая увертюра к спектаклю, — и Лера, обтягивая на себе платье, боясь поднять руки, резко пошевелиться, боясь вздохнуть глубоко, пошла на выход.

Она увидела зрительный зал; внизу, под собою, первые ряды, хорошо видные в отраженном свете, желтые лица и белые программки в руках, зеленые и красные отблески бакенов, а дальше полутьма, неразличимые головы, только иногда лысина блеснет или очки, а еще дальше, в серебристо-дымном сумраке, уже никого не разглядеть, и в дальних рядах партера, в бельэтаже, на балконе будто капли набрызганы, тысячи капель, серых на темно-голубом.

Она увидела этот зал и тотчас забыла о себе, о своей усталости, о коротком и тесном платье; она себе не принадлежала теперь; что-то поднялось внутри, всплеском поднялось и захлестнуло ее, что-то жгучее, душное и легкое, как горячий воздух, — и ничего нельзя было теперь, ни о чем думать нельзя, а только выбежать и раскрыться, выплеснуть это в зрительный зал.

И она ждала, подавшись вперед, не замечая, что вся колотится от нервной внутренней дрожи.

А рыболовную сеть, заменявшую занавес, все не отодвигали; опять какая-то накладка произошла; внизу, в оркестровой яме, пробирался

режиссер между попитрами, кричал приглушенно: «Афанасий Никитич! Афанасий, два слова!..» Сквозь нейлоновую материю и режиссер, и музыканты казались мертвецки синими, как утопленники.

— Афанасий!.. — зашептал режиссер капельмейстеру. — Слушай, Афанасий, эта ч-чертова гармонь заболела! Частушек петь не будем! У тебя после пароходных гудков есть мелодия, помнишь: «Ай-ля-ля, тру-ля-ля...» Ты пополощи эту мелодию, а? На рояле пополощи! Необходимо, старикаша, минутки три-четыре!..

Лера слышала, как Афанасий ругался с режиссером, шипел: «У меня не джаз, чтоб импровизации разводить!» Лера видела в пятом ряду автора пьесы, нетерпеливо ерзавшего в кресле. Автор приходил регулярно на каждый спектакль и воспринимал свою пьесу с восторженной непосредственностью; он смеялся первым из всех зрителей, он плакал, искренне переживая гибель героя; наверное, он совершенно не подозревал, что пьеса плоха, что актеры издеваются над нею, что дирекция в скором времени выкинет ее из репертуара... Автор ничегошеньки не подозревал, счастливее. И сейчас он томился, ерзал нетерпеливо, жаждал вновь насладиться своим произведением.

Но вот, дернувшись, поползла в сторону рыболовная сеть, и актеры замерли, ожидая, что произойдет. Каждый раз эта сеть застревала на середине сцены, цеплялась за какой-то невидимый гвоздик. На всех спектаклях. И каждый раз наступала общая заминка, — никто из зрителей не решался подбежать к барьеру, дотянуться до сети, отцепить ее, и никто из актеров не мог выбежать. И рабочий, что тянул эту проклятую сеть, не решался дернуть как следует. Кто будет отвечать, если порвешь?

Сеть натягивалась, ходила ходуном; было похоже, что богатый улов, целый рыбный косяк вытаскивают сейчас из оркестровой ямы. А в зале будто крупный дождик прошелестел: задвигались, засмеялись. И внезапно Лера догадалась, что большинство зрителей — дети. Только сейчас она вспомнила, что начались детские каникулы; значит, на утренних спектаклях будет полно детей. И она мельком подумала, верней ощутила, как будет тяжело играть сегодня. Взрослые-то зрители с трудом выносят Лерины монологи, а каково детишкам слушать рассуждения про любовь? Станут шуметь, толкаться, пропадет контакт со зрительным залом. Тогда кричи, как в глухую стену...

Вообще Лере не повезло с этой ролью. Автор, святая наивность, еще не знает, что нельзя давать актрисе несколько слов в первой картине и несколько слов в последней. «Вы у меня в пьесе очень важны! — лепетал автор на репетициях. — Вы как поэтическое обрамление! Как сквозная тема любви!» Издевательство это, а не сквозная тема. Скажешь в первой картине монолог, а потом, загримированная, в парике, слоняйся три часа по театру, изнывай, жди последней картины, чтоб опять выкрикнуть несколько слов.

Все это скользнуло у Леры в мыслях, пока дергалась злополучная сеть. А когда отцепилась-таки и уползла в кулисы, когда зажегся и ударил сверху тонкий луч осветительского «пистолета», поймав Леру в дрожащий, яично-желтый и теплый круг, когда этот круг повел, потянул за собой Леру по сцене, когда оркестр вступил, зазвучал сильнее и тоже как бы повел, повел за собой, — внешних мыслей и внешних переживаний не осталось.

Она пробежала на середину сцены, видя перед собой декорации, изнанки кулис, пожарника, дремлющего на стуле, темный дышащий про-

вал зрительного зала, притягивающий к себе, как магнит, она выбежала, видя все это и не ощущая этого, не чувствуя реальности этого. Она чувствовала и ощущала другое: настоящую реку, настоящее небо, вечерний туман, гудки пароходов у пристани; она слышала частушки за рекой, все равно слышала, хоть сегодня никто не пел их, и заболел гармонист, и Афанасий «полоскал» на рояле невнятную мелодию; все было сейчас настоящее, и Лера была деревенской девчонкой семнадцати лет, и бежала, как деревенская девчонка, отведя назад локти, подняв тяжелые кисти рук; и платье было ненадеванное, прекрасное платье — удобное и легкое, как своя кожа, и своя коса привычно скользила за плечом. И Лера любила сейчас по-настоящему. Выбежала на берег, оглянувшись, увидела, что его нет, поняла, что придется ждать; вдруг испугалась, что он совсем не придет, — и замерла, застыла. И с неожиданной силой и мукой, не понимая, что творится с нею, только чувствуя, что невозможно молчать, закачала головой, застонала, всхлинула — и спросила, как спросила бы первая женщина первый раз на земле:

— Да что же это, что же это такое — любовь?..

Нельзя было молчать, нестерпимо было не говорить о своей любви, и она заговорила. Как ждет его, как мучится, как уйдет от отца с матерью, все бросит — только помани за собой... И опять спросила, ошеломленная счастьем, совсем потерявшая голову:

— Да что же это такое — любовь?..

Она не вздрогнула даже, когда что-то хлестко, тупо щелкнуло ей по скуле, возле самого глаза. Она просто не поняла... Лишь минуту спустя осознала боль, очень сильную боль, и прикрыла щеку ладонью, испугавшись, что польется кровь. Блеснув, упала с рукава проволочная пулька. Оказывается, какой-то мальчишка в ближнем ряду выстрелил из резинки. И уходя, Лера обернулась произвольно, чтобы отыскать его, увидеть. Но в ближних рядах было спокойно. Только автор пьесы, до слез тронутый поэтическим монологом, сморкался в платок, прочищал горло.

III

В коридоре она сразу сунулась к зеркалу, к старенькому трюмо. Слава богу, крови не было, кожа осталась цела. Синяк, наверное, расплывется, и здоровый синяк. Но его хоть закрасить можно... Обошлось. Хуже бывает.

Она еще раз посмотрела на себя в зеркало и теперь, еще не остывшая от роли, разволнованная, с громадными подсиненными глазами, показала себе очень красивой. И постояла так, глядя на себя, успокаиваясь...

В домашней обстановке она не бывала красивой, не дано. И фигура костлявая, угловатенькая, и одутловатые щеки, всегда с нездоровой от грима кожей, и подбородок великоват. Недостатков хватает. Но она знала, что может сделаться прекрасной, если захочет; она владела этим искусством, в общем-то — нехитрым искусством, когда, повязав платок, превращаешь круглое лицо в прелестный овал, когда прядью волос закрываешь слишком высокий лоб, а глухим воротником — слишком тонкую шею. И она действительно бывала прекрасной: на репетициях, на сцене, на съемках в кино; режиссеры порою злились, что она чересчур себя демонстрирует, — простота нужна современному театру и кино, достоверность нужна, голая правда, а не ослепительные красотки... Она не спорила, но делала по-своему. И когда играла Офелию, то безумная Офелия, в грязном рубище, в седых патлах, была у нее прекрасна.

Она не могла бы сказать, почему это делает. Только иначе не пред-

ставляла своих героинь. Ей необходимо, совершенно необходимо, чтоб они были прекрасны,— тогда она понимает их и живет их жизнью, как своей.

— Не налюбуйешься? — издали крикнул Лев Левыч, приближаясь задним ковбойским шагом.— Собралась всех детишек покорить?

Лера хотела ему сказать о синяке, пожаловаться, но вдруг, как бы вало у нее, живо представила себе, что произойдет. Лев Левыч возмутится, в антракте будут искать скверного мальчишку и, конечно, не найдут. Не такой он дурак. А напуганные актеры только и будут ждать нового выстрела. Все два акта не выйдут к рампе, станут отворачиваться, хотя мальчишка вряд ли пульнет второй раз...

Лера потрогала опухающую скулу, сделала глазки Лев Левычу и побежала в буфет, выпить чайку.

IV

— В косую линейчку? — спросила буфетчица Марья Никитична.

У буфетчицы была школьная тетрадь, куда записались покупки в долг. За полмесяца тетрадь заполнялась убористыми строчками, в день зарплаты уничтожалась, а спустя день-другой возникала вновь. Незаконная была тетрадь, подпольная, но живучая.

— В косую,— сказала Лера.— Чего бы мне съесть такого? Я возьму бутерброд с икрой, селедку и два пирожных. Ничего?

— Ну! — сказала Марья Никитична.— Еще бы! Селедка с пирожным.

— Ой, а мне хочется.

Ей действительно хотелось и селедки, и пирожных, а почему так — она про это не думала. Она давно сказала себе, что надо поступать как хочется и не размышлять по пустякам, не донскиваться причин. А то выйдет хуже... Например, с детства нравилась Лере сладкая картошка; все кругом смеялись, когда Лера сыпала в картофельное пюре сахарный песок. Все насмешничали как могли, а Лера знай себе ела за обе щеки и была довольна. Но вот она задумалась однажды, захотела выяснить причину. И вспомнила, что когда была маленькой и жила в Гурьевске, отец приносил с завода мороженую картошку. Склизкую, в синих пятнах, похожую на хозяйственное мыло. И сладкую. Голодно тогда было; картошку готовили на завтрак, обед и ужин — и Лера, очевидно, привыкла к ее сладкому привкусу. И, сообразив это, приспомянув послевоенное свое детство, Лера пригорюнилась как-то, заскучала. Пожалела себя. И сладкая картошка с того дня разонравилась ей.

Нет, лучше не задумываться по пустякам.

Лера допила чай, лимонной корочкой потерла пальцы, чтоб не пахла селедкой. Посмотрелась в зеркальце, собираясь поправить криво намазанную краску на губах. Но, увы, краска была съедена вместе с селедкой.

За столик присел, стукнув бутылкой кефира, актер Митя Грызунов. Герой-любовник Грызунов был молодой, но уже знаменитый; снимался в кино, выступал по телевизору и в концертах. Популярность завоевал такую, что прохожие на улицах оглядывались и указывали на него пальцем. Вечерами, после спектаклей, Митю ждала у подъезда нервная толпа десятиклассниц. А Митя боялся их смертно, злился и популярность свою тоже ненавидел. Скромный он был человек, прилежный семьянин, отец двух дочерей. Не ради славы мотался по концертам и съемкам,— просто двухкомнатную квартиру строил в кооперативе.

— Привет,— сказал Митя.— Кто тебе глаз подбил?

— А заметно?

— В темноте фонаря не надо...

В сегодняшнем спектакле Митя играл молодого, но уже беспутного, запутавшегося в любовных интригах фотокорреспондента. Того самого, по ком Лера страдает. В последней картине фотокорреспондента изобличат, Лера отвесит ему пощечину. Это безобидно делается: Митя незаметно заслонится ладонью, прикроется, и Лера с оттяжкой хлопнет по этой ладони, оглушительно хлопнет, на радость зрительному залу. Однажды Митя не успел закрыться, а Лера уже замахнулась и — делать нечего — хлопнула прямо по щеке. И совсем не эффектной вышла пощечина, не поверил в нее зритель.

— Младшая-то у меня разговаривает! — взбалтывая мутный кефир, похвастался Митя. — Проснулась в пять утра — и давай: «Агы-ы, агы-ы!..» И сама от радости захлебывается.

— Сколько ей уже?

— Вчера семь месяцев стукнуло, — сказал Митя. — Грандиозная девка. На горшок просится, представляешь? Марья Никитична, у вас антоновских яблочек нету? Говорят, надо антоновку давать, чтобы зубки скорее росли.

— Китайские есть, — отозвалась Марья Никитична. — Тоже кислые, вырви-глаз...

— Нет, надо антоновку. Сорвусь завтра с репетиции, поеду на рынок, — сказал Митя, встретился с Лерой взглядом — и смутился, даже под гримом порозовел. Она тоже смутилась. И оттого, что оба заметили это смущение, не могли с ним справиться, вышло совсем неловко. Митя отвернулся, притих над своим кефиром. Стало слышно, как подвывает у Марьи Никитичны холодильник и плещутся, бурлят сосиски в кастрюле.

«...Для чего люди на свете живут?! — рявкнул в углу пластмассовый репродуктор и захрипел, закашлялся. Это там, на сцене, продолжался спектакль. Колхозный кузнец, философ, объяснял зрителям смысл жизни. — Чтобы след на земле оставить, вот зачем люди живут! Я так понимаю!..»

— Нет, все-таки художественная пьеса, — произнесла задумчиво Марья Никитична, облокотясь на прилавок. — Чего вам не нравится? В современных-то пьесах или бесстыдство, или не разбери-поймешь, никакого складу. А тут хорошо высказываются... Песни красивые. Почему частушки-то сегодня не спели?

— Гармонь болеет.

«...Жизнь прожить — не поле перейти!» — крикнул репродуктор и помолчал, дожидаясь аплодисментов.

Лера посмотрелась в зеркальце, показала себе язык. Ай-яй, скоро тридцать лет актрисе, а не разучилась краснеть. Инфантильная старушенция.

— Митьк, — сказала она, — а я уже все забыла. Когда вспомню, просто не верится!

Митя посмотрел на нее снизу вверх, и сконфуженным было его лицо. Покорно все принимающим. И все-таки недоверчивым.

— Правда, Мить! — повторила Лера, поднялась, чмокнула Митю в кудрявое шелковое темечко и, засмеявшись, побежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки.

V

Начался первый антракт. Актеры толпились в коридорах; прохаживался режиссер, глядя себе под ноги, покуривая папироску от астмы; скользил и мгновенно скрывался Лев Левыч, утрясая свои таинственные администраторские дела. Появился улыбающийся автор с женою.

— Ваша фамилия — Шекспир? — спросил его режиссер (была у режиссера такая шутка-невеличка).

— Н-нет...— рдея, отвечал довольный автор.— А вы, случайно, не Мейерхольд будете?

Автору нравилось толочся в этом коридоре, чувствовать себя своим человеком среди загримированных актеров, музыкантов, реквизиторов. Нравились профессиональные разговоры, когда можно походя произнести замечательные слова: «фурка», «выгородка» или «текстуха». И еще автору, начинающему драматургу, очень хотелось увидеть рецензию на свою пьесу. В коридоре висел специальный щит, куда наклеивали вырезки из газет. Актеры подбегали к этому щиту (он назывался «Доска смеха»), искали свою фамилию в последних абзацах. «Видел, Митя,— говорили они,— тебе удалось ярко воплотить! А ты, Зинуля, опять не нашла выразительных красок!» И автор тоже бочком пробирался к щиту, останавливался как бы нечаянно и коротко, быстро, жадно проглядывал вырезки. Но рецензии все не было...

Сейчас автор столкнулся с Лерой и обрадовался, затормошился:

— Вы сегодня — первым номером! Прямо удивительно! Задали такой верный тон спектаклю, что...

За спиной автора возникла молодая жена. Скользнула настороженным взглядом, усмехнулась, поправила на авторе дыбом вставший крахмальный воротничок.

— Прямо удивительно! — сказал автор другим голосом.— Со сцены текст звучит совершенно иначе!..

Жена автора чем-то напоминала гладкую, чистенькую собачку; все в ней было нервным, быстрым, гончим каким-то, и напряженные глаза ловили, схватывали окружающее. И на миг Лера ощутила себя этой маленькой женщиной, вероятно — умной, тонкой, отзывчивой, но уже давно привыкшей бояться за мужа, привыкшей спасать мужа от бесчисленных профессиональных соблазнов. Лера поняла, ощутила тревожный мир этой женщины — он был похож на полуночную мглу, несущуюся за окном поезда, на пряди летящего дыма, прозрачно-седые на черном,— и чувство неуютности, как холодный сквозняк, вдруг охватило Леру.

«А может, она бьет его?» — подумала Лера и засмеялась, представивши эту сцену.

— Читаешь глазами,— сказал автор,— текст один. А на сцене совсем другой! Удивительное дело — театр!..

— Привыкнете! — пообещала ему Лера.

В общем-то автор говорил правду — со сцены текст звучал иначе. Лера свою маленькую роль переписала от начала и до конца. Наверное, неделю старалась, не меньше... Автор не догадывается об этом. Ну, ничего, потом догадается, а потом и привыкнет, что за него дописывают роли. Научится ладить с администраторами, научится организовывать рецензии для «Доски смеха», научится заискивать перед премьершами.

А может, все-таки не научится? Еще нестарый, но уже с брюшком, с залысинками, с носом в красных жилочках, выглядел он простецки, и глаза теплились удивленно, обрадованно, будто он только что проснулся и подарок получил. Нет, далеко ему еще до профессионального драматурга...

VI

Костюмерша поймала-таки Леру на лестнице.

— Душенька, что же это такое, я вас по всему театру разыскиваю! Снимайте платье! Я бы уже все успела — и в талии выпустить, и подол удлинить... Снимайте!

— Ой, а может я так доиграю? Не надо?

— Душенька, мне попадет, не вам. Режиссер уже заявил, что из вашего платья голые факты торчат.

Вздыхая, сняла Лера несчастное платье, заперлась в грим-уборной. Теперь сиди битый час, не вылезая... Свое домашнее платье не наденешь, жалко пачкать в морилке и гриме. Тем более неохота мыться под душем, а затем снова гримироваться...

«Товарищи актеры, второе действие! — забубнила по трансляции Розочка Балашова. — Товарищи актеры, занятые в третьей картине, прошу на сцену!..» И опять возник переливающийся гул зрительного зала, кашель, хлопанье кресел; в оркестре пикинула флейта, пробуя свое нежное деревянное горлышко...

Лера зажгла все настольные лампы, все бра и светильники, чтоб стало повеселей. Замазала тоном и припудрила синяк на скуле. Синяк, слава создателю, перестал расти, сформировался окончательно. И ныл монотонной, занудной болью. Надо бы сразу медный пятак приложить, да где найдешь его — все пятаки в метро истрачены.

Лера прошлась, повертелась перед зеркалами. Розовое кукольное лицо, коричневые от морилки руки и ноги казались чужими, по ошибке приставленными к худенькому и бледному телу. А впрочем, что тут свое, что чужое? Какая она, Лера, на самом деле?

Закрашенным местам было тепло, незакрашенные места сиротливо мерзли, покрывались гусиной кожей. Вот опять догадайся — почему? «Полна чудес великая природа»...

Лера стояла перед зеркалом, и вдруг ей почудилось, что это уже было, все было не однажды: вот так же смотрела она в зеркало в пустой освещенной комнате, среди театральных засаленных кресел, среди разбросанного белья, пестрых коробок грима, кисточек, заячьих лапок, пузырьков, флакончиков, и хрипел, говорил далекими голосами репродуктор на стенке, спектакль шел, а за окнами был неощутимый, забытый воскресный день, огромный человеческий день, от которого ничего не останется, кроме тонкого ломтика, кроме маленького кусочка меж утренним спектаклем и вечерним... Все было, было, хоть Лера и не помнила этого.

«...А любовь — это разве не долг? — спросил репродуктор, гневаясь. — Разве не высший человеческий долг?!» В зрительном зале шум нарастал — затянул, затянул свои рассуждения умный кузнец.

«А кто кому должен?» — спросил на сцене Митя Грызунов, он же беспутный фотограф. И в зале, наконец, засмеялись.

Просто не верится, право, — пять лет назад, весной, Лера влюбилась в Митеньку Грызунова.

VII

Театр тогда выезжал на гастроли; до чего же нравились ей гастроли, суматошная жизнь на колесах, гостиничный бедный уют! Совсем молодой была Лера, и каждое путешествие, любая поездка — самолетом ли, поездом — воспринималась как событие... На гастролях прибавлялось работы, играли по два, по три спектакля в день, уставали до бесчувствия, но Лера не жаловалась тогда, нет. Еще и кругозор свой расширяла: по музеям бегала, по разным историческим местам... Славное было время!

Однажды в Ленинграде, после спектакля, очутилась вдруг у вокзала; электрички отправлялись на взморье, алюминиевый репродуктор поторапливал пассажиров, неслись по мокрому перрону связки удочек, обмотанные тряпками яблоньки, детские коляски, полосатые батоны в авось-

ках... Лера купила билет до неведомой «третьей зоны» и вскочила в шипящие вагонные двери.

Она не знала еще, где сойдет, и не спрашивала никого — так было интересней. Качался поезд, пощелкивал, неизвестно куда катился; вечерело, на левой стороне, за дачными домиками, за жидким сосновым леском потянулось какое-то дымное, туманное пространство, будто лежали на земле слоистые облака,— и Лера поняла, что это залив, Финский залив, это взморье такое... Она слезла на ближней станции, спустилась на берег, на песчаный пляж, и побрела по кромке воды.

Наверное, была она сентиментальной девицей, ей плакать хотелось — до того было хорошо. Кривые сосенки росли на обнаженных корнях, будто на цыпочки привстали над обрывом; чмокали, шептались болотистые ручьи, несли ржавую медлительную пену; сыростью пахло, черным размокшим деревом, тиной... Невдалеке от берега чайки стояли на камнях, у каждой чайки свой отдельный камень, и даже маленькне камешки, еле выступавшие из воды, были заняты чайками. Горел рыбацкий костерок под обрывом. А там, куда простерлась теплая вода, в туманных даях таяли недвижные облака; заря не то гасла, не то разгоралась, и было заметно, что солнце неглубоко спряталось, ходит под самым краешком земли.

Лера шла, понимая, что вот так и должно быть на свете — надо чувствовать слитность свою с этой землей, с водой, с облаками, ощущать себя прекрасной в этом прекрасном мире, идти сквозь него, задыхаясь от счастья и нежности... Боже мой, ведь она могла ничего не увидеть, жила бы в Гурьевске, как слепая, как оглохшая, разменяла бы жизнь свою — ни себе, ни людям... И даже не в том дело, что жила бы в Гурьевске, в заштатном городишке,— просто не узнала бы, не подвернулся случай узнать, что можно внутри себя распахнуть дверцу и выйти на вольный простор, понимая его весь и откликаясь ему...

Кажется, так она думала в ту белую, необыкновенную ночь. А когда вернулась на станцию, иззябшая, с гудевшими от усталости ногами, поезда уже не ходили. Опоздала на последнюю электричку.

Ей бы охнуть, загоревать, а она засмеялась только; нашла в поселке почтовое отделение, позвонила в гостиницу.

— Митенька,— сказала она,— приезжай за мной! Выручи, пожалуйста.

Митя Грызунов был самым подходящим спасителем, робкий, поклядистый Митенька... Спросонок он не соображал ничего, кричал: «Ты разве не в гостинице?! А где ты есть?..»

— Где я есть? — спросила Лера у телефонистки.— Ага... Митя, я в Зеленогорске! Найди машину, приезжай скорее!

Она представила, как сердится Митя, вылезая из теплой постели, как не хочется ему ловить ночное такси, ехать к чертям на кулички ради взбалмошной и глупой девицы. Ох, как ругается Митя! И чтобы он поменьше ругался, Лера напудрилась, намазалась, навела полную красоту. Повязалась как следует платочком, соорудив прелестный овал лица. Глядела на Митю нежно, говорила воркующе. И Митенька вдруг перестал сонно зевать, взбодрился; ему сразу же понравилось взморье, белая ночь понравилась, он теперь не жалел, что его разбудили.

Так все и началось.

Они стали ездить на взморье вдвоем; не кончались белые ночи, только ясней становились и теплее; зелень пробилась, сырой пляж обсохнул. Без дорог, без тропинок можно было бродить по лесу. Птицы распелись, обезумели совершенно, кукушка и ночами не спала, всем без разбору отсчитывала полсотни счастливых лет.

— Да-а, пожить бы тут немножко,— сказал однажды Митя.— Комнату снять, месяц не думать ни о чем... Сказка?

— Хорошо бы,— сказала Лера.

Вскоре она собиралась ехать на съемки — уже был подписан договор и киноэкспедиция сидела в целинном совхозе, ждала, когда Лера закончит гастрологи.

Лера отправила телеграмму, что не приедет.

Примчался директор картины, легендарная личность — одноглазый свирепый мужчина, бывший цирковой укротитель, — вверх дном перевернул номер в гостинице, пообещал стереть в порошок, отлучить от кинематографа, содрать неустойку в полтораста тысяч. Лера жмурилась от страха, заикалась, но ехать все же отказывалась.

Тайком от Мити она сняла комнату на взморье. Вымыла, вычистила, развесила по стенам сосновые ветки с зелеными шишечками. Сырая была комната, холодная, как погреб; в подполье вода стояла и поблескивала в щелях между половицами. Но квадратные окошки выходили на залив, янтарно светились, горели всю ночь. И птицы свистели. И слышалась бессонная кукушка — все стонала в лесу, отсчитывала года... Правда же — сказка.

Лера не задумывалась, что будет дальше; не хотела проверять, настоящая ли это любовь. Уже нельзя было иначе поступить, уже что-то родилось между ней и Митей, какие-то негласные законы вступили в силу. Лера могла жалеть, что сорвались киносъемки, могла бояться, что не пустят ее больше на киностудию, могла ждать всяческих неприятностей, и она боялась и ждала, и все-таки не могла иначе.

Незадолго до конца гастролой Митя прибежал встрепанный, очумело-радостный, даже руки тряслись.

— Лера,— заговорил он,— шанс подвертывается! Можно с концертной бригадой за границу махнуть, слышала? Полтора месяца по стране народной демократии, лучше туристской путевки! Давай, а?

— Ты записался, Митя?

— Я и тебя записал! Понимаешь, все-таки заграница! Неизвестно, когда попадем в другой раз, верно ведь?

— Ну, конечно,— подумав, ответила Лера.— Конечно.

— Значится, едем?

— Да нет, Митенька, у меня не получится. Мне на съемки надо.

— Когда?!

— Скоро уже.

— Но как же...— спросил Митя недоверчиво и обиженно,— ты ведь... Ты хотела здесь остаться? На отпуск? Мы ж собирались...

— А ты всерьез подумал?

— Вообще-то... Не знаю, я все-таки надеялся...— сказал Митя искренне.— А ты не врешь, Лерка? Может, просто обиделась? Лера?.. Но мы же вместе поедem, какая разница? Еще лучше будет!

— Господи, какой смешной,— сказала Лера.— У меня договор подписан. Неустойку заставят платить, полтораста тысяч. Ты бы отказался?

— Отказался! — закричал Митя.

— А я не могу.

— Никто таких денег не требует! Ерунда собачья! Бред!!

— А мне страшно.

— Жаль,— горько сказал Митя и отвернулся.— Жаль, что у нас так вышло. Я надеялся, будет по-другому...

Кончились гастрологи; Митя пришел ее проводить на вокзал. Хоть и сердился, но пришел, великодушный человек. Стоял отдельно от всех провожавших — в плаще с поднятым воротником, голова не покрыта, строго поблескивают очки в тоненькой золотой оправе. Кожаный

портфель в руке. Мальчик, старательно изображающий взрослого актера.

— Митька! — высунувшись из окна, закричала Лера. — Духов привезешь из-за границы? Привези, не жадничай!

VIII

Костюмерша вернулась, принесла платье: «Ну-ка, примерим, душенька!..» Лера оделась, прошла перед зеркалами.

— Теть Сима, не слишком выпустили?

— В самый раз, золотце. Очень прилично, и спинку теперь не морщит. Играйте на здоровье.

— Теть Сим, а на сколько лет я со сцены выгляжу?

— На семнадцать.

— Это правда?

— Истинный крест.

«...Почему я прихожу к этой женщине? — раздумчиво произнес репродуктор в углу. Спектакль продолжался, перевалил за середину. Теперь на сцене была красивая любовь, достойная подражания. Старый председатель колхоза безответно любил простую женщину, скотницу. — ...Когда-нибудь я все расскажу, — говорил председатель. — Все, что этой женщине на долю выпало. Как она вырастила пятерых детей, в землянке жила, голодала и все-таки не ушла с этой земли. А я... А я — тридцать лет люблю ее. И до конца жизни буду любить!»

— Теть Сим, а в жизни я на сколько выгляжу?

— Не знаю, душенька. Молодо, молодо.

— Ну все-таки?

— Я б на вашем месте и спрашивать не стала, — рассердилась костюмерша. — Рано еще, золотце! Все впереди.

Костюмерше было лет за пятьдесят, недавно у нее умер второй муж. А она все ходила в розовых и желтых платьицах, носила газвые шарфики. Любила на праздниках поплясать.

IX

Год спустя Лера снималась в новой картине, а партнером оказался Митенька Грызунов. И начали работать как ни в чем не бывало — просто добрые приятели, коллеги, артисты одного театра.

Снимался такой эпизод: «проезд на санках по городу». В кино редко бывает, чтоб не поджимали сроки, чтобы съемки велись нормально; все торопятся, гонят метраж, опаздывают; зимнюю натуру снимают летом, создавая искусственные сугробы, а летнюю натуру снимают зимой, иструбляя снег пожарными брандспойтами.

Точно так получилось и на этой картине. Эпизод — «проезд на санках», а уже в районном городишке на телегах ездили, апрель месяц, снег сошел давно... Тогда привезли снег из-за города, из какой-то лесной трущобы; на самосвалах привезли, раскидали по склону горы.

Ночью подморозило. Волглый снежок застекленел, превратился в хрустящую корку. И вот заскользили, заскользили по ней легкие двухместные саночки с медвежьей полостью; оступаясь, разъезжаясь копытами, храпя испуганно, зацокал вниз по горе серый в яблоках жеребец, чемпион породы, специально доставленный на съемку с ипподрома; в саночках, прижимая к лицу пушистую муфту, смеясь сидела Лера;

Митя Грызунов тряс вожжами, вскрикивал, а внизу, в ногах, скорчился оператор, целясь из ручной камеры — живьем снимал эпизод.

По сценарию требовалось, чтобы Митя (белогвардеец, колчаковский адъютант) обнял Леру и целовать начал, а Лера (юная, но уже опытная подпольщица) отпихнула бы Митю, оскорбилась бы и на ходу выскочила из саней.

По склону горы расставлены были здоровенные парни, штангисты из местного спортивного общества, чтоб подхватить Леру, когда выпрыгнет.

Все предусмотрено было, только никто не думал, что саночки занесет на ледяной корке, а саночки занесло. Хрипел, осаживаясь, ошалевший жеребец, лягая передок саней, отдирая щепки; хомут задрался и вздернулся жеребцу на самые уши. Лера смеялась в муфточку, говорила свой текст, ничего не видя кругом,— и только вдруг обдало ветром, брызнуло ледяное крошево: это жеребец кинулся вниз по горе, уже не приседая, не тормозя, не сдерживая раскатившихся саночек. Замельтешили по сторонам деревья, дома, заборы; восторженно шипел под ногами оператор, великолепные кадры у него получались, безумно лихие, шедевральные кадры; Лера отпихнула муфточкой наглого своего офицера и прыгнула.

Она упала на бок, что-то хрустнуло в кармане шубки, и грязная дорога, вместе с людьми, санями, заборами, церковью, вдруг поднялась и стала вертикально.

Лера немножко притворялась, когда Митя Грызунов на руках тащил ее в больницу; Лера закрывала глаза с длинными наклеенными ресницами, постанывала, а самой еще весело было, еще азарт не прошел, и очень хотелось узнать, что же хрустнуло в кармане шубки: пудреница или губной карандаш? Жалко, если карандаш, такого больше не достать...

А пронзающая, невозможная боль началась позднее, уже после уколов, после рентгена; Лера держалась за чьи-то пальцы, кричала в голос и не слышала себя, как под водой. В скромной районной больнице точно шрапнель разорвалась: забегали, засуматошились; отвели для Леры отдельную палату; все врачи, все няньки столпились в дверях, смотрели на оравшую кинозвезду.

Что за перелом у Леры, опасен ли — никто не говорил. А Лера еще не верила в серьезность происшедшего; с кем-то другим могло несчастье произойти, только не с нею; пускай боль нестерпимая, пускай напуганные лица у врачей, все неважно, неважно, плохого не может быть... И все-таки надо выяснить. Лера собралась с духом, потребовала принести пудреницу и все прочее, старательно накружилась, не переставая кричать. Выгнала всех из палаты, оставила одного лишь молоденького практиканта. Наивный практикант, рыженький, как морковка, был ужасно польщен. И Лера узнала, что у нее перелом шейки бедра, есть такая небольшая косточка, сидящая глубоко, где-то внутри; косточка бедна кровеносными сосудами и потому плохо срастается. Хромота не обязательна, но весьма вероятна.

— Увезти меня можно отсюда?

— Вы нетранспортабельны,— сказал рыженький, с удовольствием выговаривая мудреное слово.— Нетранспортабельны. Вас нельзя трясать, понимаете?

Митя Грызунов, добрая душа, понесся в Москву и там, рыская по больницам и институтам, расспрашивая, заводя знакомства, используя всю популярность свою, пытался найти самого лучшего травматолога, самое яркое светило,

Светил обнаружилось два. Меж собой они конкурировали. Первый профессор утверждал пользу активного хирургического вмешательства, по его методе требовалось в косточку загнать нержавеющей гвоздь и тем укрепить обломки; второй профессор придерживался консервативного лечения, когда косточка зарастает сама по себе.

В районный город, за тридевять земель, светила отправиться не смогли, послали ассистентов. У одного ассистента гремели в саквояже никелированные граненые гвозди, другой прибыл налегке.

— Пусть больная сама выберет способ лечения, — сказали ассистенты после консилиума, после утомительной борьбы активного метода с консервативным.

А Лера лежала, отвернувшись к исцарапанной больничной стене, плакала тихонечко, не отвечала. Теперь ей было все равно.

За минувшие дни она смирилась, осознала происшедшее. Прежняя жизнь кончена; никогда не было ни театра, ни гастролей, ни кино съемок, и незачем вспоминать про это; теперь наступит иная жизнь. Лера уже вообразила себе, какая: можно уехать далеко-далеко, куда-нибудь на Сахалин, купить собачку, наняться на тихую сидячую работу. Например — письма штемпелевать...

Главный врач районной больницы, старичок Тихон Авдеич, весь мягонкий, неторопливый, благодушный, смотрел на Леру ласково и покойно. Он единственный не переживал, не суетился; умненькая покорность была во взгляде Тихона Авдеича, вера была — что ни делается, все к лучшему...

— Какие уж тут операции, — негромко сказал он ассистенту с гвоздями, — чего деточку мучать? Положим на вытяжение, отведем ножку, беспокоить не будем. Авось и срастется, пока молоденькая.

Лере подумалось, что Тихон Авдеич боится операции, не умеет заключивать эти сверкающие гвозди, ответственности не хочет брать. Но и эта мысль не обидела, не взволновала ее. Все равно!

Приходил прощаться режиссер, сидел у кровати взъерошенный, дергающийся, как с большого похмелья. Обещал, что не возьмет другую актрису, будет ждать выздоровления Леры. И опять она не обижалась на эту ложь, хотя знала, что никто ждать не позволит, на картину израсходована уйма денег, существуют сроки, планы, существует съемочный коллектив, сотни людей, которые должны получать зарплату. И картину будут доделывать с другой актрисой, иначе нельзя... Ну и пусть, пусть, Лера желает им успеха.

Митенька Грызунов прибежал, кипятился благородно, кричал шепотом, что так этого дела не оставит, в суд подаст, возьмет режиссера за яблочко... «Не смей!» — сказала Лера сквозь закушенную губу.

Х

Экспедиция свернулась, покатила в Москву; снова затих районный городок, угмонились страсти. Сонно повлеклись малокровные вешние деньки, похожие один на другой. Лера больше не плакала, лежала совсем безвольная, вялая, еле открывала глаза. В палату к ней исподволь подсаляли больных (кончились привилегии), душно сделалось в палате, неопрятно, тесно; по ночам стонали и молились какие-то дремучие, неизлечимые старухи. Лера и тут не жаловалась, будто не замечала ничего.

Затем она перестала есть. Оставалось нетронутым диетическое питание, дорогой больничный рацион, делили его меж собой старухи соседки. Лера только воду пила, маленькими бессильными глоточками.

Тихон Авдеич употребил психотерапию, назначил уколы. Стал чаще

захаживать. Лера сочувствовала ему, но есть не могла, как ни упрасивали. Хотела лишь, чтоб оставили в покое.

Однажды Тихон Авдеич пришел глубокой ночью. Был неожиданно веселым, покрывал, фырчал, — удивленные старухи даже прекратили молитвы. А Тихон Авдеич, подсевши к Лере, стал со вкусом рассказывать про какого-то парня, тракториста, привезенного нынче в больницу. Парню трактор по ноге проехал, кости раздроблены; утром Тихон Авдеич наложил гипс, а сейчас на ночном обходе застаёт этого парня наедине с медсестрою, да в таком виде, что, извиняюсь, обрисовать невозможно... хотел завтра выписать парня, изгнать с позором, а парень-то, не будь дурак, окно растворил да и убрался своим ходом!

Лера слушала безразлично, не понимая, для чего Тихон Авдеич это рассказывает.

— Я вот и подумал, — объяснил Тихон Авдеич посмеиваясь, — вот и подумал, не подняться ли вам тоже, детка? Ножку мы отведем чести-честью, гипс наложим покрепче, чтоб не треснул. Будете как в футлярчике. Передвигаться начнете, костыльки хорошие найдем, удобные костыльки. Вот и гуляйте!

И когда Лера, дернувшись, обратила к нему лицо с громадными расширившимися зрачками, добавил, все сознавая:

— Вы не бойтесь, право же... Я отвечаю, и вся ответственность будет на мне. Соглашайтесь, чего там.

XI

Он приезжал потом в Москву, милый Тихон Авдеич, и пришел на киностудию, пришел посмотреть, как Лера снимается на костылях.

Был уже июль месяц, устоялась летняя жара; подтекал, плавился морщинистый асфальт на дворе киностудии; рабочие выскакивали из павильонов, обливались водой у газировочного автомата: нечем было дышать... И войдя в павильон, в пыльную грохочущую его сутолоку, увидев под потолком бесчисленные ряды раскаленных, взрывающихся от перегрева ламп, увидев чудовищные «ДИГи», за ребристыми стеклами которых трепетали, ярились синие молнии, увидев еще десятки прожекторов, средних и малых, направлявших свой жгучий, как бы клубящийся свет в одну точку, туда, где стояла Лера на костылях, — невозмутимый Тихон Авдеич обмер, зажевал губами, рукой заслонился... И ушел вскоре, чтоб не расстраиваться.

А Лера и сама не верила, что это наяву происходит, что добралась она до Москвы, что убедила режиссера продолжать съемки и что справляется теперь, выдерживает все это.

Утрами приезжал за Лерой открытый операторский «ЗИС»; четверо рабочих входили в комнату, стараясь не грохать сапогами. Лера лежала, как поверженная гипсовая статуя, — прямо от груди начинался известково-серый, ноздреватый каменный панцирь, обнимал все тело, укрывал большую ногу, выпрямленную и отведенную вбок, и кончался у пятки. Ни сесть, ни встать Лера не могла. Тяжел и тесен был панцирь, весящий килограммов сорок.

Рабочие осторожно поднимали Леру, подсовывали снизу деревянный топчан (лежать на мягком нельзя, только на ровном и твердом). И тащили на этом топчане, как на самодельных носилках, по коридору коммунальной квартиры; по лестнице, держа горизонтально, еле разворачиваясь, задевая за стены; а затем по двору, среди потрясенных детишек и пенсионеров; наконец, ставили в машину, где было выкинуто заднее сиденье и расчищено место для топчана.

Плавно, бархатно плыл длинный бесшумный «ЗИС» по улицам, по

белым осевым линиям, как «Скорая помощь»; берегся шофер, чтоб не тряхнуть, не дернуть машину, а когда все-таки подпрыгивала она и крепилась — на ухабинке, на трамвайных рельсах,— оборачивался шофер, тревожно переглядывались рабочие, сидевшие на корточках вокруг топчана. От любого толчка там, под каменным панцирем, неприметно могла сместиться, разойтись еще несросшаяся кость, и сама Лера не почувствовала бы этого. А позднее уже не поправишь, не вылечишь.

Заворачивал «ЗИС» во двор киностудии, топчан поднимали, несли в павильон. А там, в гулких, захламленных его глубинах уже грохотало, скрипело, вспыхивали пронзительные огни, как при электросварке. Готовили декорации, устанавливали свет. Пока шла эта черновая подготовка, Леру заменяла на площадке дублерша, девчонка такого же роста и с похожей фигурой. Неквалифицированную девчонку гоняли и туркали не жалея.

Лера, поглядывая на все это, гримировалась на своем топчане. Смешно, непривычно было наводить красоту в лежачем положении, но Лера все-таки освоилась.

Потом ее поднимали, ставили торчком, вручали костыли. На гипсовый панцирь Лера надевала шубку (действие-то в Сибири происходит, зимою). И становилась на место дублерши.

Если снимался «средний план», и не только лицо, а фигура до пояса нужна была в кадре, костыли отбирали. Приколачивали к полу две палки-подпорочки, и Лера незаметно держалась за них. Конечно, это не слишком весело: стоять на одной ноге, держась за подпорки, ощущать всю тяжесть, все давление каменного панциря, да еще в платке и шубе, под ожигающим светом «юпитеров», да еще в июльскую жарынь... Митенька Грызунов, когда можно было, подбегал к Лере, поддерживал за каменную талию. А сам сгибался, голову прятал, чтоб не попасть в кадр. Митя чувствовал, что уже через минуту Лера обессилеет, дрожат руки на подпорочках, срывается дыхание... А ведь не просто стоять — играть надо! Правдиво переживать надо, улыбаться надо, монологи произносить!

Снимался эпизод под названием «гибель комиссара». Лера должна была плакать. И она заплакала настоящими, не глицериновыми слезами, заплакала безудержно, захлебываясь, сотрясаясь в своем душном футляре, со стоном, с хрипом втягивая воздух... Митя перепугался. Было ясно, что это не игра; Лера не вытерпела, не выдержала, нервы разошлись. Начинается истерика.

В павильоне все замерло. Не решались подбежать к Лере; побледневший оператор механически вцепился в камеру; наконец, крикнул: «Стоп!..»

Лера повернула голову, обтерла слезы рукавом шубки. Спросила удовлетворенно:

— Ничего я сыграла, да?

И подмигнула весело Митеньке Грызунову, так и севшему на пол возле каменной ее ноги.

XII

Много было, много казусов...

Довольно долго изобретали, как бы снять Леру в сидячем положении. На очереди была сценка в ресторане: Митя Грызунов (колчаковский адъютант) и Лера-подпольщица сидят за столиком, вино пьют при горящих свечах, флиртуют под ресторанную пошлую музыку; адъютант напивается безрассудно, а Лера вытягивает из него секретные сведения.

Но как согнуть каменную статую, как водрузить ее на стул? Впро-

чем, кино все может: сделали высокий дощатый помост, в нем прорубили дыру. В эту дыру стоймя опустили Леру, а сзади прислонили спинку от кресла. Полное впечатление, что Лера сидит...

Было трудно опускать Леру в узенькое отверстие, а уж стоять в нем, без чьей-либо помощи, совсем нестерпимо. И решили снимать быстро, с ходу, с минимальным количеством дублей.

— Мотор! — скомандовал режиссер. Стукнула хлопушка: «Кадр 380, дубль первый!» Заурчала камера. Лера произнесла свою реплику. Подошел официант, принес шандал с горящими свечами.

И поставил не так, как надо было.

— Стоп!!..— вскинулся режиссер.— Куда?! Я куда просил свечи ставить? Лицо перекрыли актрисе!.. Снова начнем.

«Мотор!»... «Кадр 380, дубль два!» Лера опять произнесла реплику, пошел к столу официант, заранее целясь шандалом в указанное место.

У самого стола поскользнулся.

— Стоп!! Снова снимаем!

«Кадр 380, дубль третий!» Сказана реплика, подошел официант, поставил свечи. От его шагов скрипнул дощатый помост, шелохнулся,— упала за плечом Леры спинка от кресла.

— Стоп!! Поставьте скорей, укрепите!.. Начали снова!

«Кадр 380, дубль четвертый!» На четвертом дубле Митенька Грызунов, мучительно переживавший за Леру, взвинченный, расстроенный, вдруг забыл текст, запнулся.

— Снова!

На пятом дубле ошибся официант. Лера стояла, заостенев, ничего уже не чувствуя, только слыша, как под гипсовым панцирем бегут по телу горячие, щекотные струйки пота; свивались в глазах ее оранжевые рваные полосы, крутясь, убегая, сжимаясь в одну слепящую точку... «Может, отдохнете, Лера?» «Нет,— сказала она,— давайте, давайте, а то я больше не смогу...»

Шестой дубль. Седьмой. Лера машинально отмечала: вот сказаны эти реплики, сказаны эти, официант подошел благополучно, Митя ответил правильно, ну — еще немножко, еще немножко, сейчас конец...

Восьмой дубль, кажется, получился. Все!.. Казалось, весь павильон вздохнул облегченно, заулыбались осветители, помрежи, ассистенты, актеры.

— Стоп!..— разогнулся над камерой оператор.— Снова.

— Что «снова»?! Почему?!..

— Муха,— скривясь, проговорил оператор, как выругался.— Муха на переднем плане летает.

— Да провались она, трах-тара-рах!!.

— Това-арищи! Зимой, в Сибири, и вдруг — муха! Опомнитесь, господь с вами.

Снимали девятый дубль.

На экране он получился живой, естественный; непринужденно играли артисты, с мягким юмором играли. А Митенька Грызунов со своим оторопелым взглядом, с нервными ошибающимися руками выглядел совершенно как пьяненький белогвардеец.

ХIII

До сих пор демонстрируется это кино. Смотрят его люди в городах и весях, даже за границей смотрят. В общем-то вполне приличное получилось кино.

И может быть, сейчас, в эту минуту, идет в каком-нибудь клубе сеанс — по мерцающей простыне экрана, под музыку, несутся щеголь-

ские саночки, рысак выгибает шею, пластается над ледяною дорогой; хохочет Лера, кокетливо закрывается муфтой, потом выпрыгивает из саней, бежит по склону горы...

И разве существенно, что бежит вовсе не Лера, что это девчонка-дублерша снята на общем плане? Лера и ходит, и бегаёт, и кружится по экрану; она легка, подвижна, она прекрасна. Кто заподозрит, что это не так?

После смены Митя Грызунов непременно провожал ее домой. Снова плыл длинный бесшумный «ЗИС», утюжил белые осевые линии; трое рабочих сидели на корточках возле топчана, четвертый — Митя. И больше всех пугался Митя, бледнел, когда трясло машину, и прежде всех старался успокоить Леру — пустяки, ничего страшного... Усердно втаскивая топчан, покрикивал: «Заноси, подымай ровнее!» На коммунальной кухне варил гастрономовских пупырчатых цыплят, готовил Лере бульоны.

А Лера привыкла к его заботливости, как-то незаметно привыкла. Совсем не стеснялась.

— Мить, у меня спина чешется? — хныкала. И Митя брал тоненький прутик и чесал ей спину под гипсовой скорлупой.

Вечерами вспоминали съемки, поругивали режиссера, гадали, будет ли успех у картины. Митя незаметно впадал в лирику, начинал похваливать Леру, отпускать деликатные комплименты. Лера внимания не обращала. Не тем была занята голова. А однажды обернулась нечаянно, перехватила взгляд Мити — и вдруг сообразила, что Митя, наверное, любит ее. Как-то по-своему искренне, наивно и преданно любит, восхищаясь мужеством Леры и геройским ее поведением... Лучились, испускали свет Митины интеллигентные очки в тонкой оправе: «Ты великая женщина! — утверждали красноречиво. — Необыкновенная, замечательная женщина!»

Она так громко расхохоталась, что Митя осекся и отодвинулся даже. Ах, Митя, Митенька, добрый, чистый, неиспорченный человек... Прозрел-таки. Оценил. И уж если полюбил вот такую некрасивую, болящую, засунутую в каменный футляр, измученную и жалкую, то будет всегда любить, что бы впредь ни случилось. Это не легкомысленное увлечение, это серьезное чувство!

— Митька, дай пудреницу! — не переставая хохотать, закричала Лера. — Хотя нет, лучше сразу уйди... Ой, не могу я! Лопну сейчас!

Потом бывало не однажды — вдруг сквозь чьи-то лица, молодые и старческие, знакомые и впервые увиденные, добродушные, свирепые, непроницаемо-холодные, вдруг проступало Митенькино восторженное лицо, преданно блестели очки: «Ты великая, ты необыкновенная женщина!..» — и Лера смеялась в самый неподходящий момент.

Она не могла бы сказать, что Митенька удивил ее или раздосадовал: нет, она без волнения пережила этот курьез. И все же много позднее, спустя целые годы, когда все забылось, когда Митенька женился и дочка у него родилась, когда самой Лере показалось опять, что она влюблена, что настоящий человек отыскался, — сквозь черты этого человека, будто на киноэкране, проглянул все тот же, тот же молодой и восторженный Митенька со слепым, обожающим взглядом. И разом все кончилось...

К осени завершили съемку картины. Братцы, ура, ура! — снят последний план; пустили шапку по кругу, сбегали за шампанским, выпили тут же, на съемочной площадке. Целовались. Режиссер поклялся, что других актрис на версту к себе не подпустит, будет одну Леру снимать. Всю жизнь.

Леру отвезли в травматологический институт; доктор засучил рукава, звенящей пилой вскрыл грязную каменную скорлупу. Посыпались наземь бесформенные осколки. Уф-ф-ф, можно долечиваться на свободе...

И когда лежала, долечиваясь, отдыхая душой и телом, непривычно было сознавать, непривычно думать, что все позади. Неужели забудутся когда-нибудь районная больница, старичок Тихон Авдеич, дорога в Москву, съемки на костылях, гипсовый панцирь, девятый дубль? Неужели забудутся?

XIV

«...Товарищи актеры, последнее действие! — забубнила по трансляции Розочка Балашова. — Товарищи актеры, просьба — на сцену!»

Лера поднялась, оправила платье, пошла к двери.

— Ми-ми-ми-и!.. — пропела она, пробуя голос. — Ми-ми-ма-а!..

В коридоре, напротив дверей, топтался автор пьесы. Был у него бесшабашный, лихой вид, словно автор в пляску хотел пуститься. И крахмальный воротничок опять стоял дыбом.

— Лерочка, — зашептал автор, — у вас есть телефон? Можно, я брякну как-нибудь вечерком? Нам так необходимо поговорить... Ой, а что у вас на щеке-то... Ушиблись? Лерочка?!

А в зрительном зале вновь докипал, волнами перекатываясь, нетерпеливый разноголосый шум, хлопали кресла, пиликали скрипки в оркестре, будто вскрикивали, жалуясь; начал свет гаснуть. Невидяще посмотрела Лера на автора, пробежала в кулисы, стала на выходе. Зазвучал оркестр и как бы приподнял, повел за собою по ступенькам на сцену.

Сколько бы раз ни поднималась она по этим ступенькам, все равно было страшно, внутренняя дрожь захлестывала, и надо было скорей выбежать, скорее, и начать говорить, начать жить на сцене.

Она видела изнанки кулис, незакрашенную сторону декораций, где крупно и небрежно написаны черные номера; видела пожарника, дремлющего на стуле, ожидающих выхода актеров, Митеньку Грызунова с фотоаппаратом через плечо; видела гигантский провал зрительного зала, освещенные первые ряды, головы и плечи, программки в руках, а дальше в табачно-дымном серебристом сумраке будто капли набрызганы, тысячи капель, серых на голубом; она подумала, не выстрелит ли мальчишка, он опять может выстрелить, — и тотчас забыла об этом.

Опять она была на реке, деревенская девчонка семнадцати лет; прибежала на свиданье, тайком прибежала, все бросивши... Ждала его нетерпеливо, а он — не приходил. Было ясно теперь, что он обманывает, только она верила и надеялась. Мучилась, кидалась на каждый звук шагов, считала минуты, и когда уже невозможно стало молчать, вновь спросила потрясенно, как первая женщина первый раз на земле:

— Да что же это, что же это такое — любовь?..

УХОДИТ САМОЛЕТ

Он скользнул по взлетной дорожке, набирая скорость, все реже и реже качаясь, переставая вздрагивать, словно бы застывая в своем внутреннем спокойном и мощном напряжении, задрал нос и круто пошел вверх, оставляя позади рваные потоки воздуха и сетчато-черный, прозрачный шлейф дыма.

Мы смотрели, как он уходит.

Мальчишки, навалясь животами на перила ограждения, спорили, кому вести этот самолет. У них была такая игра. «Чур, это мой!..» «Нет, теперь моя очередь, моя!» И тот мальчишка, чья наступала очередь, взбирался верхом на перила, брал руками невидимый штурвал, тянул его на себя. «Набираю высоту!..— выкрикивал он.— Еще набираю! Ложусь на разворот... Выхожу на курс! А ты не толкайся, не толкайся! Не мешай!»

Они играли со знанием дела, эти мальчишки. Невесть откуда набрались они специальных словечек, технических терминов, и великолепно было, когда какой-нибудь восьмилетний летчик, рыжий и шепелявый, совершив первоклассную посадку, слезал наземь со своих перилец и горворил небрежно:

— Где механик? У меня бустер-помпа засорилась.

Третий день играли мальчишки, и было незаметно, чтоб игра им надоела.

А мы, взрослые, третий день томились, изнывали от безделья в этом аэропорту. Мы ждали самолета на север, но рейс откладывался и откладывался. Не было погоды.

Здесь, над нами, простиралось ясное небо, уже чуточку выцветшее июньское небо; лишь к полудню возникали на нем редкие облака, почти не заслонявшие солнца. Вскоре они пропадали, таяли, и опять до вечера был чист и необъятно просторен жаркий небесный купол, постепенно наливающийся дымноватой, с чернильным оттенком синевой. Было трудно представить, что за каких-нибудь тысячу километров отсюда, на расстоянии двух часов полета, еще крепко лежит снег, зима продолжается, метельными языками заносит аэродромы. В это не верилось, и мы, злые, уставшие от ожидания, завистливо провожали глазами каждый уходивший самолет.

Самолеты шли на юг, запад, восток, в Ленинград и Москву, воздушные дороги были забиты, даже ночью не прекращалось движение. И только северная дорога не открывалась.

Транзитники давно перезнакомились меж собою, занимали друг дружке очередь в буфете, сообща присматривали за детьми. А дети быстро привыкли к вокзальной толчее, к чемоданному житью; в первый же день освоили всю громадную стеклянную коробку аэропорта, шныряли по лестницам и переходам, толклись на перроне. Потом они выдумали эту игру в летчиков. Они не пропускали ни одного самолета, взлетавшего или садящегося; менялись летчики — рыжие, белобрысые, чернявые, качались в мальчишеских руках невидимые штурвалы, а там, в пропыленном зеленом поле, на шестигранных плитах дорожек ревели, звеняще стонали двигатели, и настоящие летчики сходили на землю по трапам, не подозревая, что у них появились дублеры.

Лишь один мальчишка не участвовал в завлекательной этой игре. Было ему года четыре от роду, звали его Юркой; он летел на север вместе со старшим братом, военным курсантом. Юрка еще не годился по возрасту для этой игры, мальчишки не принимали его как равного; пожалуй, он не забрался бы и на железные перила, заменяющие маль-

чишкам пилотское кресло. И старший брат, курсант, не позволял Юрке отлучаться, не разрешал выходить к летному полю. В те редкие минуты, когда Юрка оставался без надзора, он тайком пробирался к стеклянным дверям, почти невидимым, но таким тяжелым, что Юрка отворял их обеими руками, нагнувшись, будто толкая застрявший автомобиль; открывалась узкая щель, сверкая бутылочно-зеленой острой гранью, и Юрка проскальзывал в эту щель, опасную даже для взрослых, рискуя не успеть, рискуя застрять в равнодушно смыкающихся стеклянных челюстях... Он отыскивал глазами мальчишек, но близко не приближался, стоял поодаль, глубоко засунув руки в карманы вельветовых коротких штанишек на лямках. Конечно, ему очень хотелось поиграть, но он понимал, что просить мальчишек бесполезно; он стоял поодаль, руки в карманах, и только губами шевелил, повторяя беззвучно все пилотские команды, все романтические слова и выражения, которые слышал. И часто оглядывался — не пришел ли старший брат?

Поначалу я не мог понять, отчего курсант запрещает Юрке выбегать на перрон. Возле играющих мальчишек всегда находился кто-нибудь из взрослых, по соседству дежурили контролеры около своих скрипучих турникетов, — вряд ли стоило беспокоиться за Юрку. Но курсант упрямо держал Юрку в зале ожидания, хмуро покрикивал, одергивал, не давал лишнего шагу ступить. Курсант был совсем еще молод, наверное — первогодок; габардиновая гимнастерка плотно обтягивала его чуть сутулую, очень широкую спину, плотно были обтянуты офицерскими бриджами его кривые мускулистые ноги, плотно сидели хрустящие офицерские сапоги, и весь он напоминал крепкого зеленого жука-бронзовку, вставшего на дыбки. Курсант почти ни с кем не разговаривал, не дремал, как другие транзитники, не читал газет и журналов, которыми все обменивались. Замкнутым и отчужденным было его лицо, не оживлялись маленькие, узкие, острые глаза песочного цвета, не улыбался сухой маленький рот. Вечером курсант застал Юрку на перроне, возле мальчишек, подошел тяжким хрустящим шагом, схватил за руку и увел, что-то покрикивая сквозь зубы, толчками подпихивая младшего брата, не давая оглянуться.

— Зачем вы?.. — спросила наша соседка, пожилая узбечка. — Пускай вместе играют...

Курсант не ответил.

А ночью, внезапно проснувшись от безотчетной, необъяснимой тревоги, я увидел, что курсант плачет. Полулежа в неудобном, похожем на блюдечко кресле, запрокинув голову, он плакал безудержно, страшно, даваясь и захлебываясь от удушья. Какое-то слишком сильное отчаяние вдруг прорвалось в нем, прорвалось неостановимо, сквозь отчужденность его и замкнутость, сквозь нарочитую юношески старательную выдержанность, — он плакал, не стремясь этого скрыть, не обращая внимания на окружающих.

Я спросил, что случилось, не могу ли я помочь? Он помотал головой и только застонал сильнее. Пожилая узбечка принесла холодной воды, мы почти насильно напоили его, обтерли безвольное, судорожно подергивающееся лицо.

Не знаю, отчего он решил открыться мне, — видимо, захотел объяснить причину слез, а может быть, почувствовал, что необходимо с кем-то поделиться, хоть с одним-единственным человеком, — но потом, позднее, когда успокоился немного и пришел в себя, то рассказал, что они с Юркой едут на похороны отца. Неделю назад пришла телеграмма. Отец разбился во время полета. Он был летчиком, вся семья у них летчики...

Бессмысленно было утешать его сейчас; я не знал слов, которые могли бы ему. А если бы и знал, не надо было говорить. Закурив, мы си-

дели молча; аэропорт жил, шумел даже в эти полуночные часы, садилась и взлетали самолеты; за стеклянными стенами здания видны были освещенные посадочные полосы, дымилась прожектора, мерцали цепочки мелких фонарей, лежащие прямо на земле; и когда в жидкую фиолетовую темень уходил самолет, все с тем же одинаковым звоном и ступенчатым грохотом, было заметно, как под его брюхом полощется рыжий огонь.

Десять лет назад я работал в военной газете; однажды меня вызвали в штаб округа; у подъезда стояли газики с брезентовыми крышами, несколько офицеров торопливо рассаживались в них. «Быстрее, быстрее! Нас ждут!» Я не сумел расспросить даже, кто нас ждет и зачем, — замельтешили улицы ночного города, взблески света и тьмы, газик швыряло, заносило на виражах, рвались невидимые лужи под колесами; показался аэродром за бетонной стеною; темный, пустой, мокрый самолет ревел двигателями на рулежной дорожке.

Мы поднялись в него, зажегся в салоне крахмально-белый плотный свет, я оглянулся на спутников и сообразил, почему они так молчаливы. Вместе с нами в газике ехал командующий округом. Он тогда был генералом армии, теперь он — маршал, я часто встречаю в газетах его портреты: официальное, спокойное, почти равнодушное лицо. А я вспоминаю его другим — гневным, яростным и странно беззащитным; лицо человека, которому больно, и который еще не знает, откуда пришла эта боль.

Кто-то из офицеров объяснил шепотом, для чего нас вызвали. В соседней воинской части — «ЧП». Шли обыкновенные тренировочные полеты, но по трагической случайности две машины столкнулись в воздухе и взорвались. Погиб командир полка и трое летчиков.

Одного из погибших я знал хорошо. Давний мой приятель Лешка Сазонов, заядлый охотник, отчаянный мотоциклист, счастливый молодой человек. Не так давно был я на его свадьбе, я ему позавидовал даже — такая милая попалась Лешке жена, такая славная умница... Лешка не собирался быть кадровым военным; уже поговаривали о сокращении вооруженных сил, и Лешка хотел демобилизоваться и поступить в институт. Он был счастливчик, легкий человек, ему все удавалось в жизни, и мы верили, что попадет Лешка в институт, займется притягательной для него биологией, и еще прогремит, бродяга, на своем научном поприще...

Хоронили его поутру, на слезливом холодном рассвете; четыре машины в траурном кумаче, в цветах, с откинутыми бортами, медлительно прошли по улицам районного городка. Четыре пустых гроба стояли в машинах. Четыре одинаковых офицерских фуражки лежали сверху на сосновых крышках, темнея и поблескивая от дождя. И было, в сущности, безразлично, чья это фуражка и чей гроб. У кладбища гробы сняли, понесли на плечах, и мне долго еще будет помниться тяжесть пустого и гулкогo соснового ящика, шатко качавшегося на моем плече.

Я смотрел на Лешкину жену, совершенно потерявшуюся, ничего не сознающую от слепого горя, смотрел на Лешкиных друзей, на командующего, стоявшего все с тем же гневным и растерянно беззащитным выражением на лице, смотрел на молоденьких солдат, в серо-стальных от дождя гимнастерках, поднявших кверху мокрые, блестящие карабины, — я смотрел на них и думал, что смерть четырех летчиков теперь останется в этих людях навсегда. Останется в Лешкиной жене, в друзьях и знакомых, во мне самом, — во всех, кто видел эту смерть и осознал ее. Минует время, горе остынет и начнет забываться, и все-таки за каждый счастливый день, за каждую новую радость, за каждую нашу надежду мы теперь будем платить больше, чем прежде платили.

Об этом я думал снова, когда сидел рядом с курсантом в ночном аэропорту; мы курили молча, не обращая внимания на окружающую нас кутерьму; дребезжащие динамики объявляли прибытие и отправленные самолеты: «...Рейс двести одиннадцать... ноль часов сорок две минуты...», «Рейс шестьдесят восьмой откладывается...». Нахлынув, затопляла проходы толпа пассажиров, механической рысцой пробегали носильщики, а за фиолетовыми зеркалами стен звенели, звенели двигатели, дробился воздух от грохота, и все ярче, отчетливей виднелись цепочки фонарей, и все фантастичнее, все прекраснее казались громады ночных самолетов, с их освещенными изнутри кабинами, с огнями иллюминаторов, с похожими на тлеющие угли мигалками, равномерно вспыхивающими и словно бы кричащими беззвучно...

Четырехлетний Юрка спал на подоконнике, на разостланном пальтишке, спал вкусно и крепко, как только умеют дети,— лежа на животе, подсунув кулачок под влажно-розовую, раздумывавшуюся во щеку.

Теперь я догадывался, отчего курсант не отпускает от себя Юрку, отчего не позволяет ему играть с мальчишками. Четырехлетний Юрка еще не может осознать случившегося, для него окружающий мир остался прежним. Смерть ничего не нарушила. И это — не детская жестокость, не наивность, не душевная глухота,— это предусмотрительность природы, защитившей ребенка от слишком сильных потрясений, которых он не сумел бы перенести. Неизвестно, понимает ли это курсант. Но они оба сейчас правы — и старший брат, мучительно переживающий горе свое, и братишка младший, продолжающий играть и смеяться, переполненный счастьем, простым и естественным, как дыхание.

Я представлял себе будущую жизнь курсанта, и опять думал о той цене, что придется платить ему за каждую радость, за каждый прожитый добрый день. За каждый полет в небо. Он ведь будет летчиком, этот курсант.

Утром наконец-таки дали погоду; на первый рейс было чересчур много желающих, и курсант ушел к аэродромному начальству, торопясь забронировать место. А мы с Юркой выбрались на перрон.

Мальчишки (уже какие-то новые, наверное, прилетевшие сегодня) по-прежнему висели на железных перилах; игра продолжалась; мальчишки опять владели гигантским зеленым полем, расчерченным тускло-седыми бетонными полосами; опять они сажали и поднимали в воздух самолеты; вероятно, мальчишки в большей степени ощущали себя летчиками, нежели реальные командиры кораблей. Откуда-то с края поля, из-за дальних сереньких построек, вырулила на взлетную полосу необычная машина — чудовищно длинная, тонкая, как бы осевшая на хвост, с косыми полуприжатыми крыльями; еще стоя на месте, негромко шелестя турбинами, она уже казалась летящей, вонзалась в пространство — так была неудержимо стремительна.. Мальчишки увидели ее и одеревенели, тотчас затихли. Кто-то шепотом, ликующим и робким, высказал предположение, что это «ТУ-164», «Умолкни, серость! — слышался в ответ саркастический шепот,— что ты понимаешь, петруния!»...

Машина долго стояла на полосе, как бы для того, чтобы все ее рассмотрели, и действительно все смотрели на нее; мне почудилось, что аэродромное поле замерло, застыли все другие самолеты, остановились тягачи и заправщики, даже флюгарка перестала вертеться на стеклянной башенке вокзала. Все ждали нетерпеливо.. И великолепная машина, там, вдалеке, плавно, почти незаметно стронулась с места и пошла, потекла над бетонной полосой, как бы удлиняясь, как бы растягиваясь в беззвучно нараставшем движении; она казалась бесконечной, и вдруг — исчезла, сжалась, превратилась в горизонтальную черточку с

копящим шлейфом... Накатил звенящий гром, земля вздрогнула... Я инстинктивно пригнулся, зажимая уши. И тогда увидел Юрку.

Он сидел верхом на перилах; он сумел все-таки забраться на эти перила, забраться в одиночку, потому что мальчишек сейчас не было рядом, они забыли о своей игре, а Юрка забрался один и сидел сейчас один на высоких и скользких перилах, не боясь упасть, четырехлетний летчик в майке и коротких вельветовых штанах с ляпочками; он не отворачивался от грохота, не опускал искаженного восторгом дикого и безумного лица, почти взрослого лица; сейчас он был далеко от нас, далеко впереди и этого грохота, и текучих полос дыма,— он был за штурвалом ушедшей машины и не шептал, не говорил, а кричал торжествующим голосом: «Набираю высоту!.. Я набираю высоту!..»

ПОЖАР

Сухой треск и гулкие, отчетливые выстрелы над деревней, будто вразнобой торопливо палят из охотничьих ружей. В полнеба стоит зарево, снизу солнечно-желтое, выше — фиолетовое, еще выше — грязно-серое; кипит и всплескивает рыжий с подпалинами дым, и рыжие длинные искры пучками, роями несутся по ветру, завиваются огненной метелью.

Горит дом Саши Лопатина.

Вблизи дома, где опахивает жгучим воздухом, где нестерпимо светло, как под лучами прожекторов, мечутся серебряно-черные фигуры людей. Сквозь пальбу и треск слышен командирский голос Семена Забелкина: «Р-раз-два, взяли!.. Еще — взяли!» Забелкин молодец: первым заметил горящий дом, выскочил на шоссе, остановил машину и домчался на ней до почты, чтобы вызвать пожарную команду. Потом вернулся, организовал людей, и теперь под его началом мужики ломают забор и сарайчик, расчищают въезд для пожарных машин.

Позади Забелкина толпятся простоволосые бабы, ребятишки, наспех одетые, молчаливо испуганные; они жадно смотрят в огонь, неотрывно, завороченно смотрят, будто их притягивает этот громадный костер. И только отступают на шаг, когда внезапно дохнет, обдаст невыносимым жаром.

Из соседних домов вытаскивают мебель, узлы в простынях; Зуев вывел свою лиловую нервную корову, и она, привязанная к телеграфному столбу, бешено дергается, встает на дыбы и ревет... На крыше легионского дома сидит, как всегда спокойный, невозмутимый Егор Легошин, окунает в ведро веник и прихлопывает, гасит сыплющиеся искры. А брат его Васька, ощерясь, яростно рубит молодые березки и сосенки у канавы — боится, как бы не пошел огонь по деревьям...

Поздно заметили беду. В десятом часу вечера безлюдна деревня: кто, одолевая дремоту, досиживает у телевизора, а кто уже спать повалился. Загоревшийся дом стоит на отшибе, почти не видать его за деревьями, за глухим кустарником. Лишь когда пламя поднялось выше печной трубы, когда гулко, ружейными залпами начал стрелять раскаленный шифер,— только тогда выскочил на улицу Семен Забелкин, ахнул, поднял тревогу...

Дом уже не спасешь. Объят огнем со всех четырех сторон, пламя снаружи, пламя внутри, жаром выдавило мутные посиневшие стекла... Сквозь пустой четырехугольник окошка видна внутренняя стена, вся как будто из раскаленных углей, прозрачная, ослепительная, и на этой стене — отчетливый черный силуэт подвешенного на крюк велосипеда.

— Ну, гвоздя не останется!.. До тла все пойдет! — говорит Забелкин, размазывая сажу и пепел по мокрому лицу.

Его спрашивают то и дело:

— А где хозяева-то? Лопатины где?

И всякий раз с нескрываемой злостью, ядовитым голосом отвечает Забелкин:

— Где! Небось по театрам сидят! Развлекаются!!

Непрерывно звоня в колокол, подходит наконец длинная пожарная машина; в ярчайшем свете остро, пронзительно блестят ее никелированные фары, поручни, зеркальце на дверях кабины; мокро сияет плоская ядовито-красная цистерна. Трое топорников, круша сапогами кусты, разматывают белый, потертый на сгибах шланг.

— Качай!..

Где-то в чреве машины захрипел насос, плоская лента шланга взбухает, расправляется; рваная струя воды хлещет по стене. Мгновенный взрыв в том месте, где вода касается раскаленных углей; мгновенный взрыв, шипенье и треск, и розовый светящийся пар застилает стену...

— Книзу направляй! — кричит Забелкин пожарнику, держащему шланг. — Лули книзу, говорят!.. Куда бьешь, дура?!

Пожарник молча отпихивает его; надвинув каску, ухватив покрепче шланг квадратными негнушимися рукавицами, шагает ближе к дому, в самое пекло, совсем исчезает в клубящемся пару.

Подъехали на мотоцикле два милиционера. Обошли, сосредоточенные, вокруг горящего дома, заглянули в полуразрушенный сарай, в дощатую уборную, посветили карманным фонариком. Теперь стоят отдельно от толпы, тоже глядят в огонь, переговариваются:

— От электропроводки, наверно.

— Тут везде провода на соплях. Как еще вся деревня не сгорела, удивляться надо...

— И сгорит. Дождутся.

— Глянь, велосипед на стене!

— Это уж не велосипед теперь... Воспоминание. А до чего непрочно их делают, я тебе скажу. Сын у меня ездит, так я чинить не успеваю, то восьмерка, то спицы летят...

— Давай отойдем. Как бы крыша не рухнула.

— Не. Ничего.

Глохнет насос в пожарной машине, обмякнул пружинистый шланг. Из рассеивающегося пара, из розовых его клубов, как привидение, опять возникает пожарник; он отходит назад, кладет брандспойт на траву.

— В чем дело?!

— В том. Вода кончилась.

— Как это кончилась?! — кричит подбежавший Забелкин. — Не успели начать, уже кончилась?!

— В цистерну два кубометра входит, — неохотно объясняет шофер с пожарной машины. — Это на десять минут. Теперь запрапляться надо. Где у вас водоем?

— Пож-ж-жарнички! — содрогаясь от возмущения, кричит Забелкин. — Одну машину пригнали! И то на десять минут! Хороша работа, нечего сказать!!

— Не ори, — советует горбатый, похожий на большого филина шофер. — Поменьше дери глотку, понял?

— Не учи меня!! Дрыхнете круглые сутки! Вон какую морду наспал: шире масленицы!

— Тебе б так поспать... — говорит шофер, сплевывая. — Прощую

ночь — три вызова. Позапрошлую — три. И нынче еще неизвестно, сколько будет... Люди с ног валяются, а ты... эх! Уйди с глаз!

— Легошин! — приказывает Забелкин ухмыляющемуся Ваське. — Покажи им, где пруд. А то заблудятся с устатку, пож-жарнички...

Пока цистерна едет на околицу деревни, пока заправляется там и приезжает обратно, пожар вновь набирает силу. Вновь розово-прозрачны огненные стены, жидкое слепящее золото плещет в квадратах окон; с протяжным ревом, с гулом уходят вверх потоки пламени, срывают со стропил накаленные, лопающиеся листы шифера.

Ширится освещенный круг, все дальше отступает толпа. И никто из деревенских не видит, что на дороге появились хозяева горящего дома — муж и жена Лопатины.

Извечен страх перед пожаром у деревенского человека, извечно считался пожар самой лихой бедою; гибнет кров, хозяйство гибнет, пропадает годами нажитое имущество — как удержать отчаянье! Безумеет человек, заходится в крике, себя не помнит...

Но вот эти двое — муж и жена Лопатины — стоят сейчас, как посторонние. Будто не их дом горит. На очастом, худом лице Саши Лопатина можно увидеть испуг, виноватость, неловкую растерянность; испугана и растеряна Люба Лопатина, но оба молчат, и незаметно горя великого, незаметно безумного отчаяния...

Дом Саше Лопатину достался по наследству от умершей тетки. И поговаривали даже, что не очень-то хотел Саша принимать наследство — жена повлияла, жене нравился свежий воздух. Из подмосковного общежития Лопатины переехали в деревню, все имущество свое привезя на стареньком, криволапом и шелудивом «Москвиче». И началась у молодых Лопатиных сельская жизнь — непонятная жизнь, удивлявшая соседей.

Лопатины не стали ремонтировать постройки, не стали обрабатывать участок. Запущенный дом и запущенный сад оставались такими же, как при тетке. Странно было смотреть на эту большую усадьбу, совершенно заросшую малинником, кустами рябины, узловатыми березками на черных ножках. Бревенчатый некрашенный дом тоже был заросший, заплетенный хмелем, сухие желтые стебли свисали прядями со стен, как нечесанные волосы. Бузина росла из трещин фундамента, а на шиферной крыше, в темных желобах, забытых мусором и трухой, поднялись метелки иван-чая, цвели хилыми розовыми звездочками. Но Саше Лопатину, кажется, это запустение нравилось.

Внутри дома он тоже не сменил обстановку. Как стояла в комнатах теткина нелепая мебель, топорная мебель, сработанная деревенским плотником — лавки, столы на козлах, дощатые посудные полки, — так и осталась. Единственную вещь добавили молодые Лопатины: старинное мягкое кресло с ушами, музейное кресло, все в бронзовых накладках и завитушках; дико и вызывающе выглядело это кресло среди убогих лавок. Да еще жена Саши Лопатина развесила по стенкам замысловатые древесные корни. Один корень был похож на змею с кошачьей головой, второй — на танцующего человечка, третий — вообще ни на что не похож, абстракция...

Вернувшись с работы, Саша вытаскивал на двор свое нелепое музейное кресло, ставил где-нибудь в лопухах, и ложился в него с тетрадкой в руке. Он мог лежать часами, только иногда записывая какую-то строчку, какое-то слово; было похоже, что на досуге Саша полисывает стишки. Непроницаемо безмятежным оставалось его незагоревшее, бледное лицо с пепельной негустой бородкой; сдвинуты на лоб очки, близорукие глаза сладко прищурены... Фигура, изображающая покой.

Жена Саши, тоже очкастенькая, тоже худая, в полосатых брючках, в накинутой на плечи мохнатой курточке, любила бесцельно бродить по участку. Составляла букеты из сухих веточек, из репейника. Была растеряной: везде забывала свою одежду, книжки, журналы, туфли; нередко какая-нибудь модная кофточка, брошенная на скамейку, так и мокла под дождем.

Иногда молодые Лопатины забавлялись игрой в бадминтон. Люба выносила из дому лакированные ракетки, пестрые хвостатые мячики,— и вот двое взрослых людей, неистово хохоча, гонялись и прыгали за мячиком, поправляя сползающие очки.

По воскресеньям они уезжали в лес, на озеро. Дряхлый шелудивый «Москвич» от стартера не заводился, Саша с Любой толкали его руками, спихивали с горки; окутавшись дымом, скрежеща и подвывая, «Москвич» натужно выползал из деревни. А возвращались всегда с пустыми руками: ни грибов, ни ягод не привозили из лесу. Наверное, они даже не старались загореть, как стараются обыкновенные дачники,— ходили такие же бледные, как зимой.

Недолго сколотить для автомашины гаражик или навес, но Саша и этого не сделал. Загонял «Москвича» в кусты, в непролазные заросли, будто корову, и еще больше облуплялся, шелудивел «Москвич», простотаки завивались на нем лохмотья краски. Наконец, он совсем отказался служить. Молодые Лопатины не горевали долго, купили велосипед, один на двоих. Все равно уезжали по воскресеньям — Люба впереди, на раме, а позади, согнувшись, растопырив острые колени, невозмутимый Саша.

Узнав, что Саша по профессии агроном, сосед Забелкин пришел его навестить. Дружба с агрономом, кроме всего прочего, сулила хозяйственные выгоды: у Забелкина культурный сад, и Саша может дать полезную рекомендацию, у Забелкина нужда в саженцах и химикалиях, а Саша, конечно же, имеет связи... Забелкин был отечески ласков, говорлив, как ручеек.

— Ну,— сказал он,— наконец-то! Наконец дождался участок хозяйства! Верись, Сашенька, сердце обливалось, когда на это запустение смотрел... Тетка твоя больная была, знаю, но все-таки дура, царство ей небесное. Участок-то — золото! Разве можно так к нему относиться?! Вон ко мне на усадьбу загляни, или к Гусеву... Без научной основы, а сделали райские уголки! Трудно, конечно. Но без труда не вынешь рыбки, как говорится!

Саша стоял напротив Забелкина, слушал, опустив на грудь реденькую бороду; за стеклами очков глаза его казались расплывчатыми, задумчиво отчужденными; он как будто не вникал в смысл разговора. И пройтись по забелкинскому саду отказался.

— Я не специалист,— проговорил он со вздохом.— Не пойму все равно.

— Но ты же агроном?!

— Луговод.

— А-а... Значит — по травам? — сказал Забелкин.— Травопольщик, значит? И ничего? Держишься?

— Держусь,— ответил Саша.— А что?

— Жмут на вашего брата?

— Не беда, как-нибудь.

— Слушай, а это действительно вредная вещь — травополка, или так, под настроение попали? Что ученые-то говорят, умные головы?

Саша улыбнулся, повертел на рубашке пуговицу (между прочим, дешевенькая рубашка, из штапеля).

— Тут длинная история,— сказал он.

— Понятно. А все ж таки?

— Seriously, в двух словах не объяснить. В общем, дифференцированный подход требуется.

— Понятно. Ну, свой-то участок небось вскопаешь? Травы не оставишь?

— Оставлю.

— Ага-а! Значит, не вредит трава? Под задернением все-таки лучше?! Выгодней?

— Я, правда, не знаю... Важны условия... А я для другой цели оставляю... Просто интересуюсь травами...

— Ух, ж-жук! — с грозной похвалой и завистью сказал Забелкин. — У-у, хитрован! Говори прямо, от меня нечего скрывать. Да от меня и не скроешься! Я, брат, как рентген. Знаю, что под задернением выгодней! Посмотрю на тебя, перейму опыт... Кстати, будешь саженцы доставать, меня поймей в виду.

— Саженцы?

— Ну там яблоньки, грушки, вишенки. Говорят, карликовые яблони теперь пропагандируют. Достанешь карликов?

— Нет, я, пожалуй, не смогу.

— Может, через супружницу? Она у тебя чем занимается?

— Цветами.

— Кхе-кхе... Не дома, не дома! На работе чем занимается?

— Я и говорю: цветами. Она люпин изучает, есть такой цветок.

— Это что же — все время изучает?! Один цветок?!

— Да. Будет диссертацию защищать.

— Ну, жуки-и!.. — протянул Забелкин даже несколько оторопело. — Внедрились! А платят-то много ли?

— В общем, немного.

— Значит, прирабатываешь? В тетрадочку-то чего заносишь? Статейки небось? Знаю, знаю, что статейки! Публикуют?

— Нет, я для себя пишу. Ну, просто наблюдения... некоторые выводы... о травах, о луговодстве.

— А разве публикуют — о травах-то?

— Пока нет.

— Так зачем стараешься? Гляди — еще в карикатуру попадешь.

— Просто мне нужно, — терпеливо повторил Саша. — Для себя.

— Вроде как для души... — сказал Забелкин задумчиво. — Это бывает. Н-да... Дела-делишки. Ну ничего, теперь поправишь финансовое положение. Только руки приложить. Хочешь, отличной рассады уступлю? Земляники?

— Да нет, — ответил Саша. — Я ведь сажать ничего не буду. Так оставлю.

— Что — оставишь?

— Ну все. Сад, участок.

— В таком виде?!

— Ну да.

— Шутишь, мил человек? — Забелкин даже слегка присел, заглядывая Саше под очки. — Я к тебе по-серьезному, по-хорошему... Вон, тетка твоя лежащая была, на участке елки стали расти, березки... Я приду, бывало, повырубую топором, расчищу... Объявится, думаю, новый хозяин, спасибо скажет. По-соседски жить надо, по-человечески! Я — тебе, ты — мне! Как все люди!

— Но я вправду сажать ничего не буду. Честное слово!

— Так и оставишь? Такой участок?! Необработанный?!

— А зачем? — сказал Саша. — Нам на житей хватает. Смысла нет.

— Нету смысла?

— Конечно.

Забелкин побарабанил пальцами, напевая «Утро туманное, утро седое...». Приковал Сашу взглядом:

— Войны боишься?

Саша изумленно захлопал ресницами, было видно, как они скребут изнутри по стеклам очков.

— Войны, говорю, напугался? Конца света ждешь?

— Да что вы!..— наконец сообразив, проговорил Саша и рассмеялся.— Совсем нет! При чем здесь война... Нам действительно пока хватает на житье. И больше не надо.

— Всем — надо, а тебе — нет?

— У людей разные интересы, Семен Степаныч,— сказал Саша уже с некоторой досадой.— На то они и люди...

Нет, не понял Саша Забелкина. Не понял.

...У сосен, что стоят близко к горящему дому, на мертвых нижних ветках, на самых кончиках, трепещут язычки коптящего пламени. Сырая хвоя еще не горит, только пофукивает желтоватым дымком, а вот сухие ветки уже занялись, и вокруг стволов роятся, мелькают пугливые огоньки, как на свечках под Новый год.

Пожарники отступились от дома, не тратят понапрасну воду. Бьют из шланга по деревьям, по соседним постройкам,— лишь бы удержать пожар на месте, не дать распространиться. Пожарники почти успокоились: с усталой, расслабленной неторопливостью перетаскивают шланг, снимают свои нагревшиеся каски, утирают ладонями лица, и при каждом движении их серые брезентовые куртки, негнущиеся круглые штанины звонко шуршат и даже как будто взвизгивают.

И только Забелкин не может успокоиться. Махнул рукой на пожарников, перестал ругаться с ними; все отступились от горящего дома, но Забелкин не отступился. Идет на приступ. В руках у него багор на длинном черенке, и, упершись этим багром в верхний венец, всклокоченный, в распоясанной тлеющей рубахе, хрипло вскрикивая, Забелкин раскачивает огненную стену, хочет разнести ее по бревнышку... Он заметил Лопатиных, он знает, что они стоят на дороге, иногда он оборачивается к ним — и страшен, гневен взгляд его воспаленных глаз...

Никто, никто в деревне не видел Забелкина праздным. Уж такой он человек — всегда в хлопотах.

Утром подымается с петухами, соседи еще сны досматривают сладкие, а Забелкин уже копошится во дворе, что-нибудь сколачивает, ремонтирует, улучшает. Образцовое у него хозяйство, но не довольствуется Забелкин достигнутым. Не покладает рук.

В девятом часу, торопливо поскребя щетину бритвой, надев черный галстук, несмятую фетровую шляпу, сидящую горшком, Забелкин спешит в поселковый Совет. Когда-то, лет восемь назад, выбрали Забелкина депутатом, и он привык руководить. Давно кончились депутатские полномочия, жители деревни уже не обращаются к Забелкину с ходатайствами и жалобами, но он все равно активен. Работает на общественных началах, сам находит нерешенные дела и поднимает вопросы. Придерживая руками какие-то папки, газеты, выписки, приседающей походочкой бежит Забелкин по деревне, и тут его не останавливай: «Некогда, некогда!»

Воротясь домой, снимает галстук и шляпу; из общественного деятеля превращается в чернорабочего. Окапывает яблони, окучивает землянику, возводит компостные кучи, поливает грядки, и так — до сумерек, до куриной слепоты в глазах. А вечером еще надо подежурить в клубе, надо разок-другой пройти по засыпающей деревенской улице, охраняя покой граждан.

Десять лет назад, демобилизовавшись из армии, появился Забелкин в деревне, начал строиться. И с той поры нет передышки, не видать конца трудам и заботам. Всегда впереди что-то незавершенное, ждущее своей очереди: посадки в саду, ремонты, достройка... И приятно Забелкину ощущать эту бесконечную череду обязанностей, неотложных дел. Он не спрашивает себя: «Зачем это?», в голову не придет спрашивать. Это естественно!

— Трудись! — внушает Забелкин старшему сыну Веньке. — Труд воспитывает! Понятно? Только труд превратил обезьяну в человека!

Венька, мальчик развитой для своих лет, начитанный, но ленивый и толстый, заявил однажды:

— Пап, да брось ты! Земляные черви работают по двадцать четыре часа в сутки. Но в людей почему-то не превращаются!

Забелкин не стал спорить. Глупо в таких случаях спорить. В армии, например, существует мудрая негласная заповедь: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Забелкин применил эту заповедь, и сын Венька трудится теперь как нанятый.

Вырастет — благодарить будет.

Проходя мимо лопатинской усадьбы, Забелкин невольно оглядывался, и когда видел музейное кресло в дремучих лопухах, Сашу и Любу, играющих в мячик, обидно ему делалось и противно. Молодые, здоровые люди, а бездельничают, будто у них отпуск! Что? На службе они трудятся? Знаю, как они на службе трудятся! Цветочки нюхают! Вон крестьянин вкальвает на поле от зари до зари, полный световой день, — вот это труд, я понимаю! Есть за что человека уважать.

— Дом тоже ремонтировать не будешь? — спросил он Лопатина.

— Нет, — сказал Саша. — Какой смысл?

— Нету, значит, смысла? Опять нету?

— Конечно. Зачем, Семен Степаныч?

— Чтобы жить по-людски! — закричал Забелкин. — Будут дети — чтобы детям оставить, понятно?! Эгоист!!

— Ну, — сказал Саша, — я надеюсь, дети будут иначе жить. Совсем иначе.

Вертел пуговку на своей дешевой рубаше и смотрел на Забелкина с нахальной жалостью. Будто плохо живет Забелкин, будто не нужен детям забелкинский крепкий дом (с водяным отоплением, со смывной уборной, с холодильником и телевизором).

— Умней других хочешь быть? Выставляешься?

— Да нет же, Семен Степаныч. Просто иначе думаю.

— Вижу. В армии не служил?

— Не пришлось.

— А жалко. Попался бы ты в мою роту, — сказал Забелкин, — я б тебе объяснил что почем.

Весною Саша отказался опрыскивать сад. Его, видите ли, не интересует урожай, не нужны малина и смородина.

— Вот что, — отдельно сказал Забелкин, — хочешь свой дом гноить — валяй. Разрушай, как угодно. А сад — общественное дело. Из твоего сада вредители по всей деревне разлетаются, и мы не будем терпеть. Не дадим разводиться заразу!

— Но бессмысленно же.

— Что еще — бессмысленно?!

— Опрыскивать, — пояснил Саша, хмурясь. — Вы каждую весну опрыскиваете, разливаете яду, лишь бы побольше... Уже земля отравлена. От яблок, наверное, дустом пахнет...

— Агроном! Специалист!! Что же — пусть вредители размножаются?! Боишься дуста понюхать?

— Не боюсь, а просто...

— Просто обленились! Вот что! Леня пальцем шевельнуть для своей же пользы!

— Да смысл-то какой? — опять сказал Саша. — Здесь опрыснете, а вредители с деревьев налетят. Вон из рощи, с берез у дороги. Всю округу ядом не облить, Семен Степаныч!

Саша плохо знал Забелкина. При желании все можно сделать — Забелкин взял и договорился, чтоб прислали специальную машину со станции защиты растений. Приехал в деревню современный агрегат, весь закрытый, темный, мрачный, как катафалк; завывли двигатели, из форсунок позади машины попер, винтом закрутился горячий отравленный туман. На совесть работал шофер, получивший дополнительное вознаграждение. Норму дуста повысили вдвое. Машина кружила по деревне, затопляя удушливыми клубами сады, придорожные кустарники, деревья; даже березовая рощица до вершин скрылась в табачно-желтом тумане.

Не только насекомые, не только жуки да блошки — птицы сдохли.

Забелкин — человек дисциплинированный. Любое постановление выполняет свято — не придерешься. Когда запретили держать коров, Забелкин первым продал свою холмогорку. И других, между прочим, поторапливал. Когда не поощрялось разведение домашней птицы, Забелкин прирезал всех своих петушков и курочек. Без сожаления! Соседям разяснял: правильно, мол, запретили, негоже скармливать птице городской хлеб.

— Опомнись, кто у нас хлеб скармливает? — удивлялись соседи.

— Есть такие отдельные лица, есть! — твердо отвечал Забелкин.

Никогда он не возил свою продукцию на базар, никогда не спекулировал. Чист! Если год урожайный, много родится фруктов и ягод, то Забелкин сдает излишки в кооперацию. Имеется в деревне приемный пункт, с официального разрешения открыт. Государственные цены. И Забелкин спокойно везет туда яблоки, сознавая, что никто к нему не придерется.

Однажды он сдавал летние яблоки — грушовку московскую, сорок копеек кило, — а в магазин зашел Саша Лопатин. Попросил взвесить килограммчик яблок.

— Вот так, — сказал ему Забелкин, пересчитывая деньги. — Понял разницу? Кто платит, а кто — получает. На законном основании.

— Ну что ж, — ответил Саша. — Получайте, пока можно.

Забелкин взял его под руку и привел к плакату на дверях. «Граждане! Сдавайте излишки...» — было начертано на плакате, и был нарисован улыбающийся продавец с весами.

— Поощряется? — спросил Забелкин.

— Ну и что?

— Нет, ты ответь: поощряется? Законно?!

— Покамест, — сказал Саша.

— Что «покамест»?!

— Ну, пока стихийный рынок сохранился, — сказал Саша. — И пока закон стоимости в силу не вошел.

— Какой закон? — Забелкин насторожился.

— Есть такой закон стоимости. В экономике.

— И давно вышел?

— Он всегда был, — сказал Саша. — Это научный закон.

— Понятно. И что же он гласит?

— Долго объяснять.

— Понятно. Но ты — популярно, в общих чертах.

— Понимаете, ваши яблоки нерентабельны, — усмехаясь, неохотно растолковал Саша. — В принципе их невыгодно производить вручную. Это все равно, что домашним способом сталь выплавлять. Или лампы электрические делать.

— Не-рен-та-бельно?

— Вот именно.

— Умник! А ты жрал бы эти яблоки, — закричал Забелкин, — если бы я их не вырастил?! Ты кому спасибо сказать должен?

В середине лета, когда небывалая засуха навалилась, Забелкин ходил по деревне и предупреждал, чтоб остерегались пожара. Все высохло до хруста, до звона: и трава на закаменевшей земле, и мох на деревьях, пожелтевших прежде времени, и драночные встопорщенные крыши... Малой искры достаточно — заполыхает огонь.

Пришел Забелкин и к Саше. Не хотелось, но все-таки пришел, выполнил свой гражданский долг.

— Огнетушитель в порядке?

— Наверно, — сказал Саша неуверенно.

— Покажь.

Как ни странно, огнетушитель был заряжен (наверно, еще тетка-покойница побеспокоилась). Но Забелкин опять увидел, вблизи увидел заросший сад, пустующую землю, буйную траву на бывших когда-то огородных грядках. И не сдержал гнева.

— Недаром вас в карикатурах рисуют! — закричал он. — Эка, что делается!.. Почему печка в трещинах?! Где бочка с водой? Где ведра?! Из дому уходите — вся калитка нараспашку, будто при коммунизме!

— А калитка-то при чем?

— Он не знает! Умник! Ты не видишь, сколько хулиганья развелось? Зайдут на участок, подожгут за милую душу! Из одного баловства подожгут!

— Да полно, Семен Степаныч!..

Так и остался дураком Саша Лопатин, агроном-луговод. Все в деревне береглись, не оставляли дома пустыми, дежурили. А Лопатины с прежней беззаботностью уезжали и по воскресеньям, и в будние дни — то на какую-то выставку, то в библиотеку, то в театр... И вот — доигрались.

Пожарники кончают свою работу. С деревьев огонь сбив; уже ясно, что дальше не перекинется, никого не тронет. Толпа почти вся разошлась, милиционеры укатали восвояси на мотоцикле.

Зарево над деревней меркнет. Уже не чертят по небу рыжие метельные искры, не стреляет раскаленный шифер. Спокойно, буднично догорает на лопатинской усадьбе большой костер.

И только Забелкин еще воюет с ним, яростно, самозабвенно воюет. Он раскатыл-таки стены, оттащил в сторону гнилые, мягко-неподатливые бревна. Теперь выволакивает уцелевшие стропила, потолочные доски, переломанные рамы, все, что еще можно спасти от огня. Он совершенно измучен, обессилен; ужасны его безбровое опаленное лицо, кровоточащие грязные руки; рубаха на нем висит клочьями... Он хрипит, стонет, хватается за сердце, почти в беспамятстве он — и все-таки не уходит, не может уйти, как будто его собственный дом горит, как будто его, забелкинское, хозяйство гибнет в эту августовскую ночь...



А МЕНЯ ВОЙНА НЕ УБИЛА...

• • •

А меня война не убила,
И любовь мою миновала;
Над безвестной солдатской могилой
Я вдовою не тосковала.
И не мой очаг был разрушен
Беспощадным прямым ударом;
Не моих мальчишек игрушки
Захоронены Бабым Яром...
Но откуда и гнев и гордость,
Вместе с ненавистью до гроба,
Словно ком в воспаленном горле...
Проглоти-ка его, попробуй...
Как он давит меня,

как душит
Возле каждой братской могилы...
Ты не верь мне, прошу,
не слушай,
Что война меня пощадила...

• • •

Сколько сил у меня в запасе?
Сколько весен?
И сколько лет?

Снова май перелески красит
В свой защитный зеленый цвет,
И на подступах, значит, лето,
Значит, осень придет опять...
Сколько раз я увижу это?
Не положено мне узнать.
Любопытство меня не гложет,
Что поделаешь,

нет — так нет...
Счастлив тот, кто оставить может
На земле благодатный след.
Я бессмертьем не обольщаюсь;
Но в положении мне «пока»,—
Не прощаю
и не прощаюсь,—
Словно ждут за спиной века.

• • •

Чем дальше жизнь отодвигает даты,
Тем неотступней следуют за мной
Вчерашние ровесники,
солдаты,

В сороковых убитые войной.
Властители и снов моих и яви,
Покой и сновидения губя,
Они теперь приходят сыновьями,—
А за детей больней, чем за себя.

• • •

Ах, эта служба без конца и края!
Похожие, размеренные дни.
Солдаты знают,
матери их знают,
Как бесконечно тянутся они.
Опять пустует мой почтовый ящик,
Пустует, обещаньям вопреки;
Все реже письма краткие,
все чаще
Твои междугородние звонки.
Ты редко пишешь,
ты звонишь упрямо,
Не потому, что любишь говорить,
Наверно, просто хочешь слово
«мама»
Отвыкшими губами повторить.

• • •

Мы все стремимся делать
долговечным:
Подошвы,
мебель,
станции метро.
Мы прочной тканью
одеваем плечи,
Сжимаем в пальцах вечное перо;
И как несправедливо и жестоко,
Что этой долговечности творец
Изнашиваться вынужден до срока
И раньше срока осужден стареть.

• • •

«По что пойдешь,— то и найдешь»,—
Так говорит народ.
Тебе поверилось,
и что ж?

Пойдешь по правду — встретишь
ложь;

Пойдешь по дружбу — обретешь
Совсем наоборот...

Но для того и мудрость есть,
И в том ее значенье,
Чтобы за правило не счесть
Простое исключенье.

Зло — за добро,
за правду — ложь

И мне судьбой отмерены;

И я обманывалась, все ж —

«По что пойдешь — то и найдешь», —

Я говорю уверенно.

Не прячь за пазухою нож,

В карман не прячь кулак;

Допустим, мир не так хорош, —

Но зло посеешь — зло пожнешь —

Уж это точно так!

• • •

Мне просто изменило чувство
меры;

Меня порой охватывает грусть:

Мои подруги делают карьеру,

А я за синей птицею гонюсь.

Ловлю с Парнаса скудные подачки,

Работаю во сне и наяву;

Среди друзей стареющей чудачкой,

Смешной и одержимую живу.

Мои друзья внимательны:

«Все пишешь?..» —

С улыбкой тонкой спросят иногда.

Вот чудачки!

Спросили бы:

«Все дышишь?..»

И я бы тоже отвечала:

«Да».





Линогравюра Е. Ранзуина

БАБУШКИНЫ КРУЖЕВА

Сентиментальная повесть

I

Нельзя начать рассказывать эту историю, не сказав хотя бы бегло о Калиновом Лужке, где провел последние годы своей жизни академик Павел Захарович Лутонин.

Калиновый Лужок — лесная поляна на берегу подмосковной речки Нерль. Потом это название перешло к загородному дому Лутонина.

Почти всеми научными трудами, всеми успехами Павел Захарович обязан, как не раз признавался он, Сибири — стране, еще не открытой и в малой доле.

Не столь общительный, Лутонин мог говорить о Сибири без умолку. А прожил он там в общей сложности не так много времени. Месяц, редко два летних месяца проводил он в счастливых экспедициях. А случилось и так, что и по три года тосковал по ней. И все потому, что Павлу Захаровичу не всегда удавалось противостоять настойчивости своей жены Ларисы Михайловны.

Лариса Михайловна, отправляясь в большое плавание по волнам жизни, взяла в свои руки руль, посадив Павла Захаровича на весла лицом к себе и спиной по направлению движения счастливой семейной ладьи. Не выпуская кормила, энергичная супруга вершила всем. Она, нередко вмешиваясь и в дела бесконечно от нее далекие, ставила академика в неловкое положение. Ей ничего не стоило по пустяшному поводу, «добиваясь справедливости», обратиться в любое правительственное учреждение. И с Ларисой Михайловной не спорили, ценя заслуги академика Лутонина. Больше того, боясь обидеть Павла Захаровича, скромного человека, от него старались скрыть некоторую неумеренность претензий Ларисы Михайловны.

И хотя помех от Ларисы Михайловны было несравненно больше, нежели пользы, это не мешало ей все заслуги мужа считать своими. О муже и о себе Лариса Михайловна говорила неизменно — «мы». «Мы подсказали геологам дорогу к алмазам...», «Мы еще десять лет тому назад знали и говорили об этих рудах...», «Мы с Павлушей в сибирских недрах, как у себя дома в кладовой...» Она говорила даже: «Мы, ученые...» И окружающие старались видеть в этом непосредственность Ларисы Михайловны, преданной жены.

Вероятно, исчерпывающе может охарактеризовать Ларису Михайловну ее письмо в правительство, написанное мелким бисером мало разборчивых букв, составивших строки, идущие отнюдь не параллельно одна к другой. Она пишет:

«Дорогой и глубокоуважаемый имярек! Если мы подарили нашей горячо любимой родине богатейшее газовое месторождение, так неужели за это нам наша родина не может дать вместо бежевой тарактелки, на которой мы вынуждены ездить, настоящую черную машину на шесть персон, не считая шофера»...

И черная машина незамедлительно появилась.

Павел Захарович, человек большой и доброй души, чаще всего этого не замечал. А окружающие не могли понять, как такой цельный и во всех отношениях безупречный человек не противился самоуверенному сумасбродству своего милого Ларчика — так он называл свою жену.

Калиновый Лужок — произведение ее строительной фантазии — был эклектическим конгломератом невероятного. Дом с разностильными башенками, верандочками, эркерами, украшенный петухами и амурами, расписанный под владими́ро-сузда́льскую древность, уживающуюся с византийскими фресками и абстракционистскими тяжелыми недугами, — был еще как-то терпим. Но старомодный каретник, амбары, белая и черная бани, соседствующие с мраморным бассейном и оранжереей, конюшня и гараж под одной крышей, погреб, которым никогда не пользовались, как и коровником без коровы, вызывали боязливое недоумение у всякого свежего человека. И только приехавшие к своему коллеге англичане, которым гордость запрещает удивляться, не спрашивали, для какой цели к собачьей конуре приделан громкоговоритель. А причина этого технического усовершенствования совсем проста: Лариса Михайловна с детства боялась воров и радиофицировала собачью конуру, чтобы в случае тревоги можно было из спальни дать радиокоманду: «Полкан! Хватай! Воры!» — и нажатием кнопки спустить безобиднейшего пса с цепи.

Калиновый Лужок стоит куда более пространныго описания, но наша повесть будет небольшой, поэтому придется ограничить себя и рассказать из жизни Калинового Лужка то, без чего едва ли будут понятны многие из последующих глав.

II

Вскоре после смерти мужа Лариса Михайловна почувствовала себя одинокой, а главное — незащитной. Незащитной от людей и от бога, в которого она и раньше верила время от времени. Теперь же, когда не стало Павла Захаровича, который при всей своей мягкости был ей защитой от чего угодно, она стала бояться и темноты. Она всегда нуждалась в поддержке Павла Захаровича, в его простых и убедительных словах. Мог бы такие же простые и сильные слова найти ее сын Владимир, но сыну она не могла признаться в том, против чего ей была нужна защита.

Много лет Лариса Михайловна носила в себе грех, которому, по ее убеждениям, не было прощения. В прежние годы она с помощью мужа

усыпляла свое раскаяние, а теперь грех проснулся и не давал ей покоя, особенно ночью. И выход ей представлялся только один: навсегда и безоговорочно вернуться к вере своих отцов и вымолить прощение у бога. Вымолить не только молениями, но и добрыми, богоугодными делами.

Богоугодные дела начались с того, что зимняя рубленая беседка в глубине леса была превращена в часовенку. На шатровой крыше беседки был водружен цельнокованный крест, а внутри повешены иконы и лампы. От входа в часовенку до возвышения, напоминающего амвон, была постлана ковровая дорожка.

Лариса Михайловна давно собиралась построить у себя в Лужке свою дачную церквушку. Небольшую. Метров десять в длину и метров семь в поперечнике. Находился и плотник, прадеды которого рубили сборные церквушки и вазивали их на девяти-десяти возах на ярмарки в большие города и в матушку-Москву. Продадут такую церквушку, свезут куда скажут и за пару дней, самое большое за неделю, соберут ее, проконопатят... А потом только крой щепой, оснащай да освещай и молись хоть сам по себе, хоть миром-сбором.

И не дорого тогда просил плотник. Совсем было решила Лариса Михайловна ставить церквушку, но при всем своем сумасбродстве не могла не подумать, что кроме нее есть Павел Захарович. Он хотя и беспартийный, но тем не менее... Нельзя. Да и богу могла не понравиться дачная церквушка на правах частной собственности. А часовенка — другое дело. Как передний угол, только вынесен из дома в лес. А все поближе к богу, и молиться в такой часовне и трепетно и радостно. Однако же...

Однако же переоборудование зимней беседки в часовенку, хотя и богоугодное дело, но нужно оно разве что богу и себе. А чуть ли не на первой странице катехизиса сказано: «Вера без дел мертва есть». А коли это так, то нужны дела. Забота о ближнем. О сиром и слабом.

И когда одна прилавринская старушка, монашествовавшая в миру, подсказала рабе божьей Ларисе, что нет выше добродетели, нежели бездомного пустить в дом свой, она тотчас получила разрешение въехать в каморку нижнего этажа лутонинского дома.

И началось стремительное переустройство никому не нужных птичников, коровников, каретников. Отопленные, они превратились в богоугодные жилища сирых, слабых, обездоленных, а вместе с ними и уголовно наказуемых личностей. Теперь сын Ларисы Михайловны Владимир Павлович не мог жить со своей семьей в Калиновом Лужке и в летние месяцы.

Сирые и слабые дулись в карты и в домино, проигрывая и выигрывая то, что им не принадлежало, вскапывали грядки, размежевав ухоженные цветники и полянки на малые огородишки. Плохо положенное растаскивалось и продавалось. Нередко получившие приют требовали у благодетельницы на водку. И Лариса Михайловна, вернувшаяся в веру отцов, принимала все это как испытание господне во искупление ее греха, молча сносила все.

Но бог не внял ее мольбам, не смягчился ее долготерпением. Бог решил открыть ее сыну Владимиру грех, который она надеялась унести с собой в могилу. Только он, жестокий и старый судья, мог придумать причину, чтобы Владимир вынужден был поехать в Сибирь, и не куда-то, а в ее родное село Дудино. Дудино, которое навсегда должно быть закрыто для всех Лутониных, теперь оказывается местом, где Володе предстоит длительная работа по выполнению правительственного задания. Надо же было на огромном пространстве Сибири найти этому старому, не значащемуся на картах селу.

Значит, нет и не будет ей прощения. И она ничего не может сделать, чтобы помешать Володе ехать в Дудино. Уже подписано решение, и Владимир через несколько дней будет там, и, конечно, ему захочется

побывать в доме, где родилась его мать, и поговорить с теми, кто ее знал. Не умерли же они все, раз она жива. И, конечно, непременно найдется злой, а может быть и добрый язык, который воскресит прошлое, казавшееся умершим.

III

Володя — Владимир Павлович Лутонин, достойный преемник академика Лутонина, дважды доктор наук, уважаемый ученый, известный и за пределами родной страны. Как и отец, он посвятил себя теории и практике разгадки кладов, скрытых в недрах земли, занимался Уралом и Приуральем, если сюда относить и сказочно богатые нефтью тюменские просторы.

Владимир Павлович принадлежал к тем счастливым людям, кто благодарен жизни и окружающим за всякую малость, которую обычно большинство, не замечая, принимает как должное. И хотя подобное высказывание сентиментально, зато правдиво: Владимир Павлович, кажется, был благодарен и солнечному дню за то, что он солнечен, и лунной ночи за то, что она лунная. И всякое занятие, даже самое незаметное, для него становилось наслаждением, он всегда был занят.

Счастлив был Владимир Павлович и в семейной жизни. Влюбившись впервые на школьной скамье, он не представлял, что может быть какая-то вторая любовь и что кто-то, кроме его Антонины Сергеевны, мог бы оказаться на ее месте.

Человек, любящий жизнь, никогда не бывает у нее пасынком. Так было все эти годы, так, наверно, было бы и дальше, если бы не странности, творящиеся в Калиновом Лужке. Все эти годы Владимир Павлович с семьей летом жил там с матерью. А на зиму Лариса Михайловна переселялась в московскую квартиру. Теперь же мать не хотела и слышать о переезде, потому что без нее мог угаснуть огонь лампад.

Владимиру Павловичу стало трудно навещать мать. Он страшился богоугодных тунеядцев, ему был противен даже воздух когда-то такого любимого Калинового Лужка. Его попытки повлиять на мать, вмешаться в ее жизнь были безрезультатны. Не звать же в самом деле милицию и не разгонять братьев во Христе, поселившихся в Лужке, не увозить же мать силой в Москву. А что потом?..

Не ровен час, такое вмешательство приведет к несчастью. Доктора и без того не обнадеживали Владимира Павловича долголетием его матери. Они даже удивлялись, откуда в маленькой и иссохшей старухе берутся силы на моления и многочасовое плетение кружев. Она без усталости перебирала коклюшки, находя новые затейливые кружевные узоры.

У Владимира Павловича была тайная мысль отвлечь мать, и он предложил ей:

— Мамочка, а почему бы тебе не побывать в родном селе, не вспомнить детские годы, юность...

— Н-нет! — крикнула Лариса Михайловна, будто ее приглашали не в ее родной дом, а в пасть зверя. Лицо матери перекошилось, и она снова закричала: — И тебя не благословляю ехать туда...

А потом, несколько успокоившись, стала говорить о том, что все в жизни наказывается и ей не уйти от этого, жаловалась на бога, кивая на иконы:

— Как можно называть милосердным того, кто наказывает не только грешницу, но и подвергает мучениям ее детей...

Владимир Павлович не понимал, о чем говорит его мать. Он не поверил бы, что Лариса Михайловна говорила это в здравом уме и твердой памяти, приоткрывая завесу тайны, которую теперь ей хочется от-

крыть. Но она боится опережать события. А вдруг там, в Дудине, все обойдется и тайна останется тайной. Но на всякий случай она говорит: — У каждого в родных местах остаются и соперники, и завистники, и открытые враги... Не всем верь, Володя,— попросила она умоляюще и горько заплакала.

IV.

Невеселым стал отлет Владимира Павловича в Сибирь. Ему казалось, что встреча его с матерью была последней. Перед посадкой на самолет просил жену как можно чаще навещать Ларису Михайловну. «И в случае чего...— недоговорил он,— вызови меня».

Он помнил, с каким чувством говорил всегда о Дудине Павел Захарович. Его всю жизнь тянуло туда. Несколько раз он готов уже был отправиться и доисследовать Дудинское железорудное месторождение, но каждый раз этому препятствовала Лариса Михайловна. Может быть, и сыну следовало уважить мать, коли она так боится этой его поездки? Но ведь железорудное месторождение не ждет. Его теперь в официальных бумагах называют именем его отца. И Лутонинское железорудное месторождение нуждается в перепроверке, подтверждении рудных запасов. Нужно окончательно решить размеры предполагаемого комбината, который в увековечение памяти Павла Захаровича будет носить его имя. Как можно не завершить начатое не только отцом, но и учителем?

Дудино представлялось Владимиру Павловичу глухим старым селом, а оказалось — ни село, ни лагерь... Дощатые бараки, палатки, избушки-пластанки, просто «балаганы»-хижины, сплетенные из камыша, и скопище машин, механизмов в селе и вокруг села. И, наверное, когда выстроят здесь комбинат, Дудино станет новым городом.

Все зависит от того, что покажет земля, к каким выводам придет долгоязыый человек с большими карими глазами, с темно-каштановыми подстриженными усами, с добрым, приветливым лицом, с ласковой, пришедшей из русской сказки фамилией — Лутонин. Да не из сказки ли, не из тайной были-небыли пришел он сам в эти края, куда, по его словам, он приехал впервые, и где, по старожильской молве, он прожил всю жизнь.

Владимир Павлович вскоре почувствовал, что его принимают за кого-то другого, или он, сам того не зная, дудинцам давно известен по какой-то знакомой чуть ли не всем, кроме него, легенде. Не случайно же на улице, завидев его, вдруг останавливается старуха, всплескивает руками, а то, крестясь, говорит еле слышно: «он», а иногда совсем незнакомые люди, видящие его впервые, называют по имени.

Даже не подверженный мистификациям человек будет чувствовать себя неловко, когда его рассматривают чужие глаза, и в них то сострадание, то удивление, то боязнь...

И однажды к Владимиру Павловичу подошел старик в холщовой длиннополой одежде, похожей одинаково на подрясник и на больничный халат.

— Не удивляйтесь,— сказал он.— Я вас знаю. И матушку вашу, Ларису Михайловну, я еще Ларочкой звал...

— А кто вы?

— Да кто-никто, это мало значит,— сказал он оглядываясь, будто проверяя, не слушают ли его.— Не хотел я рассказывать вам про то, что бывшем поросло, да боюсь, другие в плохом виде это самое вам перескажут. Обязательно перескажут,— предупредил он.— От этого теперь уж нигде не денешься. Так что прощу.

Владимир Павлович с любопытством рассматривал старика. И вскоре они вышли за село, пошли по широкой накатанной дороге.

Пшеница стояла уже высокая, а лето еще не наступало. Назнакомый старик начал рассказывать издалека. Чуть ли не с конца прошлого века.

По всему было видно, что и он, пришедший оттуда же, хорошо все помнит, хотя и несколько старомодно строит фразы. Рассказав, каким глухим был этот край во времена его детства, он перешел на строительство железной дороги и, сказав по-латыни «виа — вита», что значит — «дорога — жизнь», заговорил о приезде из Расеи множества разных дельцов — скоробогатиков и мастеровых людей, назвал фамилию кузнецов Колосницыных.

Фамилия Владимиру Павловичу показалась где-то слышанной, но он не обратил на это внимания, не предполагая, как много она будет значить в его жизни.

Оставим рассказчика и слушателя в роще. Пусть старик мягко, сдержанно и коротко рассказывает то, что сейчас начнем рассказывать и мы. И тоже начнем с кузнецов Колосницыных.

V

Колосницыных называют коренными сибиряками, хотя пришли они сюда с Урала. Первым здесь появился Кузьма Колосницын. Его сослали на вольное поселение. За бунты.

Молодой, тогда еще не женатый, Кузьма обосновался в селе Дедюхине по причине невозможности жить без кузнецкой дочери Танюшеньки. И вскоре Кузьма вошел в старожильскую семью старика кузнеца Тихона Дымарева, порешившего передать свою ветхую, из пласта сложенную кузницу в настоящие кузнецкие руки.

Не ошибся в зяте старик Дымарев. Кузьма с двенадцати лет не выходил из кузницы своего дяди, нижнетагильского кузнеца. От него-то и получил Кузьма дорогим наследством кузнечную науку. В старые годы кузнец должен был не только ковать, но и доводить поковки до дела. Поэтому приходилось не чураться и слесарного ремесла, приходилось быть и литейщиком и плавильщиком. Кузнецом на все руки был Кузьма. И коли он там, у себя, по строгой уральской заводской мере ходил в сильных мастерах, то здесь-то уж, где кузнецы были наперечет, он сразу попал в широкую молву.

Дедюхино росло. Прибывали переселенцы, строили зерновые склады богатеющие купцы, ставился маслозавод, пустили паровую мельницу, а следом началось строительство храма. Как без своей «церквы», без своего «батюшки» обходиться торговому селу, где год от году растут базары и в зимние месяцы съезжается до пятисот возов?

Строительство требовало немало поковок. Одних оконных решеток для церкви — несчитанные пуды. Кузьма выписал с Урала отца и брата. Кузницу гасили часов на пять, на шесть. Вместо двух поставили пять наковален. Сырцовые стены заменили настоящими кирпичными. Не обошел коренных уральских тружеников и неслыханный в этих местах фарт. Кузьма наткнулся в березовой роще, неподалеку от деревни Старая Карасиха, на выходы железной руды. Клад оказался не маленьким. А каким именно — не под силу было узнать тогда кузнецам Колосницыным. Много ли укажут лом да кайло? А штоленку все же пробили. На Урале кто не рудознатец.

Опробовали руду в самодельной печи. Стоящий получили металл. Дорогой, но не дороже привозного. Если бы мошна потуже да голова посветлее, застолбили бы Старо-Карасихинскую рощу и задули пусть самую крохотную, но свою домнешку. Демидовы тоже с малого начинали, тоже ведь — кузнецы.

Поговорили-помечтали о своем железе Колосницыны и снова из под-

небесья на землю спустились. Доменную печь поднять — это же тысячи и тысячи... А уголь где взять? А руки? Где взять мастеров-доменщиков, углежогов?.. Не с Урала же привозить.

Забросили свой фарт Колосницыны. Только когда уж приспичит, наломают руды, выплавят десяток-другой пудов чугуна и тут же его в дело пустят. В утюги, скажем, перельют. Много ли утюгу надо крепости? И второсортный чугун будет гладить не хуже первосортного. Не жалуется женское сословие. Катком-вальком хуже белье катать, нежели утюгом гладить. И мастерам любо. И доходно и радостно. Узорчатые буквы «К. К.» на утюге литыми завитками красуются. Да и к штоленке тоже эта кузнечная фамилия прильнула. Только не до нее им теперь. С кузнечным делом не управляют. Хоть еще пять наковален ставь. От заказов нет отбоя. Приезжают по кузнечной нужде и за сто верст. Что хочешь возьми, только скуй, мастер, чего не могут сковать доморощенные бесталанные кузнецы.

Колосницыны и не заметили, как сибирская земля стала им родной. Сыты, одеты, обуты. Мясоед — круглый год. Хоть каждый день пельмени готовь. И дичи всякой тут столько, что закрывши глаза не промахнешься на озере. Одно плохо у стариков — никто в дочкиной колыбели не плечет.

И в Омск-то возили Татьяну к пятирублевому доктору, и знахаркам немало переплатили... И в новую «церкву» попу тоже было, на всякий случай, дадено и ковано. Большую медную «паникадиль» Кузьма по просьбе стариков своими руками чеканил, своеручно отбеливал. Тоже не помогло. А потом как-то угорела Татьяна в курной бане. На снегу в чувство пришла. Затем слегла. А выздоровевши, почувствовала себя обновленной.

Материнство пришло утром седьмого ноября. Кузницу заперли с первого крика новорожденного. Еле успевали мыть посуду. Чуть не все Дедюхино перебивало с поздравлениями. И поп пришел. Много еще кузнечной работы виделось для церкви отцу Афанасию. Кузьма спяна много наобещал. Хоть ко всем колоколам готов был языки сковать. И тут же спросил попа, какое имечко он присоветует дать наследнику.

Поп в святцы. А в святцах в этот день, как и во всякий другой, святых было порядочно. Но все имена их не отозвались в душах кузнецов и кузнечих: Иерон, Исихий, Никандр, Мамант, Варахий, Каллиник, Феаген, Ксанфия, Гигантйй...

Кузнецы начали было шуметь на попа. Что же это за имена для русского человека? Уж не выдумывает ли долговолосый? А отец Афанасий показывает им день седьмое ноября и вычитывает дальше: Феофил, Анникит, Диодот, Евтихий, Евгений...

На этом имени раздался слабый голос роженицы из соседней горницы. Кузьма побежал к ней, и она сказала: «Евгений».

«Евгений», — повторили кузнецы и их жены. «Евгений», — провозгласил священник, благословляя дверь, за которой находился мальчик шести часов от роду.

Так началась жизнь Евгения Кузьмича Колосницына.

VI

Мальчик с редкостным для сибирской деревни тех лет именем рос (тоже для своего времени, разумеется) редкостным грамотеем. В пять лет он читал по складам. В восемь лет мог писать простые письма. Худенький, долговязый, тянущийся к знаниям, задумчивый и мечтательный «Енюшка», как называла его мать, в родной семье оказался чужой былинкой.

Деды и бабки, не чая души в мальчике, решили учить внука, окончившего приходскую школу, большой грамоте. А большая грамота была только в больших городах. Омск хотя и не близок, но и не за тридевять земель. Весь вопрос, где учить.

Опять не обошлось без попа. Отец Афанасий пивать — пивал, а ума не терял. Поп сказал кузнецам, что по ихним деньгам внука можно учить хоть в реальном, хоть в гимназии, хоть в коммерческом. Но где у кого в большом городе жить тихому деревенскому пареньку? При его скромности он не доест, не допьет, а там, неровен час, и захворает.

Обрисовав положение жизни мальчика в большом городе, отец Афанасий предложил отдать Женю в духовное училище. И плата пять рублей, а не сорок пять, как в гимназии, и квартира с харчами при училище. Надзор. Воспитание. Лечение.

Отец Афанасий, человек рассудительный и не лишенный наблюдательности, давно заметил, что кузнецы не столь богомольны, как хотелось бы, и, наверно, им не очень желательно, чтобы из их семьи вышел священник. И отец Афанасий заговорил о широких путях, ведущих из духовного училища и семинарии.

На семейном совете еще два-три дня судили-рядили, а затем пришли к заключению. А заключение состояло в том, что грамота везде есть грамота. Можно и из самой высокой гимназии босяком-пропойцей выйти, а можно и после семинарии получить инженерную науку. Как знать, может быть, эта наука даст жизнь колосницынской штоленке. И порешили отдать Еню в духовное училище, надеясь, что в их кузнецком роду появится настоящий ученый человек.

И они не ошибались. Из духовных училищ и семинарий выходили не только служители церкви. Весь склад, дух духовных семинарий либо заставлял ученика, закрыв глаза, подчиняться всякой догме, либо зачеркнуть все начисто и стать на путь отрицания всего, чему так долго, искусно и настойчиво обучали.

Евгений Колосницын, успешно закончив Омское духовное училище, а затем Пермскую духовную семинарию, понял, что его путь лежит в московский университет.

Сведя знакомство с передовыми людьми, входившими в пермские нелегальные революционные кружки, Колосницын разделял взгляды своих друзей и видел себя преобразователем великой сибирской земли.

Так хотелось, но не так случилось.

На экзаменах он потерпел неудачу. То ли начальство не захотело принять в университет семинариста, возвращая его на стезю служения церкви... То ли его знания и подготовка на самом деле были недостаточны для сдачи экзаменов. И так два года подряд.

Евгений, вернувшись в Омск, готовился, прирабатывал, с жадностью читал запрещенные книги. Получить службу было трудно. Приходилось давать частные уроки, брать на дом переписку и не гнушаться сочинительства писем, деловых бумаг, журнальных статей и рассказов — для других.

Нелегкой была его жизнь. И может быть поэтому произошло то, что потом предредило ее дальнейшее течение.

VII

Епархиальному училищу, где воспитывались дочери духовенства, нужен был не просто образованный преподаватель литературы, а человек скромный, близкий училищу по духу и образованию.

Евгений Кузьмич Колосницын соответствовал этим данным. Больше

того. Даже прической своей он вызвал к себе расположение. Начальство епархиального училища предполагало, что будущий пастырь, присматривая хороший приход, отращивает волосы, готовит свою внешность заблаговременно.

И любезным письмом Колосницына пригласили в училище для переговоров.

На беседе Евгению Кузьмичу было сказано, что, несмотря на его юные годы, начальствующие лица епархиального училища верят, что господин Колосницын, с отличием закончивший духовную семинарию, окажется добрым наставником младших сестер своих и благочестивым преподавателем изящной словесности.

У отцов-наставников духовных учебных заведений всегда хватало умения вовремя подкрепить возвышенные предложения чисто материальными благами. Кроме жалования, которое и не снилось Евгению Колосницыну, ему предоставлялись длинные каникулы, гарантировались награды и множество льгот.

Его не прельстили бы никакие льготы и блага, если бы не началась война с Германией и если бы Евгению Кузьмичу Колосницыну в самое ближайшее время не предстояло отправиться в казармы. Не разобравшись еще во многих тонкостях и оттенках, Колосницын все же отлично понимал, кому нужна эта война и во имя чего она затеяна. И он не мог пренебречь одной из льгот, предоставляемой епархиальным училищем. Поэтому он сказал училищному начальству:

— Благодарю вас за честь. Я согласен.

Товарищи Колосницына не удивились этому. Лучше преподавать поповнам изящную словесность, чем угодить в число бессловесной серой кобылки, отправляемой эшелонами туда... за Урал... за Москву... И еще дальше...

Евгений Кузьмич был уверен, что война кончится очень скоро и у него появится все необходимое, чтобы продолжить образование.

Так ему казалось до тех пор, пока он не понял, что ученица выпускного класса, сидевшая на второй парте, красавица с длинной русой косой и лучезарными зелеными глазами, не безразлична ему.

Евгений Кузьмич не знал, да и не мог знать, но все остальные заметили, как сияли его глаза, когда он входил в класс, как звенел его голос, когда он читал пушкинские стихи, какие перемены произошли в его внешности.

И однажды его прелестная ученица, спрашивая о непонятной стихотворной строфе, задержалась с ним в классе после урока и сказала:

— Мы, оказывается, соседи. Я из Дудина...

Село Дудино, в котором бывал Евгений еще мальчишкой, находилось в тридцати верстах от Дедюхина, на берегу большого озера. Там была старая церковь и старый священник отец Михаил. Про него дедюхинский поп Афанасий не раз говаривал: «Не дай бог оказаться под его началом».

Значит, вот кто ее отец, ведь отчество ее Михайловна и фамилия Рождественская.

Когда со стихами было выяснено все, ученица сказала:

— Меня уже ждут дома, как, наверно, и вас, Евгений Кузьмич. Пасха у нас такая веселая... Я поеду с вечерним почтовым в ту субботу. А утром на станции меня уже будут встречать папины лошади...

Евгений Кузьмич и не собирался в свое Дедюхино на пасхальные каникулы. А теперь нельзя даже представить, как можно не ехать с нею.

VIII

Настал субботний вечер. Остановился почтовый поезд. Евгением Кузьмичом куплено пять билетов. Для себя, для нее и еще для трех учениц.

Когда поезд тронулся, епархиалки почувствовали себя свободно вне стен своего училища и пригласили в свое купе учителя. Для них он явно не был тем «глазом», которого можно бояться. И Евгений Кузьмич чувствовал себя легко в их обществе. Они не церемонились с ним. Перевазали по новой моде его галстук. Напевали вполголоса мелодии из оперетт и посмеивались над учителями. В этом особенно изошрялась Ольга Левицкая, отсидевшая по два года в двух последних классах. Ей было уже больше двадцати. И ее цветущее здоровье едва мирилось с тесной одеждой.

«Неужели они знают о том, чего я не говорил ей»,— думал Евгений Кузьмич.

Они знали. Они все знали. А Левицкая даже и не скрывала этого:

— Да посиди ты, Ларчик, посиди со своим ненаглядным учителем,— сказала Левицкая и посадила Ларису рядом с Евгением Кузьмичом.

Тот залился краской. Вспыхнула и она.

— Как вам не стыдно, девочки.

Ответили хохотом.

Не успели отъехать и десяти — пятнадцати верст, как в купе постучались двое. Два семинариста. Они тоже ехали на каникулы.

Евгений Кузьмич уступил им место и вышел из купе. Следом за ним Рождественская.

— У меня тоже болят от них уши. Давайте постоим у окна. Вон у того.

И они прошли к дальнему окну. В коридорном фонаре горела ленивым желтым пламенем сальная свеча. За окном заволочла землю темная апрельская ночь.

— А я не люблю, Евгений Кузьмич, страстную седмицу,— сообщила ему Лара, глядя в темноту.

— Почему же не любите? — спросил он ее.

— Черная какая-то она. И ризы в церквах черные. И пение тоже какое-то черное. И на душе черным-черно. Чувствуешь себя виноватой за страсти господни, а потом за его смерть. Я люблю пасху. Хорошо бы круглый год... Ну хотя бы все лето была пасха. А потом, как выпасть снегу, сразу бы началось рождество. И святки были бы длинные-длинные. С Покрова дня до масленой недели.

Она не стеснялась своих детских мечтаний. Она, кажется, вообще не стеснялась его. И ему показалось, что все уже решено. Не им, ею. И его почему-то не удивляет, что его ученица, еще не переставшая быть девочкой, решает теперь и за себя и за него, взрослого человека, за своего учителя.

В ее изумрудных глазах он видит свою жизнь, свое счастье. Еще не ясно, каким оно будет, но уже ничто не может помешать ему.

— Евгений Кузьмич, а вы любите смотреть на убегающую дорогу? Я — очень.

И она позвала его на площадку вагона. Их вагон был последним. На площадке оказалось свежо, и он отправился за пальто.

Кондуктор, сидевший на своем железном сундучке, предупредил, что на площадке находиться нельзя, и девушка сунула ему в руку несколько марок. На их обороте вместо клеевой пленки, значилось, что эти марки имеют хождение наравне с серебряными монетами того же достоинства.

Взяв марки, кондуктор не преминул сказать, что все дорожает, что

война не милует и богатую Сибирь, но постоять до станции разрешил.

Война была где-то далеко-далеко, куда убежали из-под вагона шпалы. Сведения Ларочки Рождественской о войне исчерпывались молебнами и знакомством с прапорщиками, которые появлялись в Омске, а потом исчезали. Война была еще дальше от поповского дома в Дудине, где только вздыхали, крестились, радовались победам христороубивого воинства, а в чем состояли эти победы — не представляли, хотя и были твердо уверены, что русский православный царь Николай Александрович вместе с похожим на него английским королем Георгом и вместе с французским президентом, похожим на приезжавшего в епархиальное училище архимандрита, победят кайзера Вильгельма и второго супостата рода человеческого Франца Иосифа, и все будет хорошо. Евгений Кузьмич, которого она будет называть по-французски «Эжен», заботливо застегнул на ней все пуговицы пальто и теперь стоял рядом. Ей кажется, что так будет всегда. Она смотрит на дорогу и говорит:

— Когда я гляжу в ту сторону, мне всегда хочется убежать по шпалам.

— Куда же вам хочется? — спрашивает Евгений.

И Лара мечтательно отвечает:

— Туда, где огни. Где много огней. В Петербург.

— А зачем?

— Не знаю. Мне кажется, я должна жить там. Я вижу во сне столицу. И балы... И Невский, и «Исаакий святой с золотой головой»... И себя с каким-то высоким студентом...

Кондуктор, поняв направление мечты барышни, просит ее постеречь десяток минут сундучок, а сам уходит.

— И я тоже вижу сны. Но можно ли жить снами?

— Все начинается с них, Евгений Кузьмич. И от людей зависит, остаться ли им снами.

Тут как-то случилось так, что она приблизилась к нему. Может быть, вагон качнулся или порыв ветра толкнул ее. Или они оба сделали движение друг к другу... Теперь это не имеет значения. Ведь в жизни каждого человека бывает первый поцелуй...

IX

А утром они сошли на маленькой станции. День обещал быть ясным, как и новая жизнь, начавшаяся вчера вечером.

Лару встретила мать — полная розовощекая попадья лет пятидесяти.

— А это мой учитель...

На попадью Евгений Кузьмич произвел хорошее впечатление. И оказалось, что ему вовсе ни к чему нанимать лошадей, ведь так и так придется ехать через Дудино, а оттуда до Дедюхина рукой подать. И фазтон тронулся по примороженной утренним заморозком дороге.

Весело хрустели под колесами застывшие лужи. Легко бежали сытые полукровки. Близко, рядом сидела его Лара.

Как-то будет дальше?

Дудинский поп отец Михаил жил в собственном доме, построенном еще его дедом. Свой дом надежнее церковного. Уходя на покой, не надо помышлять о жилище. А о покое отец Михаил уже подумывал. Сам он был здоров и могуч, но плохо держали ноги. Не помогали и целебные грязи окрестных горьких озер.

Дом отца Михаила обставлен по-старинному. Все тяжелое, все увесистое. На стенах, кроме царей и цариц, портреты предков, как фотографические так и писанные. Писанные, видимо, владимирцами-отходни-

ками, приезжавшими в поисках заработка в дальние от Расеи сибирские приходы.

Отец Михаил — потомственный поп этого прихода. Более полутора веков приход передавался по наследству. Либо сын занимал место отца, либо дочь выдавали замуж за преемника дудинского пастыря.

Отец Михаил, исхудавший от поста и служб, встретил Евгения Кузьмича приветливо, посоветовал ему отдохнуть, а затем велел работнику перепрячь пару свежих коней и доставить любезного учителя в Дедюхино.

Обед был постный, но сытный. Веселая, общительная попадья сообщила, что женщина, будучи сосудом дьявола, остается верной себе и на страстной неделе, а поэтому советует Евгению Кузьмичу, пока благочинный отпускает грехи, принять стаканчик постной наливочки, ибо никакого нарушения поста в этом нет.

В продолжение обеда матушка выказывала всяческое внимание молодому учителю и, как само собой разумеющееся, пригласила его на второй день пасхи похристосоваться с нею и с Ларочкой.

Лучшего Евгений Кузьмич не мог и пожелать.

Дома влюбленный учитель никому ничего не сказал о Ларе, но все заметили, что пришла пора милому «Енюшке» вить гнездо, обзаводиться своей семьей. Только где? Конечно уж не в Дедюхине. Зачем ему, образованному человеку, старый дом рядом с дымной кузницей, когда он может жить в самом Питере.

Рано утром на второй день пасхи Евгений ускакал на отцовском вороном жеребце в Дудино. Мать и отец не преминули вспомнить, что их сын приехал в отчий дом на паре соловых лошадей дудинского попа. Не зря, видно, прижимистый отец Михаил погнал свою пару и дорогой фаэтон. Да и поповский работник, ночевавший у кузнецов Колосницных, тоже, наверно, не зря обронил слова о райской красе-басе, зеленоглазой поповночке.

Х

Хорошо бежит вороной жеребец Буран, минуя новосельские и старожильские деревни. И чем меньше остается их впереди, тем длиннее кажется путь. Конь уже в белой пене, но за дальней степной гривой видится старая дудинская колокольня и слышится звон во все колокола после короткой пасхальной обедни.

В старом, почерневшем от лет Дудине появились новосельские саманные мазанки, избушки-пластанки, сложенные из целинной дерновины. На озере еще не растаял лед, а утки, гуси, лебеди носятся над польнями, затеявая тысячи свадеб. А Лара? Ждет ли она его?

Ждет. Стоит в крайнем окне. А вот и кружевная попадья — в другом.

— Давай, Буран, давай... Тебя ждет отдых, а за ним, как остынешь, хорошая мера ядреного ячменя.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

И далее троекратные лобызания, сначала с отцом, потом с матерью. И с нею.

Какой хороший обряд. Всем со всеми можно целоваться. Отец Михаил, кажется, уже напричащался после обедни. От него пахнет наливкой. А у матушки губы жирные, рыхлые.

Ларочка в кружевном нежно-розовом платье с воланами. В нежно-розовых шелковых тонких чулках, в атласных розовых туфельках, и сама тоже розовая-розовая от счастья и молодости...

Сидение за столом оказалось недолгим. Пасха у отца Михаила —

страдная пора. Столько домов, столько деревень — не объедешь и до вознесения. Дьякон уже ждет. Пономарь нетерпеливо заглядывает в окна. Пора.

Двор и дом пустеют. Попадья обещалась отдать визит купцу Нагилеву. Нельзя иначе. Кроме золоченого яйца, он вчера похристосовался с отцом Михаилом стельной коровой.

И вот они одни... Ни отца, ни матери, ни кондуктора!..

Сначала он робел. Это же не площадка вагона. И она совсем другая. Неприкосновенная. Светящаяся. Даже когда он только смотрит на нее, и то его взгляд словно бы оставляет на ней, на ее платье какие-то невидимые следы. Ее одежда будто соткана из зари, и сама она тоже — заря. Ларчик! Не зря так называют ее матушка и подруги...

Видя замешательство возлюбленного, Лара решила приоткрыться. И она показала ему, как плетутся кружева.

— Смотрите, Эжен! Смотрите.— Она принялась перебирать коклюшки, и тонкие белые нити стали сплетаться в кружево, напоминающее узоры мороза на стеклах окон.

Показав восхищенному Евгению Кузьмичу не столько мастерство кружевного плетения, сколько свои маленькие тонкие ручки, она пересела к фисгармонии — обязательной принадлежности каждого поповского дома. Сначала Лариса отдала дань празднику и, аккомпанируя себе, бравадно пропела: «Пасха, священная пасха!..», а потом перешла на высокий регистр, который она про себя называла «взволнованно мерцающим», и принялась играть вступление к романсу «Ночь». И голос — хрустальный, высокий, взволнованный:

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.

Ничего подобного не приходилось слышать Евгению, знавшему до запятой слова этого пушкинского стихотворения, которые теперь стали ее словами, ее признанием в любви.

...Текут, ручьи любви, текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя.

И все закружилось. И все зазвучало вальсом. Запели стены, столы и стулья. Запело кружево на пуге и затанцевали висящие на ниточках коклюшки-марионетки...

XI

Летом Лара распрощалась с епархиальным училищем и вернулась в отцовский дом. Евгений Кузьмич, волнуясь, попросил у отца Михаила руки его дочери.

Отец Михаил сказал:

— Лучшего жениха я не желал бы своей дочери, однако же...

Далее начались пространные и, видимо, хорошо продуманные рассуждения. Начались они с родословной и показывания портретов предков. Древность рода священнослужителей не уступала долголетию храма села Дудина.

Затем было сказано, что всевышний ниспослал многогрешному попу Михаилу единственное чадо, дочь Ларису, с коею престарелые родители не могут расстаться, ибо она их единственное утешение и она завершает священнический род.

Закончив с родословной, отец Михаил перешел к хозяйственной стороне дела.

— Девять коров. Шесть лошадей. Две дюжины овец. Три свиньи, один боров. От сорока до пятидесяти десятин посева при двух рабочих и двух работницах. Худородный, но сад, да еще и огород. Надворные строения. Своя птица. Дом на двадцать окон. И второй старый дом — для работников. Хозяйство. Кому его передать?

Помедлив, расчесывая пальцами густую черную бороду, отец Михаил рассуждал далее.

— Ну, хозяйство хозяйством. Все под богом ходим. А приход? Тридцать одна деревня и одно село, не считая строящихся новопоселений. Куда, кому этот приход налаженный, благочестивый, отцами-дедами-прадедами вдоль и поперек изъезженный, исхоженный, где каждые восемь из десяти крещены моими руками или руками моего отца благочинного Владимира, куда, кому? Почти что нет в приходе пары, не нами венчанной, ежели не считать кержаков-двоеданов да новоселов лютеран и католиков.

Опять с минуту помолчал маститый поп и опять стал спрашивать себя и себе же отвечать.

— Кому передать приход? Новоявленному молодому табакуру из семинарии? Незнаемому расейскому попу из голодного уезда, зарящемся на большое стадо, выпасенное в богобоязненной щедрости? Не мало найдется таких пастырей и в нашей епархии и во всякой другой. Ибо всегда находятя сосунки, жадные до сосцов неистощимого молоконосного вымени. Наведывались неоднократно искатели богатых невест, а вместе с ними и доходного рукоположения во диаконы, а затем и во иереи. Один олух заглазно, по Ларочкиной фотографической карточке, готов был просить моего и матушкиного благословения. Да я скоро дал понять, что приходящий по чужую шерсть уходит стриженным.

Проговорив так час-другой, отец Михаил почувствовал себя утомленным и, считая, что к сказанному добавить нечего, заключил беседу следующим образом:

— Вот храм твой, Евгений Кузьмич... Вот дом наш и приход мой и все добро... А со всем этим сокровище мое Лариса. А за это клятвенное целование креста с обещанием заменить меня, страждущего покоя и отдохновения. И ты присягнешь мне вместе с ней, с голубицей твоей, оставить в мыслях своих иные пути, кроме начертанного вам богом, любовью и судьбой.— Отец Михаил, поразмыслив, добавил: — Само собой, такие дела в один день не решаются. И мне в епархии еще раз побывать надо... И тебе, сын мой Евгений, надо досконально все взвесить до клятвенного лобзания креста господня.

Отец Михаил ушел в опочивальню. Тогда заговорила матушка:

— Да что это лица нет на том и другом... Как будто вас на каторжные работы обрекают или свинопасами хотят поставить. Жалованье-то учительское, оно что... От числа до числа. А город только до первого ребенка веселый Вавилон, а потом нехватки, с квартиры на квартиру... Кухарка-воровка, нянька-блудня.. А тут-то, тут-то... Хоть и кличешься попом, а живешь королем. И кто попу мешает науками заниматься, в город наведываться, гостей принимать? Двери, ставни закрыл, и никому до тебя дела нет. И не только что в Петербург, а и в Рим, в Париж, в Венецию дорога не заказана. Ну что вы, право, как в воду опущенные... Не желательно ли наливочки...

Не до наливочки было Евгению Кузьмичу. Лариса плакала, запершись. Она знала, что отец будет стоять на своем, что лошади, коровы, дом, приход — вот что во-первых, а она — во-вторых и, наверно, во-десятих.

Главное — сохранить нажитое, потомственное, все подчинено этому... Теперь остается единственный выход — бросить дом и бежать с милым в Питер.

XII

Решиться бежать с милым оказалось куда проще, чем осуществить задуманное. Одну ее теперь не отпускали никуда. Работники и работницы были предупреждены. Ход Евгению в поповский дом был закрыт. Он мог явиться, только приняв условия отца Михаила.

— А так что же, — предупредила учителя попадья, — и ей сердце терзать и вам себя тиранить, Евгений Кузьмич.

Отец Михаил ни на минуту не сомневался, что все будет по его решению. Дочери он сказал:

— В какой же Питер может поехать твой Эжен, когда на другой же день после ухода из епархиального училища ему забреют лоб. Теперь и с плоскостопием берут и на белый билет не смотря. В нестроевые зачисляют, и дело с концом.

Против такого довода не возразишь. Это самый страшный довод. Мало ли похоронных пришло в Дудино. Сколько слез, сколько вдов... И вдруг он, ее милый, такой простой, открытый, должен пасть, как тот прапорщик из песни, со взводом пехоты и со знаменем в руках. Это хотя и очень почетно, но ведь тогда не будет его... Значит, ничего не будет.

Ларочка, обливаясь слезами, плетет кружева. Ожесточенно плетет с утра до вечера.

Однажды, уставившись в кружевной узор, она в хитроумном переплетении нитей увидела нечто, не приходившее до этого ей в голову. И тут же она принялась за тайное письмо возлюбленному. Бисер букв тонким и затейливым кружевом ложился на бумагу. Лариса утверждала, что стать попом вовсе не значит закрыть себе все и навсегда. Разве редко нам приходится чем-то попустить, чтобы не потерять всего?

Евгений Кузьмич долго распутывал кружевные тонкости, чувствуя, как решительный его протест сменяется колебаниями.

Через неделю в Дедюхино пришло второе душераздирающее письмо. Лара боялась, что в минуты отчаяния она наложит на себя руки.

А еще через неделю вороной жеребец Буран снова мчал Евгения Кузьмича в Дудино. Теперь он ненавидел попа, попадью и себя, будущего попа.

Мать Евгения заливалась слезами. Кузнец Кузьма на всю горницу семизатжно бранил «троеклятого попа Афоньку». Это же он, а не кто другой, уговорил их отдать сына в духовное училище. Не кончи Евгений океанную семинарию, как бы он встретил «зеленоглазую ящерицу», а если б и встретил, кто мог назначить его попом?

Но что теперь можно сделать? Над кем не смеялась любовь? Кому она не туманила голову?

Состоялась торопливая помолвка.

Кому-то было смешно, кто-то был искренне огорчен, а Алексей Смирнов просто не верил, что Женька Колосницын идет в попы, но все сходилось на том, что кем бы ни стал их друг, он никогда не изменит дружбе. Евгений торжественно поклялся в этом. И друзья расстались.

XIII

Началась новая жизнь. Сначала дьякон Колосницын служил в церкви села Дедюхино у состарившегося отца Афанасия и жил вместе с Ларисой в доме примирившихся кузнецов. А что им оставалось делать? Не выгонять же родного сына и племянника?

Жил он в Дедюхине недолго. Рукоположенный во иереи отец Евгений получил дудинский приход.

Это произошло накануне Февральской революции 1917 года.

Ушедший на покой отец Михаил, узнав о свержении царя, слег. Болезнь мужа, расстройство большого хозяйства подточило и здоровье матушки. А после Октябрьского переворота, потрясшего всю страну, хозяйство дудинского священнослужителя признано было «кулацким с наемным трудом в количестве четырех постоянных работников», не считая летних батраков. Отец Михаил умер, проклятая власть красного дьявола.

Теперь Евгений Кузьмич мог оставить церковь и вернуться на свой путь, и он готов был это сделать, но надвигалась страшная, кровавая полоса колчаковщины. Повлияла же на Колосницына встреча с товарищем по семинарии Алексеем Смирновым. Тот сказал:

— Женя, если уж ты сделал глупость, так используй ее ко благу по крайней мере, особенно теперь.

Большевик Алексей Смирнов прибыл от группы подпольщиков. Он якобы бежал от большевиков из Тулы. При нем были «документы» тульского соборного диакона. И если бы кто-нибудь усомнился в его принадлежности к духовному званию, бывший семинарист в доказательство отслужил бы любую из церковных служб. Но как укрыть Смирнова и его товарищей?

Алексей Смирнов зарегистрировался в волостном правлении как бежавший из-под расстрела и одержимый вследствие этого трясучей болезнью, что временно лишает его возможности служить в храмах. Расторопный Алексей Смирнов при помощи верного Колосницыну псаломщика Ивана Гурьева обследовал церковные подвалы и разместил здесь маленькую типографию, склад оружия и несколько подпольщиков.

Трое поселились в Дедюхине у кузнеца Кузьмы Колосницына. Четвертый — не пригодный в армию, а следовательно не подлежащий мобилизации, жил у Кузьмы легально, помогая ему в кузнице.

Нашлись верные люди и в деревнях дудинского прихода.

К осени 1919 года, когда началось брожение в белом тылу и колчаковская армия, оставив Пермь, Екатеринбург, Тюмень, с боями отступала на восток, дудинское подполье представляло собою значительную и разветвленную организацию. И не одна лишь беднота, но и самостоятельные крестьяне, особенно из новоселов, читали «красные листки», печатавшиеся в подвале церкви, читали и передавали друг другу.

Репрессии колчаковцев усилились, но усилился и страх белогвардейских карателей. С падением Омска, «столицы» Колчака, опустело и Дудино. Предусмотрительный писарь волостного правления тайком вывел подпольщиков. Алексей Смирнов понимал, что могут найтись люди, которые отомстят отцу Евгению за чрезмерный либерализм и сочувствие красным, припомнят ему типографию в церковном подвале.

С приходом красных Евгений Кузьмич снова получил возможность оставить церковь. Но во главе ревкома волости стоял Алексей Смирнов и просил:

— Погоди, Евгений! Не такое сейчас время. Твои заслуги перед революцией и сочувствие ей нам известны. Погоди хоть полгода.

Евгения Кузьмича мучило двойственное положение. Одно быть подпольщиком при белых, другое — оставаться невесть кем теперь. Но опять же Лара... Милая, рассудительная Ларочка плела новые кружева.

— А как же наш маленький Володя? Как же я? Одна? Ты пойдешь за ними, в их армию... Что будет с нами? Подожди конца войны, и мы вместе уедем отсюда в Петроград или в Москву.

И Евгений Кузьмич, все более презирая себя, ненавидя свою уступчивость, поддался слезам жены. Да и просьба Алексея Смирнова немало для него значила.

А потом пришла весна. Страшная весна для Евгения Кузьмича.

XIV

Континентальная весна приходит стремительно. Дует, дует пурга неделю, другую. Ни зги. Белая мгла. А потом вдруг на голубом небе яркое солнышко, проталины, растущие буквально на глазах, и... весна.

Такой была и весна 1920 года.

В Дудино приехали новые люди из Петрограда и Москвы. Ученые. Ученых приехало много. Одни будут заниматься озерами, другие — почвами, третьи — животными. И Колосницына попросили приютить одного из них.

Молодой ученый произвел очень хорошее впечатление на Колосницыных. Его появление осветило старый поповский дом. Стеснительный, боявшийся съесть лишний кусок, не понимавший, что это не Петроград, а Дудино, где варят по целой бараньей ноге, и жареная утка никакая не редкость, он благодарил буквально за каждый кусок. И Ларочка, ставшая теперь Ларисой Михайловной, тоже была рада каждому съеденному им куску. Ей доставляло удовольствие, когда он смущенно говорил:

— Мне очень совестно, а я съем еще вот этот кусочек...

И ел. И лучезарные глаза Ларисы Михайловны смеялись.

Рад был и Евгений Кузьмич. Наконец-то хоть какое-то разнообразие для Ларисы. Приехал настоящий человек из далекого столичного города. Образованный жилец так прост, так общителен, нянчится с маленьким Володей, помогает на кухне хозяйке, топит печь. Прожив несколько дней, он стал своим человеком в доме, близким и Евгению Кузьмичу и Ларисе Михайловне.

Молодой ученый изучал недра земли. Евгений Кузьмич сказал ему между прочим о выходах железной руды и об отцовской штоленке в Старо-Красихинской роще.

Ученый не верил своим ушам. Его глаза восторженно сверкали. Оказывается, он давно был уверен в железорудных залежах этого края. Но его доводы и теоретические выкладки никого не убеждали. А теперь даже трудно представить, что произойдет, если рассказ Евгения Кузьмича подтвердится.

На другой же день была обследована штоленка в роще. Тихий, застенчивый Павел Захарович (так звали молодого ученого) выражал радость открытия так бурно, что Колосницыны опасались — ладно ли с ним.

Чуть ли не бегом отправился счастливец в Дедюхино к отцу Евгения Кузьмича. Они обнимались, пили на радостях самогон. Подумать только — ученый человек подтвердил богатую находку старого кузнеца.

Кузьма Колосницын знал выходы руды и на дне озера. Колодезники упирались в каменные глыбы, не достигнув воды. Все это заставляло поверить в залегание мощного пласта или по меньшей мере нескольких малых месторождений, каждое из которых могло стать самостоятельным рудником.

Теперь без умолку толковали о недалеком будущем края. По вечерам увлекающийся Павел Захарович Лутонин (именно эту фамилию носил молодой ученый) рассказывал, каким неузнаваемым станет Дудино, когда здесь задуют доменные и сталеплавильные печи, когда земля, славящаяся зерном и скотом, станет знатна своей сталью, своими заводами.

Трудно, даже невозможно было поверить предсказаниям Лутонина. Потому что чем дальше, тем труднее и напряженнее становилась жизнь. Не было даже спичек. Будто вымерло, вытравилось, кануло куда-то са-

мое простое, расхожее. Керосин. Мыло. Чай. Сахар... И даже разнесчастную соль, которую никто ни во что не ставил, выменивали на дорогие продукты. Ну а уж про всякие носильные товары, одежки, обувки и думать забыли. Не верилось, что это все было...

XV

Эта весна в Дудине, Дедюхине, да и в других селах была особенно трудной. Создавались коммуны, а кто-то прятал от продовольственной разверстки хлеб. Прятали и оружие, оставшееся после разгрома колчаковской армии. И пулемет, запрятанный на дальней заимке, не такая уж редкая штука.

Кулацкие слои мучили зажиточное крестьянство. Трудности с продовольствием в центральных губерниях и в Красной Армии вынуждали требовать зерно, мясо, масло. Кулаки старались всячески использовать продовольственную разверстку.

Евгений Кузьмич произносил в церкви и на сходках проповеди. Рассказывая о войне 1812 года, о пожаре Москвы, о патриотических подвигах народа, не щадившего живота своего, имущества, хлеба, он утверждал, что продовольственная разверстка — единственная мера спасения от войны, от иноземного нашествия. И его проповеди оказывались действительными. В его правде не находили прегрешений перед богом и народом даже кулацки настроенные крестьяне. Оказаться под чужеземной пятой — об этом было нестерпимо думать. «Хоть большевики, а все-таки свои», — говаривали, крестьясь, дудинские мужики. Евгений Кузьмич теперь отлично понимал, почему Алексей Смирнов просил его хоть немного да походить в полах. И так же понимал Колосницын, что сам он ничуть не кривит душой. Речь идет о бесконечно дорогой родине, о благополучии и счастье народа, из которого он вышел и которому принадлежит.

А в старом поповском доме события развивались своим чередом.

Ларочка поняла, что только теперь ей открылась истинная любовь, что кроме молодого ученого для нее теперь ничто не существовало. Понял и он, что здесь, в далекой Сибири, он встретил женщину, в которой заключено его счастье.

Они давно объяснились глазами и старались не прибегать к словам. Но когда приблизилась разлука, она спросила его:

— Как же теперь я останусь без вас?..

И он, страдавший, бледный, сказал безутешно:

— А как я теперь сумею уехать и жить один? — И видно было, что ему мучительно трудно произносить эти слова в гостеприимном доме, ей, замужней женщине, жене человека, который так доверчиво приютил его и обласкал.

Евгений Кузьмич, ничего не замечая, по-прежнему был внимателен к своему жильцу. А любовь-разлучница требовала решимости от Ларисы. Она уже, кажется, не любила Евгения, снова обвиняла его в том, что он не нашел способа увезти ее, стал попом. И если она сейчас не будет решительна, то все, что будет потом, станет пыткой.

Долгие, бессонные ночи. Бесконечные думы. И главное, во все эти кружева неотрывной нитью вплелся маленький мальчик, поторопившийся появиться на свет.

Как-то вечером к Колосницыным зашел Алексей Смирнов, теперь уполномоченный по разверстке десяти волостей. Он сказал Евгению Кузьмичу:

— Плохие вести, друг... Кулачье замышляет на завтра восстание. Штаб у них в Старой Карасихе. Кулаков мы скрутим. Но будет пролито

много крови с обеих сторон...— Докурив свою самокрутку, Смирнов сказал: — Я ни о чем не прошу тебя. И не могу просить. Я только хотел поставить тебя в известность... А вдруг да у тебя найдется какой-то правильный ход...

Смирнов и Колосницын сидели на кухне до полуночи. До полуночи сидели в столовой и влюбленные. Это был их последний вечер. Завтра они должны будут расстаться.

Уже совсем поздно Евгений Кузьмич сказал жене:

— Завтра я, Ларочка, очень рано уеду в Старую Карасиху... Там у меня одно важное дело.

Утром на заре Евгений Кузьмич простился с молодым ученым:

— Сожалею, Павел Захарович, что мне не удастся проводить вас до станции.

Они простились. Евгений Кузьмич нежно и долго целовал жену, а потом маленького Володю.

XVI

Деревня Старая Карасиха еще спала, когда повстанцы поодиночке пробирались в березовую рощу, где ожидал их штабс-капитан Иволгин и его адъютант, которые поведут мужиков на Дудино, а потом наперез железнодорожной линии.

Из соседних деревень стекались пешие и конные.

— Для начала хватит и сотни,— предупреждал Иволгин.— Когда восстание вспыхнет, примкнут тысячи.

Штабс-капитан боялся огласки: слишком много было колеблющихся, и восстание могло провалиться, не начавшись.

Отец Евгений в этот ранний час подъезжал к Старой Карасихе. Он ехал верхом на Буране, с непокрытой головой, в черной рясе, с нагрудным литым серебряным крестом. Его нагнал рыжий мужик из соседней деревни, поздоровался, сняв картуз, и спросил:

— Тоже никак, молодой батюшка, решили примкнуть?

— А где они собираются, Леонтий?

— Во-он,— указал мужик на рощицу.— Их теперь там тьма-тьмущая.

— А ты уж примкнул? — спросил Евгений Кузьмич.

— Прикидываю пока что,— уклончиво ответил Леонтий.

Дозорный в роще заметил верховых и доложил:

— Имею честь, господин штабс-капитан. Сюды едет поп... Или бы как сказать, отец Евгений.

— А он-то зачем? — всполошился пузатый мельник из Старой Карасихи.

Штабс-капитан нервно закурил сигарету.

— Приедет, увидим,— стараясь быть хладнокровным, сказал Иволгин.— А каков он вообще?

— Да кто его знает,— опять заговорил пузатый мельник.— Ни нашим, ни вашим, а насчет родной земли проповедует как надо.

Евгений Кузьмич ехал медленно, будто давая заговорщикам возможность поразмыслить о цели своего появления. В роще, поправив нагрудный крест и не слезая с жеребца, он обратился ко всем твердым и громким голосом:

— Мир вам, овцы мои!

Послышалось: «Здравствуйте, батюшка», «Доброго здравьица, отец Евгений», иные просто поклонились.

— Мне стало известно, что на сегодня назначено восстание.

— Откуда это вам стало известно, батюшка? — послышался голос мельника.

— Об этом не знают только глухие, сын мой, перебивающий своего пастыря.

Штабс-капитан выбил хлопком ладоней из мундштука сигарету и приказал:

— Дайте батюшке закончить спасительное слово, а потом мы зададим ему наши вопросы.

Колосницын оставался по-прежнему спокоен. Самообладания в нем было, пожалуй, не меньше, чем в штабс-капитане Иволгине. Батюшка очень твердо сидел в своем седле.

— Я считаю своей священной и человеческой обязанностью,— продолжал громко и внятно Колосницын,— предупредить вас до того, как прольется чья-то кровь, до того, как жены многих из вас станут вдовами, а дети сиротами,— восстание обречено на гибель.

Толпа заволновалась. Штабс-капитан отстегнул кобуру маленького кольта и снова застегнул ее.

— Вас три-четыре десятка... Там сотни вооруженных людей... За вами степь, камыши, голодное скитание... За ними страна. Армия. Миллионы людей! Государство. И... будущее.

Колосницын видел, что сказанное им находит отклик в душах заговорщиков, и его слова зазвучали приказом:

— Кладите оружие, безумные самоубийцы, и расходитесь по своим домам... И я обещаю вам...

Выстрел оборвал его речь. Испуганный Буран метнулся. Евгений Кузьмич упал в траву. Рыжий мужик, приехавший с ним, бросился к священнику — три недели тому назад отец Евгений крестил его сына.

— И на него, значит, вы подымаете руку,— заорал он, разрывая подрясник и рубаху Колосницына. Из груди Евгения Кузьмича сочилась кровь. Рана была неглубока. Но многие видели, как с выстрелом шевельнулся и отскочил в сторону нагрудный крест отца Евгения. Пуля попала в крест с изображением распятого Христа.

Леонтий, не помня себя, показал всем памятный крест и заорал:

— В чью грудь ты выстрелил, Иуда?

Лицо Иволгина было блее березы, возле которой он стоял, руки его тряслись. Взоры всех устремились на штабс-капитана. Выстрел в крест не предвещал ничего хорошего. Восстание уже не могло начаться. Это теперь понимали все, и Иволгин тоже. Предприимчивый адъютант уже улизнул... Да он и не нужен был мужикам. Тяжелое молчание нарушил стон Колосницына.

Стон повторился, и пузатый мельник приказал Иволгину:

— Дай ливорверт!

И будь бы Иволгин умнее, пойми он, что происходит в душах мужиков, он бы подчинился приказу. А в нем проснулся гусар, барин. И он крикнул:

— Хватит чудить...

И штабс-капитан Иволгин из жоака восставших стал злейшим их врагом. Удар в зубы. Руки Иволгина завернуты назад.

Евгения Кузьмича, теперь уже спасителя и почти святого, бережно уложили на телегу и повезли домой. Оружие было сложено на другую телегу — она двинулась в волость с повинной.

Смутяна Иволгина было решено привязать к березе и сообщить об этом в волость. И он был оставлен в роще. Но дожидаться революционного суда штабс-капитану Иволгину не пришлось. В лес прибрела старуха начетчица из двоеданок, чтобы своими глазами увидеть крест, в который попала пуля. И когда она поцеловала крест, ее черное лицо с крючковатым носом почернело еще больше. Ее глубоко провалившиеся глаза провалились еще глубже. И она подошла к привязанному Иволгину и прокричала дребезжащим голосом:

— Анафема! Будь проклят отныне и во веки веков!

— Будь проклят! — трижды повторили женщины, пришедшие со старухой, и принялись подносить хворост.

Телеги уже ушли. Березовая роща опустела. Иволгин был сожжен живым под пение — «Тебя, боже, хвалим».

XVII

В старом поповском доме, в столовой на столе, лежала записка:

«Прости меня, Евгений, за то, что я покинула тебя. Не ищи меня и сына. Сын не должен терять свою мать. Лариса».

Евгений Кузьмич, ничего не зная о побеге жены, возвращался домой. На душе Колосницына было радостно. Он выполнил долг гражданина и человека, выполнит и обещание, данное повстанцам, сдавшим оружие. Их не тронет никто.

...А тем временем Лариса Михайловна пересела в мягкий вагон почтового поезда, идущего в Москву.

По этой дороге Лариса так недавно ехала с Евгением, и шпалы и рельсы, ведущие к ярким далеким огням, бежали от нее. А теперь они бегут навстречу ей. Ее счастью. Ее новой жизни. В вагоне тепло, светло. Маленький Володя сидит на коленях у ее возлюбленного, и Лариса говорит:

— Теперь это твой сын.. И он никогда не должен знать, не должен даже усомниться, что это не так. Поклянись!

...Евгений Кузьмич узнал о случившемся от Алексея Смирнова и, не выезжая в старый поповский дом, поехал в родную семью. В Дедюхино.

Евгений Кузьмич больше никогда не надевал рясу. И когда мать обвиняла Ларису — «заманула его в попы и бросила в попах» — он молчал. Он даже оправдывал жену, повторяя себе и другим: «Значит, пришла к ней настоящая любовь». А в глубине души надеялся, что она вернется. И он никогда ни о чем не напомнит ей, не упрекнет, потому что любит и будет любить ее, единственную.

Вскоре он уехал в Омск, ушел в армию, а затем стал на тот путь, с которого увела его любовь к маленькой епархиалке. Он поехал учиться.

XVIII

Прошло более сорока лет. Евгений Кузьмич большую часть лета проводил в доме покойного отца в Дедюхине. Дом заменял старому профессору дачу. Он давно мог получать пенсию и посвятить остаток своей жизни научным трудам. Но ему не хотелось бросать кафедру, терять живую связь с университетом. Все-таки рано или поздно он поселится в милом Дедюхине, где прошло его детство, где похоронены его родные. Старый дом кузнецов Колосницыных был перестроен на городской манер. В доме хозяйничала племянница Евгения Кузьмича — Агаша. Кузница стала теперь гаражом. В ней стоит конь-вездеход «ГАЗ-69» с наклепанным кузовом и оборудованными для спанья местами. Это радость летних месяцев Евгения Кузьмича. На послушном и неприхотливом газике можно совершать далекие поездки. Годы пока не дают о себе знать Евгению Кузьмичу. Не зря в Дедюхине говорят про него: «Тош хвощ, да жилист». Оправдывал он и другую поговорку: «Зорок как в сорок». Редкая утка уходила у него из-под ружья.

Евгений Кузьмич подолгу сидел за своими философскими сочинениями, но и рукам находил работу.

Вот и сегодня он приводил в порядок свой вездеход. Увлечшись ра-

ботой, он и не заметил вошедшего, а потом, оглянувшись, увидел сына: — Мальчик мой...

Владимир Павлович бросился к отцу...

— Ну, полно, полно,— утешал не сына, а себя взволнованный и плачущий отец.— Не надо, ни о чем не надо рассказывать, мой мальчик: я знаю о каждом твоём шаге. Пойдем в дом.

Молва о приезде сына Евгения Кузьмича облетела дедюхинские улицы. Отец и сын понимали, что пока они родные только по крови, а в остальном незнакомые люди. Нужно рассмотреть друг друга, а потом придут и слова. Уж коли слились разобщенные потоки двух жизней, не течь же им порознь.

Пусть пройдут дни узнавания и знакомства, а мы вернемся к другим ручьям, в Калиновый Лужок.

XIX

Из Дудина, а потом и из Дедюхина Лариса Михайловна получила одно за другим два письма.

Первое прислал Иван Гурьев, которого Лариса Михайловна помнила как псаломщика и близкого Евгению Кузьмичу человека. Он писал:

«Убояшась, что кто другой наплетет невесть что Владимиру Евгеньевичу, я почел своей обязанностью, сколь возможно снисходительно к тому, что было, открыть ему, кто он есть, какого родителя сын, и какая земля ему мать».

Лариса Михайловна читала письмо Гурьева с большим волнением, едва удерживая в руке дорогой лорнет, к которому она прибегала, не желая портить свое лицо очками.

Гурьев писал, что сын пожелал встретиться с родным отцом, и сообщал, как бы между прочим, что в старом поповском доме ее отца все на месте и все цело, «опричь истлевших предметов и источенных жучком некоторых мебели. А могилки родителей и дедов ваших просят капитального ремонта, как в смысле обкладки дерном, так же в смысле установления пасынков к сгнившим комлям крестов».

Затем он тоже, как бы между прочим, сообщал об Колоснице. «А профессор Евгений Кузьмич живет неженато и, приезжая по летам в отцовский дом, знатно бьет дроф, а также является депутатом областного совета трудящихся».

И наконец:

«Щитаю свой пастырский долг исполненным как в смысле соединения отца с сыном, а также во всем другом.

К сему иерей храма Воздвижения села Дудина

И. Гурьев».

Множество раз перечитывала гурьевское письмо Лариса Михайловна и, сначала находя его подлецом и предателем, вскоре стала называть бывшего псаломщика ангелом, оберегшим ее от злой молвы.

Второе письмо было от сына. И сразу же после «Здравствуй, мама» начинались восторженные описания Евгения Кузьмича. Володя называл ее брошенного мужа «отец», «мой родитель» и даже «папа», как будто знал его не несколько дней, а со дня рождения.

«Я с ним, как сам с собой,— пишет он матери,— мне легко говорить с отцом о чем угодно, кроме тебя. Сын не судья матери. Поэтому говорить о тебе с ним я считаю безнравственным как и с тобой о нем, если бы ты вздумала оправдывать свой отъезд из Дудина и... Дальше мне, наверно, лучше замолчать— верь, я не умею находить такие мягкие

слова, как старик, рассказавший мне то, что ты столько лет от меня скрывала».

Ларисе Михайловне хотелось немедленно отправиться вместе с невесткой и внуками в Дедюхино. Но ее никто не приглашал. Впрочем, она может поехать в свой дом. Но простит ли он ее?

Она переходит к пуге и начинает судорожно перебирать коклюшки, гадая на узоре: ехать ей или нет. Узор отвечал — нет. Другие бы не прочли этого. Но она видит больше, чем остальные.

Например, она точно знает, что не нужно было жечь столько лампад и так унижать себя. Будто она грабила и убивала на большой дороге. Никого не надо переоценивать. Даже бога. И все лампы были погашены.

Отношения с богом у Ларисы Михайловны явно испортились. Богу ничего не стоило скрыть от Владимира ее прошлое, ее вину перед первым мужем и сыном.

На уговоры невестки отправиться в Дедюхино, Лариса Михайловна отвечала категорическим — «нет!».

— Если бы Эжен пригласил ее... Тогда бы, конечно...

Произнося эти слова с девичьим жеманством, она, кажется, вновь чувствовала себя епархиалкой и даже признавалась Антонине Сергеевне, что пока человек жив, в нем все живо. Положительно все. Ей даже иногда хочется потанцевать. И она приподымается из кресла и пританцовывая напевает:

Матчиш хороший танец,
Он полон неги.
Его привез испанец
Зимой в телеге.
Матчиш я танцевала
И вдруг упала.
А кавалер пригожий
За мною тоже...

Антонине Сергеевне становится страшно смотреть на танцующую старуху. Ей очень не хочется тревожить мужа, но, кажется, она должна будет вызвать его, если не произойдет перемен.

XX

Отец и сын Колосницыны познакомились и сдружались медленно. Евгений Кузьмич, читая книги, следя за газетами, знал сына как ученого, все же остальное тогда было скрыто от него.

Владимир всячески избегал разговора о покойном академике, думая, что это неприятно отцу. О Павле Захаровиче он помнил одно хорошее. Но однажды Евгений Кузьмич сказал:

— Я знал Лутонина отличным человеком и думаю, что таким он остался до последних дней.

Владимира не удивили эти слова. Ведь даже по отношению к Ларисе Михайловне отец не обронил худого слова, оскорбительного намека, помня, наверное, что она — мать Владимира. Только одно не понимал Владимир: как мог отец, видя так близко единственного сына, так любить его, не подойти, не назвать себя, хотя бы когда сын стал взрослым.

На это Евгений Кузьмич сказал:

— Разве это так просто?... Ты и сейчас еще не привык к мысли, что я твой отец.

То, что в руках отца Владимир узнавал свои руки, в его голосе — свой голос, в его глазах — свои глаза, это — всего лишь биология. Отец и сын сами не замечали, что им необходимо открыться друг перед другом, ничего не оставить замолченным. И Владимир, не желая и не со-

бираясь ранее, рассказал отцу о страданиях матери, о ее возвращении к религии, о людях, поселившихся в Калиновом Лужке.

— И все это, чтобы бог простил ей страшный грех, о котором никто не должен был знать.

Владимир просил отца написать письмо матери и облегчить ее последние дни,—хотел он сказать, но сказал—старость. Отец должен простить ее. Но Евгений Кузьмич, понимавший сына с полуслова, заговорил с непривычной суровостью:

— Зачем же, Володя, прощать того, кто не просит прощения? Допустим, что она верит в бога, в чем я сомневаюсь. В их семье никто не верил в бога. Но допустим—верит. Но виновата-то она передо мной, а потом уже перед богом. Даже по логике верующих. Да и, сказать тебе честно,—прощать безнравственность—значит, утверждать ее. И не надо больше об этом...

И больше об этом не говорилось. Но в тот же день матери было отправлено письмо.

«Если бы я не был воспитан в уважении к старшим, я бы спросил тебя, мама, почему ты взяла на себя смелость разлучить сына с отцом? Разве перед богом ты грешна? И это был бы вполне логичный вопрос с точки зрения морали и даже православной религии».

И в прежние годы у Владимира случались размолвки с матерью. Ее «художества» приводили к ссорам. Но все это было другое. Теперь он чувствовал оскорбленным и себя. Ему было стыдно за мать перед женой и детьми. Они должны узнать все. Его детские годы прошли вдали от отца. Так пусть теперь дед порадуется внукам. Они придут сюда при первой возможности.

А в Дедюхине каждый день оказывался лучше предыдущего.

У Владимира никогда не было родных. Ни по матери, ни по отчиму. Теперь их не перечесать. Ведь не окажись он здесь, не встретила бы ему чудесная девушка Агаша, его сестричка—племянница отца. У нее жених, техник по бурению. Раньше он бурил артезианские скважины для орошения, а теперь все мобилизованы на руду.

То, что разведано, то, что подсчитано, не переплавить и за многие годы. Внук кузнеца Кузьмы Колосницына Владимир завершает теперь давнее открытие своего деда.

Как много стал значить для него старый дом, вещи, поставленные здесь его дедами. И Владимир идет поклониться родным могилам.

Они идут с Агашей за руку через все село. Агаше радостно, что у нее такой братец, такой «развсемирноизвестный, почти академик». И ей так хочется громко, на всю улицу, говорить ему «ты», чтобы все знали, чтобы все видели, какой есть еще человек в ихнем колосницынском роду.

XXI

«ГАЗ-69» Евгений Кузьмич называл волшебной коляской, для которой и бездорожье—дорога. «ГАЗу» не заказаны любые пути.

Редкий вечер отец не возил по дальним и ближним местам найденного сына. Показывал ему родной край. Ему приходилось теперь говорить не столько о новом, сколько о старом. Новое было и без того на виду, а старое исчезало.

И Евгению Кузьмичу стоило огромных трудов нарисовать одинокую избушку, когда, указывая на белые веселые домики поселка, он говорил, что на их месте не так уж давно была заимка, которая называлась «Волчихин хвост».

— Ты только представь, Володя, ни жилья, ни дороги. Только пластяная избушка да стога сена. Ночь. Стынь. Тьма. У дверей дежурят

волки. Собака забила в угол. Выйти нельзя всю ночь. А если пурга, то не выйдешь и днем. А теперь? Идут провода. Веселая улица. Дети ходят в школу.

Владимир силится и не может представить стынь, тьму, волчьих стаи. Так происходит с каждым, кто появляясь в обжитых местах, хочет и не может увидеть на месте города пустыню, на месте электростанции — дикий берег, на месте дворца культуры — болото.

Но все же в этом новом сохранились островки прошлого. Таким островком был старый поповский дом в Дудине. Евгений Кузьмич не переступал порога ненавистного дома более сорока лет, а теперь решил свозить туда сына.

В старый поповский дом, с письменного согласия Евгения Кузьмича, был поселен молодой псаломщик Иван Гурьев.

Гурьев, только что женившийся, пообещал сохранить дом и имущество, принадлежащее Ларисе Михайловне, урожденной Рождественской, «на случай, ежели что мало ли как поворачивается жизнь и тому подобное».

За эти годы сменился не один глава прихода, желавший поселиться в старом поповском доме, но дом оставался за «домоблюстителем», как именовал себя Гурьев.

Иван Пантелеймонович Гурьев был человеком почти необразованным. Он не закончил даже духовного училища. Но пробыв много лет псаломщиком, поднаторел в службах и оказался за неимением «достойного викария» дьяконом, а несколько лет спустя по той же причине был рукоположен во иереи.

Теперь он стар и вдов. Дети — кто где. Двое работают на железной дороге. Один учителствует. Один полковник. К отцу дети не ездят. И он к ним не ездит. Как явиться попу, скажем в полковничью квартиру? Захотят ли внуки назвать его дедом? Надо уж доживать, как жил.

В доме хозяйничает просвирня Федотовна. Тоже стара, но щи сварить может, а починить, зашить, заштопать уже негодна глазами.

— Вот тут, Володя, родилась твоя мать. Отсюда она и увезла тебя.

Евгений Кузьмич решил обойти дом. Забора уже почти не было. Кое-где остались падающие столбы с толстыми и черными от времени толстыми плахами, еле державшимися в съеденных гнилью пазах.

В пристройках расположились склады продуктового магазина. Сад и огород отошли к соседям.

Приземистый кирпичный дом-сундук почему-то стал словно еще ниже.

Годы не изгладили в памяти Евгения Кузьмича счастливого понедельника — второго дня пасхи.

И Владимир, знавший об этом дне, живо представил свою мать в крайнем окне смеющейся девушкой в розовом кружевном платье. Кружева, сколько помнит он мать, всегда украшали ее.

— А это кольцо, к которому я привязывал своего вороного Бурана. Как только оно уцелело?

— Может быть, мы напрасно идем в этот дом? Вернемся?

— Нет, зачем же. Ты должен побывать здесь. Мать всегда остается матерью. Как ты можешь сказать ей потом, что ты не захотел войти в дом, где она родилась?

На крыльце появилась старуха и, узнав Евгения Кузьмича, закашлявшись, направилась к нему, чтобы еще раз проверить — он ли это.

— Батюшка ты мой... Да ты ли это, касатик?..

— Здравствуй, Федотовна, здравствуй, милая. Как ноги носят? Бегаешь?

— Да, ноги-то еще носят и руки володают пока. Да в голове шум. Особливо вечером. Как большой колокол гудит, который мы на борьбу

с разрухой отдали. Порошки пью — не помогают. Молюсь — еще того хуже. От земных-то поклонов, видно, кровь в голову наливается. Да и отмолилась, кажись. Грехов-то на мне мало было. Из больших и вовсе один. И тот не мой. Пушай его поп Мишка у сатаны в кипящей смоле отмаливает... Да что же это я суесловлю тут... Проходи, Евгений Кузьмич, в свой дом. А это кто с тобой?

— А это сын мой, Федотовна, Владимир.

Старуха хлопнула в изумлении руками по костлявым бедрам, ойкнула и запричитала:

— Да я ведь тебя, Владимир Евгеньевич, баюкала. Своих-то не было. А маменька твоя где, Ларочка-то наша, где ненаглядная?..

— Ладно, ладно, Федотовна, — остановил старуху Евгений Кузьмич. — Всею свой срок. Ничего не утаим. Веди в дом.

— И то и то... Сейчас и отец Иван явится.

— В церкви никак?

— Да какое там в церкви, батюшка Евгений Кузьмич. Щук ловит на озере. С головой в рыбу ушел, а церковь теперь только одно звание... Старуха повела пришедших в дом.

XXII

В доме было душно, затхло. Словно все эти сорок лет здесь не проветривали. Евгений Кузьмич с трудом открыл набухшую форточку и попросил не закрывать входные двери.

Здесь все оставалось по-прежнему. Гурьев жил в поповской спальне, а просвирия — в комнате при кухне.

— Как в склепе, — шепнул сын отцу. — И это, значит, тоже мои предки? — спросил он, указывая на бородатые лица, смотревшие из рам.

Да, это тоже были его предки, хотя не очень-то хотелось с этим соглашаться. Среди них находился и дед Владимир, именем которого он назван. Дед был написан масляной краской на дереве. Доска растрескалась, а некогда золоченая рама позеленела. Портрет деда походил на старую музейную коричневую икону.

В простенке стояла фисгармония, точно такая, как в Калиновом Лужке. Наверно, мать нашла ее в каком-нибудь комиссионном магазине. Чтобы напоминала о юности. И отсюда, из поповского дома, потянулась какая-то нить в комнаты, где жила теперь мать. Здесь, как и там, тлетворная затхлость вещей, которые никогда и никому не пригодятся. Точно такой же «нерукотворный спас» в углу и фотографии известных и неизвестных артистов. Наверное, теноров. Сын узнал только Собинова.

На Владимира особое впечатление произвела пуга, коклюшки и недоплетенные, оставленные в неприкосновенности потемневшие от времени кружева. Они, как речь, прерванная на полуслове, как остановленное на полубукве письмо, говорили о том часе, когда его мать с вороватой поспешностью покинула этот дом и своего мужа. Именно эти слова пришли Владимиру в голову, когда он стоял перед ее кружевным рукодельем.

В спальне Владимир увидел детскую кроватку с кисейным пологом, тоже потемневшим от времени. Здесь он спал ребенком. Над кроватью матери висел портрет молодого человека, так похожего на студента Володю. Портрет его отца. И он, никого не спрашивая, снял портрет, вынул его из рамки. «Здесь не место отцовскому портрету», — решил он про себя.

В остальные комнаты Владимир не пошел. Ему хотелось на воздух. И они вышли бы, но появился старик с тремя щуками. На нем были хол-

щовые серые штаны, кирзовые сапоги, что-то похожее на длинную кофту и одновременно на подрясник с обрезанными полами.

— А я еще там, в роше, знал, что мы тут встретимся, Владимир Евгеньевич. Узнаете?

— Еще бы, конечно, конечно...

— Я не схотел там ему свое сословие называть,— обратился Гурьев к Евгению Кузьмичу.— Не поверит, думаю, правде из поповских уст... А какой я, с позволения сказать, поп... Здравствуйте, Евгений Кузьмич... Сейчас руки всполосну, переоболокусь и чин-чином выйду. Федотовна,— крикнул он на кухню,— подавай давай.

— И то, и то, отец Иван,— отозвалась из кухни старуха.

Евгению Кузьмичу хотелось отказаться, но нельзя было обижать старика, и он сказал сыну:

— Это очень интересный человек, Володя. Потерпи уж полчаса.

XXIII

В большой кухне было светлее и воздух оказался чище. Хорошая тяга русской печи не давала застаиваться дурным запахам.

Стол Федотовной уставлялся убого и разнопосудно. Зато было видно, что старуха от всего сердца угощает чем бог послал. Тарелочка с тремя черствыми творожными шанежками, тарелочка с щурятами горячего домашнего копчения, тарелочка с запеченной икрой, нарезанной ломтиками, тарелочка с темным мясом дикой утки... И так десять тарелочек, посреди большой графин с выдутым внутри стеклянным зеленым змием. В этом мрачном доме графин, кажется, был единственной вещью, которая говорила, что и сюда, в царство мглы, заглядывал робкий луч юмора. На графине красовалась яркая надпись, выведенная славянской вязью: «Не упивайтесь вином».

Быстрый старик Гурьев, в котором никак не хотелось видеть попа, вышел в штопаном, закапанном воском подряснике. Он успел расчесать жиденькую бороденку и остатки волос.

— Совсем уж отчаливать мне пора,— весело начал он,— да видно причалы не перепрели. Наливай давай, Федотовна, по единой.

— Водочку-то все попиваешь, Иван Пантелеймонович?

— Одна радость в эти годы осталась. При сынах — не отец. При внуках — не дед. Даже за денежные переводы не благодарят.

— Переводишь все-таки?

— Так внуки ведь! Один-то, правда, пишет, Сережа. На флоте он действительно служит, бросить велит мне это все. И бросил бы, да старух жалко. Зачем им остатние годы гадить? Им не суметь уж от бога отойти.

— А ты сам отошел от него? — снова спросил Евгений Кузьмич.

— Да днем-то, пожалуй, что отхожу, а как темнеть начнет — сомневаюсь. Да наливайте вы, пожалуйста. Кушайте.— Отпив из красного стаканчика, он продолжал: — А как ночь придет, опять темные думы одолевают.

— О чем, Иван Пантелеймонович? — спросил опять Евгений Кузьмич.— О том свете?

— Да нет, Евгений Кузьмич. Тот свет для меня давно погас. И с небом тоже большие прояснения после спутников. А вот цветы, злаки, птица, рыба и всякая прочая гармония жизни мне голову затемняет. Все думаешь, думаешь, другой раз и зимняя ночь короткой кажется.

Евгений Кузьмич оставил щуренка и участливо спросил старика:

— А о чем ты все-таки думаешь, Иван Пантелеймонович? Что именно беспокоит тебя?

— Да все, за что не возьмишь. Хоть та же икра.— Тут старик кивнул на тарелку с ломтиками запеченной икры.— Как это в таком шарике с маковую росиночку зарождается щука со всеми последствиями?

По всему было видно, что старик Гурьев рад был случаю поговорить.

— Ну, плавники там, хвост, голова, кишки, пузырь — это ладно, — рассуждал он.— Фершал, который со мной рыбу ловит, говорит, что все это в икряных клетках самостийно растет, развивается и тому подобное, как в бобовом семечке — из двух боковинки два первых листка, из ростка — корень. Это можно понять. Но рыбы-то повадки, ну, что ли, щучий ум, каким таким медицинским образом в этих клетках образуется? Значит, помимо икры есть кто-то такой, который вершит всеми этими премудростями жизни?

Отец и сын переглянулись. Довольный собой, Иван Пантелеймонович допил свой стаканчик и смачно закусил копченым щуренком.

Не трудно было догадаться, что Гурьева, безверного человека, тяготит поповство, и, желая оправдаться не только перед другими, а и перед самим собой, он придумывает причины, чтобы оставаться в своем сани.

— Звали меня кладовщиком в тридцатом в старожильский колхоз, и хотел было, да ребята были еще на выросте. По куску — пять кусков, по рубахе — пять рубах. Подумал, подумал, да и решил — поп никак с голоду не умрет и по миру не пойдет, а кладовщики больше судом кончают. А сейчас-то уж какой из меня кладовщик? Прошла моя жизнь стороной, околицей. На сыновних свадьбах не побывал, на дочеринском замужестве не погулял, внучат не понянчил. Попадья-то все ж таки поглядела на них сыздаля. Подходить не подходила, а укарауливала, когда они в песочке у дома роются. К одному сыну даже нищенкой зашла, когда его дома не было. Сноха-то не знала бабу в лицо. Хорошая женщина. Разрешила посидеть, погреться и не воспрепятствовала внука по головке погладить. Это Сережу, который на флоте теперь. А я так и не видывал их никого. Ох, Евгений Кузьмич, Евгений Кузьмич, ежели бы ты мог понять это все...

Колосницын слушал молча. У старика Гурьева болела только своя жизнь. А ведь так же «сыздаля» столько лет глядел на своего сына Евгений Кузьмич.

— Давай, отче Иване, о чем-нибудь другом, — попросил Колосницын.

— Можно и о другом, — примирительно согласился Гурьев.

В эту минуту за окном остановился маленький рижский автобус «РАФ» с рекламной надписью, убеждающей пользоваться воздушным транспортом. Владимир увидел жену, детей и мать. Ее узнал и Евгений Кузьмич. Он поспешно вышел из дома через другую дверь.

XXIV

Последнее письмо сына произвело на Ларису Михайловну настолько сильное впечатление, что она увидела в нем предначертанное уже не богом, а провидением.

— Поэтому я, Вова, не откладывая, решила вернуться сюда, а Тонечка, — указала она на Антонину Сергеевну, — сочла справедливым вернуть внуков родному деду.

Слушая выпренную речь матери, глядя на ее слишком кружевное, не по годам нарядное платье, Владимир понимал, что ее душевное расстройство после его отъезда усилилось еще более.

И Антонина Сергеевна успела шепнуть мужу:

— Я не могла пустить ее одну...

Телеграмма о вылете была дана Антониной Сергеевной на Дедюхино, куда и они направлялись, но в пути Лариса Михайловна передумала и решила сначала заехать в родной дом.

Теперь нужно было решить — кто куда. Пьяненький Гурьев рассудил здраво и трезво:

— Тут в этом логове Антонине Сергеевне и детям делать нечего. Пущай они без пересадки к бабушке едут.

Так и решили. Сын остался с матерью, а трое внуков отправились с Антониной Сергеевной в Дедюхино.

Пройдя в дом, Лариса Михайловна будто вернулась сюда после долгого отсутствия. Поэтому ее страшно удивило, что Дуняша, которую теперь почему-то зовут Федотовной, ухитрилась так постареть за это время. А псаломщик Ивашка Гурьев вовсе облез.

Первым настойчивым требованием Ларисы Михайловны было немедленно привести в порядок старый дом.

— Стоит только отлучиться, как на вершок пыли и по колено грязи.

Первой была приведена в порядок спальня Ларисы Михайловны, чтобы дать ей возможность отдохнуть с дороги. Тем временем мылось, скоблилось, чистилось остальное. Не дожидаясь окончания уборки, Лариса Михайловна несколько раз присаживалась к осипшей фисгармонии, разминала пальцы и напевала рубинштейновскую «Ночь».

Мать была так жалка, что Владимиру стоило больших усилий, чтобы не разрыдаться.

XXV

Евгений Кузьмич молодец, что называется, час от часу. На его щеках появился румянец, глаза сияли. Никто его не видел таким веселым.

Внуки хорошо встретились с ним. Видимо, мать сумела подготовить их, найти немногие, но сильные слова.

Старший внук Павлик, похожий на Евгения Кузьмича, хотя и старался выразить самые добрые чувства, все же дичился своего еще не узнанного деда. Мальчику исполнилось тринадцать лет, и он хорошо помнил другого дедушку, который так баловал его. Внучка Леночка, чем-то, может быть зеленью глаз, напоминавшая свою бабушку Ларису, походила и на деда. Но одиннадцатилетней девочке неудобно виснуть на шее у нашедшегося деда и сидеть у него на коленях. Он хотя и родной, но дедушка, а не бабушка, и с ним как-то труднее говорить. Зато младший — четырехлетний Женя — не умолкал.

— Ты смотри, дедушка, у нас все одинаковое. Мы оба с тобой большеглазые, и у нас длинные, как палки, ноги. Только я без усов.

У Евгения Кузьмича так сжималось сердце, что становилось страшно, — а вдруг оно не разожмется от радости и он не успеет насладиться своим самым дорогим повторением...

Агаша, став уже тетей Агой, возилась с племянницей, купалась вместе с ней на озере, знакомила с родными полями, водила в роши, в школу, где она преподавала... Делали все, чтобы дети полюбили старый колосницинский дом.

XXVI

В старом поповском доме, как это ни трудно себе представить, не просто другая жизнь, но и другой век, другое время, другой уклад, и даже добротные старинные часы с длиннейшим маятником, кажется, шли куда более медленно, чем обычные, хотя и показывали время с безупречной точностью

Лариса Михайловна, не выходя из дома подряд несколько дней, сумела вернуться в прожитые дни и поверить, что она снова молода. Кружась и пританцовывая, капризная, как бывало, она примеряла свои девичьи наряды, напевая, бегала по комнатам и, устав, впадала в забытие, подолгу спала.

Доктор сказал, что больная едва ли проснется. В этот день приехал Евгений Кузьмич.

Он вошел в комнату, где лежала Лариса Михайловна. Она открыла глаза и сказала:

— Как ты долго не возвращался, Эжен, из Старой Карасихи... Я так боялась, что они убьют тебя...

Глаза Ларисы Михайловны закрылись. Теперь ее губы шевелились беззвучно. Евгений Кузьмич опустил на колени и приник к морщинистой, холодеющей ручке Ларисы Михайловны.

Умерла она улыбаясь.

Евгений Кузьмич безутешно плакал. И, может быть, не столько об ушедшей, сколько о годах, отнятых у него.

Ларису Михайловну похоронили на другой день вечером. Владимир не захотел удлинять разлуку и проводы, боясь за отца. Похороны были гражданскими. Народу на кладбище пришло много. Большинство пришедших не знали покойницу, но очень подробно знали историю, начавшуюся и кончившуюся в старом поповском доме села Дудина.

Наверно, эта история, как и многие, подобные ей, забылась бы с уходом из жизни Ларисы Михайловны Лутониной, если бы этой фамилией не называлось железорудное месторождение и проектируемый металлургический завод.

Никто не оспаривал, что железорудное месторождение многим обязано академику Лутонину. Но теперь, когда стало известно, что руда была открыта кузнецом Кузьмой Колосницыным, что об этом месторождении молодому ученому Лутонину рассказал Евгений Кузьмич Колосницын, а потом и его отец... И что в благодарность за это молодой ученый увез у Колосницына красотку жену и мальчика Вову...

Сначала все это было в молве, а потом перешло и на бумагу. Приезжие и коренные жители требовали, чтобы месторождение было названо именем его первооткрывателя — Колосницынским. Возникло дело. И в нем на многих листах рассказывалось, хотя и очень деловым языком, все, начиная с появления кузнецов Колосницыных в Дедюхине.

Дело дошло до очень высоких инстанций, и там тоже читалась изложенная протокольным языком любовная повесть, сыгравшая в конечном итоге решающую роль в переименовании месторождения.

При всем уважении к трудам и открытиям академика Лутонина неудобно было называть его именем месторождение, которое, как оказалось, он сам называл «находкой кузнеца Кузьмы Колосницына», что было найдено в его переписке и публикациях.

Когда стало официально известно, что железорудному месторождению присваивается имя его отца, Евгений Кузьмич помчался со своим младшим внуком в Старо-Карасихинскую рошу показывать прадедову штольню.

— Всегда помни, кто нашел эту руду. Именно эта руда прославит и неузнаваемо изменит все вокруг...

Мальчик хлопал пушистыми темно-каштановыми ресницами и думал о смерти. Ему очень хотелось знать, что такое смерть и зачем понадобилось бабушке умирать. Он ждал, когда дедушка кончит рассказывать неинтересное о руде, тогда он спросит его об интересном...

Где-то здесь, наверно, и следовало бы закончить историю, переписанную из жизни в эту небольшую повесть, но справедливость требует сказать несколько слов о Калиновом Лужке.

XXVII

Владимир Евгеньевич ненавистный теперь ему Калиновый Лужок передал райсобесу под дом для престарелых.

Оставляя дому престарелых мебель, утварь и прочее имущество, Владимир Евгеньевич вывез отсюда только книги и архив Павла Захаровича да несколько памятных вещей из комнаты матери. И почему-то коклюшки с недоплетенными кружевами, чему страшно была рада его дочка Леночка.

Любуясь бабушкиными кружевами, Леночка со всей наивностью ее лет спросила:

— Как только могла бабушка плести такие кружева?

— Это для многих остается загадкой,— ответил Владимир Евгеньевич, рассматривая переплетение белых тонких нитей, составивших необычайный кружевной узор.



ГОЛУБАН

Рассказ

1

После вчерашнего ливня земля набухла, бревна вымокли и осклизли. Оступившись на одном из них, Голубан не смог удержать второго, и бревно всей тяжестью хрястнуло по ногам...

Полтора месяца он пролежал в больнице районного центра Большая Пога. Домой, в таежную деревеньку, возвращался на костыле, с деревянной ногой в заплечном мешке.

— Потренируешься,— пообещал ему доктор,— тогда и костыль забросишь!..

В рыбацком селе Завозном, куда он добрался с другого конца Имеш-озера на пропахшем рыбой попутном катере, его не встречал никто: о своем возвращении Фома не предупредил ни жену Лизавету, ни тещу, с которой был в дружбе.

«Невелико событие, чтобы слать домой телеграмму! — решил он перед выпиской из больницы.— Вылечился, вернулся — и весь разговор!..»

Но когда, отстав ото всех, он сошел в Завозном на мокрые доски расштанного причала, остался один с костылем в руках и брезентовым вещмешком за плечами и огляделся, стало вдруг как-то горько: вроде, ты и не нужен здесь никому!

Тем больше обрадовался Фома, когда на взлобье, ведущем от озера к завозненским избам, увидел тетку Тарасиху из родной деревеньки: хоть и не очень дружил он с этой Тарасихой, а сейчас и она своя...

Старуха видела плохо, узнала Фому не сразу, и когда он, неслышно подковыляв к ней, над самым ухом сказал: «Здорово!», Тарасиха испуганно охнула, потом отступила на шаг, оглядела Фому с головы до ног светлыми, выцветшими глазами и с сожалением протянула:

— Ох, Голубанушка, мой болезный... вернулся?

— Так точно! — по-солдатски шутливо гаркнул Фома.— Как есть в надлежащей походной форме!

— Да к ладу ли?

Бойкость сразу пропала. Фома налег на костыль, спросил:

— А чего?

— Да так... не встретил тебя никто. Похоже, не к ладу...

Тарасиха не договорила, но Фома и без этого понял, на что намекает дотошная в деревенских делах старуха. Сдержавшись, он только небрежно сказал:

— Не барин я, чтобы встречать-то. И так дойду!

— Дойти-то дойдешь, да дома-то что найдешь?

Старуха с особым значением поджала и без того заметно втянутые в беззубый рот сухие, изрезанные морщинами губы:

— Ох, горе ты, горе...

— Что ни найду, а домой пойду! — внешне все еще бойко, но уже

подаваясь горькому раздражению, не согласился с жалостливым сочувствием старухи Фома. — Дом, он все-таки, бабка, дом!

— Так-то оно, голубь, так. Да чегой-то уж больно жалко тея мне, парень. Сказать не могу, болезный ты мой, до чего мне жалко тея... вот право! И ногу, глякось ты, потерял! А тут еще это семейное... ох, как худо!

Прямо взглянув в ее белесые, воровато зыркнувшие в сторону глаза, он грубо спросил, хотя уже понял, о чем говорит болтливая тайболинская бабка:

— Ну, дальше что скажешь?

— Да что же, Фомушка, некуда дальше говорить. Сам, болезный мой, все узнаешь!

— Это уж точно, приду — узнаю! — безрадостно согласился Фома. — А, значит, нечего зря об том и бахвостить...

Он кое-что уже слышал на пристани в Большой Поге, когда поджидал попутный колхозный катер, сдававший очередной улов районному рыбозаводу. «Сказывают бабы, опять Игнату Прибылову подставилась твоя Лизка! — с явным удовольствием сообщил ему грузчик райпотребсоюза Ефим, вернувшийся в район с Имеш-озера, куда в тот день завозили очередную партию товаров для магазинов завозновского сельпо. — Да ты не горюй! — добавил Ефим с глупой лихостью крепко выпившего «с устатку» и легко относящегося к таким делам человека: — Баб на наш век с тобой хватит!»

Теперь сочувственные намеки Тарасихи напомнили Голубану грязные слова полупьяного грузчика. Выходит, так оно дома и получилось. Уж лучше бы голову, а не ногу, отрезал ему хирург на том больничном столе...

Не простившись с Тарасихой, не поддаваясь хлынувшей в сердце боли, он молча заковылял по тропе на взлобок, откуда через Завозное шла дорога в далекую, затерявшуюся среди карельских лесов Тайболу. Туда добираться не так-то просто, особенно с костылем: от районного центра Большая Пога — тридцать верст на попутном катере по голубым извилинам Имеш-озера между лесистыми островами, да от Завозного — пеших четырнадцать километров на северо-запад, по каменистой тайге. А время — за полдень, надо идти...

Легко поднявшись на завозновское взлобье, он некоторое время с невольной радостью жадно оглядывал озеро и лесистые дали за ним. Потом его цепкий взгляд упал на захламленный бракованным лесом, бурными щепками и гнилым корьем разгрузочный причал лесобиржи местного деревообделочного завода. Помахивая баграми, бригада рабочих не спеша выбирала на берег мокрые бревна. Они здесь станут досками, тесинами и брусками. И, может, иные из этих тесин выйдут как раз из того бревна, которое хрястнуло по ногам и уложило Фому в больницу?

— Может и так! — усмехнулся Фома, раздумчиво покачав кудрявой большой головой, и не спеша тронулся каменистым наволоком к лесочку, начинавшемуся сразу же за крайней избой села.

За лесочком во влажном мареве отдыхало болотце. Дальше — стройно и густо стоял настоящий лес: в этот кут пока лесорубы не заходили. Хватает борбв и поближе к лесозаводу...

Жарко палило июльское незакатное солнце. Все в разогретом лесу было напоено густыми запахами сосновой смолы, созревающей зелени, ягодной сладости, мшистой прели, точь-в-точь, как ядреным кваском из деревенской кадушки.

Раза два Фома прихватил на ходу розоватые бусинки сочно лопающейся на зубах, еще совсем сырой брусники, с удовольствием выплюнул горьковатые ягоды, усмехнулся: до чего же славно в родных местах! Особенно после душевной, кислой больницы. Хоть и костыль теперь вместо ноги, а все — хорошо!

Кабы только не Лизка. Да, Лизка...

«Однако же,— честно признался он сам себе,— Лизавету как рассудить? Вышла она за меня в тот год, чай, вовсе не по любви, а так... со зла. Со зла на Игната: дружила с ним года три, да поссорилась, раздружилась. А тут я вовремя подвернулся. Ждал тот час, дождался — и подвернулся! До страсти был рад, что так получилось: нравилась Лизка с давнишних пор! Женился на ней — и всех других баб на свете с тех пор забыл. Одна Лизавета в сердце. А она-то, похоже, не раз после этого локти грызла. Грызла, мучилась, а уж поздно: Игнат сосватал Надейку Братищеву, двух детишек завел. Выходит, что Лизка теперь — со мной, а сердце у бабы неведомо где томится. Как это нянечка Шура в больнице пела?»

Увидала,
Запылала,
На него кидает взоры,
С ним вступает в разговоры...

Не был из-за болезни дома долгое время и, вроде, выпал из Лизкина сердца. Вот она и вступила с Игнатом в прежние разговоры. Сколько годов крепилась. А тут оказалась одна, стосковалась и сорвалась. И все потому,— упрекнул он себя,— что добрым я был — это верно, ласковым — нет! Ласковым быть стеснялся. Выходит, что здесь и моя вина. Чего же теперь-то яриться зря? — подумал он горько, стараясь не поддаваться ревнивой мужичьей злости.— Может, и правильно говорят, что «слóга — сильнее бога»? Как нам ни худо, а может, и нашу слóгу с Лизкой ничто теперь не разладит, если взяться за это дело с умом? Хотя, конечно,— не удержался Фома от угрюмой мысли,— всему есть тоже предел. Люби — не люби, а блюсти себя бабе надо! Какие не соблюдают, тех надо боем учить...»

Он привалился спиной к сосне, отдыхая от костыля.

Вокруг было тихо. Стояла в лесу застойная духота, хотя обдуваемый летящим от недалекого Белого моря ветром лес шелестел в вышине, покачивал кронами стройных сосен. Изредка что-то скрипело, кто-то подсвистывал из кустов. А сбоку, над левым плечом Фомы, вдруг истоиво застучал по сушине дятел: не дает жукам разводиться заразу, таежный доктор!

Пошумливает, качается лес, а все в нем, кажется, тихо. Покой в нем. Услада. Вот так бы в сердце вовеки было...

Фома невольно вздохнул, приладил костыль и тронулся дальше.

Дорога вела то по сухим беломошным борам, мимо крупных, осадистых сосен. То вдоль комариных омшар, где березки чуть выше кустиков гонобобеля и черники. Вилась сырыми логами, перебегала по жердяным мостиночкам через ржавые ручейки, продиралась еловыми корбами да другими чащинами, а то и совсем по непроходимым местам, где, как здесь говорится, «леший дорогу украл» и где чужой человек не найдет на мхах и проследочка, а не то что торной тропы. Ан, свой находит ее легко: знакомо все с детства!

«Хорошая штука — лес,— решил Голубан, вздыхая.— Нелегко, а идешь. Непривычно, а ковыляешь». И вот уже давно осталась позади зарастающая травой Кривая ламбина. За ней — с версту — протянулся мендовый бор, гниловатый мокрый сосняк на ржавом подзоле.

Потом пошли корявые гари, лиловые от кипрея. За ними — подростковые раменья. И снова — лес.

А с Мурашовского взгорья открылось и Тайболинское озеро, будто зеркало брошено кем-то в густую зелень.

Выходит, вот он и дом...

2

На краю приткнувшейся к озеру Тайболы, на самой дороге, играли девочки. Одна из них, увидев Фому, певуче сказала:

— Здравствуйте, дядя Голубан...

Глаза у нее — большие и темные, как у Надейки. А нос курносый — в отца, в Игната...

Он ничего не ответил девочке, хмуро прошел по дороге дальше. И сам себя укорил: «Чем девка-то виновата?» Но поправляться не стал: как вышло, так пусть и будет.

А у колодца, вырытого внизу, возле растекающегося в болотце ручья, он едва не столкнулся и с женой Игната Надеждой. Она несла воду на коромысле — два новых ведра, полные до краев. Шла, да, видно, задумалась. Увидала Фому, когда он сердито посторонился, и вдруг смутилась. Хотела что-то сказать, но слов не нашла, только сморщилась, будто вот-вот заплачет.

Так оба молча и разминулись...

По-северному добротные деревенские избы стояли у озера на широкой рощисте не рядами, а разрозненно, вразброд, чтобы летом их обдувало ветром от гнуса. Однако все избы — челом на юг: до Полярного круга рукой подать, и зимой здесь морозы ух люты! При каждой избе — сухие поленницы дров высотой с коосу сажень, банька с каменной, погреб и огород за низким забором из длинных слег. Такая изба у Фомы, такая и у соседки Настасьи Песковой, вдовой солдатки.

Настасья окучивала картошку. Увидев Фому с костылем, спросила:

— Здоров?

— Порядок.

— Ну, слава богу...

Она вытерла тылом испачканной в земле ладони вспотевший лоб, поправила белый платок, сбившийся набок, вздохнула.

Фома с интересом заглянул в ее огород. Картошка — в полном размахе. Свекольная да репяная ботва широка, лопушиста. Каждый лист — едва поперек прикроешь ладонью. Подсолнухи по углам — как стража на карауле: выжелтились, неотрывно следят за солнцем, задрав носы. Хорош огород, ничего не скажешь...

Выбив из пачки измятую сигарету, он закурил. Настасья молча следила за ним из зеленого, пышащего, как и она, трудовым здоровьем сочного изобилья. Негромко сказала:

— Надо бы из больницы загода сообщить, что нынче вернешься. А то этак смаху-то... оно, чай, знаешь?

— Я знаю! — с усмешкой признался Фома. — Доброжелатели сообщили...

— А-а... ишь ты! Кто же так постарался?

— Нашлись. Райпотребовский парень такой, Ефим. А в Завозном — Тарасиху нашу встретил. Дотошных людей хватает...

Костылем он вдавил окурочек в сырую землю, перевел разговор с ху-дого конца на добрый:

— Огород у ты нынче больно хорош!..

— Удался! — обрадовалась Настасья. — Изо всех годов нынче выдался... могутенный!

— Пойду на свой погляжу. — Фома указал костылем на свою избу. — Соскучился по земле-то! — И зашагал по заросшей гусиной травой низинке к широкому, как ворота, крыльцу.

Еще не взойдя на крыльцо, он успел заметить несколько раз мелькнувшее в крайнем окне лицо Лизаветы. И то, что она увидела его у Настасьиногo огорода, но не выскочила навстречу, осталась в избе, оконча-

тельно утвердило его в ревнивом сознании ее вины перед ним. Да, бабу надо учить...

Однако в избу он вошел спокойно, без суеты, как подобает разумному, не привыкшему к лишней спешке хозяину. Вошел деловито, будто вернулся не из больницы Большепогинского района за сорок четыре версты отсюда, а с работы на лесопункте, где несколько задержался в своей бригаде.

Рослый, широкоплечий, он взял от отца привычку все делать доброт-но, неторопливо. От отца и голос — негромкий, но басовитый. Отняли ногу, однако и на одной ему надо ступать уверенно, твердо. Мешает костыль — отставь, обопрись плечом о дверной косяк, оправь гимна-стерку, умойся с дальней дороги...

Он молча сбросил на лавку у двери давно уже выцветшую, но сбе-реженную, не потерявшую формы воинскую фуражку, снял и аккуратно повесил на гвоздь пиджак. Потом, все так же неторопливо, долго мылил под умывальником руки, тщательно причесался перед квадрат-ным зеркалом, окантованным лакированной рамкой, которую сделал сам еще в год женитьбы на Лизавете. И все это время Лизка стояла молча. Кабы любила, — отметил в душе Фома, — небось давно сует-ливо топталась бы рядом, вздыхала и причитала: «Ой, Фомушка! Фо-мушка мой родимый! Вернулся, голубь мой сизокрылый! Ноженьки враз лишился... ан, жив да здоров! Приехал!» — и кинулась бы на шею. Вместо этого, вон, стоит и молчит. А от нее к Фоме волной доходит сивушный, водочный перегар. И, вроде как, на ногах не тверда: присло-нилась худым плечом к печке, а так и пошатывает ее, блудливую жен-ку. Не позже чем ночью пила. И, может, пила не одна, а с Игнатом?..

— Ну, здравствуй, — сурово сказал Фома, уложив дрогнувшей рукой расческу в карман и шагнув из прихожей в залу. — Рассказывай, как да что.

В зальце он прежде всего заметил их добрый семейный стол. Фома гордился этим столом: как и многое в избе, он сделал его сам. И не то хорошо, что сам, а то, что столешница из одной тесины, шириной чуть не в метр, толщиной в вершок. Теперь на этом столе в беспорядке ва-лялись кучки рыбьих костей, неровно обкусанные концы зеленого лука, объедки хлеба и огурцов. Видно, что Лизка, увидев его в окно, попы-талась прибраться, да не успела. С ходу только сунула полупустую бу-тылку с водкой на подоконник, за черепушку с геранью, да опрокинула возле сковороды с остатками жареной в сметане ряпушки два мокрых стакана: из них на стол пролилось по маленькой лужице, и они выда-вали женщину с головой.

Фома, нахмурившись, оглядел и стол и тихую залу.

Нет, правильно говорил ему в больничной палате Андрей Лукашин: надо бить бабу. Ведь вон — гляди: все в зале, вроде, как было при нем. Только дух не его, чужой...

Он взял с подоконника предательскую бутылку и слегка поболтал вино, будто хотел убедиться: хватит ли и ему «со свиданьем» после Лизки и ее тайного любобша? Но пить не стал: брезгливо сунул под-лую склянку снова на подоконник. Так же неторопливо взял и молча поставил на мокрые доньшки оба стакана. Кстати, потрогал давно ост-ывший самовар, сверкающий светлой медью на углу неколебимой сто-лешницы. И только после этого сел на лавку возле окна — на свое хо-зяйское место.

— Ну что же, — положив на стол большие, круто сжатые кулаки, но делая вид, что в доме все без него содержалось в порядке, велел Фома: — Поставь самовар, Лизавета. Чаю попью...

Лизка молча взяла самовар, отнесла его в кухню.

Молчит, — отметил Фома, — а узкое, бледное лицо ее — в алых пят-

нах. В глазах — удивление и тоска. По всему ясно видно, что ей в этот час и тяжело, и страшно, и удивительно оттого, что муж вернулся, все знает, а он — молчит. Не ругается, не дерется. Хотя уж, само-собой, пока шел он домой, какая ни то из баб, а про все ему рассказала. Чего же Фома терзает ее, молчит? Чего не хватает за косу, раз виновата? Похоже, расправится после чаю...

В кухоньке она с маху вытрясла прямо на пол старые угли, налила в самовар воды, разожгла лучину. Огонь загудел в трубе, потянуло свежим дымком. У Фомы защемило сердце: будто на озере у костра... теперь и вправду что дома! Кабы только не разговоры про Прибылова да не этот срам на столе...

Он мельком взглянул за окно. На лужке возле Настасьино огорода стояли Груня, сестра Игната, и дочка ее Марийка. Груня спрашивала Настасью, девчонка держалась за материнскую юбку и неотрывно глядела на Голубановы окна...

Фома усмехнулся: ждут, когда буду бить. Сейчас соберутся, станут галдеть. Им небось мнится, что Лизка сама не своя от страха: суетится-де, мечется по избе, то с мокрой тряпкой в залу вбежит, чтобы вытереть стол и убрать посуду, то в кухне чего-то топчется, и хоть весу в ней, как в козе, а пол, мол, скрипит от натуги, будто в конюшне...

Фома вздохнул: кабы в самом-то деле так было! Ну, дал бы разок-другой для порядка, скрепил бы сердце, простил. А то ведь страха у Лизки нет и в помине! Все делает споро, молча. А страха и покаяния нет. Беда, когда сердце твое не с жениным рядом...

3

Жена принесла в прохладную зальцу шумно фыркающий самовар, заварила свежего чаю, достала из нижнего створа белую скатерть, вытерла полотенцем и без того сверкающий чистотой заветный мужнин стакан. Не граненый, а круглый, в подстаканнике с золоченым узором. Себе не поставила ничего. Только скосила зеленые кошачьи глаза на бутылку с остатками водки, вздохнула. Потом принесла еще стакан — один из тех, из которого, видно, вчера пил Игнат. Теперь принесла его мужу... порывисто поклонилась, впервые, по старому деревенскому чину, покорно произнесла:

— Кушайте на здоровье, Фома Федосеич...

Пить водку Фома не стал. Не торопясь, он охотно поел грибочков и сладкой рыбы, с удовольствием вытянул, обжигаясь, четыре стакана крепкого чаю и время от времени вытирал лицо полотенцем. Потом закурил, посидел у стола, погасил окурочек, велел:

— Ну, значит, рассказывай, как жила.

Лизавета дрогнула, тяжело осела на согнутые колени, приткнулась узкой спиной к дверному косяку.

Лицо ее стало белым.

— Рассказывай! — едва владея собою и ясно чувствуя, как откуда-то снизу подкатывается к сердцу темная волна злобы, хмуро повторил Фома. — В молчанку играть нам поздно...

Из-под вздрагивающих ресниц Лизаветы побежали частые слезы.

Фому передернуло: вот задача! Ненавидел он эти слезы: от них все лопаются в груди. Хоть суйся в озеро головой. Из рук вся сила уходит. Не знаешь, с чего начать, что делать, как быть...

К счастью, кто-то затоптал на крыльце, шагнул на помост между летней и зимней избой, покашлял возле порога.

В избу вошел невысокий кудрявый парень с потным, покрасневшимся от долгой ходьбы лицом, с холщовым мешком под мышкой. Уви-

дев пунцовое от растерянности лицо Голубана и бессильно приткнувшись к дверному косяку заплаканную хозяйку, он смущенно отступил было назад, но задел за порог и остался.

— Чего тебе, Синяков? — недовольно спросил Фома.

— Да вот... я, значит, за этим делом!

Парень указал глазами на мешок.

— Ну?

— Я, значит, от бригадира Силантия! — будто решившись нырнуть в холодную воду, выпалил парень. — Нам позарез!

Он красноречиво провел здоровенной ладонью поперек горла, как видно, в точности повторяя наказ бригадира:

— Выхода нету!

— Ну?

— Видал тебя нынче кто-то в Завозном. Бригадир и велел: лупи, дескать, Яшка, следом прямо к нему домой! Выручит нас Голубан — мы на коне, а не выручит — завтра всем нам ханá!

Он снова провел багровой ладонью по мокрому от пота горлу и, не отрывая от Фомы красноречиво просящего взгляда таких же, как и у хозяина избы, пронзительно синих глаз, всем видом показывал: «Жду ответа!»

— Нужда-то в чем? — смягчившись, спросил Фома.

— Да в них, в костылях для шпал, для нашей узкоколейки!

— А-а, в этом. Чего же так срочно?

— Да так уж!

Обрадованный деловым вопросом, парень шагнул поближе к Фоме:

— Ремонт мы ведем на Полудинской ветке, к лесоучастку, а костылей для рельсов и не хватает! Осталось доделать всего ничего, а их, проклятых, и не хватило! Всего-то бы двести — триста...

— Здесь у меня что — склад, либо что?

— Склад не склад... а есть же!

— В конторе надо просить.

— Еще бы чего: в конторе! — Парень насмешливо хмыкнул. — Силантий пошел в контору, да там говорят, мол, ждите наряд по плану. А план, чай, в новый квартал! Вот бригадир и велел: спроси пойдя у дяди Фомы. Я, вроде как, помню... значит, об том бригадир Силантий Лукич припомнил, что, мол, еще в те поры, как вели мы ветку, костыли те по дурости разбросали. Значит, не берегли! А Голубан, — это опять же Силантий Лукич сказал... — мол, дядька Фома, бывало, идет с работы, так по дороге все костыли по штучкам в карман подберет. Потому — бережливый! — с неуклюжей лстивостью добавил парень. — Не нам чета! Это, значит, опять же не я, а он говорит, бригадир Силантий...

— Выходит, бросать костыли негоже?

— Куда там! Чего уж хуже — добро бросать! — поспешил согласиться парень. — От этого, вон, теперь и вышло нам позарез! Силантий Лукич оттого и просит по старой дружбе: мол, выручай нас, дядя Фома!

— Эх вы, путейцы! — сердито упрекнул Фома. — Не надо было... да уж ладно! Дам тебе, сколь найдется...

Минут через пять веселый, довольный парень зашагал с тяжелым мешком на горбу от избы по дороге к лесу. Глядя ему вслед, Голубан сердито велел:

— Скажи Лукичу... ежели будете разбрасывать и еще что ни что, ко мне не ходите. Ишь взяли моду!

Он крепко прикрыл выходную дверь — не столько от парня, сколько от баб и девонок, стоявших близко перед крыльцом, и вернулся в залу.

Сев у стола на прежнее место, некоторое время молча курил, потом приказал притихшей в кухонке Лизке:

— Поддай-ка мне шилу.

Лизка не поняла приказа и промолчала.

— Дай мне ту шилу! — построже велел Фома.

— Какую шилу? — с тревогой спросила Лизка и вышла в зальцу.

— Вон ту, сапожную, что потолще...

Он указал глазами на паз между бревнами, где в моховой прокладке ровным рядком торчали всякие шилья.

По примеру покойного деда Фома любил посапожничать в свободный час, и умница Лизавета даже во время большой уборки не трогала этот угол с разными шильями, самодельными резаками, баночками, гвоздями, обрезками кожи и дратвой с вплетенной в нее кабаньей щетиной.

— Зачем тебе шилу? — почувяв недоброе, вдруг озлилась и заупрямилась Лизка. — Вот еще выдумал: шилу ему подай!

— Надо мне, раз велю! — почти добродушно велел Фома. — Вон ту, которая с краю. Потолще.

Лизка взглянула в угол, по ее лицу прошла внезапная тень испуга и, будто обжегшись, она шагнула в сторону кухни:

— Не дам!

— Чего ты, дуреха? — с усмешкой сказал Фома. — Дай, говорю. Ну, живо!

Лизка вдруг вскинула кверху свои худые, жилистые руки, стиснула голову ладонями, закачалась и застонала. Две соседских девчонки, давно уже прилипшие носами снаружи к стеклам, нетерпеливо заерзали за окном в ожидании близкой развязки. За их спинами на траве перед крыльцом тревожно топтались взволнованные бабы во главе с Песковой Настасьей...

Погрозив кулаком девчонкам и оглянувшись на баб, Фома сердито пробормотал:

— Ну, что ты? Что? Не хочешь давать мне шилу, не надо! Сам дотянись. Слава богу, еще могу...

— Ну, на тебе. На, бери! — вдруг крикнула Лизка.

Выдернув из проконопаченного мхом паза короткое, толстое шило, она быстро сунула страшную железину в руки Фомы и вытянулась перед ним узкой грудью вперед, чтобы мстителю-мужу легче было ударить в сердце.

Девчонки за окошком взвизгнули и опроретью кинулись с завалины прочь.

Не обратив внимания на шум и мельтешение за окном, Фома спокойно достал с полочки над столом кусок точильного камня, обстоятельно поработал им, хотя шило и без того было острым. Потом примерился к самовару и сильно, истово крякнув, с маху ткнул острием самовар в то место, где сбоку, под ручкой, была давнишняя вмятина.

Горячая вода дымящейся струйкой вырвалась из лужонных недр ведерного самовара и зажурчала, расплескиваясь на полу у Лизкиных ног...

Из сеней в избу, едва переводя от усталости дух, вбежала теща Фомы. Увидев дочь, невредимо стоящей возле стола, а на полу исходящую паром лужу, она молча кинулась к самовару. Некоторое время старуха пыталась заткнуть проколотый бок самовара концом своей длинной юбки, потом, отскочив от него и суетливо прыгая возле стола, сердито запричитала:

— Ты что же это исделал? Ахти мне, господи! Вот беда! Самовар в приданое даден был мной Лизавете на свадьбу... а ты его шилой, бес

тебя раздери?! Аспид ты после сего! Гляньте люди, как шилой он ткнул... вот горе!

Фома, довольный, невесело рассмеялся: после точного удара шилом и особенно при виде взъярившейся тещи — на сердце стало вроде полегче. И то: простить разгулье Лизке было нельзя, и казнить родную бабу — негоже. Как тронешь ее — несчастную да худую? А самовар проткнуть — в самый раз! То самое, что и надо!

Он закурил и, оставив тещу и Лизку суетиться и прибираться в избе, прыгая на здоровой ноге, доскакал до крыльца.

Бабы молча ждали, пока он допрыгивал да садился, потом Настасья спросила:

— Это что же, Фома Федосенч?

Он сделал вид, что не понял вопроса.

— А что?

— Как это что?

Настасья была с мотыгой в руках, ладони — в земле, пришла в чем была, окучивая картошку. Похоже, разволновалась: ждала от него худое.

— Да вон,— смущенно сказала она, поглядывая на баб.— Девчонки видали, как ты самовар свой шилой проткнул!

— Это шилой-то? Верно. Как есть — проткнул! — легко согласился Фома.

— К чему же, скажи на милость?

— А все к тому, что тот самовар — самая что ни на есть разлюбимая Лизкина вещь! — пояснил Фома с довольной усмешкой.— Маленькой дадена ей с приданым. Уж так берегла его... пуще глазу! Теперь вот пушай повоюют обе над ним, коли об мужике печалиться не схотели...

Он слышал, как теща некоторое время ворчала и причитала, возясь в избе с посудой и самоваром. Потом сердито вышла из сеней на крыльцо, на ходу сказала: «У-у, аспид!» — и быстро засеменила коротенькими босыми ногами по травянистой тропинке к своей избе.

Лизка в доме молчала.

«Наверное, успокоилась. Может быть, плачет,— решил Фома.— И так, и так — хорошо: бабий грех нельзя оставлять без полного покаяния. Баба есть баба. Не то что мы, мужики. Мужик, он особого, петушиного рода. Оттого и спрос с мужика другой: с послаблением на природу, на петушиную нашу доблесть...»

Голубан проводил равнодушным взглядом тещу, потом Настасью Пескову и других гайболинских баб, разочарованно, как ему показалось, зашагавших прочь от его избы: не дождались законной расправы, не поживились ничем! Не было драки в избе Фомы Голубана. Не было и не будет: легче себя извести, чем руку поднять на Лизку. И надо бы, а нельзя: душа такое не позволяет...

Раздумывая об этом, томясь и вздыхая, Фома спустился с крыльца в огород — посмотреть на Лизкино рукоделье.

Здесь было не хуже, чем у Настасьи. За лето, пока он лежал в больнице, слабенькая, но ловкая работящая жена очистила в придачу к прежнему огороду еще с полсотки свежей земли. Теперь на новых грядках ровно торчали высокие стрелки лука да чеснока, укроп поднимал кудрявые корзиночки соцветий к ясному небу, благо — света здесь было много.

Если судить по часам да по курам, то вот уж, глядишь, и вечер. Птицы — тихонько поклохтывали, собираясь ко сну, а свет и не убавлялся: по свету — здесь день в разгаре. В летнее время и ночью белò, как днем. Ночи и не заметишь. Поэтому овощ и зреет быстро.

— Хороший овощ у Лизаветы! — не мог не признать Фома.— И то хорошо, что щепень с булыжиной, кои вынула из земли, она уложила

рядком на сырую тропку. Теперь до бани и до поливочной ямы в любую мокреть пройдешь по сухому. Как в городе, настоящая мостовая! Правильно сделала женка. Что ни скажи, а руки у ней золотые. Добрые руки...

Поковыляв между грядками, подышав духовитой их пряностью и почти успокоенный добрыми мыслями, он возвратился в избу. Подождал, поглядывая в окошко. Жены не видно. Прошел в полутемный, обвешенный лечебными травами «полог». И там никого.

Заглянул во двор. Тишина.

Тревожась, вернулся в залу. И только тут обнаружил, что нет бутылки.

Стояла бутылка с водкой на середине стола — стакан остался, бутылки нет.

Неужели от горя она схватила?

Он пошарил за цветочными черепушками на подоконниках, внимательно осмотрел верхний и нижний створы буфета, украшавшего залу, — не было водки.

Пустая бутылка нашлась в полутемной кухоньке, на полу. Значит, не вынесла Лизка его прихода. Выпила водку прямо из горлышка — и ушла. В первый же час — ушла...

Наливаясь обидой и злостью, он выскочил на помост.

Но тут на все голоса заскрипело старенькое крыльцо, в дверях показался рослый, как и Фома, колхозный бригадир Николай Поддужный, за ним — член правления сельпо товарищ Витухтин.

— Можно к тебе, Федосеич? — весело пробасил Поддужный. — Здорово! Как говорится, с возвращеньцем на главную базу!

— Спасибо...

Вслед за хозяином гости прошли в избу.

— Добро, что вернулся, — басил Поддужный. — Оно, конечно, беда...

Он выразительно оглядел костыль, потом перевел сочувственный взгляд на правую ногу Фомы с аккуратно подпернутой под коленку и туго перевязанной шнурком штаниной. — Да главное в том, что жив и здоров. Порядок?

— Терпимо.

— Так и запишем. Закажешь протез новейшей конструкции — и делу конец!

— Протез приволок с собой. — Фома указал на осиновую деревяшку с кожаным футляром для кульги, положенную на сосновый чурбак, служивший ему сиденьем во время сапожных дел. — Да к нему привыкать еще надо.

— Привыкнешь! За этим дело не станет. Такой-то орел!

Бригадир шутливо толкнул сидевшего на лавке Голубана кулаком в плечо:

— Мужик ты во всей красе. И месяца не пройдет, как опять запроешься на делянку...

Он закурил, опустил на лавку рядом с Фомой.

— А мы к тебе с делом.

Фома промолчал.

— Такая загвоздка, понимаешь ли, просто хоть бабам на глаза не кажись! Правильно говорю, товарищ Витухтин?

— Чего уж! Нам и в районе спасибо не говорят...

— А с бабами просто гроб! Спроси хоть свою Лизвету... Правильно я говорю? — Он огляделся, ища глазами хозяйку. — Аль дома нет?

— Нету. — Фома смутился: — К соседям, вроде, ушла...

— Ну, ну. Любую пойдя спроси. Замучили! Ну, хоть плачь! А дело, мужик, такое, — объяснил он в ответ на молчаливый вопрос Фомы: — Месяц прошел, как наш магазин закрыт. Бегают бабы в Завозное... эно,

куда! Туда четырнадцать да обратно четырнадцать. Это тебе не каша с коровьим маслом!

— С чего же?

— Да вот... Катерина Братищева, чай, слышал? Ах да, когда тебе было! Родить собралась, во-первых. А во-вторых, говорят, чего-то проторговалась!

— Это, не во-вторых,— недовольно поправил Витухтин,— а в самых во-первых!

— Считаю, что во-первых, ладно. Тут главное в факте! — Поддужный сокрушенно махнул рукой.— В кои-то веки выучили свою деревенскую девку на продавца, и нате-подите! То инкассатор, понимаешь ли, приезжал на мотоцикле: выручку она задерживала не по плану. То, понимаешь, ревизия из сельпо...

Фома не поверил:

— Катюшка-то? Вряд ли. Честная девка.

— Вряд ли, не вряд ли, а говорят — недостача. Может, неопытность, может, что. А только — закрыт магазин, и все тут. А нового продавца обещают, вроде, не скоро. Когда, Сергей Тимофеич?

— Теперь уж не раньше чем месяца через три,— подтвердил товарищ Витухтин.— Когда закончатся курсы.

— Видал? Пока Катерина родит, да пока еще, может, суд...

— Уж сразу и суд? — усомнился Фома.

— Как выйдет. Глядишь, так и лето протянут. А это нам не с руки! — Поддужный замаял окурочек на каблуке сапога, сунул остаток в горшок с геранью.— А ты у нас человек надежный. Вернее тебя в округе и не найти...

— Эно, как расписал!

— По истинной правде! — Поддужный просительно заглянул Голубану в глаза: по их пронзительно голубому цвету к мужику и прилепилось это прозвище с детских лет.— Советовался я в районе с председателем потребсоюза на этот счет, Фома Федосеич. Не можем, мол, бегать в Завозное каждый раз. Надо кого-то, мол, временно. Хоть пока вы с Братищевой разберетесь. И есть, мол, у нас такой подходящий... ты это, значит... который вполне способный. На все, мол, руки у нас в деревне!..

Он заговорщически перемигнулся с Витухтиным, но Голубан не заметил этого. Его поразило то, что только сейчас он вдруг обнаружил за окном, отгороженным от улицы пряно пахнувшими цветами: на краю ржавого болотца, куда уходил по низинке их деревенский ручей, валялась пьяная Лизавета. Она то с трудом поднималась на четвереньки, пытаясь встать и пойти, то с маху, не удержавшись, падала в грязь и затихала там, медленно загребая руками, чтобы не захлебнуться.

— Чего ты там высмотрел? — недовольно спросил Поддужный.— Я ему дело, а он — в окно!

Бригадир укоризненно покачал головой, потянул из пачки новую сигарету.

— Давай теперь ты, товарищ Витухтин.

— Чего тут много-то говорить? — Витухтин потер плохо выбритый подбородок, кашлянул, строго взглянул на Фому, беспокойно ерзающего на скамейке.— Дело ясное, поскольку местная продавщица Братищева Катерина, как нам, конечно, известно по точным данным, не оправдала доверия руководства сельпо. Вопрос о ней передан районному прокурору. Как только вернется из декрета, будем судить. Обнаружилась недостача на общую сумму в сто семьдесят два рубля семнадцать копеек.

Фому тянуло кинуться к Лизке, но было неловко делать это при людях, и он молчал. Вслушавшись в последнюю фразу Витухтина о растрате в сельпо, он невольно прикинул в уме: из этих денег, должно быть, не меньше чем с четверть сотни, забрала Лизавета тайком от него на

еду и на водку. Тоскует... от этого — пьет, а денег у бабы мало. Вот и брала их у Катерины под честное слово.

— А поскольку мы пока не в состоянии подыскать вам нового продавца, то и выходит, что местные жители вынуждены ходить за товаром в Завозное за четырнадцать километров! — недовольный молчанием Фомы, продолжал товарищ Витухтин таким строгим тоном, будто ставил это хозяину избы на вид за его недостойные упушения. — В виде исключения райпотребсоюз разрешил временно доверить магазин кому-либо из местных. Товарищ Поддужный рекомендует на это вас.

Голубан почти не прислушивался к тому, что обстоятельно и строго внушал ему товарищ Витухтин. Все его внимание ушло туда, где валялась пьяная Лизка. Полежав неподвижно с минуту, она пыталась подняться на непослушные ноги, но вновь бессильно валилась в размытое ручьем торфяное болотце.

— Чего ты туда уставился, говорю? — окончательно рассердившись, привстал и заглянул в окно Поддужный. — Ему говорят про дело, а он и не слышит!

Стыдясь обнаружить растущее беспокойство, Голубан кивком указал на окно.

— Да вон, вишь, баба моя в болотину повалилась.

— Да ну ты? — Поддужный взгляделся. — Верно! — И не то упрекал, не то одобрительно засмеялся: — Могучая баба! Который раз за последний месяц она в эту лужу, как выпьет, так спать ложится...

— Может, пойти помочь? — нерешительно предложил товарищ Витухтин.

— Ништо! — рассердившись на Лизку и на себя, отрезал Фома. — Когда отоспится, сама придет.

Лизка снова попробовала привстать, не удержалась, свалилась на бок, повозилась в грязи и, как видно, найдя положение свое удобным, окончательно успокоилась и притихла.

Фома отвернулся, обмял непослушными пальцами сигарету и закурил.

«Откуда у Лизки деньги на водку? — вернулся он к прежним мыслям. — И в остальном недостатка нет. Небось брала у Катюшки в долг? И она брала, и другие бабы «под запись» брали... вот и набежало этих сто семьдесят два рубля! Многие бабы так и живут: мужья — кто в Завозном на лесобирже, кто в тайге на лесоучастке, а кто — рыбачит. Заработок большой, да в дом-то приносит мало: чуть где получка, так дым коромыслом! Иной все до нитки спустит. Вот и приходится бабам брать у Катюшки Братищевой «под запись». А время придет отдавать — забудут: «Вроде, я этого, Катенька, не брала? Ты лишнее записала»... «Ох, ты уж, Катенька, запиши, а то мужик мой вернулся нынче совсем пустой!»... «Ты уж, голубка, еще чуток погоди»... «И с меня, Катерина, тоже»... Одна да другая, вот вам и сто семьдесят два рубля семнадцать копеек. Теперь из-за них хорошую девку будут судить...»

— Так как же, Фома Федосеич? — перебил тревожные мысли Поддужный.

— Да так, — чтобы поскорее отделаться от настойчивых уговоров, неожиданно для обоих вдруг согласился Фома. — Временно можно и попытаться. Пока сам на ноги снова, как следует, не встану, — добавил он, как бы оправдываясь перед самим собой.

— Ох, выручил! Вот уж да! — обрадовался Поддужный.

Сильно хлопнув Голубана по плечу, он на мгновение как бы даже залюбовался будущим продавцом: лицо — молоджавое, без морщин, густые светлые волосы лихо лежат вразлет. Могучий мужик, надежный!

— А я совсем не тебя хочу выручить, — покосился Фома на улыбающегося бригадира. — Катюшке надо помочь. А то ведь бабы у нас ка-

кие? «Катенька, запиши... Катенька, погоди!» А грузчики из райпотребма, вроде пьянчужки Ефима, только и зыркают, как бы чего стянуть во время развозки товаров по магазинам.

— Не знаю уж, как там бабы с твоим Ефимом, а только нас ты выручишь крепко. Уж поторгуй!

— Только вот торговать я, конечно, по правилам не умею.

— Как сможешь. Главное, чтоб начать!

— Потом и меня под суд?

— С тобой нашим бабам будет не сладко! — подлаживаясь, усмехнулся Поддужный. — Тебя не скоро под суд отдашь!

— Это уж так! — согласился Фома. — Все до грамма надо там перевесить. Акт по форме составить...

— Само собой!

— А я уж, как выйдет. На запись давать и капли не буду. Да, может, заставлю баб кое-что из долгов припомнить...

— И то! — поддержал Поддужный. — Значит, договорились?

— На время, — без радости подтвердил Голубан. — Пока Катерина Братищева не вернется...

Витухтин поджал суховатые губы:

— Вряд ли она вернется. Доверие навсегда потеряла. В тому же — после суда...

— Ништо! — упрямо сказал Фома. — Думаю, что вернется. Вина тут, видать, на всех. Доверилась — и пропала...

4

Когда Витухтин с Поддужным ушли, Голубан притащил из сеней корыто, вылил в него из самовара остатки еще горячей воды, разбавил ее водой из кадлушки. Потом приладил к ноге сверкающую белизной скрипучую деревяшку.

— Раз доктор велел, значит, надо тренироваться, — невесело подшутил он над самим собой. — Самый подходящий случай...

Прихватив для крепости и костыль, он размашисто зашагал к бо-лотцу.

Лизка сладко спала. Остроносая, маленькая, она лежала в грязи, откинув худую руку в сторону мужа, будто просила его о помощи...

Он вспомнил, как на их с Лизкой свадьбе сваха с покойной матерью пели любовные величания:

Сизый голубь сворковал,
Голубушку целовал.
Голубушка сворковала,
Голубана целовала!

И Лизке от его имени пели:

Сколь годов я по свету не ежился,
Сколь годов я по свету не хаживал,
Эдакой девицы не видывал:
Сколь статна она,
Сколь хороша!

Да и она сама перед свадьбой спела Фоме:

Когда примем с тобой золоты венцы,
Я тебе буду служечка,
Я твое буду кушати,
Я тебя буду слушати...

А пела она тогда, в девках, на диво: так редко кто и поет. Не только в деревне, но и в Завозном песенной заводчицы лучше ее и не было. Бывало попросят на посиделках:

— Ну-ка, Лизутка, сыграй чего-ничего...

— Да что-то, девки, голос вроде бы не бежит.

— Начни, он сразу и побежит!

— И ладно, начну. В сей час я вам в старых словах свою проголосицу покажу. Сама сочинила!

Да, пела и сочиняла. Теперь давно не поет. И ему давно не до песен...

С горькой, невольной жалостью Голубан глядел на жену, примеряясь, как лучше взять ее из болотца. Сколько раз в те первые годы он легко поднимал и нес ее на руках в избу! Бывало, после рыбалки на озере, уж обязательно выносил ее из лодки на сухой бережок, чтобы ножек не замочила. И дома носил не раз.

А с тех пор, как увидел однажды вместе с Игнатом, носить не стал. Пытался что-то ему объяснить — не захотел ее слушать.

Любил, а слушать не захотел. Спокойным да добрым был, а ласковым — не был. Так жизнь себе шла и шла: Лизавете далось хозяйство, Фома с утра до ночи на лесопункте. Что есть он, бывало, дома, что нет его дома. Он сам по себе, она сама по себе.

И вот — загуляла...

«Неужто не только Лизка, но я и сам виноват? — уже не впервые спросил он себя тоскливо. — Катюшку Братищеву, свояченицу Игната, стало мне жалко, а Лизку, выходит, нет? Однако, дороже ее и на свете нет! А ей, чай, тоже тепла охота...»

Не испытывая ни брезгливости, ни злости, которая совсем недавно мучила сердце, он с силой просунул левую руку в тухлую жижу, приладил, и рывком вытащил тело жены из грязи.

Лизка болезненно сморщилась, что-то пробормотала, но не проснулась. И все время, пока он нес ее от болота к избе, она непробудно спала на его плече, похожая на ребенка.

В избе он раздел ее донага и вымыл в корыте.

Не открывая запавших глаз, она вначале тревожно мычала, морщилась и время от времени вяло отталкивала его руками. Потом проснулась и, не мигая, уставилась удивленным взглядом зеленых глаз в строгое, покрытое капельками пота лицо Голубана.

Поняв, что она в избе, что муж моет ее в корыте, Лизка перевела удивленный взгляд на свои голые руки и ноги, даже слегка ощупала себя, покрытую мыльной пеной, вдруг застыдилась и попыталась вылезти из корыта.

— Сиди! — Он силой усадил ее обратно. — Вымою, тогда уж делай, что хошь...

И опять заработал жесткой мочалкой.

Лизка прикрыла глаза, притихла. Вздрагивая в сильных руках Фомы, она позволила вымыть и окатить себя чистой водой. С той же тихой девичьей стеснительной покорностью залезла под одеяло, когда Голубан отнес ее на кровать.

— Ну вот, — грубовато сказал он, стесняясь своей доброты. — Теперь на здоровье, спи.

Ощущение удивительной легкости, чистоты охватило Лизку. Что-то тайное, давнее шевельнулось в ее душе. Она хотела сказать:

— Спасибо!

Но не сказала. Только подумала про себя: «Прости меня, Фомушка... век того не забуду!» И с чувством давно не испытанного блаженства закрыла глаза — теперь уже до утра.



• • •

От Судиславля до Завражья
в Сорок Втором, в Сорок Втором
мела метелица лебязья
былинным пухом и пером.

Там было тихо и безлюдно
в Сорок Втором, в Сорок Втором,
леса уснули непробудно,
блестя печальным серебром.

В каком-то ватнике нелепом
в Сорок Втором, в Сорок Втором
я двадцать верст шагал за хлебом
и двадцать до дому потом.

Но даже птицам трудно было
в Сорок Втором, в Сорок Втором,
так обнищала и застыла
земля, живущая с трудом.

И все же было мне уютно
в Сорок Втором, в Сорок Втором,—
там годы детские поют мне
хрустально чистым голоском.

Я рад был солнечному свету
в Сорок Втором, в Сорок Втором.
И замела метель все это
былинным пухом и пером.

• • •

Идет поэт из сечи в сечу.
Гремят мечи. Скрипят воза.
Как полыхающие свечи,
горят во тьме его глаза.

И над березами, над рожью,
горелым воздухом дыша,
летит с такой поющей дрожью
его печальная душа!

И там, на вытопанных пашнях,
где воронье пирует, там
он поднимает веки павших
навстречу низким облакам.

Он, сняв шелом, в боях измятый,
несет воды из озерца
и моет пахнувшие мятой
святые раны мертвеца.

Навек проститься и оплакать!
И всех их, прежде чем зарыть,
и в стужу зимнюю и в слякоть
родным напевом озарить!

Никто не должен быть забытым!
Какой бы срок ни пролетел —
все будут слезы по убитым,
все не утихнет боль их тел.

И пепел падает на плечи,
и скорбен свет его лица —
идет поэт из сечи в сечу
и вечно жаждет их конца.

• • •

Вся влага земли — и роса,
и древесные соки,
болотные воды и мой,
человеческий, пот,—
все паром летит в небосвод голубой
и высокий,
сгущается в тучи и крутится там
и ревет.

Лихая вода (в том числе и мои
испаренья)
с небес низвергается...
Бешеный круговорот
все объединяет — людей, самолеты,
растенья,
ушедшее в вечность и то, что
с рассветом придет.

ТОВАРИЩ СЕРГО

Из воспоминаний

О товарище Серго — Григории Константиновиче Орджоникидзе писали историки, вспоминали в мемуарах мои сверстники.

Я не историк, не засел еще и за мемуары. Если будет суждено — займусь и этим. А пока я хотел бы восстановить в памяти некоторые его черты, свойства характера. Высветить какие-то грани, не замеченные быть может другими.

Когда Григорий Константинович сидел за столом, казалось, что он высок ростом, грузен. Крупная голова с буйной шевелюрой, большой лоб, огромные озорные глаза, мощные усы, волевой подбородок, широкие плечи и грудь. На самом деле, он был человеком сравнительно небольшого роста. Приятный, свежий цвет лица. Но бывал он и бледен, несколько одутловат, и тогда под глазами появлялись мешки. Сказывалась болезнь почек. Обычно он носил рубашку кавказского покроя, со множеством пуговиц от стоячего воротника до пояса. Ремешок кавказский, украшенный червленым серебром. Темные шаровары, мягкие, из козьей кожи, кавказские сапоги почти без каблуков. В последние годы он чаще всего ходил в кителе серовато-травянистого цвета. Верхнюю пуговицу кителя не застегивал, и из-под него виднелась рубашка неизменного голубого цвета.

Был у Серго характерный и очень приятный грузинский акцент. Неповторимая по интонациям речь состояла из коротких фраз, и не только каждая фраза, но и отдельное слово выражали массу тончайших оттенков: удивление, увлеченность, волнение, нежность, резкий протест. Это была речь человека экспансивного.

Кабинет Серго находился во втором этаже здания Наркомтяжпрома на площади Ногина. Оба окна выходили в проулочек против старинной церкви, выкрашенной в красный с белым цвет. Когда ему предложили кабинет в более спокойном месте, на одном из верхних этажей, он спросил: «А зачем?» — «Меньше людей будет толкаться», — ответили. Тогда он, как бы мимоходом: «А я именно для людей здесь и сижу. Вот придут ко мне старые люди, лифт остановится, каково им будет?»

Небольшой коридор, покрытый красной дорожкой. Слева — зал заседаний коллегии, дальше — комната помощников наркома товарища Шахназарова (по контролю исполнения) и товарища Маховеера. Перед приемной — небольшая комната старшего помощника Анатолия Семушкина. С товарищем Серго его связывала долготелая дружба и совместная работа еще со времен гражданской войны. Кабинет товарища Серго необычайно прост.

У окна письменный стол. На нем три телефона, очиненные разноцветные карандаши в специальном стаканчике и стопка чистой бумаги или блокнот. Скупое, ничего лишнего. Служебных бумаг Григорий Константинович у себя не задерживал, как правило не писал на них никаких резолюций, а тотчас переправлял соответствующему работнику, предварительно переговорив с ним лично или по телефону.

Ежедневно утром на столе лежала новая сводка по отраслям о ходе выполнения ранее принятых решений ЦК партии. Какой-нибудь «сбой» в ходе этих работ отражался на запланированном товарищем Серго рабочем дне. Он ломал все, отменял совещания и выезды и начинал заниматься только этим.

• • •

Придя в наркомат, Орджоникидзе работу начинал в приемной. Здесь его ожидало много посетителей, главным образом иногородних: директора заводов, рабочие, ученые, мастера участков.

Он подходил к каждому, пожмал руку. Незнакомым представлялся, для знакомых находил слова дружбы, участия. К примеру так:

— Здравствуй, дорогой! Зачем пришел в такую рань? Какое дело ко мне?

Или:

— Ну как, выписал жену из больницы?

Нередко тут же, в приемной, решались деловые вопросы, он обращался к Анатолию Семушкину:

— Позови, пожалуйста, товарища П. и скажи, что Серго согласен.

А о другом:

— Скажи товарищу М., что Серго в курсе дел, пусть решают, как договорились.

С третьим совсем иначе:

— Прошу подождать, буду иметь с вами разговор.

Этот бурный человек всегда приносил с собой юношеский задор, соединенный с пытливостью ученого и строгой дисциплиной революционера.

Окончив прием, Серго, если не было совещания коллегии или заседания в ЦК, как правило, отправлялся на заводы, в конструкторские бюро, затем заезжал домой поесть, отдохнуть и возвращался в наркомат. Здесь уже работал до поздней ночи, а иногда и до утра. Когда ему бывало худо, уходил в маленькую комнату отдыха за кабинетом.

• • •

Поражала непосредственность Серго. Он часто распался, потом сам же себя осуждал и искал способ смягчить свою резкость.

Был случай, когда «закозлилась» домна на одном из металлургических комбинатов, и товарищ Серго задержался в кабинете дольше обычного. Он ждал известий о ликвидации «козла».

Вошел заместитель начальника технического управления товарищ А. В. Зискинд — по какому-то своему делу. Товарищ Серго, измученный ожиданием, сразу же обрушился на Зискинда с градом упреков. Все больше распался, он еще долго обличал бы ни в чем неповинного работника. И вдруг после самой гневной тирады тот расплакался. Серго разом остановился:

— Что с тобой?!

— Вы ругаете меня, а я не имею отношения к этому комбинату.

Серго подошел к Зискинду, обнял за плечи и виновато сказал:

— Не сердись, пожалуйста, надо выговорить душу. Завенягин далеко, а ты, свой человек, рядом. Так всегда бывает, но это нехорошо.

• • •

Он не выносил лжи, и человек, однажды совравший, переставал для него существовать.

Вспоминаю, на коллегии обсуждался вопрос о строительстве одного металлургического завода. Выяснилось, что пуск его задерживается сооружением электростанции. При этом директор будущего завода ссылается на то, что приказ товарища

Серго о поставке энергооборудования не выполняется.

Начальник строительно-монтажного главка товарищ Ж. дал справку, что оборудование поставлено и электростанция здесь не при чем. Директор завода продолжал настаивать на своем. Тогда Григорий Константинович спросил начальника Главэнерго Глеба Максимилиановича Кржижановского, который сообщил, что по его сведениям оборудование для электростанции еще не поступило.

Товарищ Серго тут же обратился к товарищу Ж. со словами:

— Пожалуйста, иди в ЦК и скажи, что Серго с обманщиками не работает. Ты не имеешь права быть начальником.— И тут же перешел на «вы».— А о вашей дальнейшей работе — если хотите, заходите, поговорим. Заодно имейте в виду, что выделенная вам квартира остается за вами.

Мелочность была противна натуре Серго.

В скобках замечу, что товарищ Серго обращался на «вы» только к тем людям, с которыми по обстоятельству дела был строг, отчитывал. А к людям, которым верил, он относился с нежностью и говорил им всегда «ты», причем это могло случиться через 10—15 минут после знакомства, если устанавливался контакт и взаимопонимание.

• • •

Однажды начальник отдела труда и зарплаты попросил у Серго санкции на увольнение одного из работников.

— Почему? — удивился Серго.— Хорошо воевал, честный партиец...

— Бездейтелен,— отвечали ему,— приходит на службу аккуратно, но никакой отдачи.

— Может быть, не успел раскрыться, бывают такие натуры...

— Нечему раскрываться, товарищ Орджоникидзе! Ни одного самостоятельного задания выполнить не сумел. Мы уж не в первый раз

ставим перед вами вопрос об его увольнении, и вы все сомневаетесь. Знаете что, Григорий Константинович, если вы так уж хотите сохранить его в штате, то разрешите, я буду два раза в месяц отправлять зарплату ему домой, пусть только не приходит в наркомат.

Такое предложение озадачило Серго. Потом он расхохотался и сказал:

— Ладно, уговорил... Я невысокого мнения о человеке, который сегодня не может быть умнее, чем был вчера... Но обязательно подумай, где он может быть полезен.

Серго не признавал никаких разговоров о невозможности выполнить план или решение ЦК. Он не выносил маловеров и нытиков, но совершенно преобразился, когда начальник главка или директор завода говорили ему, что для выполнения плана нужна его помощь.

— Нет неразрешимых задач,— утверждал Орджоникидзе.— Есть безынициативные работники.

• • •

Серго чрезвычайно интересовала и личная жизнь работников тяжелой промышленности — условия быта, отдыха. Это в равной мере касалось и его ближайших помощников, и самых скромных работников учреждений, заводов. В подобных заботах ему очень помогала его жена и верный друг Зинаида Гавриловна, возглавлявшая движение Советов жен инженерно-технических работников.

Как я уже говорил, Серго работал допоздна. Раньше трех, четырех часов ночи он не покидал Наркомтяжпром.

Однажды, уходя домой, Григорий Константинович обнаружил, что в одной из комнат все еще работает сотрудница управления делами товарищ Г. Серго велел ей собрать бумаги, запереть стол, одеться, для надежности усадил ее в свою машину и отвез домой в Петровский парк, где Г. в деревянном ветхом домике жила со своей старенькой мамой.

Наутро, войдя в свою приемную, он прежде всего попросил вызвать к себе кого-либо из управления делами и приказал:

— Прошу, не оставляйте на ночные дежурства женщин — это можно делать только в крайнем случае.

• • •

Товарищ Серго говорил:

— Убеждениями не жонглируют, убеждения не источник дохода, убеждения — смысл жизни. Если у человека есть убеждения, пусть даже ошибочные, с ним надо спорить, его надо убеждать. И в рассуждениях ошибающегося человека могут быть полезные зерна.

Как известно, в архитектуре того времени были различные направления. Но товарищ Серго ни разу не перечеркнул чей-либо замысел в угоду своим личным взглядам.

Когда по приказу товарища Серго было предпринято строительство санаториев для работников тяжелой промышленности, два известных архитектора предложили проекты, взаимно исключаящие друг друга. Орджоникидзе долго стоял возле проекта Гинзбурга, пожимал плечами и говорил:

— Немножко дико, но может быть потому, что непривычно.

А у проекта Кузнецова разводил руками:

— Все спокойно, никто ругаться не будет, так было еще при Воронцове-Дашкове. — И внес предложение: — Давайте, товарищи, построим в Сочи по проекту Кузнецова, а в Кисловодске по проекту Гинзбурга. Пусть соревнуются. Но при одном условии: чтобы это было хорошо и чтобы нам не было стыдно перед потомками. И договоримся еще об одном: планировать помещения так, чтобы каждому, кто поедет отдыхать, давалась комната или квартира. Пусть берут туда свои семьи. Наши работники так перегружены, что редко встречаются с женами и детьми. Пусть отдыхают вместе!

Оба санатория были построены и стоят и поныне.

• • •

Как-то поздно ночью, товарищ Серго позвонил начальнику Главстанкоинструмента товарищу А. Не обнаружил его на работе, позвонил к нему домой и узнал, что у товарища А. собрались друзья отметить день его рождения.

Товарищ Серго поехал к товарищу А. и внезапно предстал перед собравшимися.

Григорий Константинович не пил. Он пригубил бокал, пожурил товарища А. за то, что тот скрыл от него день своего рождения, поздравил семью и уехал.

• • •

В 1934 году отменили карточки. Но с питанием было довольно трудно. В цокольном светлом этаже Наркомтяжпрома устроили столовую. Поначалу в столовую было не пробиться, но прошло несколько дней, и посетителей становилось все меньше и меньше. Причина была проста: в столовой готовили невкусно, порядка в ней не было.

Однажды товарищ Серго спустился в столовую, поел, а потом вызвал к себе в кабинет директора столовой тов. Н. и управляющего делами. Выяснилось, что директор выдвинут на эту работу вопреки своему желанию.

Было приказано: поставить на заведование опытного ресторатора, а товарища Н. направить на работу по специальности.

• • •

Товарищ Серго ничему не верил на слово. Перед заседанием коллегии он встречался с людьми, разносторонне изучал проблемы, поставленные на обсуждение, сопоставлял различные точки зрения. Только составив собственное мнение, он считал возможным принимать участие в дискуссии.

Ему были ненавистны поверхностные всезнайки и невежды.

— Не знаешь — спроси. Большевик — это, в первую очередь, интел-

лигент. Интеллигентность определяется не дипломом. Душа должна быть интеллигентная, честная, принципиальная, убежденная.

• • •

Он высоко ценил комсомол. Выезжая на стройки и на выбор новых площадок для строительства, он брал с собой не только специалистов, но и работников ЦК комсомола, часто товарища Косарева. Он приучал их к мысли, что нельзя руководить без крепких знаний, без общения с людьми, во имя которых и чьими руками все это делается.

Его повседневно занимали проблемы науки, причем не обязательно относящиеся к нуждам тяжелой промышленности. «Науку к станку», — и на заводах появились студенческие аудитории, заводы-втузы, факультеты особого назначения (фоны), которые оперативно помогали молодым командирам производства без отрыва от него овладевать теоретическими знаниями. По инициативе товарища Серго создается целая сеть научно-исследовательских институтов, в том числе по атомной физике и низким температурам, физике твердого тела, электрофизике и физической химии. Именно в этот период наиболее плодотворно начинают работать А. Иоффе, Н. Семенов, И. Губкин, А. Бах, А. Туполев, И. Тамм, Н. Федоровский, А. Карпинский, С. Вавилов, С. Чаплыгин, Э. Брицке... В их институтах и лабораториях развернулись таланты, ставшие впоследствии украшением мировой науки — Л. Ландау, И. Курчатов, Я. Френкель, Ю. Харитон...

Товарищ Серго всячески поощряет развитие научно-технической печати. Перечитайте комплекты газет «За индустриализацию» — это школа для любого хозяйственника и журналиста. При нем же было создано «ОНТИ» — объединение научно-технических издательств, журналы «Социалистическая реконструкция и наука» («СОРЕНА»), «Техническая пропаганда», десятки отраслевых журналов и т. д. и т. п.

Индустриальные гиганты строились тогда еще допотопными методами. О кранах, экскаваторах приходилось только мечтать. Даже бетон — и тот замешивали и утрамбовывали ногами. Работали в стужу и жару. Ели впроголодь, спали в землянках и бараках. Шли сложные и противоречивые процессы в деревне и в городе. Новое рождалось в муках. В ходе стройки готовились кадры рабочих. Курсы техминимума для рабочих приняли массовый характер, подобно системе ликбеза, землекоп становился фрезеровщиком; кузнец или станочник, проявивший качества организатора, делался командиром производства; молодые инженеры — директорами комбинатов. Вчерашний журналист Завенягин, писавший острые статьи на технико-экономические темы в районной газете, стал директором крупнейшего металлургического комбината в Магнитогорске.

Старый большевик, художник по призванию, товарищ Франкфурт возглавил Кузнецкстрой. Коробов, Гвахария, Бутенко, Мазай, Джапаридзе, Злочевский, Манаенков — всех их не перечислить, выдвиненцев Серго. Крупнейшие стройки и заводы он вверял комсомольцам, и заводы эти назывались комсомольскими. Многие не верили в эти эксперименты, а Серго верил, и не зря. Но он не только верил, он всегда готов был помочь. В случаях неудач не лишал доверия, не топтал достоинства людей, а подставлял свое плечо.

Затем наступила пора, когда круг его воспитанников стал сужаться... Он продолжал работать с ожесточением, упивался работой, был счастлив, но часто мрачнел, сталкиваясь с перегибами, пытался выяснить источники их возникновения. Но в ту пору он еще не испытывал мук и недоумения, вызванных фактами, которым партия положила конец уже без Серго.

• • •

...Я помню на столе товарища Серго под стеклом записанные им слова Феликса Дзержинского: «Я не

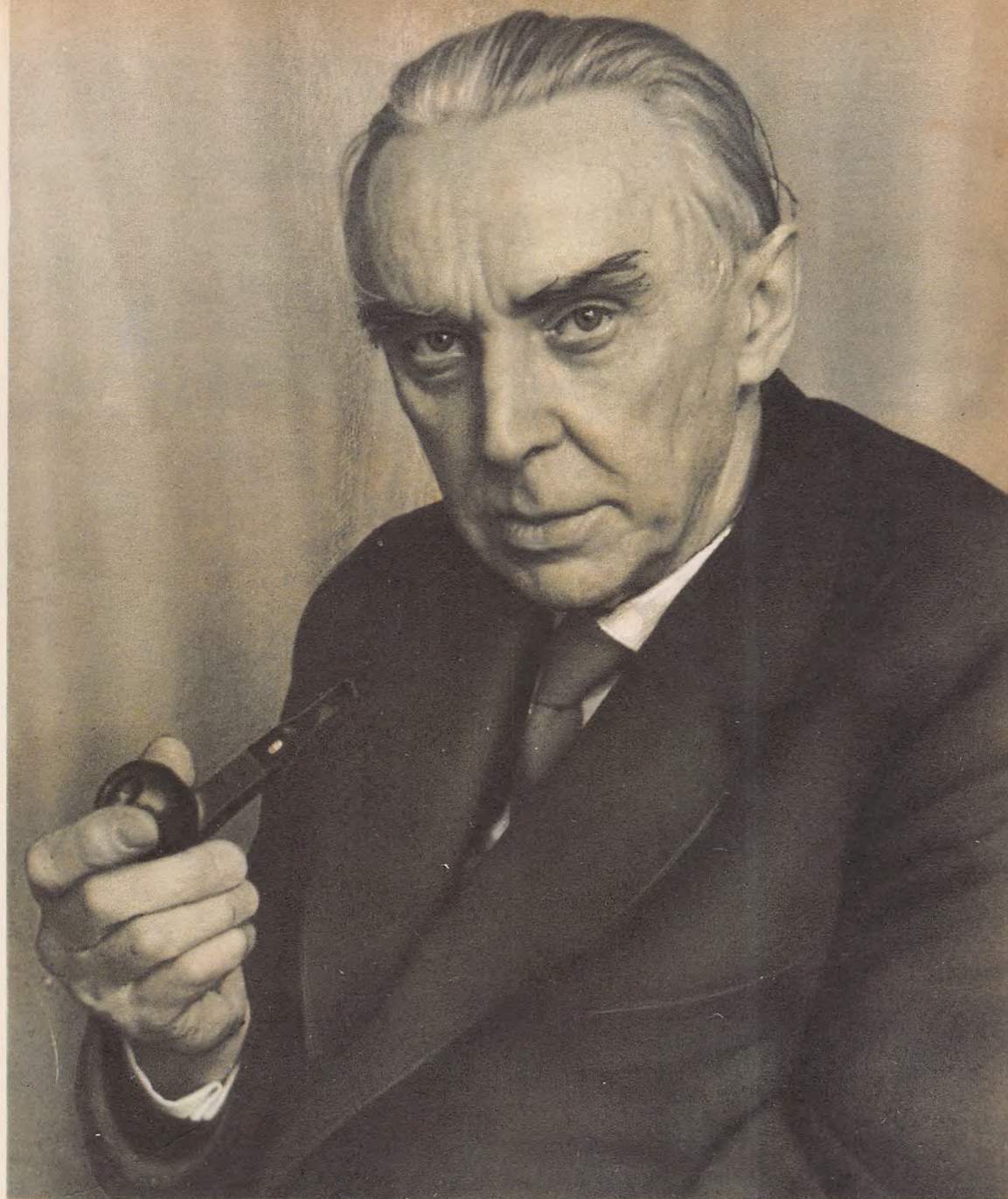
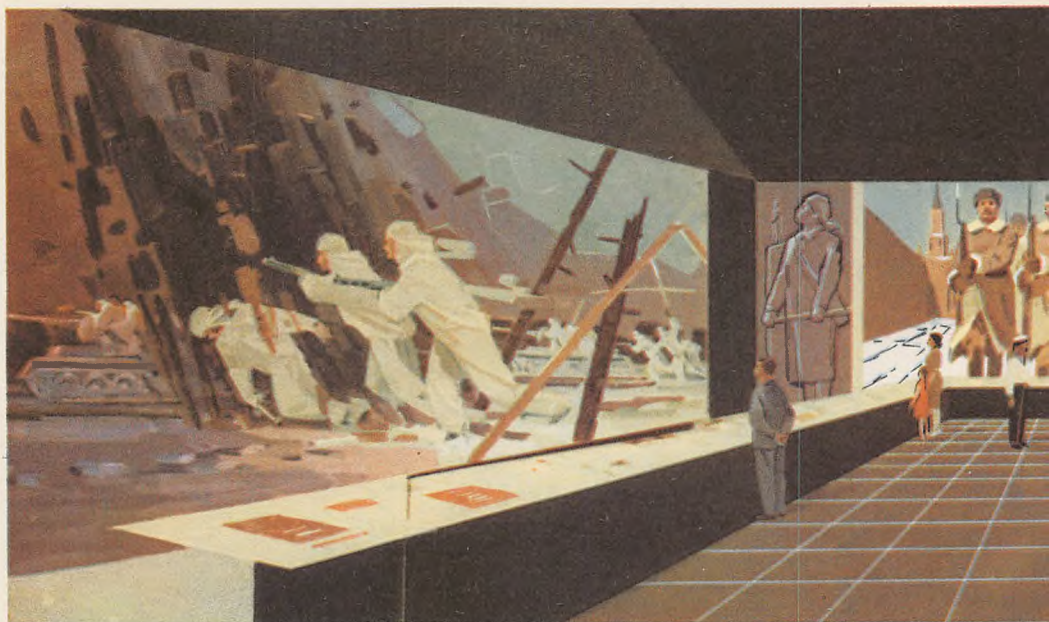
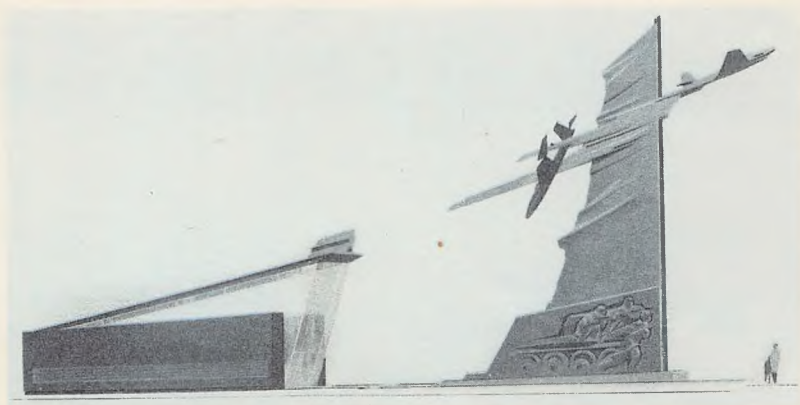


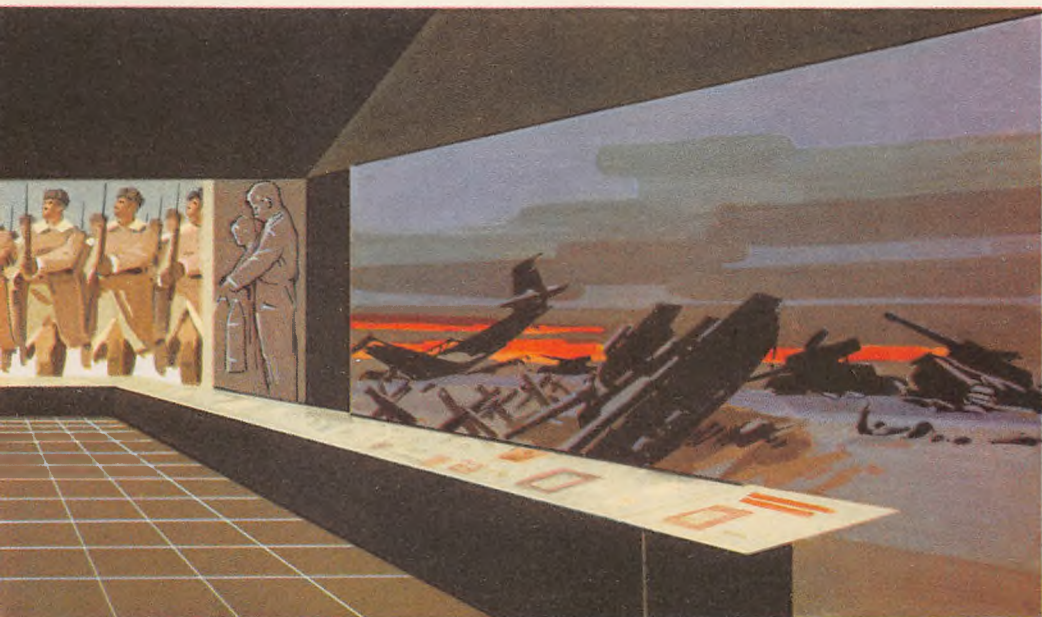
Фото А. Лесса

**КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФЕДИН**



**ЭСКИЗ
МЕМОРИАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА
МОСКОВСКОЙ БИТВЕ**





Прошло уже двадцать пять лет со времени одного из самых знаменательных сражений Великой Отечественной войны — битвы за Москву. И сейчас, оглядываясь на события тех дней, мы, художники, скульпторы, архитекторы, особенно остро испытываем чувство неоплаченного долга перед теми, кто отдал свою жизнь в боях за Москву.

В этом номере репродуцирован эскиз комплексного сооружения, посвященного разгрому немецко-фашистских войск под Москвой. По замыслу автора эскиза, художника студии имени Б. М. Грекова П. Т. Мальцева, памятник должен состоять из павильона-музея и монумента, в котором конкретный геройский подвиг летчика, таранившего самолет врага, обобщается в образ подвига и победы нашей Родины. В музее, стены которого предлагается оформить декоративными панно на

тему «Оборона Москвы и разгром фашистских войск под Москвой», должны быть выставлены документы и реликвии тех героических дней.

Мне кажется, что проект динамичен; выразителен, современен, емок по содержанию и отражает характер и напряжение битвы за Москву. Для осуществления его, очевидно, не потребуется больших средств — это предусмотрено эскизом.

К сожалению, до сих пор наш опыт сооружений такого рода оставляет желать лучшего, как правило он подтверждал старую истину, что тот, кто не может делать хорошо, — делает всегда дорого.

Мне кажется, что этой публикацией может быть начат серьезный разговор о мемориальном памятнике Московской битве, который еще предстоит соорудить в столице.

*Народный художник СССР
И. И. Жуков,
художественный руководитель
студии им. Б. М. Грекова*



На Театральной площади

**РАБОТЫ ХУДОЖНИКА
Г. ХРАПАКА**

**ГАЛЕРЕЯ
"МОСКВЫ"**



Москва осенняя

Декоративный натюрморт





Вечер на Пушкинской площади

Трубная площадь зимой





Московская улица

Подмосковный пансионат





Андроников манастир

У двора ширвин-шахов (Баку)



умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего».

• • •

В 1933 году из Баку, где я участвовал в работе научно-технической конференции, меня вызвали в Москву, к товарищу Серго.

Мощный для того времени, но очень неуклюжий, на огромных колесах самолет «К» доставил меня в столицу. Первым делом я заехал домой. Мой маленький сын Юлиан, тяжело болевший воспалением легких, уснул у меня на руках после того, как в течение трех суток извелся сам и извел домашних. И вдруг раздался невероятный грохот, и, к великому ужасу, мы обнаружили, что в соседней комнате провалился пол. Дело в том, что под нашим домом по Каланчевской улице полузакрытым способом прокладывалось метро. Кое-как пристроив своих к соседям, я нанял извозчика и на «предельной скорости» поехал в наркомат. И, конечно, опоздал.

Анатолий Семушкин, человек высокой дисциплины, встретил меня строго, но смягчился, узнав о происшедшем. К товарищу Серго он меня пустил не сразу, а сперва дал свою бритву и белый подворотничок — Григорий Константинович не выносил неопрятных людей.

В этой части своих заметок мне неизбежно придется говорить о себе. Но дело ведь не во мне, а в товарище Серго. На моем месте мог оказаться другой молодой человек, которого он привлек бы к той работе, о которой пойдет речь.

Даже не поздоровавшись, товарищ Серго спросил строго:

— Где семья?

Видимо, ему обо всем рассказал Семушкин.

— У Столбовых, — отвечаю.

Товарищ Серго попросил вызвать кого-нибудь из управления делами. Пришел заместитель начальника.

— Есть у нас квартиры?

— Готовых нет. В Спасо-Наливковском переулке дом еще только строится.

— В каком он состоянии?

— Закончены штукатурные работы, настиляется паркет, лестницы нет.

— Так вот, вместо ступеней пусть положат трап ко второму этажу. Выдели там одну квартиру. Прикажи перевезти семью этого товарища сегодня же. Малярные работы сделают аккуратно, когда уже там будут жить. Постарайся поставить телефон.

— Но, Григорий Константинович, ведь сейчас двенадцать часов ночи...

— Да, а в семь часов утра семья должна быть на месте.— И с такой усмешкой: — Ведь мы с тобой и не такие дела проворачивали... Имей в виду, если просьбу не исполнишь, то я тебе, товарищ Каинсон, поставлю где-нибудь Каин-сонову печать.— Засмеялся и мягко вытурил его из кабинета. А затем — ко мне:

— Позвони семье.

Я позвонил к соседям, попросил к аппарату жену. Товарищ Серго взял из моей руки трубку и сказал совершенно для меня незабываемое:

— Галина-джан, это говорит с вами товарищ Орджоникидзе. Извините меня, пожалуйста, я задержу вашего мужа у себя. За вами скоро приедут и перевезут на новую квартиру, и муж уже придет по новому адресу. Все устроится хорошо.

Закончив разговор, Серго задал мне совершенно неожиданный вопрос:

— Фантазировать, мечтать любишь? Не стыдись признаться, что любишь.— Выдвинул один из ящиков своего стола, вытащил томик Ленина, постучал по нему пальцем.— Здесь напечатано «Что делать?..» В нем, между прочим, сказано, что большевик должен быть мечтателем.— Вытащил еще несколько книг и среди них научно-фантастические: Жюль Верна, Уэлл-

са и две книги Богданова «Инженер Мэни» и «Красная звезда». — Пони-маешь, читаю, когда бывают свободные минуты. Люблю мечтать. У меня к тебе есть предложение помечтать и возглавить доброе дело. Видишь ли... Скоро Семнадцатый съезд партии. Надо отчитаться перед народом наглядно. Ты знаешь, в прошлом году была открыта выставка «Сто лет прогресса в Америке». А мы хотим показать, какие чудеса мы сделали за пять лет, какие наши достижения. Тут два наших товарища уже полгода работают над выставкой. Потратили много денег. До съезда осталось всего тридцать дней, а еще никто палец о палец не ударил. Нет даже плана. Послушай, тебе дается партийное поручение организовать такую выставку.

— Григорий Константинович, вы, наверно, ошиблись, я не подготовлен для такого большого сверхударного дела. Не справлюсь, не могу, не сумею.

А он свое:

— Придумал с трубами для паровозов, придумаешь и выставку. Послушай, я верю в молодежь, в комсомольцев. Дай вам ассенизационный обоз, вы завтра же выкрадите его в голубой цвет и сделаете так, чтобы он пах сосновым экстрактом. Послушай, иди думай, давай свой самый фантастический план и считай меня своим помощником.

Совсем под утро меня отвезли домой. Моя семья уже расположилась в новой квартире. Конечно, все это было как в сказке, но удивляться происшедшему у меня не было сил, я был просто подавлен той задачей, которую поставил передо мной Серго. Дождавшись утра, я помчался в газету «За индустриализацию». Нужно было посоветоваться, полистать литературу, статьи, узнать хоть что-нибудь о том, как вообще готовятся выставки. А по дороге в редакцию думал: посетители выставки должны прежде всего ощутить тот ритм, которым живет наша страна, услышать грохот нашей стройки, увидеть наши достижения (кстати, именно так: «Наши достижения» и предложил мне Серго на-

звать выставку). Все это нужно показать на фактах. «Факты — упрямая вещь», — говорил Ильич. Стало быть, ставить макеты предприятий нельзя. «Вранье, — скажут предубежденные или ничего о нас не знающие иностранцы, — можно соорудить какой угодно макет». Значит — не музей, не статичная экспозиция, все должно действовать, быть взаправдашним.

Приезжаю в «За индустриализацию». И, помнится, очень быстро была создана бригада по разработке плана экспозиции.

Пять дней работы, и вот я кладу на стол Серго объемистый план экспозиции выставки. Он взвесил его на ладони:

— Слушай, здесь же очень много.

— Около трехсот страниц.

— А если коротко?

— На нашей выставке все, что мы умеем делать, должно быть в движении.

Серго обладал способностью все схватывать на лету. Он вдруг обрадовался:

— Слушай, ведь на всех выставках пишут: «Руками не трогать!» Да? А мы напишем: «Все трогай руками! Все пробуй!» Можно так написать?

— Можно, — ответил я.

Серго встал из-за стола:

— Дорогой! Иди, работай! Ставь трактор! Настоящие станки! Приборы! Слушай! Сейчас новую машину выпускают, делает пять тысяч пельменей в час. Поставь у себя. Пусть там их делают, варят и кормят, а? Подожди! А ты можешь поставить новый линотип? Его сейчас начал выпускать завод имени Гельца. Можешь! Так будешь выпускать газету и всем раздавать! Слушай! А еще мы освоили новую машину для папирос. Пусть делает папиросы, пусть там же курят. — И добавил: — Только не в залах!

С удовольствием потирая руки, он прошелся по кабинету:

— Все будет вертеться, все будет работать, все трогай руками...

Хорошо! Пойди к Зангвилю, он поможет тебе составить смету, будет вас финансировать. Обо всем мне докладывай!

Взял меня за плечи, проводил к двери:

— До свидания!

И у дверей добавил:

— Будем формировать приемочную комиссию.

Я разволновался: подумать только! Уже формировалась правительственная приемочная комиссия, а еще никаких практических дел мы не сделали. С тем я и ушел.

О том, как мы готовили выставку, я могу или рассказывать очень много, или уж не рассказывать ничего. В этих воспоминаниях о Серго я скажу только, что в назначенный срок выставка была открыта, имела широкий резонанс, получила признание в советской и зарубежной прессе.

Серго не раз и не два наведывался к нам в Политехнический музей и следил за тем, как идут работы. Однажды он поманил меня пальцем:

— Слушай, мы думаем тебя награждать, а не похоронить. Ты почему мало спишь, почти не бываешь дома? На кого ты похож?

Я сказал что-то о том, что я не один здесь такой, нас здесь тысяча человек. В разговор вмешался мой помощник по административной части Александр Малов:

— Товарищ Орджоникидзе, у нас здесь работа идет круглосуточно, и он действительно не может отлучиться.

— А вы будьте хитрые,— возразил Орджоникидзе,— я старый конспиратор, научу вас. Вон, видите, стол стоит. Большой, для заседаний. (Когда он только успел все углядеть?). Перекройте его каким-нибудь полотном, а внизу положите матрасик. И кладите его спать под этот стол. Днем идите часик, да ночью на три. Силой укладывайте! Нужно уметь здорово работать, но нужно уметь и минимально отдыхать. А почему такой худой?! Наверно не ку-

шаешь! (До сих пор не могу узнать, кто ему наябедничал).

Осмелевший Александр Малов вдруг вздохнул:

— У нас тут с едой неважно. Мы еще подкармливаем представителей завода, которые налаживают оборудование.

Серго укоризненно сказал:

— Такое дело делаете и такого пустяка организовать не можете. Вот, возьмите записку в Наркомвоенмор, получите там полевую кухню. Будете в ней доставлять пищу из столовой Наркомтяжпрома и кормить всех работающих. Ничего, пусть столовая тоже поработает на нас...

• • •

Я вспомнил Орджоникидзе — мягкого и заботливого человека. Но однажды мне довелось увидеть Серго разгневанного.

Дело было так.

Один из московских заводов на три дня задержал поставку оборудования для нашей выставки. Несмотря на все усилия, предпринятые нами, его директора, товарища Т., мы обнаружить не могли. Пришлось докладывать Семушкину, а через него — Орджоникидзе. И вот среди ночи меня вызывают к Серго. Вхожу в кабинет как раз в тот момент, когда Серго спрашивает у человека, стоящего против его стола:

— Слушайте, товарищ Т., почему вас так долго не могут разыскать на работе?

— Григорий Константинович, вы же знаете, как я занят...

— Он занят! А как вы думаете, товарищ Т., я занят меньше вас? Так вот, должен вам сообщить, что даже тогда, когда мне удастся вырваться на полчаса в Большой театр на «Князя Игоря», да и то только на мои любимые «Половецкие пляски», я всегда сообщаю Семушкину, в какой ложе я буду сидеть, в каком ряду и на каком месте. Да и вообще, слушайте, товарищ Т., где вы могли быть заняты? На заводе? В Госплане? В райкоме? Парткоме? Дома? Мы звонили во все эти места, вас там нет!

Т. начал оправдываться, но Орджоникидзе резко перебил его:

— Послушайте, товарищ Т.! У вас хороши дела на заводе. Но почему? Коллектив золотой! Не нужно выезжать на плечах хорошего коллектива, нужно самому быть хорошим человеком, в том числе и в моральном отношении. Глупость, фанфаронство принимает инфекционный характер. Нам уже не один раз жаловались на то, что вы забываете семью и развлекаетесь на стороне.

Серго встал, несколько раз прошелся по кабинету и вдруг произнес громовым голосом:

— Товарищ Т. Не развлекайтесь так интенсивно!

Мы с Т. вышли в приемную. Он тихо спросил у меня:

— Когда вам будет нужно это оборудование?

— Вчера,— ответил я.

— Ладно, утром пришлю.

• • •

Все меньше остается нас, которым выпало счастье работать под руководством Г. К. Орджоникидзе. Если каждый из нас сделал что-то хорошее в своей жизни, то этим мы обязаны и ему — нашему товарищу Серго.

Фото автора

БЕРЕГ КРЕВЕТОК

Встреча в джунглях

Джунгли пахли тревожно и сладко. Запах тления исходил от старой листвы, постепенно опадающей с нижних ветвей деревьев. Верхний полог леса был так густ и зелен, что даже могучие лучи тропического солнца едва пробивали его, и сверху сочился зеленоватый призрачный свет.

Мы шли по тропе, прислушиваясь к пронзительным крикам птиц и жалобным песням цикад. Иногда вокруг возникали шепот, шуршание, потом все смолкало, лишь под ногами потрескивали сухие ветки.

Мы долго шли по тропе и уже порядком устали, когда деревья, наконец, раступились. Я даже зажмурилась от хлынувшего потока лучей.

На поляне стояли три хижины — связанные из жердей четырехугольные корпуса, высокие и устойчивые, обмазанные глиной. Двухскатные крыши из пальмовых листьев, искусно сплетенные в покрытие, напоминающее нашу северную дранку. Отдельно кухни, другие пристройки — все как в обычных лесных камерунских селениях. И в то же время на этих трех хижинах лежала печать запущенности.

Джунгли зеленой массой напирала на них и уже поглотила пристройки. По серым жердям стен ползли лианы. Они разлеглись на крышах, свешивались до земли. Длинная, тонконогая пальма шагнула вперед и склонила крону над одним из домов, словно старалась закрыть его от постороннего взгляда. Мелкие листья красного дерева были темны и шептались таинственно, как заговорщики. Вокруг — пустынная глушь. Ни вездесущих ребятишек, ни девушек, делающих себе затейливые прически, ни женщин, склонившихся над сохнувшими бобами какао.

Но вот из-за хижины выглянул поросенок. Худой, черный, он испуганно повернулся на длинных прямых ногах и бросился в лес. Где-то пропел петух, заквахтали куры, но сразу же смолкли.

— Кто здесь живет? — спросила я гида.

— Можно зайти, — ответил Поль. — Жители будут довольны вниманием.

Мы свернули на боковую тропу, и сразу из леса выскочила собака. Глухой, хрипловатый голос позвал ее. Собака сошла с дороги и скрылась в лесу.

Под длинным, продолжающим крышу навесом сидел на обрубке ствола старик. Он вырезал из дерева острые палочки. Летела мелкая темная стружка. Возле стены стоял открытый мешок с бобами какао, однако плантаций не было видно.

Старик положил на землю нож, стрянул с колен прилипшие стружки и медленно поднялся, высокий, прямой, в коротких штанах, открывавших его мускулистые, еще крепкие ноги. В разорванном вороте старой рубашки виднелась костистая грудь. Сквозь дряблую кожу выпирали ключицы.

Старик вопросительно посмотрел на нас, потом на мешок с бобами.

— Может, он думает, что мы перепущики?

Поль на языке бети, распространенном среди местных народов банту, что-то сказал старику. Тот улыбнулся, кивнул и переступил с ноги на ногу, очевидно не зная, с чего начать разговор.

Я повернулась к Полю.

— Он, кажется, хочет что-то спросить?

Но в это время старик насторожился, прислушался, крикнул, обернувшись к лесу. Это был даже не крик, а посвист, короткий и резкий.

Послышался топот. Из леса, мотая безрогой головой, выскочил черно-белый теленок. За ним бежала все та же деловитая рыжая собачонка, гоня его к загону из тонких жердей. Теленок, ворвавшись в загон, расставил ломкие ножки и, чувствуя безопасность, приготовился нападать. Но собака вильнула хвостом и легла в тени, навострив короткие острые уши.

Старик снова повернулся к нам, ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

— Барба.

Морщины побежали по его лицу, собравшись у глаз в веселый и хитроватый прищур. Он пощипал седую короткую бородку, которая жидко курчавилась под подбородком и редкой порослью поднималась к вискам.

— Это имя его? — спросила я Поля.

— Название племени, — ответил Поль и перевел старику мой вопрос. На лице старика отразилась растерянность, лоб прорезали продольные складки. Он потоптался нерешительно и повторил:

— Мы барба.

Позже я узнала, что барба — одно из небольших камерунских племен, входящих в группу банту. Племена этой группы —

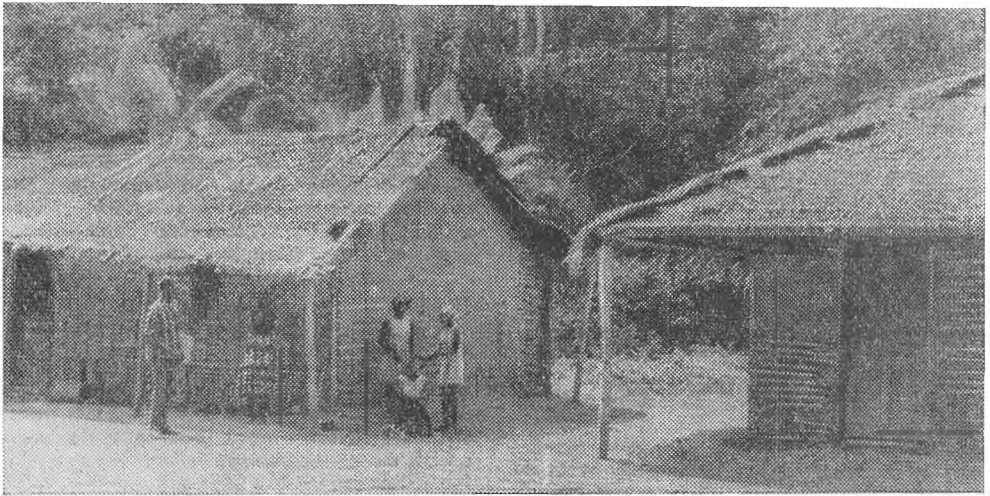
больше половины всего населения Камеруна — живут главным образом в тропических джунглях, сохраняют традиционные верования и культы, занимаются они охотой, рыболовством, разводят какао. У старика тоже были где-то свои плантации. Я показала на мешок, он понял, кивнул на лес и заговорил с Полем.

— У него есть два участка, — перевел мне Поль. — Он говорит, что участки далеко, и только ему одному и жене известна тропа. Брат его и сестра тоже знают дорогу, у них в том месте участки.

Старик показал на хижины справа и слева, сказав, что в них живут сестра и брат.

дает свою малолетнюю дочь. Когда ей исполнится лет пятнадцать — шестнадцать, она выходит замуж за подростка юношу. Это женитьба по дружбе. Бывает женитьба другая, за выкуп, когда за невесту нужно платить. Платят не только родителям, но братьям и сестрам, дядям и теткам — платок, иголку, бусы, живую курицу, рыбину, мерку бобов какао. Родни много, и выкуп не каждому по карману. Многим юношам перед женитьбой приходится поработать изрядно.

Если мужчина богат, он может жениться не раз. На востоке есть семьи, в которых — как заверил Поль — есть по сорока жен, до



В лесной камерунской деревне

Ставни на окнах хижин были закрыты, на дверях висели замки, хотя, наверное, обитатели находились где-то поблизости. Иначе откуда взялась бы скотина.

Поль спросил, где родные.

Старик покачал головой.

— Может быть, на реке, может, в лесу, собирают плоды.

— А дети? — спросила я. — Есть ли они у вас?

— Да, есть, — кивнул старик. — Много было детей. Семь сыновей. Они уже выросли и ушли.

— Где же они сейчас?

— Не знаю. И как их зовут не помню. Теперь молодые не хотят жить в лесу. Все сыновья ушли. Но я ничего не хочу менять в своей жизни. Силы есть...

Он упруго подпрыгнул и выжидательно помолчал. И я ждала, что он скажет.

— Было еще три дочери, — сказал старик, — одну я отдал в дом другу, она росла в их семье и после вышла замуж за сына. За двух других дочерей получил хороший выкуп. Они живут далеко. Что с ними сейчас, не знаю.

Поль пояснил, что в этих местах есть обычай: если два человека дружат, то и дети их с малых лет воспитываются вместе. В семью, где есть сын, один из друзей от-

ста детей. Как правило, жены дружны. У каждой свои обязанности. Одна ведаёт деньгами, другая следит за обрядами, третья за скотиной, четвертая оберегает фрукты, бобы...

Как же сложилась жизнь старика?

Когда-то здесь стояла деревня. Если углубиться в лес, можно увидеть остатки домов. Люди выращивали какао, охотились и жили неплохо. Потом кто-то «навел порчу», деревья какао стали пухнуть, жиреть, перестали давать урожай.

И люди ушли на другую землю — здесь много свободной земли. В городах она уже стала чьей-то собственностью, но здесь это владения сельской общины.

Старик же — тогда он был молодым человеком — считал это место счастливым. Здесь ему везло на охоте. Он никуда не ушел, он нашел другие участки, подальше, в лесу.

Тогда в Камеруне было мало дорог. Только тропы соединяли деревни. Большая дорога вела от океана к Мбальмаю — городу, основанному вождем племен Мбальма в честь его матери Майо, — и затем уходила в глубь страны. Когда немцы пришли в Камерун, они основали в Мбальмаю военную базу для охраны своих купцов. Потому там была французская база.

Французы начали в Камеруне большое дорожное строительство. Стали сгонять африканцев, чтобы строить дороги. Денег не платили. Это время совпало с болезнью деревьев. Старик тогда тоже строил дороги. Но эта работа не для него, и он возвратился в джунгли.

Вместе с женой они посадили черенки. На пятый год деревья стали давать урожай. Французы охотно покупали его бобы. Нет, он не жалуется на жизнь...

Может быть потому, что прошла эта жизнь в лесу, на свободе, в характере старика не чувствовалось замкнутой настороженности, которая характерна для африканцев, переживших колониальный гнет.

Он охотно позировал перед объективом, с любопытством рассматривая фотографии Москвы. Смеялся, курил, просто, открыто рассказывал о себе. Взяв барабанчик, он несколько раз не сильно, с определенными интервалами, ударил по туго натянутой коже. И объяснил, что этими звуками он вызывает из леса жену.

Кто мы, откуда, он, конечно, не знал. Он никогда и не слышал о нашей стране. Он только слышал, что была большая война, на его памяти это вторая война. Знал, что камерунцы служили во французских войсках.

Старик пригласил нас в свое просторное, разделенное на две части жилье, — глиняные стены, земляной утрамбованный пол. Низкие, вырезанные из дерева стулья, еще один маленький барабанчик в углу, для развлечения.

В спальне — дощатый настил, циновки и арбалет — нечто среднее между примитивным ружьем и луком.

Найдя на полу свою трубку, старик закурил, набив ее табаком из разломленной сигареты. Сквозь синие струйки дыма его лицо казалось моложе.

Это был житель другого мира, с другим представлением о ценностях. Он уверял, что понимает разговоры зверей, и в это можно было поверить. Птицы своими криками предупреждают его об опасности, и он никогда не стреляет в птиц. У него есть слова для собаки, и он рассказывает ей о лесных приключениях и о снах. Собака служит связным между ним и женой, когда один из них в лесу, а другой в хижине. Собака приходит по зову, сторожит дом, охотится со стариком, и если ему удастся убить антилопу, бежит за помощью к его брату.

Человек из племени барба никогда не стрелял из ружья. Он охотится с арбалетом и стреляет отравленными стрелами. В лесу есть растения и плоды, из которых он сам делает яд.

Поль, напряженно следивший за стариком, сказал:

— Это очень сильный яд.

Даже для крупных зверей довольно царапины.

— И для слонов? — спросила я.

Поль покачал головой.

— Слоны здесь теперь встречаются редко. Они ушли туда, — он показал на восток. — Охотники за слоновой костью их истребили в этих местах...

Старик протянул мне свой арбалет. Он был тяжел.

— А как из него стрелять?

Старик легко приподнял арбалет, оперся ногой о лук и натянул тетиву. Закрепил ее за крючок, держа стрелу в зубах. Ловким движением он вставил стрелу в канавку, прицелился, мягко нажал крючок. Стрела метнулась, возмывшись в папайю — плод дынного дерева, росшего перед хижинкой, и сок слезами закапал на землю. Старик стрельнул еще раз, и снова со снайперской точностью.

Он стоял довольный. Он что-то хотел сказать. Может быть, в нем бродила извечная страсть рассказывать об охотничьих приключениях, о схватках в джунглях, о диких зверях. Но он отвык много говорить, он только улыбался по-детски открыто и мудро...

Потом он начал что-то рассказывать, медленно, с напряжением подбирая слова. Поль перевел:

— Когда проложили дорогу, старику — тогда он был много моложе — захотелось пойти посмотреть, что делают люди в городе. Он прожил там несколько дней и вернулся в джунгли. Он понял, что город не для него. Там бестолково и шумно. Там слишком много людей и мало еды. Заня-



Старик из племени барба

тия большинства горожан ему непонятны. Он возвратился в лес, к привычным занятиям и уже никогда не думал о городе...

По узким тропам, по проселкам мы пробирались к шоссе. Теснились деревья, опутанные лианами, орала пестрые попугаи, с кустов взлетали яркие бабочки. Я слышала глухие удары тамтамов. Они доносились из лесной глубины. Обитатели чащ, прислушиваясь к условному коду, получали известие о приезде перекупщиков, о свадьбах, о нападении диких зверей.

Барабаны сообщали и о печальных событиях, собирая родню на погребальный обряд. Жены умершего ложились на землю и плакали. Мужчины копали перед домом двухметровую яму. В джунглях мы видели холмы — могилы предков, оберегавших покой живущих после них на земле.

Добравшись до машины, мы выехали на шоссе, ведущее к Мбальмай — одному из центров деревообрабатывающей промышленности Камеруна. Все чаще встречались легковые машины и многотонные грузовики с гигантскими обрубками черного и красного дерева. Мы обгоняли велосипедистов и пешеходов. У некоторых на шее висели транзисторы, рассыпая по джунглям звуки западной музыки.

Тянуло дымком. Где-то крестьяне выжигали подлесок, готовя землю под плантации какао, а может, под маниок или батат.

И такой далекой казалась встреча со стариком. Почти такой же далекой, как и неожиданный эпизод в Москве, с которого, собственно, и началось мое путешествие по Камеруну.

Над Сахарой

А началось оно так.

Вечером, незадолго до отъезда, ко мне пришла моя давняя знакомая.

В одном из московских вузов она читала курс физической географии до иступления любимой ею Африки, и некоторые из африканских студентов звали ее мамой. Она водила их на концерты, занималась с ними русским языком, подыскивала репетиторов для отстающих. Если кому из ее подопечных требовалось купить подарок домой, она отправлялась с ним в магазин и поднимала на ноги всех продавцов, пока не подбирала лучшие бусы невесте студента или янтарные запонки для его отца.

— Дорогая моя, — начала она еще с порога. — Студент... Камерунец... Геолог... Недавно уехал. Еще не устроился. Прошу передать эту книжку. Только что вышла. Ему она так нужна!..

— Да где ж его там искать?!

— Я, конечно, понимаю, это наивно, пять с лишним миллионов населения. Действительно, где его искать? А вдруг?.. Бывают же случаи. Геологов там немного... Его, наверно, знают.

Я показала на чемодан. Он был уже набит. Но гостя так укоряюще взглянула на меня, что я сдалась.

— Ну ладно. Где она, эта книжка? Может, в сумку поместится.

Тоненькая коричневая книжечка «Неотектоника, вулканические процессы и великие сейсмические пояса мира» действительно, как говорится, еще пахла типографской краской. Она поместилась в дорожной сумке.

И вот мы в воздухе. «ИЛ-18» пожирает километры. Утром были в Белграде, пересекли Средиземное море. Потом Алжир. Воздушно легкое здание аэропорта. Синее небо. Горы. Пески.

Рядом московский ученый, профессор Покровский. Он летит в Сенегал работать в архивах. В Дакаре девять ценнейших колониальных архивов: Французская Черная Африка за полтора года. Архивы генерал-губернатора Сенегала, Мавритании, Дагомеи, Чада... Как откровения ждет профессор знакомства с документами, раскрывающими целую эпоху в жизни западной части Черного континента. Он будет писать о Самори Туре — легендарном гвинейском полководце, боровшемся против колониальных войск.

А я ждала встречи с Камеруном! Теперь он недалеко. Однако, как жарко.

Профессор снял серую фетровую шляпу, вытер платком перерезанный поперечными складками лоб.

— Скоро полетим над Сахарой, — сказал он. — Чувствуете, как она дышит?

Он с наслаждением вобрал в себя доносившийся из пустыни воздух, пахнущий раскаленным камнем.

Мы стояли на ступенях алжирского аэропорта, у выхода на летное поле. Профессор обмахивался своей выцветшей шляпой.

— Посмотрите на эту пальму, — сказал он. — В Камеруне вы таких не увидите, финиковые пальмы есть, конечно, и там, но царство их здесь, в Алжире, Египте, Тунисе. Финики — хлеб Сахары. Ни один туарег не уходит без фиников в путь.

— Туарег?

— Так называют берберов-караванщиков. Лучшее их никто не может провести через Сахару караван соли.

— Почему соли, профессор?

— Африканцы постоянно испытывают соляной голод. Говорят, у них много соли уходит из организма с потом.

И снова о Сахаре:

— Сотни поколений выработали у туарегов особое чувство пустыни. Ни карт, ни дорог. Какие-то особые приметы. И ведь не заблудятся в этом нагромождении дюн. По ветру идут, по солнцу, по движению песков. Неделями медленно движутся верблюды. Люди спят на песке, пережидают песчаные бури.

— Караваны ходят круглый год?

— Нет. Только осенью и весной. До жары, до холодов. Ведь даже осенью и весной люди с трудом выносят переход через Сахару.

Профессор рассказывал о пище, которой довольствуются туареги в пути: чай, сухой овечий сыр да в день горстка фиников, выросших на такой вот пальме. Пальму в Сахаре используют целиком. Древесину, листья, волокна, даже косточки от плодов. Их перемалывают в муку и кормят скот.

— Сейчас вы увидите Сахару с воздуха,— профессор поднял руку.— Это, конечно, совсем не то, что пройти по ней. Но масштабы почувствуете.— Рука, опускаясь, описала полукруг, показывая, как велика Сахара.— В эпоху работорговли через пустыню гнали рабов. Скотованные цепью люди и раскаленный песок. Караванные тропы усеяны человеческими костями. Выживали лишь самые выносливые. Верблюдов и тех меняли в пути...

Пальма стояла перед нами, приземистая, могучая, с чешуйчатым толстым стволом и упругими гигантскими ветвями, которые раскинулись, как руки, заслонявшие здание от горячих ветров. Она была величественно прекрасна на фоне песков и синего неба — это дерево жизни в преддверии ада.

— Интересно, что же растет в Камеруне? — спросила я.

Я перечитала об этой стране все, что смогла найти в наших библиотеках. Но этого оказалось до обидного мало. Очень мало мы знаем об Африке. О природе, о людях ее, о древней, глубинной культуре.

Профессор будто не слышал вопроса. Он следил за букашкой, ползущей по его руке. А мне казалось, что он и не видит этой букашки.

— Там есть большие плантации кокосовых и масличных пальм,— откликнулся он, когда я уже не ждала ответа.— Особенно масличных, из их плодов давят масло и делают вино.

Камерун. Да, теперь скоро... Профессор сойдет в Конакри. Я навсегда запомнила этот аэропорт. Акации, олеандры, пальмы, гранатово-красная земля. С воздуха видны ленты рек, ползущие над джунглями синие дымы. Шесть лет назад я была в Гвинее, одной из первых увиденных мною африканских стран. Камерун — восьмая.

Когда мы снова были в воздухе, профессор, глядя вниз на песчаные барханы, сказал:

— Сахара — это целый мир. Великая пустыня мира. А вы знаете, что всего шесть тысячелетий назад тут была плодороднейшая земля. Все эти мертвые русла были многоводными реками. На их берегах росли зеленые рощи.

— Откуда же начали наступать пески?

— Пока еще тайна. Но они наступали. Они пожирала леса, выпивали реки. Они отсекали от Средиземного моря и заточили на континенте целые народы. Сахара стала барьером, стеной на путях сближения культур, затормозила торговлю и передвижение. Конечно, полностью процесс обмена сдерживать невозможно. Возникли караванные

тропы. Но два месяца через пески! От колодца к колодцу...

Профессор задумался. О чем? Может быть, об этой великой трагедии, о могучей стихии, отрезавшей племена от Средиземного моря, от древней классической цивилизации. Какие процессы происходили в глубинах Черного континента? Почему умерла эта лежавшая под крылом земля?

— Умерла? — Владимир Сергеевич встрепенулся.— Нет! Просто жизнь изменилась. Стала жестокой, суровой, но вовсе не умерла. Мы сверху видим только песок. А там оазисы, селения, караванные пути. Важнейшие торговые артерии Африки. С развитием авиации они пришли в упадок, но люди вернутся к ним. Люди всегда возвращаются к опыту предков. Иногда им приходится его заново открывать. Кто знает, может, эта земля опять превратится в сплошной оазис.

Владимир Сергеевич приник к окну, но сразу же оторвался.

— Кстати! Одна из караванных дорог вела в Камерун. К озеру Чад. Сахара примыкает к его северным берегам. От озера через Камерун шли внутренние торговые пути к городу Дуала, к океану.

Торговлю в Камеруне вели жившие на побережье дуалы, племя из группы банту. Их в Африке около сорока миллионов.

Услышала я от него и о других племенах, населяющих Камерун. В северной части страны — народы фульбе. Южную и центральную часть заселяют булу, эвондо. К восточной бантоидной семье относятся бамилеке.

Бамилеке?!

Книга по геологии, которую я везла в Камерун, предназначалась для юноши племени бамилеке.

Я спросила профессора, не скажет ли он точно, в какой части страны живут африканцы племени бамилеке. Он поднялся, чтобы достать из портфеля этнографический справочник. И вдруг обнаружил пакет. И сразу забыл о справочнике.

В пакете, перевязанном тесьмой, были уложены домашние пирожки.

Владимир Сергеевич угощал соседей.

— С капустой, попробуйте! Вера Александровна испекла на дорогу.

Всю дорогу нас кормили, но пирожки все ели с удовольствием. Они были вкусны. Они напомнили о прочном домашнем уюте. Молодой малиец, возвращавшийся в Бамако из далекого путешествия, заулыбался, закивал:

— Сыпасиба,— сказал он по-русски.— Карашо.

Русский инженер, направлявшийся в Браззавиль строить завод, начал показывать фотографии детей — мальчика, ушастого подростка, и девочку с белым бантом.

Серб, летевший в Африку, похвалил кулинарное мастерство супруги профессора, и тот был искренне рад.

Потом я села к окну и смотрела вниз на пески. Они сплетались в причудливые

рисунки, напоминающая кружева, жилки истлевших осенних листьев, стаи птиц. Барханы расплзались паучками — круглые бугорки с тонкими выпуклыми лучами-лапками выстраивались пирамидами — тысячи одинаковых пирамид, построенных с геометрической точностью. Пески... пески... загадочная земная бесконечность. Где-то там, по невидимым сверху коридорам между дюнами, может быть, и сейчас идет караван в Камерун. Мелодично позванивают колокольчики навьюченных верблюдов, воздух оглашают гортанные крики. Закутанные в тяжелые покрывала, сидят на их спинах туареги и до сих пор существующие рабы туарегов — иклоны. Мне кажется, я вижу тонкие, высушенные пустыней лица людей, жгучие глаза. Мне кажется, я иду с караваном, слушаю тонкое пение сползающих с дюн песков.

Нет, мы летим. А может быть, мы стоим на месте. Летят барханы, дюны, высохшие русла рек. Я чувствую, как ко мне приближается Камерун. Теперь уже скоро. Меньше чем через сутки. Приглушенно, мерно гудит мотор...

В Бамако Владимир Сергеевич порылся в разложенных на прилавках книгах. Он выбрал несколько тоненьких брошюрочек в бумажных обложках, протянул продавцу купюру и не глядя сунул сдачу в карман.

— Это кодексы первых законов независимого Мали. Нужно осмыслить этот процесс. Работорговля, отсталость народа, потом независимость... Другие законы. Ценнейшие документы эпохи! — сказал он уже в самолете, оторвавшись от изучения брошюр.

Чтоб не мешать ему, я отошла к художникам, и мы заговорили о Камеруне.

Почти все они старые «африканцы» — испытанный в путешествиях друг Левон Налбандян, добрый, веселый Борис Преображенский, несколько замкнутый Дмитрий Дубровин и «новичок» Владимир Цигаль. В Африку он летит впервые и еще спокоен, весь еще во власти Москвы, горячих споров, симпатий, забот. Он говорит о московских делах с каким-то знакомым, летящим в Мали. Но Африка исподволь подступает и к нему.

По самолету, сверкая нейлоном и золотом, прошла молодая африканка, держа на руках атласного малыша. Я видела, как Цигаль замолк на полуслове.

— Нет, ребята! Это что-то из области сказок, — проговорил он, провожая красавицу ошеломленным взглядом.

Мы заулыбались, зная, какие сюрпризы ему приготовила Африка. И сразу, перебивая друг друга:

— А помнишь, в Хартуме...

— А помнишь, в Кампале... В Дакаре... В Найроби... В Канкане... В Каире...

Все были переполнены Африкой.

В Конакри мы обменялись с профессором московскими телефонами. Владимир Сергеевич полетел в Дакар. Наш путь через Аккру лежал в Дуалу — крупнейший портовый город Камеруна...

Бон ане, Камерун!

Вероятно, каждый испытывал томительное чувство, когда в нетерпеливом ожидании поглядываешь на часы, а стрелки будто остановились. Казалось бы, зачем торопить время? Оно и так неумолимо бежит. Но, видно, такова человеческая натура — спешить, изо всех сил спешить, стараться заглянуть в будущее, ждать откровений нового дня, будто утро действительно мудренее вечера и всегда приносит что-то значительное.

Время медленно приближалось к полуночи. Теперь совсем не хотелось его торопить, ведь эта ночь никогда не повторится. Вряд ли когда-нибудь приеду я сюда еще раз. И конечно же никогда не будет другого такого же Нового года.

Узкоглазый, скульпстый африканец Поль — наш проводник по центральной части страны — накануне сказал, что новогодний ужин из маленького яундинского ресторана с обвешанным елочными шарами потолком переносится на гору Фэбэ.

Поль произнес это название отдельно, с ударением на каждом слоге: «Фэ-бэ!» Он торжествующе огляделся, но не встретив восторга, был удивлен.

— Фэбэ — это значит гора красоты, поток воздуха. Там вы не будете вот так обмахиваться платком, — в его голосе слышались нотки иронии. — Там высоко и прохладно. На горе ресторан, по-моему, самый лучший в стране.

Днем, во время поездки к Ньонгу, Поль несколько раз вспоминал о Фэбэ, и я поняла, что он очень ждет новогоднего ужина.

— Построил ресторан богатый француз, — рассказывал он, пока мы стояли у лесопилки.

Взвывала пила. Лежали обрубки стволов, такие огромные, что даже крупные, рослые камерунцы казались пигмеями возле них. Диаметр обрубков значительно превышал человеческий рост.

— Француз привез мастеров бамилеке, и они оформили ресторан в африканском стиле. Маски, фигуры людей, животных, мебель — все это вы увидите ночью! — Поль улыбался ослепительно, показывая все свои крупные крепкие зубы. Раскосые, широко посаженные глаза его сузились в щелочки и радостно сверкали.

Он заразил и меня своим нетерпением. Я слушала рассказы его о происхождении древнего селения, возникшего вокруг «вон той гладкой», словно отполированной скалы, а сама думала: интересно, Фэбэ похожа на эту?

Скала глубоко вдавалась в широкий, плавно текущий Ньонг, стоя на повороте его, словно башня.

— Ньонг — одна из больших камерунских рек. Здесь она судоходна, а там, — Поль показал за скалу, — там водопад и пороги. Почти на всех наших главных реках пороги. И на Санеге, и на Капво, и на притоках. Внутрь страны пароходом не попадете.

Мы медленно проехали через мост. Шофер хотел остановиться, но я сказала, что лучше бы ехать дальше. И все хотели ехать дальше.

Издали я еще раз оглянулась на башню-скалу. Бока ее сияли на солнце, и она казалась неизбежно прочной.

Перехватив мой взгляд, Поль сказал:

— Считали, что и деревня вокруг скалы будет сильная, как этот камень, ее построили здесь на открытом месте. Вообще-то раньше деревни строили только в долинах. В долинах — тень, всегда есть вода, холмы защищают от ветра и легче укрыться от неприятеля.

Я сказала, что мы видели деревушки и на холмах. Но Поль объяснил, что те деревни построены после того, как в Камеруне проложили большие дороги. Теперь деревни стоят и на холмах, и в долинах, всюду, где проходит дорога.

Возле одной из таких деревушек шоссе перешло стадо черных коз. Они вышли из леса и важно зацокали копытцами по асфальту. Шофер притормозил, отчаянно засигналил. Козы, подталкиваемые друг друга, сбегали к обочине, заматывались, мы проскочили и понеслись с прежней скоростью. Потом с асфальта перебрались на проселок и поехали, вздымая облака красной пыли. Тяжелым слоем она оседала на кустах и деревьях, и листья от нее казались сухими и вялыми.

Но вот разбитый участок проселка кончился, мы снова въехали в зеленые джунгли. Впереди неожиданно вырос щит с изображением черепа и костей. Медленно опустилась тонкая жердь шлагбаума. По узкой колее прогремел паровозик, таща за собой пяток открытых вагончиков. В вагончиках тесно, спина к спине, сидели африканцы, ритмично покачиваясь в такт стуку колес. Паровозик уволок вагончики в джунгли.

В Яунде после обеда Поль еще раз напомнил о часе отъезда на гору и посоветовал взять с собой теплую кофточку:

— Вы там озябнете в легком платье.

Наконец подошла ночь. Сгустилась крошечная тьма, прорезаемая мгновенными вспышками светляков. Машина осторожно карабкается в гору. Оранжевый свет фар упирается в складчатые стволы баобабов, пронизывает путаницу лиан. От этого слабого света тьма кажется еще глубже, плотнее и мягче.

Когда дорога выходит к обрыву, внизу открывается Яунде — пригоршни ярких огней, соединенные прямыми цепочками зеленоватых фонарей.

Трудно представить сейчас дневную уличную пестроту, круглые тени кокосовых пальм, лежащие на тротуарах и крышах домов. Ночь поглотила краски. Ночь поглотила звуки. Окно открыто, я ощущаю, как жарко дышит земля, отдавая накопленное за день тепло. Воздух сверлят цикады. Их голоса бегут за машиной, тысячи одинаковых голосов, настойчивых и бесконечно тоскливых.

Вскоре я почувствовала легкий озноб. Стало прохладнее, хотя духота не уменьшилась. Дыхание затруднено. Что же будет на побережье? Особенно на горе Камерун.

Эта гора — самое мокрое место в Африке. Впрочем, мы не увидим ее. Она находится в Западном Камеруне. Мы путешествуем по бывшей подопечной территории Франции, ныне Восточной провинции.

Несколько лет назад Восточная и Западная провинции объединились и стали Федеративной республикой. В Западной части государственным языком остался английский. В Восточной — французский. Поль говорил по-французски.

— А какой ваш родной язык, Поль?

— Булу, мадам. Мы относимся к группе банту. Булу в Камеруне около ста пятидесяти тысяч. Земли наши лежат между реками Ньонг и Кампо. Мы проезжали там. Помните камень?

— На повороте реки?

— Вот, вот. Там, где была деревня. Мы земледельцы. На севере, где саванна, развито животноводство. А здесь разводят какао, кофе... У нас в городах живет только десять процентов людей...

Машина вошла в облака, я ощутила их липкое прикосновение. Фары теперь упирались в плотную белую массу, перед машиной зажглись две оранжевые звезды. Я оглянулась на Яунде. Уличные фонари внизу казались тусклыми пятнами, едва мерцавшими из глубины. Мы продолжали карабкаться вверх.

Вот впереди замелькали красные и зеленые огоньки. Они бросали отсветы на стены белого здания.

— Что, Поль, приехали?

— Нет. Это дача президента Ахиджо. Среди баобабов и пальм белел большой современный дворец. Лучи скрытых в траве цветных прожекторов придавали ему фантастический вид.

Переваливаясь и спотыкаясь о корнища, машина ползла все выше и выше и, наконец, остановилась. Я вышла на площадку и сразу увидела колонну, на которой были вырезаны фигуры обнаженных людей: маленькие кривые ноги, вздутые животы, большие головы и странные лица — маски радости, горя, спокойствия, мудрости, печали и страсти. Колонну венчал фантастический зверь, похожий на леопарда, с нарушенными, но выразительными пропорциями тела.

Аллея, погруженная в полумрак, привела в помещение — холл, где одну из стен заменяла естественная скала с древней, покрытой копотью пещерой. Между камней потрескивали поленья, отбрасывая пляшущие красные блики.

Другая стена отсутствовала вовсе, и там, над обрывом, висела терраса. С крыши, сплетенной из пальмовых листьев, свешивались лианы, из стен торчали ветви деревьев, в углах, погруженных во мрак, стояли скульптуры, висели маски.

Мы прошли через зал. Наши тени, отброшенные пламенем очага, выросли и заплясали на потолок. Ступив на деревянный настил террасы, я ощутила под ногами зыбкую пустоту. Метрдотель разливал по стаканам виски, а я с легкой дрожью смотрела на белую массу, надвигавшуюся из тем-

ноты. Это было облако. Оно вползло на террасу, прошло через нас, как призрак сквозь стену, и тихо уплыло, оставив ощущение сырости.

Стрелки моих часов приближались к двенадцати. Через несколько минут в Москве будет полночь. Я мысленно перенеслась домой, и мне показалось, услышала голос Кремлевских курантов. Один, два, четыре... — как они медленно бьют. — Восемь... двенадцать... В Москве наступила полночь. Настал Новый год.

А здесь только десять. Томительно тянулись минуты, оставшиеся до камерунского Новогодья. Но вот пришел метрдотель и пригласил нас пройти на другой балкон, помещавшийся во внутренней части зала, под крышей. Здесь был накрыт новогодний стол. В плетеной корзине желтели бананы и ананасы. Плечистый темно-коричневый африканец наполнил бокалы, принес горячее блюдо креветок, зажаренных на шампурах. Креветки, свернувшиеся в ярко-красные кольца, дразняще пахли. Снимая их на тарелку, я подумала о том, что этот маленький десятиногий рачок никак не олицетворяет имя сильной и самобытной страны. А между тем название Камерун произошло от креветки.

Это было в пятнадцатом веке, когда португальцы высадились на берегу океана в одной из удобных гаваней, образуемых здешними реками. Их поразило обилие креветок в этой реке. Rio dos camarões — река креветок. Камерун. Имя закрепилось за страной навсегда...

• • •

Новогодний ужин был в разгаре. На столе сменялись салаты, овощи, жаркое. Африканец, подложив под горячее блюдо салфетку, разносил подрумяненную индейку, предлагал сыры. В тонких бокалах искрилось вино. Снизу доносилась экзотическая музыка. В воздух летели пробки от шампанского. Поль, сидевший напротив меня, подливал вино в свой бокал, был блаженно расслаблен и что-то напевал.

— Поль, погромче!

Он молча кивнул и прикрыл глаза. Голос его был ласкающий, мягкий. Мелодия своим повторением напомнила бесконечные песни цикад. Я улавливала одни и те же слова. Он возникали, росли, затухали и возникали вновь, но уже с другой интонацией.

— О чем вы пели, Поль? — спросила я, когда он замолк.

Оказалось, содержание песни укладывалось всего в две строки.

— В моем родном городе любовь длится один день. Иногда два дня... Да, два долгих горячих дня. Но не больше!

После ужина, когда мы возвращались в Яунде, Поль снова пел. Это была торжественная новогодняя песня «Бон ане» — доброе обращение к друзьям, пожелание щедрого и веселого года.

— Бон ане! — тянул Поль. Зубы его сверкали, узкие длинные глаза излучали сияние. Он весь был полон радости. Он наслаждался жизнью.

Радость царила и на улицах Яунде. Они были освещены цветными фонариками над дверями домов. Фонарики светились на палках. Дети бегали с фонариками. Огоньки мелькали, бросая ответы на юношей в пестрых рубашках, на девушек с причудливыми прическами, украшенными цветами. Гудели барабаны. Томно, призывно стонал балафон, где-то рыдала флейта. Все эти звуки сливались с гулом людских голов в единую праздничную симфонию.

Лавки были ярко освещены, бары полны народа. Вдрагивали бамбуковые подвески, пропуская новых посетителей. На улицах торговали фруктами, орехами кола, длинными конфетами в бумажных обертках с кистями, пальмовым вином.

Коричневый белозубый детина в цилиндре и рубашке навывпуск, прижав к груди наполненную пустую бутылку с мутновато-молочной жидкостью, толкаясь, бродил в толпе, что-то выкрикивая, и угощал всех пальмовым вином. Другой самозабвенно катал по асфальту пустую бочку.

Идущая впереди машина затормозила и стала. Упершись в ее багажник, мы тоже остановились, и сразу нас окружила толпа.

Поль опустил стекло. Он крикнул парню, катавшему бочку. Тот подошел и с любопытством заглянул в машину. Он встретился со мной взглядом, смущенно отвел глаза и что-то тихо сказал. Люди, стоявшие рядом с ним, тоже начали заглядывать в машину и также деликатно отводили глаза, когда я встречала чей-либо взгляд. Только одна дородная африканка протянула в окно красивую руку, поздравила меня с Новым годом и сказала с достоинством:

— Мадам, сегодня у нас очень большой праздник. Мы веселимся...

Я хотела выйти на дорогу, но в это время «Симка»¹, в которую мы упирались, медленно поползла. Мы двинулись за ней через людской коридор. Перед глазами мелькали руки, пестрые платья, смеющиеся белозубые лица.

У перекрестка «Симка» вдруг резко свернула на боковую улицу, где было просторнее.

Поль проследил за ней взглядом и сказал:

— Там клуб «Золотого льва». Ночной клуб.

Сегодня все улицы были клубом. На тротуарах горели жаровни, жарилось мясо, кус-кус — маниок, обернутый в пальмовые листья. Пеклись каштаны, креветки, батат. Сладкий чад висел над кварталами.

Бон ане, Яунде! Бон ане, Камерун!

Парад Независимости

До того как после первой мировой войны Франция и Англия поделили Камерун, разорвав его на две части, в стране хозяйничали немцы. Они пришли в прошлом веке.

¹ Марка французского автомобиля.

В немецкой литературе семидесятых годов пространно и оживленно обсуждалась проблема колонизации. Доказывалось, что великая держава должна обладать колониями так же, как, например, богатый человек, с известным общественным положением, обладает коляской, лошадьми и ливрейными лакеями. Мотивы колонизации... Очень уж нам знакомы эти мотивы! Колонии должны принять излишнее население страны-метрополии. Стать полем деятельности, где может «развернуться немецкая энергия и инициатива», а для этого «слишком узкое поле зрения немецкой нации должно быть расширено». Наконец, в колонии можно высылать из страны преступные элементы.

Однако мир к тому времени был поделен. Свободных, «пригодных для поселения» земель уже не существовало.

Почти не существовало — уточнил известный в те времена купец из Гамбурга Вёрман. Он обнаружил, что на берегах Гвинейского залива остались еще «бесхозные» территории, которые можно прибрать к рукам.

Фактически они уже были прибраны. Гамбургские и бременские купцы значительно раньше построили там фактории, выменивая спирт, текстиль, дешевые бусы на каучук, древесину, слоновую кость.

Решив принять Камерун «под свое покровительство», империя направила в Африку представителя, «исследователя Африки» Нахтигала. Сначала эта поездка на военном судне носила якобы «информационный» характер. Уже в пути государственный комиссар получил инструкцию Бисмарка, в которой говорилось о территориальном захвате.

Немцы торопились. На «бесхозные» земли зарылись и англичане. Вскоре после того как Нахтигаль, договорившись с вождями Аквой, Беллем и Дидо, водрузил 14 июля 1884 года на побережье немецкий флаг, в Гвинейский залив вошла английская канонерка. Место оказалось занятым, однако не нужно думать, что захват земель прошел спокойно. В том же году немецкие моряки подавили восстание прибрежного населения, сожгли деревню дуалов, отказавшихся признавать новых хозяев. На месте сожженной деревни была построена резиденция колониальной администрации. Фактории превратились в форты с постоянными гарнизонами, охраняющие торговые интересы купцов, которым было поручено «заботиться о благе и процветании колонии».

Известно, во что обошлась камерунцам эта «забота». Кровавые столкновения между местными племенами и колониальными войсками не прекращались в течение всего тридцатилетнего владычества немцев. Дуалы — как пишут историки — навлекли их «неудовольствие тем, что монополизировали торговлю с внутренней страной». Немцы и англичане прилагали большие усилия, чтобы «сделать брешь» в «китайской стене» и учредить военные станции для

охраны путей сообщения между берегами Гвинейского залива и внутренними районами страны.

У немцев были далеко идущие планы — захватить все земли от Атлантики до Индийского океана и создать свою могучую африканскую империю. На востоке Африки в это время орудовал Карл Питерс, которого считают одним из прародителей фашизма. Возглавив «общество германской колонизации», он вторгся в 1885 году во владения занзибарского султана и подкупками и угрозами склонил его «отдаться» Германии.

Столь доблестно начатые кайзеровской Германией планы завоевания Африки окончательно рухнули после ее поражения в первой мировой войне. Камерун был оккупирован войсками Англии и Франции. В стране продолжалась кровопролитная, героическая, освободительная борьба. И только первого января 1960 года Камерун был объявлен независимым государством...

С тех пор каждый год первого января народ Камеруна отмечает национальный праздник Независимости.

• • •

...Чтобы попасть на площадь Независимости, нужно обогнуть отель, подняться вверх по маленькой боковой улочке, затем идти и идти по прямой широкой и ровной улице Жозефа Клерка. В обычные праздники обширная, с могучими пальмами площадь превращается в стадион. Но сегодня особый праздник. В честь праздника сюда выведены войска.

Они стоят и на вливающемся в площадь шоссе, разморенные от неподвижности и жары. Солнце уже почти над головой, нещадно палит, и в свете его лучей рубашки моряков кажутся особенно белыми, красные бурки гвардейцев особенно красными, их шаровары сочно-зелеными. И лишь болотного цвета с маскировочными пятнами форма мотоциклистов, пехоты и солдат парашютных войск выглядит подчеркнута буднично.

Возле цепи солдат снуют ребятишки, толпятся взрослые африканцы, с молчаливым любопытством разглядывая солдат. Мы предъявили пригласительные билеты, цепь разомкнулась, пропусти нас на шоссе.

Толпы людей стояли вдоль всей дороги. Люди высовывались из окон домов, мальчишки усеяли заборы, удобно устроились на деревьях. Напротив трибун, на массивной белой стене, тоже тесно стояли и сидели ребята, свесив вниз босые ноги. На каждой крыше пестрели цветастые рубашки, темные ноги и море голов.

Трибуны уже заполнялись. Правое крыло было отведено для дипломатов, в центре — правительство. Эти ряды еще пустовали. Мы получили места в левом крыле. Все, что происходило на площади, было видно отсюда как на ладони.

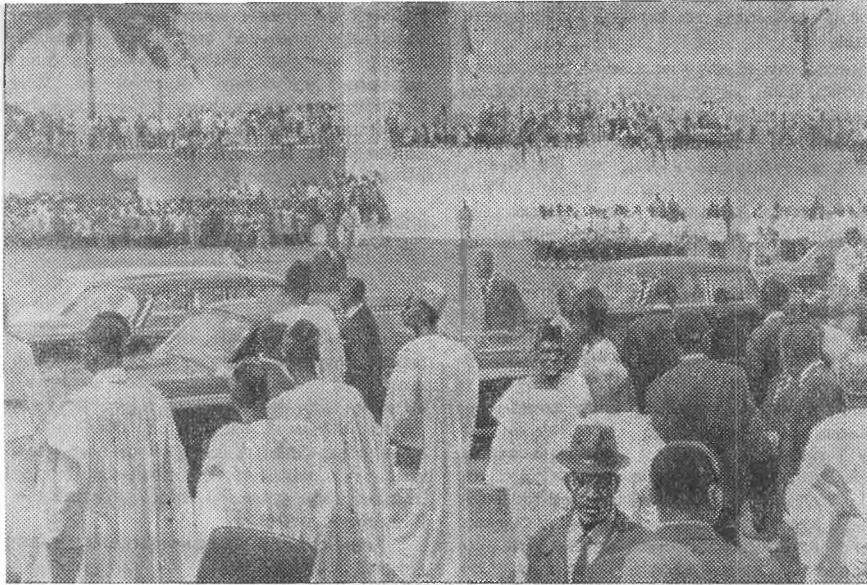
Напротив наших рядов, у белой стены, расположился оркестр, рядом с ним барабаники. По площади расхаживали гвар-

дейцы с саблями, в белых гетрах. Перед трибунами выстроились фотографы. Африканки с красно-зелено-желтыми повязками на рукавах — цвета национального флага — в шелковых и парчовых облегающих платьях, с начальственным видом проверяли пропуск, провожали к трибунам гостей, семеня по асфальту на тонких шпильках.

Гости — высокопоставленные чиновники, владельцы предприятий, торговцы, усевшись на скамьях, переговаривались, церемонно здоровались. На площади появлялись новые лица, и по трибуне прокаты-

обтянутой красным сафьяном машине. Оркестр заиграл национальный гимн, и все поднялись.

После гимна начался обход войск. Амаду Ахиджо энергично шагал вдоль вытянувшихся и замерших рядов солдат, от быстрой ходьбы его белое бубу развевалось, облекая невысокую, крепкую фигуру. Затем вместе с вице-президентом республики Джоном Фончей, полным и невысоким, в увенчанной султанчиком шапочке с шестигранным верхом, Ахиджо прошел на центральную трибуну.



Перед началом парада Независимости

вался гул голосов. Приехавших почти-тельно называли по именам и добавляли титул.

— Доктор Чунги — премьер-министр Восточной провинции, — говорил мой сосед, полный круглолицый африканец в темном, отлично сшитом костюме сидящему в нижнем ряду мужчине.

Я слышала как по рядам полетело: Доктор Чунги... Доктор Чунги...

Вот появилась африканка, затянута в китайский шелк, и снова зашелестело:

— Мадам Жульен К'оча... Мадам Жульен К'оча...

Я вопросительно взглянула на соседа, и он пояснил:

— Мадам — депутат Национального собрания.

Одна за другой въезжали сверкающие черным лаком дорогие машины. Из них выходили африканские министры, депутаты Национальной ассамблеи, начальники служб. Около девяти по радио объявили, что президент республики Амаду Ахиджо находится на пути к площади Независимости. Под вой сирен на площадь влетели мотоциклисты и сразу резко затормозили. Президент ехал медленно, стоя в открытой,

Произошла перестройка войск. От имени президента стали вручать ордена африканцам и европейцам.

— Если у человека есть орден Шевалье, его никогда не посадят в тюрьму, — сказал мой элегантный сосед. Его полное темно-коричневое лицо было загадочно и бесстрастно. Тень улыбки промелькнула на нем, когда орден вручали африканке-монахине, строгой женщине в серой накидке с крестом.

На трибуне было много этих серых накидок, я спросила соседа, к какой церкви принадлежат африканки-монахини.

— В Камеруне живут протестанты, католики, мусульмане. Среди большинства лесных племен сохранились традиционные верования, — в голосе соседа прозвучали неодобрительные нотки. Он, кажется, осуждал эти верования?

— Я исповедую католическую религию, — заметил он, предвосхищая вопрос, и до конца праздника не проронил больше ни слова. Позже, когда мы расходились, африканец из верхних рядов, энергично протискиваясь к моему соседу, крикнул:

— Патер, я хочу вам что-то сказать... Сосед оказался священником.

Между тем войска покидали площадь.

Шли они четким маршем под дробь барабана. Это был завораживающий ритм. Звуки, рожденные ударами палочек, рассыпались, заполняя собой пространство. Несколько минут площадь была пуста, но мне казалось, что на ней еще пляшут барабанные ритмы.

Вероятно, где-то опять произошла перестройка. Когда войска возвратились, оркестр шел уже во главе и перед ним шагивал дирижер — огромный, длиннорукий детина в белых гетрах. Поощряемый восторженными криками мальчишек, он подбрасывал и ловил дирижерский жезл. Он лихо вращал им над головой, вокруг руки, за спиной, заставляя его медленно скользить то по шее, то по плечу, и снова подбрасывал и ловил.

Прогромыхали танкетки с откинутыми люками, медленно проползли зеленые джипы. Процокали кони. Красные накидки кавалеристов, как бурки, лежали на крупах коней. Пехотинцы шли, оттягивая носки, но все солдаты были в разной обуви.

А потом начался парад молодежи.

Ученики лицеев, технических колледжей, школ домохозяек, портных, текстильщиц, школьники начальных классов, темнокожие, в белых и пестрых платьях, коротеньких юбочках, шортах, гольфах, с затейливыми башенками косичек, с проборами, выбритыми в курчавых волосах — все они распевали, кричали, шумели.

Школьники несли плакат: «Я хочу быть просвещенным!» Представители рабочей молодежи предъявляли к обществу свое требование: «Я хочу работать!» — требование большое и сложное, безработица в Камеруне велика. Строительство новых предприятий и объектов не поглощает избытка рабочих рук. Идет непрерывный отлив людей из деревни, где уровень жизни низок, где распадается древняя родовая община. Вот впереди колонны юноши в синих комбинезонах несут плакат:

«Будущее молодежи — работа в сельском хозяйстве». Молодежь, молодежь, молодежь! Армия и молодежь. Но где же взрослые африканцы, те, которые работают на предприятиях, заняты земледелием? Они в параде участия почему-то не принимали.

Вот как пушинки выпорхнули на площадь маленькие балерины в бледно-желтых пачках, так красиво оттеняющих шоколадный цвет их кожи. С каким трепетным старанием они исполняют свои несложные па перед ложей президента Ахиджо. Девочки кружатся, подпрыгивают, склоняются к земле. С изумлением смотрят на них старый африканец, вождь племени. Он даже привстал со своего места. Может быть, его юные годы прошли в тропических джунглях, в борьбе с суровыми силами природы. Не эта ли борьба отшлифовала фигуры камерунцев, сделала такими могучими их бицепсы. Вот, играя буграми мускулов, прошли спортсмены из школы атлетов. Геркулесы в пестрых трусиках и коротеньких леопардовых юбочках — образчики человеческой силы и красоты.

Но любимцы камерунцев не они, а футболисты. Какие овации начались на трибунах! Какая угроза нависла над крышами! Воздух буквально задрожал от мощного рева голосов. Шестые замкнули велосипедисты. Они медленно проехали перед зашумевшими, задвигавшимися трибунами. Ахиджо без прежней торжественности, но так же деловито и энергично сел в машину и уехал. С трибун поднимались гости и, аккуратно свернув платочки, на которых сидели, с достоинством удалялись. С шумом откатывали лакированные лимузины, опустели крыши домов, стены и деревья. Яундинцы, не сдерживаемые больше солдатами, хлынули на площадь из переулков и улиц.

Танцы на площади

Приходилось ли вам когда-либо окатиться среди многотысячной праздничной толпы? Вы бесследно растворяетесь в ней, вы становитесь частицей сложного организма, его молекулой, и поэтому не чувствуете одиночества, хотя находитесь в чужой, не совсем еще понятной стране, среди незнакомого вам народа. Вы видите возбужденные лица, и сами возбуждены, понимаете чувства, владеющие людьми, и разделяете эти чувства. Вас захватывает движение, воображением овладевают могущественные тамтамы, они приковывают ваше внимание, и незаметно для себя вы начинаете двигаться, все в вас гудит, подчиненное ритму.

Если даже вы стоите на месте, все равно все в вас напряжено. Сердце само сделалось тамтамом. Оно бешено колотится в груди. Бум-бум. Звуки растут, им тесно, и они толкают вас в бушующий круг. Бум-бум... А ноги уже припопывают в такт ударам. К вам приходит Африка, и вы не хотите расстаться с ней, вам необходимо сохранить в памяти этот день, эти звуки, эти движения. Бум-бум-бум. Камерун! Площадь Независимости после трех...

Солнечные лучи все так же пронзали плотный воздух, наполняя его сиянием, но жар уже начал спадать. На дорогах появились машины в красной пыли, как в замше.

В низких кузовах стоя ехали камерунцы — мужчины в пышных коротких юбочках, в тканях, наброшенных, как шкуры зверей, на глянцевого торсы, в пагольниках, украшенных сотнями гремящих ракушек.

Мужчины стояли плотно вокруг чего-то большого, занимавшего середину кузова, словно старались укрыть его от постороннего взгляда, защитить своими базальтовыми телами, копиями, стрелами. В лицах суровая сосредоточенность, как пред свершением тайного ритуала.

Около маленького бара африканец, ехавший в кузове, стукнул по кабине шофера. Машина резко затормозила. Экзотические пассажиры гуськом направились в бар. Несколько человек осталось на улице. Они терпеливо переминались с ноги на ногу, при каждом движении укрепленные на

пагольниках ракушки издавали треск. Вот кто-то передал из бара запотевшую бутылку, и она пошла по рукам. Африканцы по очереди запрокидывали головы, кадыки их работали словно поршни. По кругу пошла вторая, третья бутылка пива. В кузове, как оказалось, лежали ксилофоны, стояли тамтамы: высокие барабаны с тонкими талиями и приземистые, украшенные резьбой.

Машина направлялась к площади, где начинались народные танцы в честь Дня независимости.

Улицы начали оживать, появились нарядные женщины в ситцах особого африканского колорита, сочных тонов, с рисунком, заимствованным из природы, животного мира, в шелковых платьях, сильно обтягивающих фигуру. У многих африканок европейские прически. Как они только ухитряются вытягивать, выпрямлять стальные спирали своих волос и делать из них начесы!

Национальные прически разнообразны. Женщины скручивают волосы в тонкие жгуты и, связывая их за концы, сооружают из них короны и пагоды. У некоторых каждый из торчащих в разные стороны жгутиков увенчан шариком из взбитых волос. У девочек волосики расчесаны на геометрически ровные квадраты с черными волосяными пуговками посередине.

Все эти пуговки, шарики, башни торжественно шествовали к месту гулянья. Шли матери, старики. Молодой отец, прижимая сидящего на его руке малыша, заботливо держит над ним красный зонтик. Идет солидный, немолодой камерунец, обняв за талии двух подруг. Вероятно, обе женщины — его жены. Многоженство здесь еще распространено.

Прямой, преисполненный важности старик, спесиво поджав синие губы, с усилием передвигает негнущиеся ноги. Он опирается на черную палку и смотрит, ничего не видя перед собой.

Я вижу, как дрогнуло старческое лицо, когда до слуха его донесся барабанный призыв: «Бум-бум! Бум-бум!» Кажется, площадь близко. Я иду к ней по незнакомой дороге. Одна, в незнакомом городе, не чувствуя отчужденности. Меня обгоняют молодые пары, группы нарядных людей. Все приветливы, все здороваются, радостно улыбаются на ответный привет.

У перекрестка я задержалась, и тут меня окликнул Поль. Он ехал, высунувшись в окно, и еще издали замахал рукой.

— Я вас везде ищу, — крикнул он. — Хотел показать стариков.

— Каких стариков?

— У нас здесь есть несколько музыкантов. Остались еще от немцев, с той мировой войны. По праздникам они надевают военную форму, свои военные кресты и ходят по городу, играют марши. Мы смотрим на них, как на чудаков. Я их хотел показать вам.

— Так едемте, Поль! — Я села в машину.

— На площади танцы. Нужно теперь туда, а то не пробьемся...

Когда мы добрались до места, Поль предложил мне подняться на крышу машины. Я увидела сплошное море голов, шапочек, фесок, косынок, фетровых шляп.

Они медленно двигались, напоминая водовороты вокруг каких-то центров. Сверху нельзя было рассмотреть, что там происходит, и сделала несколько снимков, я снова спустилась вниз.

«Центрами» оказались огороженные, наподобие рингов, площадки, где представители разных племен, религиозных, профессиональных групп показывали свое танцевальное искусство.

На дощечках было указано:

«Объединение народного танца „Лукула“» — африканцы з белых широких бубу. «Национальный ансамбль бамилеке» — танцоры с ракушками на ногах. Танцующие были в национальной одежде.

Пробравшись сквозь плотное кольцо сосредоточенных зрителей, я подошла к одной загородке, внутри которой по кругу медленно двигались и приседали танцоры. Выбивая ритм, гудели барабаны и ксилофоны. Когда этот ритм убыстрялся, танцующие поворачивались лицом в круг и начинали сходить в кольцо. Время от времени кто-нибудь вскидывал голову и кричал пронзительно и протяжно: «У-лю-лю-лю-лю-лю!».

Я помню, однажды в Марокко слышала, как точно так же кричали люди, приветствуя едущего в мечеть короля. У-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю! Было что-то завораживающее в этом крике. И в танцах, и в барабанном ритме. Бум-бум-бум...

Среди массы темнокожих лиц я увидела белого мальчика. Это был не европеец — рыжие, скрученные в спирали волосы, белое в рыжих веснушках лицо, воспаленные веки, голубые глаза. Белокожий африканец. Альбинос. Мне не приходилось встречать альбиносов. В Камеруне я видела их впервые. Мальчик склонил головку набок, стеснительно поглядывая исподлобья. Я хотела к нему подойти, но толпу качнуло. Меня понесла людская волна. Я выбралась из потока и зацепилась за изгородь, за которой кружилось очень много людей. Это были мужчины с голыми торсами, в юбочках, в шкурах, с копьями, волосяными хвостами, платками и палками. Они шли друг за другом гуськом, и при каждом резком движении их юбочки разлетались веером.

Женщины входили в круг из толпы, двигались вначале медленно, пропуская такт, а потом все быстрее, стремительнее. Они делали резкие движения грудью и животом и в экстазе вихрем уносились вперед.

На зрителях надвигались рогатые маски, взлетали мочальные бороды, мелькали пестрые ткани, будто отполированные тела. Трещали ракушки, укрепленные на ногах. В каждом кругу шло свое веселье.

Вот от танцующих отделился юноша, продолжая притопывать, вздрагивать корпусом. Он подходит к барьеру, взмахивает платком перед камерунской красавицей, затянутой в зеленую переливчатую тафту. Девушка повернулась к подруге, сделала

вид, что не заметила знака, и юноша, ничуть не смутившись, направился в круг. Уже другой приближается к барьеру. На бедрах развевается яркая ткань, белая майка туго обтягивает могучие мускулы. Он улыбается, и зубы сверкают, придавая лицу добродушие и приветливость. Взмах платка, и его избранница входит в круг и плывет впереди. Двигутся только бедра ее, голова откинута, руки подняты к плечам, согнуты в локтях, будто она защищается от кого-то.

— У-люлю-люлю! — закричал юноша и начал кружиться возле подруги. Танец захватил их, и они уплыли, смешались с толпой.

Я перехожу от группы к группе, протискиваясь между людьми. Стараюсь запечатлеть картины веселья, лица людей. Красивые, с правильными чертами, мягкие, аскетические, скуластые, круглые, вытянутые, худые, надменно гордые, замкнутые, лучащиеся добротой, лица с шоколадным отливом, черные, будто выточенные из эбенового дерева, красно-бронзовые, лица альбиносов, видимо в Камеруне они не так уж редки.

Возбуждение углубило, резче обозначило черты, обнажило характеры людей. Многие танцы, изображавшие трудовые процессы, раскрывали прочные связи с землей, их еще не нарушенное слияние с природой, богатой, красивой и чувственной.

Гулко, призывно гудели барабаны, звучали голоса. Все двигалось, пело, смеялось. Камерун показывал свое древнее народное искусство.

В шарнире Африки

В праздничной суете я совсем забыла о камерунце, для которого привезла книгу. Напомнило мне о нем случайное обстоятельство...

В маленьком уютном зале одного из яундинских ресторанов шел прием. Африканцы во фраках и белых рубашках сидели вокруг стола, внимательно слушая речь. Того, кто говорил, мне не было видно. Я слышала только голос, глубокий и сильный, звучащий с оттенком официальности. Время от времени речь прерывали аплодисменты. Сидевшие поднимались, и голос ненадолго замолкал. Затем, набирая силу, он снова звучал. Он говорил о Камеруне, молодой, слабо развитой стране, перед которой открылся широкий и долгий путь. Оратор доказывал, что единство племен — одно из необходимых условий национальной политики, упоминал о природных богатствах страны, о том, что нужно развивать свою собственную промышленность, не забывая, конечно, главного — сельского хозяйства. Он называл «ключевые» продукты экономики Камеруна — кофе, какао-бобы, древесину, каучук, пальмовое масло.

— За предстоящее двадцатилетие мы должны удвоить доход на душу населения. Мы будем вести изыскательские работы...

строить дороги и средства связи... проводить социальное преобразование... Мы сделаем все это с помощью иностранных государств...

Поль внимательно слушал говорившего, и когда тот умолк, сказал, повернувшись ко мне:

— Мы очень богатая страна. Наше какао пьет весь мир. И кофе... — Он помолчал, подумал... — Мы очень много вывозим кофе... И древесины. Сотни, тысячи тонн. Красное, черное дерево. Такие леса, как в Камеруне, есть только в Габоне и Конго... А сигареты, сделанные в Яунде, курит вся Африка. За год четыреста тонн сигарет.

— «Бастос»?

— Да. «Бастос».

— По-моему, это слишком крепкие сигареты.

— Курильщики любят крепкий табак. Мы здесь выращиваем и табак. И перец. Вы видели, как он растет? — Поль показал на склянку, в которой был порошок. Вначале я думала, что это соль.

— Нет, это перец. — Поль снисходительно улыбнулся. — Не к каждому блюду черный хорош. А белый — к любому: не видно. Как его делают белым? Нужно сорвать — и в воду, он побелеет. А если сохнет на воздухе — почернеет.

Объяснив, что перец растет стручками, длинными ровными гроздьями, обсыпанными мелкими зелеными горошинами, Поль стал рассказывать об авокадо.

— Это ценнейший плод. — Он поискал глазами, с чем бы сравнить, но не найдя, продолжал: — Пробовали салат? Прекрасный, с пальмовым маслом и перцем. Многие, правда, его не любят. Но все же едят. В нем есть витамины. О, авокадо очень богат витаминами. Не то что банан. Но главным образом, — Поль похлопал себя по щекам кончиками пальцев, — главным образом, этот плод идет для косметики. Лучшие кремы из авокадо...

Он вынул из бокового кармана маленький справочник, на обложке которого была изображена карта.

— Вам это ничего не напоминает? — спросил он.

Я посмотрела на очертания границ — сильно деформированный треугольник, с вытянутым к северу острым углом, с сравненным его с птицей. Спросила Поля — не это ли сходство он имеет в виду? Поль отрицательно покачал головой.

Он повернул карту.

— Правда, похоже на Африку?

Теперь острый угол смотрел вниз и был югом.

— Да, пожалуй, что-то есть. При известной доле воображения.

— Когда вы больше узнаете Камерун, вы поймете, что это так. В нем собрано все характерное для Африки. Недаром говорят, что Камерун находится в шарнире Африки. На севере, — Поль очертил районы, прилегающие к озеру Чад, — степи, немного болот. Здесь и южнее развито животноводство. У нас по учету пятьдесят девятого года, — он заглянул в справочник, — было

около миллиона трехсот тысяч крупного рогатого скота, полтора миллиона овец и коз — шерстью и мясом мы обеспечены. И птицы тоже — три миллиона штук.

Я посмеялась, заметив, что ощутила это изобилие птицы. К обеду и ужину давали нежнейших индеек и кур. Готовили африканские повара. Отлично готовили... Поль был доволен, кивнул и, вежливо подождя, вернулся к карте. Его карандаш переместился к югу.

— Он вот здесь саванны. Вы были когда-нибудь в саванне? Где? В Кении? Нравится? Саванну многие любят, но я предпочитаю тропический лес. Влажные тропические джунгли в Камеруне занимают третью часть территории.

Карандаш сделал круг по центральной части страны и двинулся на восток.

— Наш лес сливается с великим лесом Конго. А Конго — это непроходимые джунгли.

Перед глазами возник лес Итури. Его окраину я видела в Уганде. Зеленые, сплетенные лианами деревья, упершиеся вершинами в небо, букеты орхидей — сиреневых, розовых, белых, гнездящиеся на исполкиных стволах. Там мы встречали пигмеев бамбутти.

— А здесь, в Камеруне, живут пигмеи?

Поль будто ожидал вопроса. Ну, конечно, это экзотика. Каждый приезжий турист — а их в Камеруне бывает всего шесть с лишним тысяч в год — хочет узнать о маленьких людях, упорно скрывающихся в лесах от современной цивилизации.

— Предки рассказывают, что когда-то здесь жили пигмеи. Неподалеку от Яунде. Если хотите, мы можем поехать в эти места. Пигмеи жили в пещерах. Потом другие племена вытеснили пигмеев сюда, — карандаш задержался у Конго, — У нас живут племена бабинга и бакола. Всего десять тысяч пигмеев. Но я не знаю о них, я изучал центральную часть Камеруна.

Поль провел карандашом вдоль береговой линии от Нигерии до Испанской Гвинеи.

— Вот здесь непроходимые болотистые леса. Сплошные мангровые заросли. Вы видели когда-нибудь мангровые деревья? У них воздушные корни — ходули, которые от ствола опускаются в воду. Кроны вечно-зеленые и настолько густые, что солнце сквозь них никогда не проникает.

Поль вдруг озабоченно посмотрел на меня.

— А вы принимали таблетки от малярии?

Я сказала, что прививку от тропической лихорадки сделала еще в Москве и считаю себя в безопасности.

— Этого мало. Нужно таблетки пить. Раз в неделю. Лихорадка — противная вещь. Мотаает, мотаает, а после как неживой. Как выжатый лимон, — поправился он и спрятал в карман карандаш. — Я тоже болел тропической лихорадкой. На побережье почти все жители страдают от малярии. Особенно дети. Вы обязательно принимайте таблетки.

Он вернулся к рассказу о богатствах Камеруна. Недавно найдены месторождения бокситов, марганца, железной руды. На севере обнаружены признаки урана. Сейчас там работают геологические экспедиции. Несколько экспедиций.

Вот тут-то я и вспомнила о книге по геологии. Я рассказала Полю о камерунце, учившемся в Московском геологоразведочном институте, спросила, не знает ли он, где его найти.

Он посмотрел с любопытством.

— Я что-то, кажется, слышал. Но точно не помню. Я попытаюсь узнать.

Он записал фамилию юноши в свой блокнотик, и мы расстались до поездки в районы плантаций какао.

Камерунский день

Ночь уходила. Уже угасли звуки там-тамов, умолкли сверчки и цикады. Темнота еще цепко держалась за землю, но уже была не такой, как с вечера, плотной и бархатисто-упругой. В ней ощущалась какая-то обостренная жесткость и обреченность. И вдруг она сразу сдалась и потекла, как вода из разбившегося сосуда. Над котловиной, где лежал один из африканских кварталов Яунде, показалась розовая полоса. Воздух стал мглистым, потом посинел. Из-за растущих в низине пальм тяжело и сонно выкатился огромный огненный шар. Он повисел с минуту и начал плавно, но быстро взлетать. Лучи его устремились на землю, как стрелы из лука с натянутой тетивой.

Откуда-то донеслись глухие удары, похожие на звуки сигнального барабана. Я перегнулась через перила балкона, прислушалась. Нет, то был не тамтам. По дороге на велосипедах ехали два веселящихся парня. Они спорили, размахивая руками, и машины их вихляли, когда парни отрывались от рулей.

В черных волосах одного из велосипедистов ярко алел цветок. Машины съехали, и молодой африканец в джинсах, усыпанных множеством кнопок и ярлычков, попытался выхватить этот цветок. Его обладатель увернулся и засмеялся счастливо и громко.

К рамам машин на веревках были привязаны пустые ведра. Они дребезжали, ударяясь об асфальт. Это и был тот звук, который я приняла вначале за барабан.

Прохожие не обращали на парней никакого внимания, обходя вихляющие велосипеды. Шли женщины в пестрых платьях, водрузив на головы тазы и корзины с ананасами, плодами папайи, манго, зелеными травами и овощами. За спинами их, затаившись, сидели дети. Те, что постарше, семенили рядом с матерями, держа в руках и на головах посылную кладь.

На велосипедах ехали мужчины, в тележках везли дрова и продукты. Девушка вела на веревке козла, он шел, упираясь, потряхивая бородой, спесивый и ироничский.

Все двинулись по направлению к рынку. Я посмотрела на часы — начало восьмого. Художники, вероятно, уже за работой. Они по утрам уходили в город, писали там, иногда пропуская завтрак. Я спустилась в холл, где все еще сверкала мишурой привезенная из Парижа елка, и вышла на улицу.

На другой стороне за пешеходной дорожкой начинался заросший деревьями и кустами спуск в долину, на дне которой лежал туман. Сквозь тонкую его пленку просвечивали двухскатные крыши глинобитных домов. Они стояли рядами, укрывшись под сенью кокосовых пальм.

Вслед за мальчиком, несшим вязанку сахарного тростника, я направилась к рынку. Мальчик шел прямо, тростник на его голове не шевелился. Плечи и корпус подростка были неподвижны, зато бедра ходили ходуном. Быстро мелькали темные икры тоненьких ног, казалось, он танцевал.

Прибавив шаг, я оглянулась. Подросток широко улынулся и поздоровался:

— Бон ане!

Ответив, я пошла рядом. Спросила, откуда он несет свой тростник.

— Мы из Мбала, мадам, — он повернулся и показал рукой на север. — Вот там наш дом, у самого леса.

— А где же растет тростник?

— У речки Тонгвала. Там у нас есть земля. На этом участке растет маниок и тростник. В лесу земля тоже есть, но там какао.

— Какао? А почему же в лесу?

— Какао всегда в лесу! — Подросток недоуменно пожал плечами.

Некоторое время мы шли молча. Но вот мой спутник оживился, прибавил шаг. Навстречу с рынка возвращался мальчик с пустой корзиной на голове. В расстегнутом вороте его розовой в мелкую клетку рубашки поблескивал крестик.

Дети остановились.

— Какие новости? — спросил мой спутник.

Встречный, сверкнув белками, заговорил. Видимо, новостей накопилось немало.

Кто-то пошутил, что в Камеруне одна двадцатая населения слушает радио, шестая часть читает газеты, а остальные питаются слухами. Шутка обрела иное звучание, когда недавно на открытии Дома радио в Яунде президент республики Амаду Ахиджо повторил ее официально с трибуны. Тогда шел разговор о том, что в стране еще низка грамотность, хотя нынче более полумиллиона маленьких камерунцев посещают государственных и частных школы страны.

Слухи — это традиция. Жизнь здесь нетороплива и не богата событиями, и каждый, даже самый незначительный факт обретает значение. О слухах писали еще первые европейцы, в прошлом веке проникшие в джунгли. Пока они пробрались через дремучие чащи, весть о них бежала далеко вперед. «У дуалов есть характерный барабанный язык. Но владеют им только избранные», — так писали путешественники в своих дневниках.

Первые путешественники обнаружили, что люди племени яунде приветливы и ра-

душны. Поражало атлетическое сложение мужчин. Это были геркулесы с бронзовой кожей.

Теперь впереди меня шли два таких геркулеса. Они несли на рынок охапки дров.

...Рынок — один из многочисленных рынков Яунде — встретил меня калейдоскопической пестротой. Яркие шумные потоки покупателей растекались между прилавками и рядами, задерживались у плетеных корзин, тазов, сосудов из тыкв, мешков, циновок, разостланных на земле, где взыскательному вкусу предлагалось все, что выращивали и собирали крестьяне окрестных деревень. Бананы, батат, какао и кофе, сорго, кассава, яркие плоды масличной пальмы, папайи, манго, различные овощи, капуста, лук, огурцы, помидоры.

В особых рядах торговали мясом, копченой, сушеной и свежей рыбой, вялеными креветками, устрицами. Дородные африканки из больших котлов, сдвинув с них толстую клеенку, наливали в мисочки горячий паф — рисовый суп, внимательно пересчитывали бронзовые монеты и опускали их в необъятные сумки. Рядом вертелись подростки с воздушными пончиками на лотках.

У бутылей с пальмовой водкой шел торг. Здесь покупали, пробуя на вкус, рассматривая на свет, обстоятельно рядились, уходили, но возвращались и снова рядились.

Хозяйки внимательно разглядывали продукты, поворачивали вилкой ломтики жареной рыбы, следили за тем, как отмеривают сорго, креветки, маис. Если мерка была неполной, возмущенно кричали и, размахивая руками, требовали справедливости. Я отыскала продавца, у которого покупала бананы.

— Бон ане, Рихард! Вы вчера не торговали?

Камерунец обрадованно засмеялся.

— Бон ане! Спасибо, мадам. Мы были дома.

Он показал на двух малышей — мальчика и девочку лет пяти и шести, сидевших на низких скамеечках у циновки. Я наклонилась к мальчику, хотела спросить, как его зовут, но в это время в ряду показалась коза. Она трусила, косясь по сторонам, подхватывая на ходу упавший капустный лист, ананасовую Kocheryjku.

Мальчик, сидевший до этого неподвижно, схватил лежащий рядом жгут и начал размахивать им, отгоняя козу.

Подкатил африканец на мотоцикле с тележкой кокосовых орехов. Устроившиеся на земле здоровенные парни вскочили и начали сбрасывать орехи на землю, туда, где уже лежала большая их грудка.

Тележка мгновенно была опустошена, один из парней взял нож-секач и, сев рядом с кучей, стал ловкими, сильными ударами раскалывать оболочку орехов, отбрасывая ее в сторону и вынимая коричневые волокнистые ядра. Девочка относил их к матери, за прилавок, и та продавала по десять, пятнадцать и двадцать пять западноафриканских франков за штуку.

Я отбирала бананы, а Рихард рассказывал, как он встречал Новый год.

Жена приготовила кур, индейку, изжарила рыбу, которую он привез ей из города. Было много вина и пива, пришли родные. Каждый что-то принес. Он и сегодня остался бы дома, но нужно работать. Город вырос, торговля идет прилично. Есть спрос на фрукты и овощи. Еще бы, люди, живущие в городе, должны что-то есть! Но если все захотят жить в городе, кто же будет работать в деревне? Нет, он ни за что не допустит, чтобы старшие дети ушли от

— Нет ли у вас сигарет?..— спросил он, глядя в пространство.

Я протянула ему сигареты. Старик повернулся, на груди его был приколот железный крест.

Взяв пачку, он спрятал ее в карман, осведомился, сколько это стоит, и заковылял со мной рядом, припадая на левую ногу. Он добровольно принял обязанности гида.

— Вот там,— он показывал на хвойную рощу на склоне холма,— живут богатые люди. А это жарят маис.



Кафедральный собор в Яунде

земли. Они все время стремятся в город, но он их держит в руках. Если уйдут, как же ему торговать? Да и чем они будут здесь заниматься? Мало ли нынче в городах своих бездельников?

Рихард торгует тем, что выращивают в деревне жена и старшие дети. Их тоже двое. Дела неплохо идут, если так будет и дальше, через год он сможет открыть небольшую палатку. У его приятеля есть уже магазин, правда, скромный, в африканском квартале, но он не жалуется...

Выбрав несколько бананов, я направилась в квартал, где писали художники.

Художники были, как правило, «привязаны к местности».

Я бродила по городу, фотографировала, разговаривала с камерунцами. В африканских кварталах чувствовалась бедность.

По пути к художникам я задержалась у кафедрального собора. Католики и протестанты, наверное, соревнуются здесь в постройке соборов. Храмы величественны, богаты, оригинальны. Один их вид внушает благоговение. В собор по широкой торжественной лестнице поднимались африканцы. Сложив на площадке у входа свою поклажу, они смиренно входили в храм, откуда, усиленный микрофоном, долетал размеренный, увещевающий голос священника. Изредка в храм входили мужчины. Еще реже молодые парни, фланирующие по городу.

Здесь, возле собора, меня окликнул старик, сморщенный, как сухая айва, в изношенном френче, маленький и худой.

Мы остановились у дома, возле которого женщина в ярком платье, склонившись над противнем, помешивала лопаткой зерна. Дети — мальчики лет семи и восьми, прижимая к груди корзиночки, ожидали, когда мать наполнит их жареным маисом.

— Они понесут его на базар,— пояснил старик и вдруг куда-то заторопился.— Вам туда,— показал он в пролет оживленной улицы.

Я и без того представляла, куда мне идти, но поблагодарила старика, честно отработавшего свои сигареты.

— Простите,— сказала я.— Вот этот крест... Вы где его получили?

— Это давно. На германском фронте,— проворчал старик и заковылял по направлению к вокзальному рынку.

Я видела, как он постоял, пропуская переполненные вагоны уходящего поезда, перешел пути и пропал в толпе.

Миновав автобусную станцию, с ее пестрой шумной суетой, я спустилась по ступеням в район Дауне с узкими улицами, с глубокими сточными канавами, через которые к домам были перекинuty деревянные мостики. В этом квартале жили патриархально. По пыльной дороге бегали равнодушные собаки, бродили куры. Коричневый голопузый малыш с упоением гонял железный обруч от бочки. Возле домов стирали и стряпали. Мужчины, устроившись на ящиках от продуктов, играли в кости.

Левон Налбандян был окружен африканцами. Преображенный закончил эту и

снял детей. Ребята выстраивались перед объективом, приплясывали и смеялись.

Взрослые не обращали на посторонних никакого внимания. Только один длинноногий красивый юноша попросил прислать ему фотографию. Взяв мой блокнот, он каллиграфическим почерком записал в него адрес.

Сказал, что работает клерком в конторе. Заработок его невысок, но все-таки семья не голодает. Он даже кое-что откладывает для свадьбы.

— Невеста живет вот там...

Он показал за ручей, где теснились дома. Некоторые были без стен — жерди и крыши, — в них никто еще не жил. Мы прошли через эти клетки и попали в узкую темную улицу, посреди которой протекал ручеек. Длинные выступы крыш почти смыкались. Было душно и сыро.

Возле одного из домов квартала юноша поговорил с сидящей у двери женщиной. Она рассердилась, затрясла головой, кажется, отчитала будущего зятя. Отойдя, он сказал, что невеста ушла, но мне показалось, что в двери мелькнуло чье-то пестрое платье. Красивая мать — на вид ей было лет тридцать, не больше — что-то крикнула строго, и платье исчезло.

Юноша был смущен. Мы молча вернулись к тому месту, где находились художники. Они закончили работу и складывали кисти, предоставив детям возможность рассматривать этюды. Юноша тоже начал рассматривать. Это были яркие, праздничные картины. Краски Африки так богаты и радостны, что скрывают часто убогий быт. Наш новый знакомый проводил нас до лестницы, еще раз напомнил о фотографиях и, церемонно простившись, побрел туда, где теснились дома с узкими, скрытыми от солнца улицами.

Яунде

К двенадцати солнце достигает зенита. Тени почти исчезают, темные, прохладные круги лежат лишь под кронами пальм и густых деревьев. Жизнь в городе до трех часов замирает. Закрываются учреждения, редуют толпы у кинотеатров, где идут леденящие ужасом боевики. Улицы Яунде в это время безлюдны, будто все население впало в глубокий сон.

Изредка, рыча на крутых подъемах, промчится машина. Пройдет монахиня в серой накидке, выскочат гиканющие мальчишки. Они носятся по опустевшему рынку, где сложены и накрыты циновками кучи орехов, мешки, корзины.

От утренней пестроты здесь ничего не осталось. Полчища коз шныряют по опустевшим рядам, торопливо подбирая кукурузные очистки и фруктовую кожуру.

Небольшая группа людей толпится возле навьюченного корзинами и мешками автобуса, уходящего в один из окрестных районов.

Взобравшись на крышу, шофер заботливо пристраивает последние узлы к зыбкому сооружению. Он обвязывает веревками, покачивает тюки, не рассчитывая, вероятно, на легкость дороги, затягивает веревку, упершись ногой в большой чемодан. Машина стоит, как покорная лошадь. Она вся покрыта толстым слоем красной бархатной пыли, обшарпана, с множеством вмятин на старых железных боках.

Разгоряченный вином молодой африканец пытается втиснуться в автобус, но места нет. Незадачливый пассажир активно работает мускулами, места нет все равно. Он выпадает из дверей, кричит в открытые окна, покачиваясь, бегаёт вдоль машины, просит продвинуться, потесниться.

Куда же? В машине все плотно спрессовано — женщины, дети, мужчины, мешки. Впрочем, может быть, для него и нашлось бы местечко. Ну да, конечно, нашлось бы. Вон там, у кабины шофера, какой-то про свет. Но для этого тем, кто внутри, кто уже обрел состояние покоя, нужно ломать его, нужно опять приравниваться, изменять положение. Пассажиры не слышат отчаянных просьб. Их лица спокойны, они не смотрят в открытые окна. Просто сидят и ждут.

Но вот внутри что-то произошло, кажется, на кого-то упала корзина. Немедленно все зашевелилось, задвигались. Поднялся галдеж, а выиграл молодой африканец. Люди сдвинулись, он повис на подножке и, опершись о поручни, стал вжиматься в машину. Завопили ребята, закричали женщины. В это время спустившийся с крыши шофер занял место в кабине. Дверца со скрипом закрылась, и машина тронулась.

— Мадам, не хотите ли манго? Банан? Оранжев? Ананас?

Кучка ребятшек на углу с корзинками и тазами зазывает покупателей, предлагая фрукты.

— Сколько стоит ананас?

— Сто франков, мадам. Очень сладкий. Хотите очищу?

Он выхватил из кармана нож, открыл блестящее лезвие и поднял за зеленую кисточку прозрачно-оранжевый фрукт.

— Этот?

— Нет, нет... — отрицательно качая головой.

Он берет второй и третий — последний. В тазу всего три небольших ананаса.

Так соблазнительно. Ананас. Теплый, красивый, душистый...

Подросток видит мое колебание. Боясь упустить покупателя, спешно спрашивает:

— Ну хорошо, а ваша цена?

Цена? Он продает, конечно, дороже, чем утром на рынке. Примерно в два раза дороже. Но это так дешево! Африка. Ананасы. Бананы. Так пахнет! Взять бы. Но куда положить.

— Я отнесу вам домой. Скажите, куда?

Я отдала пареньку сто камерунских франков, сказала адрес, и он побежал к отелю. Меня обступили продавцы апельсинов, орехов кола: «Купите, мадам, купите. Я уступлю...»

Эти маленькие уличные торговцы будут трудиться целый день, зарабатывая свою сотню франков на билет в кино, а кто — на буханку хлеба. Ходят они на утренние сеансы. Вечером нужно платить намного дороже.

От базара улицы стремятся вниз. Дорога асфальтовая, ровная, тротуары — ступенями. Я спускаюсь по этим ступеням мимо каменных двух- и трехэтажных домов. Они как будто тоже сползают вниз, толкая друг друга боками. От скученности этих невысоких домов улица кажется тесной и старомодной. Откуда же старомодной! История Яунде так коротка!

После того как на исходе прошлого века здесь появились католический храм и дворец Атанганы, Яунде еще долго пребывал в патриархальном покое. Даже после войны, когда восточная часть Камеруна перешла к французам и Яунде стал столицей, он развивался медленно. Город оживился в конце двадцатых годов, когда началось движение по железной дороге, проложенной от Дуалы. В те годы, вероятно, и были построены все эти старомодные дома с балконами, магазины с жалюзи, с узорчатыми железными решетками на окнах, которые с окончанием торговли запираются на замок; начали появляться первые предприятия — фабрики, лесопилки, небольшие заводы.

Город считался курортом. Лежит он на горном плато, занимающем всю центральную часть страны. Климат здесь более прохладный и здоровый, чем, скажем, в Дуале на побережье Атлантики. Здесь не так влажно, реже идут дожди, но все же в марте, апреле бывают сильные грозы.

Бурный рост Яунде начался всего лишь несколько лет назад, после того как здесь разместилось правительство Федеративной республики Камерун. За эти шесть лет столичное население выросло в два с половиной раза, достигнув ста с лишним тысяч жителей — африканцев и европейцев.

За счет чего вырос Яунде?

Мэр города Андре Фудо, вероятно, перечислил бы те правительственные учреждения, страховые компании, министерства, дипломатические миссии, департаменты, комиссариаты, отели, которые появились за последние годы. Здесь находятся — Центральный банк, Генеральное общество банков в Камеруне, оформляющие все финансовые операции страны. Они расположены, главным образом, в европейской, восточной части Яунде. Через город, лежащий в центре страны, проходят торговые пути. Грузы, идущие по железной дороге, в Яунде перегружают в машины и отправляют внутрь страны, в Центральную Африку, в республику Чад. Поэтому Яунде крупный торговый центр.

За последние годы усилилось значение Яунде как культурного центра страны. Выросло количество библиотек и школ. В 1961 году был открыт университет, правда, еще небольшой, несколько факультетов, но учатся в нем африканцы. Готовят главным образом специалистов администри-

рования и управления. Протестантский и теологический факультеты готовят священников для многочисленных церквей и соборов страны.

В Высшей школе сельского хозяйства изучают проблемы тропического земледелия, а также готовят своих специалистов. Педагогический институт выпускает учителей.

Ученые-медики в столице Камеруна изучают проказу, тропические болезни. Здесь обосновались протестантский, французский, американский, британский культурные центры, публичные залы, спортивные клубы, редакции, рестораны, агентства.

Здания, построенные в последние годы, легко отличить по стилю. Хороша новая африканская архитектура — дома приспособлены к климату, к влажности. Вместо окон красивые каменные решетки, иногда закрывающие весь фасад, и от этого здание кажется ажурным, сотканым из каменных кружев. Некоторые дома стоят на колоннах, подобно хижинам предков, стоявшим в джунглях на сваях. Другие постройки отделаны полированным камнем и дорогим камерунским деревом.

Все эти здания учреждений, отелей и частных вилл обдуманно разбросаны по холмам вдоль улиц Жозефа Клерка, генерала де Голля, капитана Шамдома, у искусственного озера. Африканские хижины лепятся в низинах. Иные за толстыми глиняными заборами, утыканными поверху склянками от разбитых бутылок. В низинах бегут ручейки. В них моют посуду, купаются и полощат белье.

Город производит пестрое впечатление, кажется разорванным, клочковатым, но от этого еще более живописным и колоритным. Поражает яркость, оживленность толпы, особенно в африканских кварталах. Однако в полдень безлюдно и тут. Истома. Все укрываются в глиняных хижинах, в которых в самые жаркие часы прохладно и сумрачно. Ставни закрыты, дверные циновки опущены.

В торговой части Яунде магазины Филлипа, Круппа, Фиата, крупных французских и многих других иностранных промышленных и торговых фирм: с Камеруном торгуют Америка, Австрия, Япония, Англия, Италия, Греция, Болгария, Израиль. СССР заключил с Камеруном соглашение об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве. В советских вузах учится около пятидесяти молодых камерунцев.

Но в то же время в последние годы в стране усилилось влияние ФРГ. Бонну принадлежит одна из крупнейших в стране компаний «Африканише фрухт» — банановые плантации. Займы и договоры дают ФРГ возможность по-прежнему грабить страну и диктовать ей условия. Многие иностранные предприниматели объединяются с камерунским капиталом, образуя смешанные компании, такие, как «Сосьете де будю Камерун», «Сосьетэ камерунз де какао».

Компания «Камерун де л'алюминий» — «Алюкам» — около десяти процентов госу-

дарственных камерунских капиталов — одна из крупнейших в стране. По производству этого дефицитного металла Камерун занимает первое место в Африке, пятое в капиталистическом мире — после Канады, США, Норвегии, Франции.

Сырье для комбината, построенного недалеко от побережья, на железной дороге, привозят из Гвинеи. Пошлин на ввоз из Гвинеи нет, бокситы обходятся дешево. Намного дешевле, чем добытые в Камеруне. Но и свои запасы в стране велики.

Завод «Алюкам», выпускающий тонкий алюминиевый лист, работает на энергии единственной, но довольно мощной электростанции, построенной на порогах многоводной Санаги. Эта станция принадлежит компании «Энелкам». Она тоже включает камерунские капиталы.

Компания «Симанкам» производит цемент. Выращиванием хлопка занимается французская компания КФДТ.

Компания, компания... Их конторы и отделения фирм занимают легкие современные здания.

Яунде — город, где сплетаются в сложный узел все проблемы современной Африки.

В 1887 году на месте Яунде был основан исследовательский пункт, вокруг которого лепились двадцать две хижины африканцев. В 1901 году на холме Мволье силами окрестных жителей, трудившихся во славу «истинной веры», был сооружен католический храм. На другом холме возвели двухэтажный дворец одного из самых могущественных вождей того времени — Атанганы, к которому я держала свой путь.

Большое искусственное озеро среди пышной тропической зелени в западной части столицы дышит теплыми, душными испарениями. В полдень и здесь безлюдно. На пляже пустые шезлонги. Большие зонты, сшитые из разноцветных долек, яхты со спущенными парусами, моторные лодки, уткнувшиеся носами в причалы, в береговой камыш, — все дремлет, все обессилело жаром.

Я постояла у озера и направилась к дворцу Атанганы, когда меня кто-то окликнул.

— Пардон, мадам!

У тротуара стояла машина. За рулем сидел пожилой европеец с тщательно расчесанными пшеничными усами.

Он еще раз извинился и сказал, что камерунское солнце опасно для «новичков».

— Разве так заметно, что я новичок?

— Мы знаем друг друга. Примерно, конечно. А к тому же... — он слегка замялся, — здесь европейцы не ходят пешком...

— Город так интересен, — сказала я. — Машина крадет непосредственность восприятия...

— О да, конечно... конечно... Старайтесь, по крайней мере, держаться в тени...

Я поблагодарила любезного европейца за предложение довезти меня до отеля и пошла к дому Атанганы.

...С детства в моей памяти сохранилась картинка из «Нивы». В кресле, под сенью банана, сидит африканец в мочальной юбочке, в бусах, с затейливым сооружением из страусовых перьев на голове. Вокруг него пляшут тонконогие африканцы в темных набедренных повязках, с копиями и щитами. Несколько человек несут большого пятнистого зверя со связанными лапами, висящего на шесте вниз спиной.

Но ни зверь, ни дерево, ни танцующие африканцы не пленяли податливого детского воображения столь сильно, как властный, сверлящий взгляд сидящего под бананом вождя. В нем было столько могущества, силы, свободы, чего-то магического...

В то время об Африке было много рассказов. Но все мои детские представления сходились к этой картинке.

— Бабушка, а как поехать туда? — спрашивала я.

— В Ефиопию-то? Туда кораблем...

Бабушка любила путешествовать, но больше ходила пешком по стране, по святым местам. Она привозила цветные открытки, старинные книги, различные сувениры, которые складывала в киот и в тумбочку под киотом.

— Никак не могла угомониться, — рассказывали мне потом мои старые тетки. — Все правду искала.

В то время, когда я рассматривала «Ниву», бабушка отяжелела, угомонилась. От веры совсем отошла, все дни просиживала в зале, в старинном кресле возле окна, и сквозь большую лупу читала журналы.

Дед суетился по дому. Он вел все хозяйство. Когда он звал: «Маш, иди поешь!» — и бабушка уплывала к столу, я быстро отыскивала картинку и снова смотрела, стараясь проникнуть в далекую незнакомую жизнь.

Со временем детское увлечение забылось. И почему-то здесь, в Камеруне, во мне вдруг шевельнулось забытое чувство.

Дворец Атанганы казался безлюдным. Широкая наружная лестница вела на второй этаж. Фасад — старомодные галереи вдоль двух этажей с большими полукруглыми нишами. На ровной площадке перед фасадом — вырубленный из камня могильный крест. Подойдя к нему, я узнала, что это могила вождя Атанганы, умершего в сорок втором году.

С тыла к дворцу примыкали глинобитные домики. Они стояли полукольцом среди пальм. И здесь уже не чувствовалось запустения. Играли дети, в горячей красной пыли копались куры, из зарослей пальм доносилось повизгивание поросенка.

Из задней маленькой дверцы дворца вышла плотная, широкоскулая африканка в простеньком ситцевом платье в горошек. Она поздоровалась и спросила, что меня привело сюда. Узнав, что я хочу посмотреть на дом Атанганы, она закивала и любезно сказала, что можно даже взглянуть на одну из комнат.

— Я дочь вождя, — представилась женщина и назвала свое имя: Катерина. —

Когда строили этот дворец, меня еще не было на свете. Но я помню людей, которые приходили из джунглей, чтобы посмотреть на каменный дом вождя. Там, — она показала на площадку перед дворцом, — иногда танцевали. Атангана сидел наверху.

Со двора мы вошли в сумрачную комнату в нижнем этаже. Свет в нее проникал сквозь оконца у двери. Центральную часть помещения занимал квадратный, на толстых тяжелых ножках обеденный стол. Вдоль стен казенно стояли прямые высокие стулья с протершимися сиденьями, в углу под салфеткой ножная швейная машина. Все казалось таким обыденным и простым. Здесь не было той великопленной мебели, которую делают из дорогого тяжелого дерева резчики Камеруна.

Дочь скупо рассказывает об отце:

— Атангана был влиятельный вождь. Ему подчинялись местные племена. Потом значение традиционных вождей упало. В последние годы он стал здесь вторым человеком.

— А кто же первый?

— Страной управлял генерал-губернатор. Вождь только охранял традиции племени. Вот он, отец, посмотрите.

На стенах, как в сельских домах, застекленные рамы с множеством фотографий. Катерина подходит к одной из них.

— Этот снимок сделан в Германии. — Мне слышатся в ее голосе нотки грусти. — Смотрите, как он молод!

Я вижу приземистого, широколицего африканца — дочь вся в него! — в цилиндре, во фраке, с тростью в руке, туго обтянутой белой перчаткой. Вид европейский, но что-то жалкое в нем... Какая-то неуверенность в выражении глаз. Нецарственная суетливость, стесненность. Как будто ему, привыкшему к свободным одеждам страны, мешает и фрак, и крахмальный воротничок. Его потомки полюбят такой костюм. Но Атангане в нем неудобно. Наверно, непривычна и новая роль, которую он играет при «господах».

Катерина приветлива и откровенна. Разговор о вожде ей приятен.

— И этот снимок сделан тоже в Германии. Отец туда часто ездил.

Я вижу Атангану среди европейцев. Видно, он начал осваивать роль. Вождь рядом с красивой блондинкой — это соседство льстит ему. На лице самодовольство. А вот он в форме немецкого офицера — совсем освоился с ролью, — и в позе вождя тщеславная самоуверенность, только не самобытность. Ее-то он, кажется, полностью утерял.

Нет, этот африканец не походил на того, из «Нивы», он не был окружен людьми, родными, близкими по крови, не принимал участия в их торжестве.

Наивная детская мечта увидеть вождя племен сбылась. Но в глубине души осталось разочарование. Я видела поддавшегося искушениям слабого человека.

— Я добиваюсь, чтобы во дворце открыли музей, — говорила Катерина. — Для

этого нужны средства, много средств. Ремонт очень дорог. Но если не ремонтировать дом, он погибнет, развалится. А это история Яунде...

Да, это была живая история города. История племени. История его колониальной зависимости.

Какао растет в лесу

Мы выехали из Яунде по южной дороге, ведущей в Габон. Промелькнуло несколько пестрых рынков — они, кажется, есть в каждом районе — потянулась длинная глиняная окраина. И во всю длину этой цветастой окраины шла торговля куда более оживленная, чем в центре. Фасады домов здесь превращены в лавки — сплошную вереницу лавок. Под навесами радужной переливались полотнища тканей, рубашки, платья, разная мишура, необходимая для хозяйства и модниц, американские брюки-джинсы из толстой синей и белой материи, прошитой желтыми нитками. Ходили девушки с большими вертушками, похожими на карусели, увешанными носовыми платками, носками, мужскими галстуками. На циновках лежали груды сандалей — кустарных и производства всеафриканского Бати. Торговля велась мелочная, но очень живая, на интерес. Веселая ярмарочная толчея напоминала, что Яунде — торговый, транспортный центр, через который идет большая часть грузов от океана в Центральную Африку и республику Чад.

У заправочной станции вместе с определенным количеством галлонов бензина нам выдали дорожную карту страны Камеруна, где толстые и тонкие линии обозначали дороги. Толстые — битумированные шоссе, их в стране семьсот километров. Тонкие линии — доступные для автомобилей проселки — четырнадцать тысяч километров. Я рассматривала обозначения отелей и ресторанов, аэродромов, точек связи, банков и медпунктов — всякое может случиться в пути, не исключая встреч с носорогами и слонами. Они тоже обозначены на карте. Как еще девственна эта страна!

У дорог, как памятники аварий, кузова разбитых машин — старые, изъеденные ржавчиной и новенькие, блестящие лаком. Автомобили не чинят: на месте — негде, а транспортировка слишком дорога. Всего лишь две железнодорожные линии на триста километров от океана до Яунде и вдоль океана до провинции Бамилеке. Одна из них переходит в пунктир, это будущая дорога.

Год назад символическим взмахом топора президент страны начал строительство трансканонерской магистрали. Пунктир тянется к городу Нгаундере — важнейшей транзитной базе на пути от океана к северу Камеруна.

После того как откроется движение на этом участке, будут шире эксплуатироваться

богатства севера Камеруна, где найден уран, открыты крупные залежи бокситов.

Этот пока еще малодоступный север славится своими ремеслами, изделиями из камня, искусством ювелиров, вышивками, керамикой, древней африканской архитектурой и красочными воскресными рынками, где можно купить бивни слона и когти леопарда, увидеть прорицателей и колдунов — знахарей, лечащих главным образом травами.

Восток Камеруна почти недоступен. Долго еще в джунглях будут свободно бродить слоны и хозяйничать гориллы.

с деревьев, специальным ножом вскрывают довольно плотную кожуру, из середины извлекают бобы, лежащие в клейкой мякоти.

— Смотрите, это сушат бобы,— Поль показал на настилы перед домами, на которые тонким слоем были насыпаны коричневые бобы.

Деревня началась сразу за чертой Яунде. Они тянулись вдоль дорог, и везде у домов на сваях стояли настилы, а на них лежали бобы какао. Жители перемешивали их, добываясь равномерного высыхания.

— Ровно сутки сохнут,— заметил Поль.



Продавцы сахарного тростника

Тонкая паутина троп, не обозначенных ни на одной карте, соединяет джунгли в единый узел, со своим обменом и торговыми связями, которые, вероятно, тоже приводят сюда, на окраину Яунде.

Сразу за Яунде выросли горы в лесах и стояли задумчивые, облитые синевой. Блестела прямая асфальтовая дорога. Катились машины, груженные зелеными гроздьями бананов, мешками с какао, кофе.

Сейчас январь — время сбора урожая какао. Плоды его созревают постепенно в месяцы между октябрём и мартом. Оранжево-красные и лиловатые плоды снимают

— А потом?

— О, это целая церемония. Их зарывают в землю, томят в горшках, очищают от мякоти, проделывают над ними массу манипуляций и только потом продают. У тех, кто живет вдоль дорог, бобы скупают французские фирмы. В джунгли ходят, главным образом, мелкие перекупщики. Бобы там дешевле, но как их доставить к дороге? Приходится нанимать носильщиков, а это обходится дорого.

С шоссе мы свернули в джунгли, поехали узким проселком сквозь дремучую чащу. Над нами смыкались деревья. Было

не жарко, но душно. Время от времени мы покидали машину и углублялись в лес. Поль останавливался у небольших, похожих на вишни деревьев, плоды которых росли прямо из стволов. Красные, желтые, темно-лиловые плоды. Тропический лес раскинул свой полог, скрывая деревья какао от солнца.

Какао — неженка, оно не выносит горячих лучей, не любит сухого ветра Сахары и тихо зреет во влажном сумраке джунглей.

Его разводят здесь преимущественно крестьяне. Они выбирают в лесу небольшие участки, выжигают подлесок. В удобренную золой и опавшими листьями землю сажают черенки, которые к пяти-семи годам начинают давать урожай. Дерево плодоносит долго, только к двадцать пятому году достигая наивысшего урожая. Крестьяне следят, чтобы растущий как на дрожжах подлесок не заглушал какао. Невзгода ползет и по земле в виде «мучнистого червеца», переносимого вирус, от которого деревца начинают вспухать и чахнуть. Удлиненные, похожие на маленькие чарджуйские дыньки плоды становятся мелкими, круглыми, покрываются пятнами, и захиревшее дерево постепенно перестает давать урожай. Вздутие побегов — одна из самых опасных болезней какао. Но есть и другие болезни, которые изучают на специальных сельскохозяйственных станциях Камеруна.

Проселок привел нас к лесной деревушке. Поль отправился разыскивать какого-то нужного ему человека, я разговорила с крестьянином. Он принял нас за перекупщиков какао, подошел узнать о цене и доверчиво рассказывал о своих заботах.

У дороги какао стоит семьдесят франков за килограмм. Это немного. Нынче цены еще упали. Многим приходится худо. Берутся за другие культуры, а это не просто. Опыта нет. Живущие около рек промышленяют рыболовством. Другие охотятся. Но этим не проживешь. Прокормить большую семью не просто.

Вскоре вернулся Поль. Рядом с ним шагал длинноногий молодой африканец, одетый как на прием.

Он поздоровался, назвал гидом и, сев в машину, повернулся к нам боком, опершись о спинку сиденья. Мы медленно выехали из деревни.

У росшего при дороге огромного сырного дерева с белым и ровным, как колонна, стволом наш новый гид попросил остановиться.

— Под этим деревом у нас собираются люди.

Он честно начал свою работу.

— Зачем? — спросила я.

— У некоторых племен есть обычай решать под этим деревом общинные дела. И танцевать они тоже приходят сюда.

— А если сырного дерева поблизости нет?

— Их много здесь... У нас их не рубят. У них древесина плохая.

Мы выехали на большую поляну, Поль показал на лес: «Смотрите!»

Среди корявых, темных стволов выси-

лась еще одна белая колонна. Зеленая крона раскинулась высоко над пологом джунглей.

— А там баобаб.— Гид показал на другое гигантское дерево с голыми сучьями.— Он опадает во время сухого периода.— Сейчас здесь большой сухой период. У нас их два,— добавил он.— Большой сухой от ноября до февраля. Потом идут дожди, июль — второй сухой сезон и вслед за ним опять дожди.

Мы поговорили о страшных грозах и ливнях. Когда гид рассказывал, как сверкают молнии, он выразительно вращал белками. Лицо его было по-детски наивным...

Машину трясло и бросало. Проселок, разбитый в дожди, засох, был неровен и тверд, как камень. Он становился все уже и уже и вскоре превратился в тропу. Мы вышли из машины.

Джунгли, которые из машины казались немymi, вдруг ожили, засвистели, запели на тысячи голосов. Вокруг что-то шевелилось, вздыхало, шуршало. В ветвях суетились птицы, жужжали жуки, яркие бабочки порхали между кустов, садились на крупные тропические цветы и сами казались большими цветами.

Одна из них закружилась передо мной и, отлетев, опустилась на полусгнивший пенек, торчавший из старой, еще неистлевшей листвы. Я сделала несколько неосторожных шагов, попытась разглядеть рисунок на бархатных крыльях, и вдруг меня будто обожгло. Сильные черные муравьи энергично карабкались по ногам, впиваясь в кожу железными челюстями.

Я отступила на тропу, пытаюсь ладонью стереть насекомых, но они ползли по рукам, кусали шею, и каждый укус был как маленький злой ожог.

— Вы наступили на муравейник. Это не страшно,— заметил Поль, обеспокоенно зашагавший было ко мне.

И камерунец также поспешно, без прежней важности, двинувшийся за Полем, тоже сказал:

— Да, это совсем не страшно.

— А что же страшно? — Я сбила щелчком муравья, оставившего на запястье моей руки свои сильные жгучие челюсти.

— Страшны колонны, мадам. Вы слышали что-нибудь о кочующих муравьях? Если звери бегут, как от пожара, значит движутся муравьи. Люди тоже уходят, отвязывают скотину, уносят еду. С ними нельзя бороться...

Он поднял с земли насекомое и держал его за брюшко, поднес к челюстям травинку. Муравей мгновенно вцепился в нее. Африканец потянул стебелек. Напрасно. Могучие челюсти крепко держали его.

Я терла руку. На месте укуса она сильно горела и вздулась.

— Это ничего,— повторил африканец.— Наши люди часто лечатся этим.

— Наши тоже.

Местный гид сказал что-то Полю на своем языке. Поль перевел.

— Он говорит, что в Камеруне очень

много муравьев. Если вы поживете подольше в лесу, то увидите их колонны.

— А он видел?

Африканец, не ожидая перевода, усиленно закивал и стал рассказывать, как через деревню шли муравьи.

Их люди накануне убили гиппопотама. Был праздник. Танцы. Потом все уснули. Многие прямо у костров, где стояли котлы с недоеденным мясом. К утру замычали коровы, а козы подняли такой гвалт, что люди вскочили, думая, что на деревню напал леопард. Мужчины схватились за копья, но тут кто-то увидел первых муравьев. Они пробежали через деревню. Перед колонной всегда бегут, ну вроде бы...— он поискал нужное слово.

— Разведчики? — подсказала я.

— У нас это называется по-другому. Не знаю, как вам перевести. Колонна идет за ними. И люди уже знают, что нужно уходить. Если ветер — колонну узнают по запаху. Она очень плохо пахнет. Животные тоже чувствуют ее приближение и уходят.

— Когда наши люди увидели муравьев,— вернулся он к рассказу,— то все поняли, что это не леопард. Все бросились отвязывать скот, хватили детей, били в там-тамы, чтобы предупредить других. Уже в лесу вспомнили, что у костра осталась еда, а кто-то не выпустил кур. Когда вернулись, нашли только кости. Я слышал, что в одной деревне забыли большую старуху. От нее тоже нашли одни кости.

Он рассказал, как страшно старуха кричала. Мужчины взяли горящие палки, пытались прорваться сквозь муравьиные полчища, но чуть не погибли сами.

Вдруг на лице африканца появилась улыбка.

— Зато уж если колонна через деревню пройдет, в домах ни одного клопа не останется. Муравьи лучше санитаров все вычистят...

Он начал громко смеяться, и Поль тоже начал громко смеяться.

Тропинка юркнула в кусты. Наш гид сказал, что покажет нам чудо природы.

Поль, пропуская меня вперед, пояснил, что этот гид — специалист по гроту пигмеев.

— Вы спрашивали о них. Конечно, я и сам бы вам показал. Но он здесь хозяин...— В бесстрастном голосе Поля я все-таки уловила оттенок ревности. Забавно! Оказывается и в камерунских джунглях существует монопольное право на «вид малахитовой лужи».

Лес поредел, помельчал, перешел в кусты. Вскоре мы вышли на небольшую поляну, середина которой представляла собой наклонную сланцевую площадку. В среднюю часть площадки упиралась исполинская глыба, отдаленно напоминавшая каменный груздь. С краев его свешивались лианы и мхи, откуда-то доносилось журчанье ручья.

— Тут жили пигмеи,— сказал Поль.— Отсюда их вытеснило другое племя. Там есть и другие гроты,— он показал на лес.— И всюду жили пигмеи...

Торжественная показная парадность покинула нашего нового гида. Сейчас он был прост и преисполнен благоговения перед природой.

Прислушиваясь к журчанию невидимого ручья, он указал туда, где обрывалась площадка.

— Здесь очень хорошая вода. Сюда приходят лечиться...

Я обошла площадку, надеясь увидеть тропинку, ведущую вниз к ручью. Вдруг по лесу пронесся пронзительный крик. Я невольно отступила в глубь грота.

— Это кричит обезьяна,— сказал гид.— Их очень много в этом лесу. Вчера я охотился и убил одну.

— А что вы с ней сделали?

Он удивился.

— Конечно, съели. У обезьяны очень вкусное мясо...

Потом мы прошли еще к одному гроту, вернее к пещере, в которую не смогли проникнуть. Вход в нее так зарос, что даже наш спутник с трудом отыскал его. Свод у входа в пещеру темный от въевшейся в камень копоти. Стены тонут во мраке. Без фонарей мы не решились войти. Да и Поль не советовал.

— Там много летучих мышей. Мы их потревожим.

И обходной тропой Поль повел нас к машине...

• • •

Книга, привезенная для камерунца, по-прежнему лежала у меня в чемодане. Полю узнать о нем ничего не удалось. Я уже подумывала, где мне оставить «Неотектонику». Может быть, в библиотеке? Наверное, геолог-камерунец будет бывать там.

Кто-то сказал Полю, что геолога видели на соревнованиях по боксу. Вечером мы отправились к рингу.

Было еще рано, но город уже опустел. Освещенные зеленоватыми фонарями улицы угнетали безлюдностью и тишиной, будто после праздничных дней наступило похмелье. Светилась дверь открытого бара. Я заглянула. За стойкой сидела одинокая скучающая пара африканцев.

В дальнем конце одной из темных улиц засветились фонари. Возле ярко освещенных ворот босонogie ребятишки, отталкивая друг друга, с жадным любопытством заглядывали в щели дощатого забора, из-за которого доносился гул голосов, прерываемый воплями восхищения.

— Кто сегодня дерется? — спросила я у контролера.

— О, мадам! Сегодня здесь дерутся...— он с уважением назвал имена африканских боксеров.

Я их, конечно, не знала, но с интересом смотрела на ринг. Там, освещенные яркими лампами, дружинисто прыгали друг против друга два здоровенных парня. В неистовом свете ламп их крепкие мускулистые тела казались угольно-синими. Слышались мягкие, глухие удары. Когда удар был особен-

но силен, сотни две зрителей поднимали утробный рев.

Оглядевшись, я поняла абсурдность своей идеи. Как я могла найти геолога, не зная его в лицо. На всякий случай я спросила у контролера, не слышал ли он о камерунце-геологе.

— Да, слышал! — воскликнул тот. — На прошлой неделе Жюстен здесь был. Два раза был. Но, кажется, он уехал.

— Ах, как он мне нужен!

— Я попытаюсь узнать. Вот тот господин его знает.

Он показал на плотного круглолицего африканца, сидевшего в первом ряду, и, попросив подежурить у входа высокого юношу, направился к нему. Не отрывая взгляда от ринга, солидный зритель что-то сказал, и контролер, вернувшись, пожал с сожалением плечами.

— Нет, он тоже не знает. Наверно, уехал.

— Уехал?

— Да, должен же он работать. Может быть, подыскал себе место.

— Где же он может работать?

— Не знаю, мадам... Наверное в частной компании. Извините... — Он устался на ринг, где один из боксеров, обхватив противника, наносил ему снизу частые удары.

— Брек! — закричал судья и свистнул. Боксеры никак не могли разойтись, их пришлось растащить. Мы поблагодарили контролера и двинулись в отель.

Я задержалась у входа, где в полумраке витрин лежали ритуальные маски. В них отражались покой, бесконечность, непостижимая мудрость... Смотрела на мир великая Африка.

В вестибюле я увидела Поля. Он сидел перед нашим художником. На нем был национальный костюм — широкое вышитое у шеи фиштакковое бубу и белая мусульманская шапочка. Это был совсем другой Поль. Не тот, к которому мы привикли. Он так же заразительно смеялся, сверкая крепкими зубами, но скулы вырисовывались резче, уже казались глаза. И в выражении их появилось что-то мудрое, как у Будды.

— Да, я совсем забыл вам сказать, — воскликнул он. — Тот геолог, которого вы хотели увидеть, неделю назад улетел в Дуалу. Он собирался поехать на родину. Он бамилеке, а племя это живет на северо-западе от Дуалы. На плато Бамилеке в Фонго-Тонго найдены бокситы. Может быть, вы его еще встретите...

Это был последний вечер нашего пребывания в Яунде. На следующий день мы улетели в Дуалу.

Дуала

Сорок пять летних минут отделяют Яунде от Дуалы. Сорок пять минут над тропическими лесами, над пышным зеленым покрывалом, лежащим на равнинах и горах камерунского хребта. Леса, окаймляющие реки, лавиной сползают к океану. Но с воз-

духа не видно, как изменяется их характер. Черное, красное дерево вытесняется манграми.

Мангры шагают по болотам на крепких ходулях корней. Они выстроились, как зашпун, как природная крепость, прикрывающая собой Камерун от вторжения с моря. Может, поэтому Камерун так долго и оставался «бесхозяйным»? Пришельцев, кроме того, отпугивала и муха це-це, которая водится у атлантических берегов.

Горный хребет Камерун пересекает страну и кончается на западе, у самого океана, там, где берег Африки делает плавный изгиб, образуя Гвинейский залив. Здесь, в самом «шарнире» Африки, стоит вулкан — одна из высочайших точек западной части материка — четыре тысячи семьдесят метров. Этот вулкан очень редко можно увидеть. У вершины его идет непрерывная воздушная война. О гору Камерун бьются морские и береговые бризы. Сюда залетает теплый, иссушающий харматан, несущий из Сахары пыльную мглу, которая даже в ясные дни закрывает вулкан непроницаемым пологом.

Гора стоит на пути громыхающих и сверкающих молниями фронтальных шквалов. Они начинаются гнетущей неподвижностью и тишиной. Небо темнеет, хмурится. И вдруг его словно раскалывает на мелкие части. В темноте проскальзывает ветвистая молния. Под свист и завывание ветра на землю обрушивается вода. Стена воды. Тропический ливень, которому, кажется, нет предела. Он льет и льет без конца. Когда он все же проходит, резко падает температура воздуха. Тогда вершина вулкана покрывается снегом и, говорят, бывает похожа на Кибо — одну из трех вершин Килиманджаро — потухшего гиганта Африки.

Я видела этот вулкан, закованный в вечные льды, покрытый снегами. Вокруг него тоже ведут хоровод облака, но там, где Килиманджаро, не бывает таких ужасающих ливней, как на западном склоне Камеруна.

И эти дожди, и прибрежные болота, и океан испаряют такое количество влаги, что она висит над землей, как горячий компресс.

Еще в самолете, приземляясь, чувствуешь эту липкую духоту. Она обволакивает, давит, комком застревает в горле. От нее не спасают ни соки, ни крепкое камерунское пиво, ни кока-кола со льдом.

Сразу у аэродрома мы погружаемся в мир Дуалы, города, возникшего давно и недавно.

Современная Дуала возникла меньше века назад, на месте деревень, заселенных дуалами. Полагают, что дуалы пришли к океану из глубин материка, вытесненные другими племенами, и прочно обосновались на берегу. Ко времени водворения в Камеруне немцев деревнями правили четыре вождя, местных короля: Аква (он, говорят, был самый могущественный), Белла, Джон Аква, Дидо. Из четырех деревень состоял тогда Камерун — место, где Нахтига-

лем, незадолго до прихода сюда англичан, был поднят немецкий флаг.

Потерпев поражение в первой мировой войне и потеряв колонии, немцы лелеяли надежды на их возврат и не сидели сложа руки. Обосновавшись в испанских владениях Фернандо-По, они засылали в страну шпионов, распространяли листовки, в которых заявляли о своем близком возвращении на чужие плантации. На чью поддержку рассчитывали они? Конечно, уж не на стариков оркестрантов, дефилирующих по улицам с немецкими маршами. Однако история Камеруна сложилась иначе.

В ночь на 27 августа 1940 года к берегу Дуалы причалили три африканские пироги. Военным десантом командовал еще никому неизвестный майор Леклерк, посланец генерала де Голля, начавшего борьбу против вишистов, предавших французский народ.

Де Голль искал опору в Африке, и Африка протянула руку Свободной Франции. Африка встала на сторону народа, борозшегося против фашизма и внутреннего предательства, отодвинув свое освобождение на два десятилетия.

И 27 августа 1940 года вошло в историю Дуалы.

Сто пятьдесят тысяч жителей, среди них мало заметны восемь тысяч европейцев. Дуала — настоящий африканский город. В обеденные часы и после работы по улицам катится черная лавина велосипедистов. Величаво выглядят камерунские докеры. Когда докер неторопливо, с сознанием своей силы, направляется в порт, кажется, под его шагами гулко вздыхает и ухает от восхищения земля. Докеры, кстати, были одними из самых твердых, последовательных борцов за независимость.

В центральном районе города есть площадь, которая и в Юнде названа в честь завоеванной Независимости. Под сенью деревьев здесь стоит монумент камерунцам, погибшим в первую мировую войну. Дата 1914—1918. Солдат в снаряжении и каске. Солдат в своем последнем походе. Солдат, оставшийся на чужой земле.

Перед широко раскинутым крыльях приземистым зданием концертного зала стоит небольшая скульптура генерала Леклерка. Походы этого полководца в Африке обозначены на карте. Она — за спиной генерала на стене фасада. На камне высечены самолеты, танки, названия рек, которые форсировали войска генерала, города, которые принимали сторону Свободной Франции.

Десятки городов, и среди них — портовый город Дуала.

Сойдя с пироги, Леклерк прошел по одной из улиц, мимо складов колониальных товаров. Возможно, по той, которая тянется по высокому берегу вдоль Вури. Может быть, поэтому ее называют бульваром Леклерка.

Улицы — хранители истории, вехи отшумевшей жизни народа. Бродя по ним, мне всегда хотелось глубже заглянуть в прошлое этого города.

Вот проспект президента Пуанкаре —

какую роль играл Пуанкаре в истории Дуалы? Я читала таблички: улица 27 августа 1940 года, Фоша, коменданта Фулера. Чем связаны с Камеруном эти французы? Может быть, справочник объяснит? В тонкой книжечке об истории Дуалы говорилось немного. XVI век... В устье Вури португальские моряки. Оказывается, не только они. Здесь подвизались и голландские и английские торговцы.

Упоминается об англичанине Альфреде Закере, построившем в 1845 году в городе протестантский храм.

История города, как и народа, конечно, не укладывается в несколько дат. Был длительный, сложный процесс развития многоплеменного Камеруна. И в справочнике об этом ничего не сказано.

— Мальчик, не скажешь ли, как пройти на улицу Унеобе?

Недоуменный взгляд.

— Я что-то не слышал...

— Это же камерунский герой. Один из тех «мучеников и героев», в память которых установлены дни 13 сентября и 3 ноября. Мальчик вежливо выслушал и, простившись, ушел. Я направилась дальше.

В этом городе заблудиться нельзя. Он хорошо спланирован, все улицы прямые. Названа ли хотя бы одна из них именем национального героя, борозшегося за независимость, может быть, одного из тех же докеров?

У входа в Центральный банк вышагивает полицейский.

— Скажите, есть ли здесь улица Докеров?

Сверкающая улыбка. Недоуменно свденные плечи.

— Кажется, есть.— Он вместе со мной рассматривает план города, но не найдя в нем того, что не существует, с разумной улыбкой возвращает мне карту.

— Кажется, нет такой улицы. Но побывайте на улице Лаперуза, Сильбани. Осмотрите дворец короля Аквы. Наш город очень красив.

Я видела многие африканские города. Были среди них и более красивые, архитектурно решенные, отличающиеся продуманной красотой газонов и парков. Но Дуала отличалась самобытностью, чем-то подлинно африканским по колориту, чего не сгладили европейские постройки.

Вот на пути кафедральный собор. К нему на мотороллере подкатывает монашка. Она ловко спрыгнула и заторопилась к собору. Я заглянула в храм. Там служба. Проникновенный, тихий голос священника, взлетев к высокому, затянному голубиному потолку, наполнившись воздухом, рушится вниз, уже могучий и обличающий. Люди, входящие в храм, склоняются перед его магической властью. Земная жизнь — суэта, покорных ждет небесное царство.

Напротив храма — кладбище. Вдоль улицы — забором надгробия и кресты — печальная особенность городского пейзажа. А рядом — стадион. На нем, как на всех стадионах мира, болельщики свистом и топотом ног вселяют уверенность в фут-

болистов. Великое дело — поддержка и чувство локтя.

Вот улицу пересекает овраг. На дне — небольшая речушка, заросшая буйной травой. У входа на мост — огромное в лианах, орхидеях — когда-то здесь были джунгли — дерево. На выступах нижней части ствола пристроились ребятишки.

— Фото! Фото, мадам! — они посыпались с комля, увидев наведенный на них объектив. Они гримасничают, кривляются, отталкивают друг друга, стараясь попасть в объектив, и напряженно ждут, когда щелкнет затвор.

Ребят здесь много. Веселым потоком несутся они по улицам, по бульварам, они заполняют африканские кварталы. Город от этого кажется юным и шумным.

На площади Независимости для них установлен монумент — традиционный в Европе рождественский Дед-Мороз из льда.

Он здесь совсем чужой в этом городе. Он робко прижался спиной к одной из колонн. Он даже не Дед-Мороз, а трубочист в цилиндре, с ведром и с засохшей, опавшей северной елкой.

Да, он из самого настоящего льда! Он давно бы, как Снегурочка, растаял и облачком улетел к тяжелому влажному небу. Но за спиной трубочиста гудит морозильный аппарат, едва управляясь с тридцатипятиградусной жарой.

Посмеиваясь, проходят мимо африканские юноши, обняв за талии стройных подруг. Ледышка — чужая для них традиция. Она не волнует сердец. Афиша у кинотеатра куда любопытнее.

«Демон полночи». До восемнадцати лет вход воспрещен. Тем, что стоят у афиши, не больше пятнадцати.

— Ребята, кто знает имена народных героев?

Улыбка слетает. Раздумье.

— Не знаем, мадам. Извините.

Я ходила по улицам. Под пальмами Дуалы шумела горячая жизнь. Что привело вас в африканский квартал, никого не волнует — это ваше личное дело. Может быть, вам нужно кого-то найти? Улыбки, доброжелательность, простота, будто вы здесь не гость, а старый знакомый. «Старый знакомый» меж тем все думал, как найти геолога.

Я остановилась у фургона на дутых колесах.

— Это квартал иностранцев?

— Иностранцев-африканцев. Здесь люди из всех городов Камеруна. Разные племена, — отвечает мне пышная африканка, продающая пончики и крендельки. Она выглядывает из фургона, боковая стенка которого, раскрываясь посередине, образует козырек и прилавок. Рядом с ней — жаровня, от которой струится синеватый душистый дымок. В глубине фургона пекарь месит тесто и вывязывает восьмерки крендельков. Белая куртка, летающие рукава, полоска зубов. Рук и лица не видно. Они растворились в сумраке. Я слышу только густой полновзвучный голос.

— Он бамилеке?

— Да.

— А мы баса. Может, вам что-нибудь скажет Паулина. Узнайте о ней на рынке у монумента кинга Аквы.

Кинг Аква — король, который здесь жил в 1836—1916 годах. Ему установлен бюст у серого обелиска. Отыскиваю монумент. Рядом маленький рынок.

— Где мне найти Паулину?

Пышная женщина указала на невысокую строгую африканку у прилавка.

— Мадам, что желаете? Маниок? Орехи кола? Кус-кус?

Я благодарю ее и рассказываю о книге, спрашиваю, не знает ли она, кому я могу передать посылку.

— Был слух, что этот человек приехал в Дуалу, — задумчиво говорит Паулина. — Может быть, он и сейчас еще здесь. Вам нужно пойти в деревню. Это на берегу Вури. Там живут бамилеке. Найдите бар и там все узнаете. Но сегодня поздно. Туда идти лучше днем.

Когда я возвращалась домой, время шло к вечеру. По широким дорогам к океану катились машины. Они везли за собой поставленные на колеса моторные лодки и яхты. Это европейцы ехали к океану купаться. Там пляж. Европейцы без лодок ехали к Вури. К закату начинается отлив, и на берегу собирается чуть не вся Дуала — яркое скопище людей и машин.

В шезлонгах, на раскладных скамьях, на песке, в траве на пригорке пестрели платья, белые рубашки, шорты, халаты. Медленно опускался красный тяжелый солнечный шар. Земля и вода наливались огнем, начинали светиться, испуская тепло. Крепли пряные африканские ароматы. На землю сходили покой, величие и тишина. Все тихо казалось говор и смех, рокот машин и гудки проплывающих пароходов.

Вот юноша забрался на ствол исполинского дерева, оставленного на песке отливом. Юноша замер, задумался в позе роденовского Мыслителя. Его силуэт темнеет на фоне реки. Другой — на песке. Растянулся и смотрит в небо. Светлое и высокое небо, прорезаемое черными стрелами ласточек.

Зеленые острова растворяются в синеве. Все дальше и дальше уходит река, обнажая илистое, в мелких ракушках дно. И было в тихой задумчивости африканцев что-то молитвенное и простое, говорящее о слитности их с природой, о живущем в сердцах обожествлении ее мощи и красоты.

• • •

Рыбачьи поселки цепочкой тянутся вдоль Вури. Нужно только спуститься по деревянной — такие бывают в наших старых городах — лестнице, и вы попадаете на длинную улицу, в торговые ряды, где торгуют тем, что уже снято с прилавков крупных фирм. В отличие от Европы здесь не бывает сезонных распродаж. Мерило — спрос, необходимость, мода. Посуда — необходимость. Лакированные, на шпильках,

туфли — мода. Шуршащая тафта, голубые женские брючки, сумки бочоночком — мода. Циновки — необходимость.

Циновками покрыты дома в поселке. В пирогах, отплавляющих от маленького причала, на грузах лежат циновки. На этих плетенных из камыша и пальмовых листьев подстилках сидят, отдыхают, раскладывают товары. Трудно представить Камерун без искусно сплетенных циновок. Это, пожалуй, один из самых ходовых кустарных товаров. Стопки циновок лежат вдоль дорог в мелочных африканских лавках, у мастерских кустарей.

Я задерживаюсь возле одной из таких мастерских — маленького открытого сарайчика и смотрю, как ловко орудует кустарь. Планки, бамбуковые рейки, подобие челнока, деревянные бамбуковые булавки. И, конечно, листья. Тонкие, жесткие листья пальм. Прочные и шуршащие, как сухая трава.

— Мадам, вам нужна циновка?

Темная тонкая рука выхватила из кипы сложенное в плотную пачку изделие.

— Вам для веранды? От солнца? Может быть, подойдет вот эта? — В глазах пылливость, старается угадать мой вкус.

Рассматривая товар, я спрашиваю о людях из племени бамилеке. Ведь это, кажется, их поселение?

— Да, они здесь живут. Но если хотите увидеть быт — вам лучше поехать на северо-запад. Это недалеко. Сто пятьдесят километров. Очень красивая местность — холмы, водопады, долины.

— Мне нужен Жюстен! — и я объясняю, зачем он мне нужен. Африканец кивает: ну что ж, он поможет узнать о геологе. Но ему очень хочется что-нибудь продать.

— Может быть, вам понравится вот эта циновка? Для пляжа.

Он раскинул небольшую циновку с черно-желтым красивым узором.

Отдавая деньги, я спросила, почему поселок зовется рыбацким. Здесь, кажется, все торгуют...

— Да, и торгуют тоже. Но главный промысел жителей — рыбная ловля. Семьи большие — один торгует, другой плетет циновки, некоторые работают в Эдеа на каучуковых плантациях. Но большинство ловит рыбу, — рассказывает он. — В Дуале работу найти не просто. Много приезжих из деревень...

Ловкие руки кустаря накладывают последние пальмовые листья, тонкими деревянными шпильками крепят их к бамбуковой планке.

— Прилично платят в порту, — в раздумье продолжает он, — но в докеры трудно попасть. Желающих слишком много. И сила нужна... Не каждый сможет... — Взгляд на циновки. — Немного дает ремесло, но спрос все-таки есть. Хуже тем, кто делал посуду. Женщины предпочитают теперь эмалированные тазы и кастрюли. Легче и чище. Циновки пока из моды не вышли. Они удобны. Солнце не нагревает их, дождя они не боятся.

Кустарь, закончив работу, оставил раму и вышел со мной, чтобы помочь мне разузнать о геологе.

Мы шли вдоль улицы по красной горячей пыли. Покупатели перебирали рубашки, сандалии, платья, рассматривали посуду. Сложив покупки в корзину, а часто и в таз, они уходили к реке, где у берега, заваленного бревнами и гниющими отбросами, вплотную к причалу стояла пирога. Гребцы нагружали ее, принимали багаж и ждали, пока с перебранкой и криком рассядутся пассажиры. Когда все устроились, они, как по команде, вонзили в воду лопатки весел, и лодка, легко скользя, понеслась по воде. На середине Вури ее подхватило течение, и африканцы, выдерживая курс, усиленно заработали веслами.

Мой спутник следя за лодкой, сказал одобрительно:

— Бон!..

Когда мы направились дальше, он объяснил:

— Раньше по праздникам проходили гонки. Наши люди очень любили гонки. На берегу в дни гонок бывало, как нынче на стадионе, во время футбола. Победители получали награды. За ними ухаживали девушки. Мой брат однажды был в лодке, которая всех обогнала. Потом о нем говорили: «Это тот, что победил на Мадиба Дуала!». Обо мне говорили: «Вот его брат».

Он глубоко вздохнул и повторил с сожалением: «Так было».

— А почему же теперь не бывает?

— В этом году хотели устроить. Заранее оповестили людей. Но на реке появилась всего одна лодка. Ей не с кем было соревноваться. Все, кто пришел на берег, тревожились: «Может быть, люди на побережье разучились грести?» В газетах тоже писали: «Теряем традиции». Но лодок от этой тревоги больше не стало.

— А почему, как вы думаете, праздник не состоялся? — спросила я.

Африканец молча пожал плечами:

— Теперь у нас многое изменилось...

Рыбачьи пироги поднимались с низовой. Они проплывали бесшумно, как тени, направляясь к заливику, образованному ручейком, который впадал в Вури. В него упиралась единственная улица поселения. Пройдя меж домов, мы попали на рыбный рынок, покрытый двухскатным навесом. В тени его стояли прилавки, сверкающие от чешуи. Кроваво-красные рыбины еще были влажны, сверкали крупной броней чешуи. Другие — тонкие, узкие, напоминали серебряные иглы. Были и остроносые, как пироги, и плоские, мелкие, как монеты. Товар не умещался под длинным навесом. Прилавки стояли и на солнце, рыба лежала в корзинах, копченая, вяленая, седая от соли, креветки, мидии...

Казалось, Вури легко бы могла прокормить всех живущих в деревне людей. Но, видимо, не кормила.

Подплывшие пироги пробирались к причалу. На берегу их ждали перекупщики.

¹ Так камерунцы называют Вури в нижнем ее течении.

Торжественно, неторопливо рыбак откидывал циновку. Перекупщик оценивающе смотрел на улов. Подумав, он назначал свою цену. На лице рыбака отражалась обида. Он тянулся к циновке, чтобы закрыть рыбу. Но перекупщик хватал его за руку и прибавлял. Начинался страстный и шумный торг. Сверкали зубы, белки глаз. Рыбак доказывал, умолял, схватив за рукав перекупщика, он поднимал из пироги рыбу, вертел ее, взвешивал на ладони. Но перекупщик был неприсутствен. В конце концов рыбак уступил: что поделаешь, холодильника нет, в розницу торговать не лучше. Спрос не велик — товар быстро портится.

Рыбак пересчитывает радужные бумажки и прячет в карман. К берегу подъезжает машина, и рыбу, засыпав льдом, везут в рестораны, в лавки, на городские рынки.

Потом приходят женщины, мелочь укладывают в корзины, несут в коптильню, где-то здесь, на задах. Оттуда тянет сладким дымком, и запах этот, смешиваясь с другими, идущими от гниющих отходов, от реки, от горячей пыли и от жилья, стоит над поселком густым настоем.

Кустарь привел меня в африканский бар — место, куда стекаются новости. Нескольким алюминиевым столикам на цементном полу. Я ловлю любопытные взгляды посетителей, сидящих с запотевшими бокалами пива. Но взгляды деликатно устремляются в пустоту.

Юная барменша — черная статуэтка на фоне белого холодильника — вся внимание и приветливость.

— Жюстен — геолог? Это из нашего рода. Нужно спросить у родителей.

Девушка привела меня в комнату, призывающую к бару, и пригласила сесть на низкий диван. Пришла нарядная африканка с огромными злотыми серьгами — мать девушки. Присели в креслах родной и двоюродный дяди. Приковывал седой, дряхлый старик и устроился в сторонке, давая понять, что разговору мешать не хочет.

— Жюстен — геолог? Здесь все о нем знают. Мы очень гордимся, что в племени бамилеке есть еще один такой образованный человек. Ученые люди — богатство племени. Чем больше ученых, тем племя сильнее. Вы что-то хотели ему передать? Книгу? Спасибо. Он будет рад. Только едва ли мы сможем помочь. Жюстен совсем недавно уехал... Но как помочь? Это очень важно. Книга ему нужна...

Шел длинный, обстоятельный разговор, высказывались по старшинству — мать, дяди, девушка. Мнению каждого подвергалось долгому обсуждению. Один старик был неподвижен и молчалив.

Меня спросили, куда я поеду из Дуалы.

— В районы кофейных плантаций, в город Нконгсамба.

Все радостно закивали.

— Там у Жюстена родня. В деревне, рядом с Нконгсамбой, живет сестра его. За Чангом — центром района — мать и младшие братья. Он может быть у них...

Советы так и сыпались.

— Книгу возьмите с собой. Если вы будете на кофейной фабрике, спросите рабочих. Они узнают, где разыскать Жюстена... А можно оставить в отеле. Ему обязательно скажут...

Я уже стала прощаться, когда заговорил молчавший старик. Голос его был глухой, надтреснутый. Сказав короткую фразу, он замолчал, и все почтительно ждали, когда он продолжит.

— Он благодарит за то, что вы привезли сюда эту книгу, позаботились о человеке из его рода. Он благодарит страну, которая сделала этого человека ученым. Он еще не знает, что это принесет его народу, но уже понял: только тот, у кого есть знания, в конце концов оказывается наверху.

— Он говорит, — переводил мой спутник, — что много видел в жизни разных людей. Вверху всегда оказывались ученые. И хотя не всегда это были справедливые, добрые люди, они все же были наверху. Эти люди не любили африканцев. Разве можно любить того, у кого отнимаешь? Поэтому хорошо, что Жюстен стал ученым.

Старик замолчал и задумался. Из-за стены доносились глубокие звучные голоса. Кто-то прошел с транзистором. В комнату ворвались сумбурные звуки.

— Он говорит, — продолжал переводчик, когда звуки утихли и старик вернулся к прерванному разговору, — чтобы в Нконгсамбу вы поехали с Даниэлем, который работает в Дуале. Спросите любого таксиста, как разыскать Даниэля, и вам помогут. Даниэль — президент дуалинских таксистов. Даниэль Тимкапон, запомните имя. Этот человек объехал весь Камерун. Он знает всех. Он вам поможет.

• • •

Вечером нас навестили камерунские художники. Сидели торжественные, монументальные, в наглаженных до локмоти светлых рубашках и узконосых, зеркально блестящих ботинках.

Говорили с достоинством, взвешивая слова. Все они были немолодые люди.

— Очень нуждаемся в помощи... Работаем в рамках кустарного ремесла. Делаем мебель, режем по кости. С материалом стало хуже, чем раньше, но все же слоны в Камеруне еще не перевелись...

Художники-кустары работают в своих мастерских. Сбыт их продукции определяется выростом за последнее время интересом к искусству Африки.

Мы посетили в Дуале несколько небольших помещений — сарайчиков, принадлежавших хозяевам-кустарям. В мастерских под навесами лежали тяжелые, плотные пластины черного дерева. Африканцы-мастерские в замасленных фартуках обтачивали на токарных станочках болванки. Сыпалась мелкая черная стружка, как сажа взлетала пыль. От этой пыли на лицах лежали резкие складки и напряженной казалась их сосредоточенность.

Конечно, среди камерунских кустарей немало таких, кто не думает ни о тради-

циях, ни о форме. К мастерству их толкнуло не внутреннее призвание, а необходимость зарабатывать на жизнь.

Эта необходимость приводит к тому, что сейчас среди сувенирных изделий вы увидите много такого, что никак не связано с Африкой. Но как зато интересны подлинные изделия — ритуальные маски, скульптура, мебель, бронза и кожа.

В одной из мастерских хозяин показывал нам разные тяжелые стулья, стадо слонов, вырезанных из клыка, черных богинь с белыми раковинами глаз, бронзовые колокольчики, маски, скульптуры зверей. И хотя все предназначалось для продажи, это было подлинное искусство.

Он рассказывал, что некоторые образцы заимствованы из газет, у других кустарей. Но несколько традиционных масок и тотемов, скульптур, связанных с верованиями предков, он восстановил по памяти. Сделал эталон и дал его мастерам. Они размножают изделия, предназначенные для рынка...

Вероятно, каждый, кто любит Африку и побывает в ее джунглях и новых городах, увозит с собой маску или тотем. Это, конечно, не древнее ритуальное искусство. Древнее все больше растворяется в потоке появившихся за последнее время изделий. Постоянный спрос заставляет ремесленников торопиться открывать мастерские, заимствовать, модернизировать и часто терять самобытность, неповторимость созданного сотнями поколений, выражавшего вдохновение, мечты, надежду и веру народа. У художников появилась неудовлетворенность, тревога. Родилась необходимость работать по-иному, восстанавливать прочную основу.

— Нет своей школы, — говорили художники. — Нам нужна помощь. Варимся в собственном соку.

Нанга Венат, Селестен Апанга, Жозеф Нзени, Жан Миндза говорили о том, что их мучает постоянное ощущение ускользающих форм, которые могли бы выразить новую Африку, форм, корнями уходящих в народную почву. Они сидели, серьезные, озабоченные, люди, испытывающие тревогу за судьбу самобытного, богатого камерунского искусства.

Отель Кокоть и его обитатели

По утрам в ожидании машины обитатели отеля Кокоть собираются в холле.

— Вы были в Waza? — Интереснейший заповедник. Вся фауна Африки... Сотни видов птиц... Розовые фламинго.

— Нет, это очень далеко. Нужно лететь через всю страну. Мы здесь поблизости смотрели носорогов, слонов.

— Это на востоке?

— Да. И туда не так-то легко попасть. Мы ехали через джунгли...

— А вы на север? Будете в Гаруа?

Если вам повезет, увидите выезд ламидо. Так называют там феодала! Это невероятно... Черные всадники... Лошади в длинных ярких пополах. Луки, копья, сверкающие кольчуги... Бархатный балдахин над ламидо, перед которыми все падают ниц. Словом, арабский восток.

— Здесь, в Камеруне?

— Да, здесь. Не забывайте, что север страны — это фульбе. Их сразу можно узнать по волосам. Если прямые волосы и красноватая кожа — значит, пришельцы из Гвинеи. Они здесь живут недавно: сто — двести лет. Но основали княжества, как настоящие феодалы. Пышность, ритуал, пропустите-ка взглянуть в лицо повелителя. Рискуете познакомиться с копьём...

— Нет, европейцев не трогают, — вмешался в разговор листавший журнал француз. Он отложил журнал и сказал: — Местных жителей — кирдей оттесняли в горы.

— А вы были в горах?

— Что вы! Это почти невозможно. Кирди живут как в крепости. Родовая община. Говоривший подбросил на ладони какой-то предмет.

— Что это?

— Каменная палочка. Женщины кирди носят такие в губах. Я выменял ее на базаре на зажигалку. Женщина колебалась, но муж ей что-то сказал, и она отдала мне палочку.

Я сижу на террасе отеля Кокоть в тени большого зонта. На столе запотевший стакан кока-кола, в коричневой жидкости быстро тают кусочки прозрачного льда. Впереди сверкающий синевой бассейн, весь взъерошенный и манящий. В нем барахтается кто-то из обитателей отеля. Высокое легкое здание отеля тоже окрашено голубым.

Внутри отеля панели из черного дерева. Снаружи — толпа длинноволых кокосовых пальм, обхвативших кронами здание.

За бассейном начинается низина, поросшая грубой высокой травой. В стеблях ее, как в зарослях джунглей, снуют крошечные серые птички. Они цепляются лапками к стеблям, легкие, как комочки пуха, также легко слетают и исчезают, растворяются в плотном, дрожащем воздухе.

Он колышется над рекой Вури, к которой сбегает низина, над той самой рекой криветок, Rio dos camarões, которая породила имя страны.

Река в своем нижнем течении очень широкая. На середине ее зеленое царство островов, с таким запутанным лабиринтом проток, что даже местные рыбаки на пирогах не всегда рискуют туда заплывать.

Приливы и отливы меняют контуры берегов, размывают их, превращают в трясину. В ней можно увязнуть, погибнуть, а помощи не дозовешься. Близко лежат острова. И далеко, недосыгаемо далеко, как сотни, как тысячи лет назад.

Сейчас пора прилива. Река полноводна. По мутной и тяжелой ее воде изредка проплывает белый, как снег, пароход. Он кажется инородным в этих глухих первобытных просторах. Пыхтят буксиры, таща за собой нагруженные, осевшие баржи. Летит оша-

лело моторка. Ракот ее разносится над рекой и вязнет в зеленых тенистых островах.

Знающую влажную тишину нарушает пронзительный пичий крик. Он идет от шарообразной кроны цветущего дерева манго. Взмахнув белоснежными крыльями, из зелени вылетает цапля. Поджав тонкие ноги, она устремляется к островам, и крылья ее с трудом рассекают густой и тяжелый воздух.

Цапли прилетают сюда ночевать, все дерево покрывается белыми хлопьями.

Они исчезают в листьях, а утром, когда начинает припекать и воздух наполняется испарениями, запахами тины, цапли срываются одна за другой и улетают к островам.

Отель обнесен живой оградой из подстриженного кустарника, похожего на бамбук. За ночь побеги, верхушки которых уцелели от ножниц садовника, вылезают из плоской толщи забора, вытягиваются и торчат, как тонкие церковные свечи с зелеными огоньками листьев.

Сквозь эти побеги виднеется старожевая вышка, стоящая у дороги, в которую переходит улица.

Вышка с прожекторной установкой преобладает о времени, когда Камерун был охвачен борьбой. Такие сторожевые башни стояли на всех дорогах при входе в крупные города.

Это была многолетняя борьба за независимость и воссоединение Камеруна. Сейчас железные опоры сторожевой вышки покрылись ржавчиной. Будка с прожекторами пуста, люди спокойно проходят мимо. Женщина с эмалированным тазом на голове, маленький сморщенный старик, накрытый широкополой шляпой, на которой лежит мечете — большой африканский нож.

Старик на минуту задерживается у стадиона. Через дорогу, напротив отеля — казармы. Там африканцы солдаты играют в футбол. А рядом — толпы парней-балебшиков. Они приходят пешком, приезжают на велосипедах и жадно смотрят на ежедневные тренировки.

Старик подошел к толпе, но, оглянувшись, заметил европейца, стоящего на балконе соседнего дома, и с независимой деловитостью продолжал свой путь.

В Камеруне сейчас много строят. Появляются новые дома, заводы, мосты, аэродромы. Европейец, который лениво облокотился о железные перила, огораживающие галерею перед фасадом его небольшого домика, работает на строительстве аэродрома. Он тоже смотрит на бегающих по зеленому полю спортсменов.

На голом плече европейца сидит обезьянка с белой опушкой вокруг сморщенной старческой мордочки с любопытными глазками. Крошечная лапка она с наслаждением чешет розовое брюшко. Отрвавшись на секунду от приятного занятия, она шустро поглядывает по сторонам, хватая себя за круглое черное ухо, шерсть ее дыбится. Обезьянка соскакивает с плеча француза и бежит по круглым перилам террасы. Добежав до конца перил, она садится на них верхом, как наездник в седло, виснет на

тонком хвостике, прыгает, снова чешется, скалится и, наконец, возвращается к европейцу, стоящему все в той же спокойной позе. Возбравшись к нему на спину, обезьянка роется в его поредевших на темени волосах, внимательно что-то рассматривает, нюхает, на мордочке появляется выражение заботливости и доброты.

— Эрнест! — Я знаю, как зовут обезьянку. — Эрнест!

Спрыгнув с плеча француза, она прижимается к нему, прячется за него. И вдруг на нее наваливается сон. Безвольно опущенные лапы, веки слипаются.

— Эрнест!

Едва приоткрыла глаза, взглянула потухшим взглядом в пространство, и снова веки ее сомкнулись.

Я однажды спросила француза:

— Где вы ее нашли?

— В джунглях, — он показал на восток, — там, где идет строительство аэродрома. Охотник убил обезьяну, остался детеныш. А я собирался купить малыша. Я здесь один. После работы заехал в деревню. Охотник запросил сумасшедшие деньги. Я даже не стал торговаться. Хотел уйти. А этот малыш вдруг так и вцепился в меня. «Не нужно денег, — сказал охотник, — берите так». И Эрнест приехал сюда. Мы с ним не расстаемся. — Француз поглаживал обезьянку по шерстке. — Вместе обещаем. Вместе бываем в джунглях. Я привязался к нему. Славное существо...

— Такой малыш! Вы говорите, он вырастет? — Я протянула руку погладить Эрнеста, но он мгновенно проснулся, оскалился и пулей слетел с перил. Сел на пороге дома. Салфетка у мордочки вздыбилась, глаза его злобно заблестели.

Я громко смеюсь, пожалуй, излишне громко. Опять начинается лающий кашель.

— Кондишен? — француз участливо покачал головой. — Это у многих приезжих. Нужно натягивать одеяло — вот так.

...Бронхит я схватила ночью. Намавшись на дневной жаре, я вечером сразу свалилась в постель. Тонко, противно ныли комары. Укусы их не давали уснуть. Нашупав кнопку кондишена, я запустила мотор. Он загудел, комары исчезли.

В комнату полился ласкающий холодок. Впервые за день я облегченно вздохнула, откинула теплое одеяло и улеглась.

К утру начался кашель. Горло драло. Знобило. Африканец, принесший утренний завтрак, сочувственно округлил глаза и, показав на подернутый треснувшей пенкой коричневый шоколад, сказал учтиво:

— Это поможет, мадам. Приятного аппетита.

После завтрака кашель смягчился, я спустилась в холл и в ожидании спутников рассматривала изделия из слоновой кости.

К отелю подъезжали машины, носильщики-африканцы таскали чемоданы, дорожные сумки, коробки, складывая их у лифта с бесшумно, как Сезам, под действием фотоэлемента открывающейся дверью. Холл заполняли красивые итальянки.

Крупный, начавший полнеть итальянец, отделился от группы и подошел к продавцу сувениров, разложенных возле отеля на камышовой циновке. Здесь были свернутые, наподобие пожарных шлангов, шкуры удавов, маски, скульптура из черного дерева, бронза, изделия из слоновой кости, луки, ножи, опахала.

Старательно выговаривая русские слова, итальянец рассказывал:

— Запад Камеруна славится вышивками. Это бывшее государство Бамун и Бамилеке. На севере — бронза. Хорошо.

Запас его слов оказался вполне достаточным, и я узнала, что миланец — текстильщик и поездку предпринял не только из страсти к туризму. Да, он любит и путе-

ронам, стоял француз в солдешной шляпе с высокой тульей, похожей на пагоду. — Это местные, африканские. Легко. Большие поля. Прослойка воздуха над галравей.

Шлем привлек внимание американца, с которым мы познакомимся в холле. Он подошел, поздоровался.

— Наверное, получил в наследство от дедушки, — заметил он. — Немцы в прошлом веке носили такие.

— Вы думаете, что это немец? — спросил итальянец.

— Я разговаривал с ним. Он из Дюссельдорфа. Дед дал ему деньги на путешествие. Выбрал маршрут — Камерун. Он здесь когда-то бывал... Владел землей... А правда, ведь любопытно — внук, путеше-



У лесопилки

шествовать. Но Европа... Там все известно. Вот Африка. Советский Союз. Он был в Москве, Ленинграде, Пскове, Кизжах.

Он сказал, что в Камеруне собирается заглянуть на строящиеся в Дуале и Гару текстильные предприятия и заодно приглядеться к хлопку. Он, кажется, здесь хорош. Во всяком случае, он дешевле, чем американский.

— Французы — молодцы. — Итальянец увлекся расчетами. — Они поручили разведение хлопка местным крестьянам, и те неплохо справляются с этим. Выгода здесь прямая — не нужно вложений, не нужно конфликтовать из-за земли.

Мы поговорили о тканях, о модной в Италии флорентийской сололке, о Русском музее, который мой собеседник считал одним из лучших музеев мира.

Солидно и независимо прошел молодой человек с кобурой у ремня, в пробковом шлеме. Скакавший по холлу мальчик остановился, завистливо глядя на шлем.

— Таких здесь никто не носит, — кивнул на прошедшего мой собеседник. — Лучшее вот эти... — У бара, поглядывая по сто-

стующий по стопам своего предка. Конечно, терять такую колонию... — американец многозначительно улыбнулся.

На Вури маленький катерок тянул глубоко осевшую баржу. На палубе лежали гигантские комли деревьев. Американец, прищурившись, наблюдал за баржей.

— Колонии — это теперь не модно, — вернулся он к прерванной мысли. — Теперь инвестиции... Они популярны. Вы называете это капитализмом...

Когда-то в далеком детстве он жил на юге России. Еще до революции родители его покинули страну, переселившись в Америку. Язык он забыл, но вернулся к нему, начав следить за статьями о лесе.

Лес связан с профессией американца. Он строит дома, и в Калифорнии у него большая контора. Здесь он по делу. Интересуется древесиной. В Южной Америке тоже отличное дерево, но вывоз еще сложнее, чем отсюда. И кроме того...

Он не закончил фразы, взглянул на часы, знаком подозвал африканца в ярко-зеленой форменной куртке, попросил принести стакан воды и, вынув из кармана ру-

башки плоский флакон, вытряс на ладонь две таблетки, положил на язык и ждал, пока ему подадут стакан. Отпив глоток, закинул назад голову, поставил стакан обратно и бросил на поднос какую-то мелочь.

— А где вы успели уже побывать? — Выходец с юга России обращался ко мне. — Съездите в Эдеа, на «Алюкам». Отличный завод! Последнее слово техники. Как совершается электролиз... Искусство! Четыре цеха. Две сотни ванн работают только на электричестве. Людей почти не увидите. И чистота... А рядом каучуковые плантации. Гевея. Семь тысяч гектар. — В лице американца появился азарт. — Вы видели, как растет? Эдакие, я бы сказал, невзрачные деревца. Ходит такой вот детина, — он кивнул на лифтера, — на бедрах повязка, и надсекает кору. В конце надсечек маленький желобок, по нему стекает в баночку сок. Наполнилась баночка — ставь другую. Ходи и меняй — вот и вся техника... — Он даже вздохнул, и бледной, в рыжих веснушках рукой потер лоб. — Двадцать тысяч рабочих. Платить им можно гроши. Какие у них потребности? Если бы не дома, может быть... Да, Камерун перспективная страна...

В его настроении произошла едва уловимая перемена. Благодушная откровенность, с которой он начал разговор, исчезла. В прозрачных водянисто-голубоватых глазах появилась цепкость.

Я проследила за его взглядом. От лифта к выходу прошли четыре японца. Скромные, тихие, в темных глухих костюмах.

— Эти в Яунде строят завод, — сказал американец. — Вместе с французами строят. Будут делать масло какао для японского рынка.

Он хотел что-то добавить, но у портье зазвонил телефон. Сняв трубку, тот почти нетельно поклонился американцу. Мой собеседник повернулся и не простившись ушел.

— В Криби... В пятнадцать ноль-ноль... — долетел до меня его голос, звучавший сухо и резко. Посыльный бросился к выходу, почти тотчас к подъезду подползла приземистая, осевшая на рессоры машина. Посыльный захлопнул дверцу. Машина ринулась в Дуалу. Холл опустел.

Мои спутники где-то задерживались. Предупредив портье, что вернусь, я дошла до школы на соседней улице. К воротам школы подкатывали машины, мотоциклы, велосипеды. Родители — европейцы и африканцы привозили детей. Многие ребята бежали с портфелями, сумками, связками книжек, лежащих на голове. Вот молодой африканец-нянька (говорят, африканцы — лучшие в мире няньки, природные педагоги) в стерильном накрахмаленном фартуке толкает тележку, в которой раскинулся чистенький белый малыш. Рядом девочка лет восьми, с бантом в распущенных по плечам волосах.

Напротив школы, взяв свой портфель, девочка перешла дорогу, и «нянька» внимательно проследила за ней.

Ворота — опасный рубеж. Около них африканские продавцы в возрасте школьников разложили конфеты в ярких бумаж-

ках, блестящие леденцы, жевательную резинку, шариковые ручки, орехи кола, стеклянные шарики, — мало ли есть соблазнов для маленьких покупателей, которым на завтрак дается какая-то мелочь.

С шумом подлетел мотоцикл. С багажника прыгнул шоколадный подросток. Отец кивнул ему и помчался дальше. Еще минута — и улица опустела. Торговцы, накрыв целлофаном тазы и корзины, расположились под деревом. Одна лишь «нянька» с коляской прогуливалась в тени, заботливо поглядывая на спящего малыша.

Я возвратилась в холл и снова села под зонт, глядя на синюю ломкую воду бассейна, на расстилающуюся вдали широкую гладь реки креветок.

Жара разгоралась. Душные испарения шли от реки. И тут, с чувством жаждущего, я подумала о кондишене. Да, все же нужно его включать, но, как советовал француз, осторожно.

Мост через Вури

Дуала расслабленно парила, как деревенская баня. В воображении возникал тонкий запах березовых веников, всплывало сложное чувство чего-то неуловимо знакомого, похожего на картинки из «Нивы». Улица чем-то напоминала их.

Кавказская войлочная шляпа спасала меня от бивших в упор лучей: солнце стояло в зените и тетива его была туго натянута.

Редкие прохожие, встречаясь, вскидывали глаза, я читала в них удивление: что за срочные дела заставили человека бродить по Дуале в тяжелой, насыщенный влагой и солнцем час. Дома кондишен (я уже научилась управляться с ним). Дома не жарко. В такие часы приятно и в барах, там тоже прохладно и с наслаждением можно потягивать пиво, сок, кока-кола со льдом.

Можно укрыться в тени под зонтом. Можно поплавать в бассейне. Мало ли где проводят полуденные часы?

Таксист, медленно ехавший по вымершей улице, остановился у края тротуара.

— Мадам!

Он открыл дверцу. Брови его слегка поднялись, изображая снисходительность, превосходство и долю почитительности. Он был в роскошной машине. Он был защищен, благополучен, наряжен. Коричневая нейлоновая рубашка вся в бликах, в зеленых отливках. Болотного цвета шелковая, простеганная крест-накрест шляпа с короткими прямыми полями с эдакой элегантной небрежностью сдвинута набок. Он выставил на край тротуара ногу. О, ну, конечно, Батя! Батя в Камеруне заполнил все — огромные магазины, лавки, палатки, лотки. Обувь бело-желтая, дымчато-голубая замша, лак, хром, нейлон, звериные шкуры. Горы обуви, главным образом почему-то мужской.

Таксист был обут в плетеные туфли с

носами, промявшимися от их длины, острыми, как пики пигмеев.

— Мадам! — повторил таксист и сделал жест, приглашая в машину.

— Не подкажете ли вы, где можно найти Даниэля Тимкапона? — Не знаю, почему я спросила его об этом. Но снисходительность сразу слетела с лица шофера, теперь оно выражало только почтение.

— О, мадам, вы бы сразу сказали. Конечно, я знаю Тимкапона. Это наш президент. Это очень большой человек. Только вы не найдете его. Он уехал в Эдеа. Нет, нет! Он скоро вернется, — поспешно воскликнул таксист, заметив мое огорчение.

Право, это было обидно. Назавтра мы уезжали в Нконгсамбу.

— А как узнать, когда он вернется?

— Вы попросите фирму, там скажут точнее...

Таксист довез меня до отеля, и за этот отрезок пути я узнала, что когда-то в Дуале таксисты работали порознь. И Даниэль Тимкапон был таксист. Но он человек с головой. Это его идея — создать деловую компанию, вроде бы парк. Он доказал, что сообрабатывать гораздо выгоднее. Многие колебались, но решили попробовать. А когда убедились, что выгода налицо, Тимкапона избрали президентом.

— О, Даниэль не сидит сложа руки. Он связан со всеми компаниями, с туристскими фирмами, с «Эр Африка», железной дорогой, с портом. Без Даниэля никто не решает дел — поможет купить машину, построить дом, уладит все неприятности, которые — сами знаете — не так-то редки у таксистов. Словом, настоящий президент. У нас не у каждого есть машины! Многие работают на чужой. Потом собрал капитал и купил по случаю «Симку». Мне Даниэль подсказал, где можно купить. Потом я купил «Капитан». Вот эту машину. Очень хороший автомобиль...

Нас ожидал сюрприз. Фирма еще накануне условилась с Даниэлем, что именно он повезет нас в Нконгсамбу.

Наутро возле отеля, мягко присев, остановился широкий приземистый «Капитан». Он весь сиял и блестел — лак и никель. Плечистый, самоуверенно-добродушный таксист в черной рубашке в коричневую полоску небрежным движением захлопнул дверцу и, войдя в помещение, кивнул портю. Это и был Даниэль Тимкапон. Он сказал, что художникам, которые остаются писать в Дуале, будет дана машина, чтобы они могли поехать по городу. Он дождался, когда машина прибыла, помог художникам погрузиться: подрамники, краски, этюдники — все это очень громоздко.

— Бон! — сказал Даниэль, когда наши спутники отбыли, и направился к своему «Капитану». Заклеил на двери бумажкой знак такси, пояснив:

— Чтобы не приставали дорогой. — Еще раз оглядел машину, устроился поудобней за рулем и поправил зеркальце.

Итак, мы тронулись в путь. Дуала опять

показалась мне особенно прекрасной в ее тропическом пышном наряде.

Мы ехали через мост мимо обнажившихся при отливе отмелей. Посредине реки дремотно лежали зеленые острова. В тинистых берегах их застряли оставленные отливом сплавляемые стволы огромных тяжелых деревьев. Касаясь грудью воды, носились ласточки, в сияющей синеве широкой реки скользили рыбацьи пироги. Все отплывало, отваливалось назад, все уходило в прошлое.

На выезде у контрольного пункта нас остановили, Даниэль предъявил билеты. Чиновник что-то записывал, спрашивал, Даниэль спокойно, с достоинством отвечал. Когда он вернулся в машину, захлопнул дверцу и взялся за руль, по выражению отраженных зеркалом глаз я поняла, что он недоволен. В лице его, в коротких и жестких усах, в сведенных бровях таилась ирония.

— Проверка билетов — формальность. Что это даст? — проворчал он. — Кто хочет, переплывает на пироге ночью. Вы видели, как темны камерунские ночи.

— А что за проверка? — спросила я. Ирония исчезла. Что-то неуловимое промелькнуло в его глазах.

— Вы знаете, что в Камеруне когда-то были волнения. В этих местах они продолжались до недавнего времени. Но ведь теперь-то все спокойно? А если даже и нет, что можно сделать такой проверкой? Подалее, в лесах, еще есть повстанцы... На европейцев не нападают.

В Бекоко к нам снова подошел полицейский. Даниэль, не выпуская руля, бросил в окно какую-то фразу, и нас пропустили.

— Сейчас здесь тихо, — сказал он, как бы успокаивая меня. — Даже дорогу открыли. Но вам повезло. За последние годы вы первые из туристов едете в Нконгсамбу. Но в шесть тридцать движение прекращается. Придется поторопиться.

• • •

Лес вплотную придвинулся к шоссе.

— Здесь много змей, — Даниэль переменял тему. — Однажды я на дороге убил боа. Вы знаете, что такое боа? Большая змея. Едва поместилась в багажник.

— Их иногда называют удавами, — сказала я.

— У вас они водятся?

— Нет. Но я видела их в Гвинее, в питомнике филиала института Пастера.

— Здесь тоже есть филиал института. В Яунде. — Он помолчал. — А есть ли в вашей стране леса?

— Да, очень много. В Сибири сплошная тайга.

— А что такое тайга?

— Такие же джунгли. Только у нас деревья другие. И холодно. И москитов, пожалуй, побольше. Но малярии нет. И проказы нет. Вы никогда не слышали о тайге?

Он ничего об этом не знал. Он почти ничего не знал и о нашей стране. Слышал, что существует Москва.

— А какая она? — Вопрос задан был с интересом. — В самом деле, какой это город? Большой, скажем, как Дуала?

Я сказала, что только в одной Москве проживает столько людей, сколько их во всем Камеруне. Даниэль посмотрел на меня иронически и тактично заметил:

— Но вы ведь не знаете, какой Камерун. А я постоянно езжу с туристами, с коммерсантами. На север около полутора тысяч километров. На восток... Там даже я не бывал.

Он вдруг о чем-то вспомнил и весело хмыкнул.

— Тут приезжал к нам американец. Охотник. Больше всего его интересовали слоны. Он говорил, что в Кении очень много зверей. Но все же там меньше слонов, чем у нас. Во всех африканских странах меньше слонов, чем у нас в Камеруне. Наши слоны очень умные. Они скрываются в джунглях. А в камерунские джунгли, особенно у побережья, не каждому смельчаку удается проникнуть.

В тоне Даниэля прозвучала гордость.

— Тот американец тоже говорил, что в их столице больше людей, чем во всем Камеруне. Он говорил, что у них есть дома, в которых людей больше, чем в Яунде... В Нконгсамбе, — поправился он. Зеркало лукаво заулыбалось и засверкали зубы. — Наверное, потому и охотиться ездят к нам, что там у вас очень много стало людей. Где ж будут звери жить, если в одном только городе столько людей, сколько во всем Камеруне. А сколько у вас городов? — Теперь он смеялся громко, очень довольный своей остротой. — Куда же деваться зверям, что им есть? — повторял он, откидываясь на спинку сиденья. И неизвестно, сколько продолжалось бы это веселье, если бы из кустов не вылетел маленький, нежно-голубой зимородок. Он полетел вдоль шоссе, и как бы гонясь за ним, шофер помчался еще быстрее.

— Эта дорога ведет в Бамун. Там очень много зверей. Гиппопотамы, буйволы, крокодилы, мелкая дичь. В Бамуне красивая природа.

— Это там знаменитый музей? — спросила я. — Вы слышали о музее?

— О, музей манифик, великолепный. Вы знаете, что его собрал один человек?

— А кто он был?

— Я знаю, что звали его Мосе Ейяп. Он посвятил собиранию всю свою жизнь. Там африканская бронза, слоновая кость, резная мебель.

— Вы были там?

— Да, я сопровождал туристов и видел, как они восхищались. Но, честно сказать, я предпочитаю бамунские танцы. Когда выходят гвардейцы султана и начинают размахивать саблями, то так и подмигивает ввязаться в драку. Забываешь, что это танцы.

Притормозив, он показал на небольшого зверька, черноухого с длинным пушистым хвостом.

— Здесь водятся белки?

— Здесь их много. Вы видели муравьедов? У одного моего приятеля в клетке живет муравьед. Можем заехать к нему по пути.

— А мы попадем в музей?..

— Так жаль, мадам, но мы не успеем. Если бы вы задержались подольше, то увидели бы, как танцуют на ходулях. Это очень интересно.

— Я видела это в Туркмении.

— Что такое Туркмения?

— Одна из республик в нашей стране...

— Большая, мадам?

— Примерно такая, как Камерун...

Так мы разговаривали в пути, а машина летела стрелой.

Местность была гористой. Вершины гор, покрытые лесом, проплывали одна за другой. Иногда Даниэль тормозил. Мы выходили на край дороги полюбоваться могучими многослойными джунглями, покрывавшими какой-нибудь склон. Бледные, яркие, сочные, серо-зеленые, темные листья создавали красивый пестрый узор. Как мачты белели стволы, лианы переплетались, как снасти на корабле, вспыхивали кострами тропические цветы.

— Это дерево мы называем «кисть руки», — показал Даниэль на огромные ветви с гигантскими листьями, похожие на каштановые. — наших джунглей еще никто не знает. Недавно я ездил с учеными. Они говорили, что каждый день находили деревья, которые никому еще неизвестны.

Он замолчал, объезжая дорожную вмятину.

Африканцы, большими ножами отсекавшие отросшую траву, сдвинулись к обочине и проводили взглядами машину.

— Эти крестьяне мобилизованы на починку дороги. Министерство общественных работ Камеруна обязало всех, кто живет вдоль дорог, следить за своим участком.

Вскоре мы въехали в пальмовый лес. Низкие шершавые стволы деревьев уже начали обрастать плющом. Масличные пальмы стояли рядами, кроны их разрослись, и свет едва проникал сквозь толщу листьев. В зеленом, призрачном сумраке царил покой. Подлеска здесь не было, но что-то грустное, необычное для цветущего Камеруна чудилось в этой глухой чистоте. Здесь не было ни ярких зимородков, ни попугаев, летающих с резкими криками. Порядок и в то же время запущенность.

— Эта плантация принадлежит африканцу, — сказал Даниэль, задумчиво глядя на деревья. — Он хорошо заработал. Теперь она ему не нужна.

— А где он теперь?

— Теперь он, кажется, где-то в Испании. Я ничего не знаю о нем. Я никогда бы не запустил ее так. Правда, здесь много возни, но и с такси не меньше...

— А как вы стали таксистом, Даниэль?

— О, это длинная история. Всего и не вспомнишь.

Дорога, однако, оказалась длиннее, и он постепенно рассказал о том, как сложилась его жизнь — жизнь мальчика из племени бамилеке.

Сын семнадцати матерей

Даниэлю Тимкапону тридцать пять лет. На вид ему меньше — около тридцати. Круглое угольное лицо, будто отполированная кожа — только у рта две складки, глубокие и жестковатые. Быстрые, настороженные глаза. Подстриженные черные усики. Что-то от детектива, от киногероя. Ходит Даниэль... Боже мой, как он ходит! Царственная осанка. Плавность. Величественный поворот головы, прочно сидящей на сильной мускулистой шее. Всем видом своим он говорит, что выше всего для него достоинство человека.

Даниэль знает, чего он хочет от жизни. Он знал это уже семилетним ребенком. Ребенком? В конце тридцатых годов он считал себя взрослым. Он твердо знал, что хочет разбогатеть.

Многие камерунцы хотели разбогатеть. Иным это даже и удавалось. Но стоило им заработать, они, как хозяин масляной плантации, бросали доходное дело и жили беспечно, пока не кончались деньги. Тогда они снова принимались за труд. Работали терпеливо, спокойно, не жалуясь на судьбу.

Первое время и Даниэль не думал о прочном богатстве. Он просто хотел заработать и жить, хотя бы недолго, ни в чем не нуждаться, ездить в машине, носить белоснежные рубашки, черный костюм, ходить, опираясь на трость. Нет, не на трость, на зонт. Большой черный зонт. Он до сих пор еще в моде. А четверть века назад он был для него признаком недосыгаемой роскоши. Зонт защищает от солнца, от ливней. С зонтом человек обретает значительность.

Даниэль не боялся ни ливней, ни солнца. Но он хотел быть значительным, мечтал видеть себя африканцем с зонтом.

Вечера свои он хотел проводить... Впрочем, тогда он еще не совсем отчетливо представлял, как будет проводить вечера. Чаще всего представлялись танцы — в лесу, на поляне, при свете полной луны. Гулкие звуки тамтамов, ксилофонов. Круг танцующих, посредине облитая призрачным светом Эба. Только она и была способна выдержать этот ритм. Те, кто стояли в кругу, едва успевали хлопать в ладоши. Они пропускали такт. А Эба вся извивалась, крутилась, дрожала и прыгала. О, что выдывали ее бедра! Все говорили, что лучше Эбы никто не танцует...

Даниэлю исполнилось семь лет, когда умер его отец. Наследство? Он получил в наследство ноль. Теперь-то он понимает, что самое главное из наследств — здоровье и ум. Когда получают большое наследство, случается, что мозги заплывают жиром. На ум он не жалуется, здоровьем доволен. Бывало, он по восемь дней проводил в машине. Поест, вздремнет и опять за руль. Нет, что и говорить, он рад такому наследству.

Детей у его отца было... Он даже не помнит сколько. Отец, наверное, тоже не

знал всех своих бегавших по деревне детей. Нет, Даниэль не знал всех своих братьев, сестер, родившихся у семнадцати жен отца. Отец, наверное, был богат, раз мог заплатить за семнадцать жен. Может быть, все богатство его ушло на женщин. Но с выкупом, собственно, и кончались затраты отца. Больше он уже ни о чем не заботился. Каждая из матерей Даниэля жила в своем домике и обрабатывала в лесу свой участок земли. Ей помогали дети. Африканские дети работают с самого раннего возраста. Когда дети вырастали, они уходили, и где сейчас все эти братья и сестры, как сложилась их жизнь, — Даниэль не может сказать. Кто-то живет в Эдеа, кто-то в Дуале, в Нконгсамбе. Есть и во Франции, и в других государствах. Связи меж ними нет.

Раз как-то Даниэль разговорился со своим пассажиром, которого вез в Бафуссам, и выяснилось, что это брат.

— Что было? Да ничего. Поговорили о родственниках, вспомнили об отце, о матерях. Выпили в баре по кружке пива. И каждый поехал по своим делам.

Отца Даниэль видел редко. Однако отец — есть отец. Когда он умер, в деревне стоял великий плач. Били в тамтамы. Ждали родных. Тогда Даниэль и увидел впервые, сколь многочисленна эта родня. На похороны съехалось... Он точно не знает, сколько было людей. Их было много. Мальчик смотрел, как плакали жены, как рыли двухметровую яму. Ему было жаль отца. Тетка сказала, что все умирают. Но он почему-то ждал, что отец вернется.

После его смерти жизнь Даниэля сразу изменилась. Родственники устроили мальчика в миссионерскую школу. Он был крещен и стал протестантом. Он был любознательным, бойким боем и, живя при миссии, вскоре понял, какая чудодейственная сила таится в хрустящих, пестрых бумажках.

Ему открыли глаза. Теперь он знает, как нужно жить. Жениться так, как отец? Нет, это не для него. У Даниэля одна жена, два сына, две дочери и двое воспитанников со стороны жены. Родители их очень бедные люди. Они отправили детей Даниэлю. Он их устроил в колледж. Обычай рода таков: если ты стал состоятелен, помогай родным. О детях Даниэль заботится. Кроме того, в его семье живет четырнадцать человек. Это люди разных племен. Они помогают ему, и он их содержит.

Школу Даниэль кончал в Бафуссаме — очень красивый город в центральной части провинции Бамилеке. Стал зарабатывать. Тогда он еще не думал о прочном богатстве. Однако город не то что деревня, где можно прожить, собирая плоды, коренья, охотясь. В городе нужны деньги, чтобы за все платить, а деньги не так-то легко зарабатывать. Вот тогда он и понял, что хочет разбогатеть не на время, а навсегда, чтобы не голодать. Не испытывать унижений. Чтобы вечер можно было провести в ресторане, в баре — теперь-то ему известно, как весело можно проводить вечера. Сопровождая туристов, он многому научился.

Однако все это пришло не сразу.

Даниэль перепробовал много способов зарабатывать деньги. Он был конторщиком, фотографом, продавцом у хозяина. Пытался сам торговать. Стал управлять машиной. В политику он не вмешивался,— это мешает тому, кто хочет разбогатеть...

Сейчас Даниэль Тимкапон — состоятельный человек. У него уже три машины. А вы знаете сколько он заплатил за них? Три с половиной миллиона франков. Это уже капитал. Но есть африканцы, у которых по десять — пятнадцать машин. Со временем, он мечтает... Впрочем, зачем говорить, что будет со временем...

Плантации тропических фруктов

Земля, красно-бурая у Дуалы, здесь становилась краснее и плодороднее. Почти во всех деревнях у домов, на циновках,

сился двумя-тремя фразами с крайним мужчиной.

— Префекта Нконгсамбы,— ответил он.— Здесь будут строить новую школу. Префект должен был провести собрание еще два дня назад. Но задержался где-то, а люди боятся уйти, вдруг он приедет.

Национальным собранием Камеруна принят двадцатилетний план. В течение этих лет в стране камерунцы хотят добиться всеобщего образования сельских детей. Они собираются повести решительную борьбу с неграмотностью среди взрослого населения. Префекты обязаны выезжать в деревни и города своей префектуры.

По пути я заметила странную изгородь. На возвышении острями наружу и внутрь плотно, один к другому, щетинились толстые бамбуковые колья. За ними виднелись белые здания — казармы солдат, которые усмиряли волнения, как объяснял Даниэль. Он показал нам деревню, которая во время



Сельские школьники

расстеленных на земле, сушился кофе. Январь — сезон созревания кофе. Растет он на маленьких деревцах, зернышки, как вишни, густо сидят на ветвях. Как только они начинают краснеть, их срывают руками и сушат на солнце, помешивая лопатками.

Возле одной из деревень дорога была украшена ветвями кокосовых пальм. Ветви, врытые в землю, стояли также на площади, узкие длинные листья их, обвиснув, уже увяли. На стульях сидели женщины, одетые в яркие ситцы и тонкий нейлон. Возле дороги стояли мужчины, почтительно вглядываясь в проезжающие машины.

— Кого они ждут? — спросила я Даниэля, который, высунувшись из окна, перебро-

волнений шестидесятого года была уничтожена вместе с людьми. Здесь были жестокие схватки. Но теперь все отстроено заново. Люди устали, хотят жить спокойно.

Район, который мы проезжали, славится плодородием. Крестьяне выращивают кофе, бананы, ананасы, маниок.

Почти все жители деревень имеют плантации, которые им приносят приличный доход. В домах у них европейская мебель, велосипеды, посуда, приемники, много одежды. Но труд их тяжел. Работают только вручную, мотыгой. Нет даже лошади, даже плуга. Трактор известен, а лошадь не прижилась. В этих местах жил богатый француз, пытавшийся разводить лошадей.

Когда он уехал, лошади одичали. Крестьяне не поняли, не полюбили их.

Плانتации занимали большие пространства. Серыми остролистыми пучками торчали кусты ананасов. Полуобнаженные африканцы в широкополых шляпах срубали плоды ножами, тут же вывешивая их на жердях для продажи. Ананасы висели, как оранжево-золотистые елочные шары.

Даниэль выбирал ананасы и, укладывая их в багажник, объяснял, что в Дуале они стоят вдвое дороже. Он покупал по дешевке тяжелые грозди бананов и уверял, что они вкуснее дуалинских. Бананы и вправду были сладкие, нежные и ароматные.

Мы посетили плантацию, принадлежащую одной из французских фирм. Она давала две тысячи гроздей.

Посадки показывал нам молодой француз, масье Жироси, работающий в компании в должности инженера-агронома.

В маленькой быстрой машине он ездил среди банановых зарослей, по ананасным полям, рассказывая о том, как растут бананы и ананасы, о своих путешествиях. Работать приходится много. Но зато свои отпуска он проводит в поездках. Объехал почти всю Европу. Был в СССР.

— Ваш Русский музей одно из лучших национальных собраний. Сочи... Москва... Ленинград... О, Россия огромна. Я бы хотел побывать в Сибири.

На ананасных плантациях чешуйчатые плоды торчали среди остролистых кустов. Была пора уборки, и африканцы, вырубив из середины куста благоухающий плод, укладывали его в тележку. На складе их сортировали, дезинфицировали и упаковывали для отправки во Францию.

В кронах высоких деревьев росли мясистые плоды авокадо — ценнейшее сырье для косметической промышленности. На этой плодородной, окруженной горами равнине выращивалось, наверно, все, что растет под знойным экваториальным солнцем, — длинные, усыпанные зелеными горошинами стручки душистого горького перца, имбирь, тоненькие, как молодые вишни, кофейные деревья.

Жарко дышала земля, томилась от плодородия. В машине, когда мы, покинув плантации, неслись обратно, стоял банановый аромат.

Лесистые холмы, долины, огромные вавуны. У дороги деревни, женщины в ярких платьях. И снова кофе, кофе, кофе...

В гостях у кофейного короля

Африканец большим ножом рассекал толстую оболочку кокосового ореха. От ударов летели зеленые брызги. Он снял и отбросил оболочку. В руках его оказалось ядро. Чем бы его расколоть? Вокруг была мягкая теплая земля, засаженная рядами невысоких кофейных кустов.

Кусты занимали все горные склоны. Они карабкались вверх, словно вели наступление на тропические леса, стеной выроставшие там, где кончались плантации. Издали были видны могучие белые стволы, нагромождения крон, томящихся в золоте солнечных лучей.

Здесь на полуторакилометровой высоте солнце хотя и было жарким, но не испепеляло, не жгло, как на побережье. Легкий свежий ветерок летел с вершин. Казалось, это горы дышат девственно, чисто.

Один из порывов ветерка донес едва уловимый запах. Он был тонок и нежен, напоминая запах жасмина.

— Что это пахнет? — спросила я африканца.

— Это кофе, мадам. Его цветы!

— Но ведь сейчас пора урожая?

— Кофе цветет круглый год...

Осторожным ударом ножа он рассек, наконец, ореховое ядро и поднес мне его, как чашу. Внутри был приятный прохладный сок, и сердцевина, по вкусу похожая на кочерыжку.

Весна — пора сбора кофе. Его собирают также осенью. Но ягоды созревают весь год.

— Если во время дождей плохо с едой, можно есть ягоды. Это вкусно.

Африканец даже причмокнул.

— А кофе давно здесь растет?

— Всегда, мадам. Я слышал от предков, что кофе произошел из нашей местности. — Он тщательно вытер нож и завернул его в тряпку. — Эти плантации новые, — африканец показал на ряды кустов. — Те, на соседнем склоне — тоже. Их посадили три года назад. Сегодня на них урожай созрел первый раз. Он не очень большой. Но на тех плантациях, — он показал куда-то на запад, где были видны лишь постройки складов и невысоких коттеджей, — там собирают килограмм с куста. И даже больше. Это очень хороший урожай.

— А какой это сорт?

— Арабика. Самый лучший сорт в мире.

Африканец ошибался. Самым лучшим сортом до сих пор считается мокко, который впервые появился на рынках Европы в XVII веке. Его вывозили с Аравийского полуострова. Ценился он баснословно дорого, буквально на вес золота. Позднее предприимчивые голландцы успешно стали выращивать кофе на острове Ява. Потом он распространился в другие страны, температура в которых не падает ниже пятнадцати градусов Цельсия.

Родина кофе, конечно, не Камерун, а южная Эфиопия. Даже в Аравии он пошел оттуда. До сих пор в Эфиопии кофе — одна из важнейших товарных культур. Однако арабика действительно самый распространенный сорт.

Арабика — душистая, богатая кофейном, который извлекают из зеленых зерен. Зерна лежат внутри каждой ягоды — два зернышка в жесткой коричневой оболочке. После того, как ягоды снимут, их сушат на солнце, очищают от оболочки, полируют

и жарят. Тогда образуется кофеоль — ароматичное вещество, запах которого так ценится в кофе.

Арабикой заняты все верхние склоны высокогорной Нконгсамбы. Ниже растет робуста. Этот сорт ценится намного дешевле. Но и его здесь много. Очень много. Нконгсамба — один из главных кофейных центров страны. Отсюда вывозится до трети всего камерунского кофе...

• • •

Оказавшись в Нконгсамбе, я снова попыталась найти геолога. Это стало уже чем-то вроде игры, но шансы на выигрыш все уменьшались. Собственно, здесь был уже последний шанс. Поездка по Камеруну приближалась к концу, и возвратившись в Дуалу, мы должны были вылететь через экватор в Браззавильское Конго.

Хозяин ресторана, где мы обедали, сказал, что не знает геолога и не слышал о нем, но посоветовал поговорить с продавцом сувениров, который сидит у входа в отель.

— Он знает все, что происходит в этом городе и его окрестностях, — с улыбкой сказал француз. — Это местное агентство информации. Не удивляйтесь. Все в городе происходит на его глазах.

Я вышла на улицу. Продавец сувениров куда-то ушел. Спустившись со ступеней, я направилась к площади. Город раскинулся в высокогорной долине свободно и широко, и, несмотря на жару, дышалось легко.

Нконгсамба — естественная крепость. Со всех сторон ее обступают горы. В дождливый период город тонет в облаках и, говорят, походит на Ноев ковчег, плывущий в молочной безбрежности. А сверху рушатся неиссякающие потоки. Когда облака распадаются на лохматые клочья, кажется, что на город ползут зеленые айсберги. Начинается бурное движение облаков, которые застревают на вершинах деревьев.

Сейчас — весна, сухой сезон. По небу лишь изредка пробегает облачко. Оно ослепительно низко, и его соседство радостно и великолепно.

Странными кажутся в этом городе витрины. Они нелепы своей пестротой в соседстве с величием окружающей природы. Постройки здесь низкие и простые. Среди них на центральной улице выделяется желтое здание мэрии, отель с рестораном, баром и кинозалом, банк, охраняемый обязательным полицейским. Еще два-три трехэтажных особняка.

Там, где улица раздвигается, образуя площадь, находится автозаправочная станция. Тяжелые грузовые машины, с разбегу остановившись возле колонки, жадно и торпливо глотают бензин. Насытившись, они с ревом уносятся в глубь страны, где тихо живут города с загадочными названиями: Чанг, Бафуссам, Фумбан, Бафанг.

Там, среди гор в долинах, бродят стада антилоп. На берегах порожистых рек лежат крокодилы, истомно разинув огромные пасти. Они прижимаются к теплой земле и

жмурят от сладострастия злобные глазки. Ночами в тяжелой, непроницаемой тьме тропической ночи из рек и озер поднимаются бегемоты. Они пасутся в зеленой густой траве.

Навыюченные двенадцатитонные грузовики неслись, сотрясая землю. Я с завистью проводила их взглядом и, постояв у заправочной, возвратилась к отелю. Продавец сувениров по-прежнему не было. Лежали маски коровьих морд с торчащими в стороны рогами, бронзовые человечки-наездники с огромными головами и хилыми ножками, женщины в коротких юбочках под зонтиками. Я рассматривала табурет, сиденье которого опиралось на спины каких-то мифических животных.

Такие резные сиденья я видела в музее Аккры. Они были созданы настоящими мастерами, и каждый стул носил свое имя.

— Как называется вот этот? — спросила я в музее экскурсовода.

— Как в жизни — один над другим. Это пословица, — ответил он.

Стул был двухъярусный, сиденье его опиралось на спины слонов с покорно опущенными головами. «Один над другим» — целая философия поколений.

Я уже хотела уйти, когда появился продавец. В белой широкой одежде он торпливо шагал через дорогу.

— Мадам, вас интересует?.. — спросил он, приблизившись.

Я рассказала о Жюстене, но настолько уже не надеялась что-либо услышать о нем, что слова африканца показались мне попросту шуткой.

— Я утром видел его, — сказал он. — Я видел, как он выходил от родных. Знакомый спросил, куда он думает устраиваться работать. Жюстен сказал, что еще не знает...

Я заставила продавца сувениров повторить все, что он сказал. Он также невозмутимо ответил:

— Я видел его. Нет, я не путаю. Здесь все его знают.

Он объяснил, как найти родных Жюстена.

Меня охватило волнение. Только сейчас я поняла, как мне хотелось увидеть геолога. Обещание, данное в Москве, стало для меня своеобразным стерженьком путешествия, тонкой ниточкой, держа которую, я начала разматывать клубок впечатлений.

Где бы я ни была — на Фэбэ, на плантациях какао, в джунглях, у рыбаков, во всем, что видела, я ощущала какую-то внутреннюю связь, делавшую ближе, понятнее людей, их дела и заботы. Все было связано с африканцем, для которого предначалась книга московского ученого.

Да так оно, в сущности, и было. Труд камерунца-геолога, приехавшего работать в свою страну, изучать свою землю, был необходим для всех ее людей, пытающихся изменить философию «один над другим».

Этот юноша бамилеке, наверно, растолковал бы старику из поселка на берегу Вури, что дадут людям знания. Впрочем, старик, которому было жаль прешлое, патриархальные традиции, и сам понимал, что

времена изменились, что без ученья теперь нельзя.

Указанный дом я отыскала без труда. Однако, увы! Он был на запоре. Женщина, выглянувшая из соседних дверей, испуганно спряталась. Я постояла обескураженно, потом достала книгу и, вырвав из блокнота листок, написала записку на имя Жюстена. Передала ему привет из Москвы, выразила сожаление, что не встретила его в Камеруне.

Записку и книжку подсунула под дверь и, огорченная, вернулась в отель.

В ресторане никого уже не застала. Хозяин сказал, что все ушли на фабрику Гарсуняна. Он показал мне, как туда пройти, я догнала своих спутников в помещении фабрики, до самого потолка заваленном мешками с кофейными зёрнами.

Кофе здесь был повсюду. Зёрна его потрескивали под ногами. Их темные реки текли на вальцы, где разрушалась темная кожа. Новые потоки зеленых зёрен переливались в другие машины для полировки.

Запах? Нет, здесь ничем не пахло. Разве что пылью и мешковиной. Черная девушка в ситцевом платье сметала с пола венником зёрна. Африканцы, согнувшись под шестидесятикилограммовыми кулями, таскали к машинам мешки. В присутствии худощавого, стройного человека они шли торпливее, даже бежали.

Худощавый, подвижный человек — это и был хозяин кофейных фабрик Нконгсамбы. В своем кабинете — маленькой сумрачной комнате, усадив нас на низкие кресла, он рассказывал о кофе.

— Мы делим его по размеру зёрен. Самые крупные идут в Италию. Там кофе готовят сами. Хозяйки любят крупные зёрна. У них хватает времени, чтобы самим молоть и варить. Не то что у американцев. Там кофе покупают готовый. Он растворяется быстро и без осадка. Американцев размеры зёрен не интересуют, тем более, что на качество кофе они, по-существу, не отражаются. Вкусы у каждого разные. Их нужно знать...

Девушка принесла в старой эмалированной мисочке зёрна. Хозяин сдвинул бумагу, насыпал на стол горку зёрен, стал разбирать по размеру.

— Такие мы отправляем во Францию — это средние зёрна. Их покупает также Англия... Испания... Марокко... Болгария... Польша... Румыния. Несколько лет назад мы заключили контракт, и отправили в СССР солидную партию кофе...

Имя хозяина — Гурген, фамилия — Гарсунян. Ему недавно исполнилось сорок два года, однако на вид не больше тридцати.

Родители жили в Египте, мальчик учился, потом работал. Четырнадцать лет назад Гурген Гарсунян появился в Нконгсамбе. Здесь он купил участок земли. С этого начался его путь к королевскому трону. Да, он теперь король. Но вы не увидите у него традиционной седой бороды, — темп жизни меняет и облик королей. Это стройный че-

ловек с матово-смуглым лицом, живыми глазами и тонким, с горбинкой, носом. Смоляные густые волосы лишь на висках подернуты сединой. Одет он в рабочий костюм. В своем комфортабельном ракетоподобном «Ситроене» он носится по плантациям и приемным пунктам, наблюдая, как идут дела.

Он энергичен, умен и прост. Он завоевал свой трон не родом, не древностью происхождения, не заслугами предков, а собственной деловитостью, цепкостью, расчетливостью и чисто боксерским умением сбить с ног противника.

Противники? Не нужно думать, что Гарсунян пришел на голое место. Нет, африканцы значения не имели. Слишком они слабы, простодушны. К тому же наивно держатся за свои традиции. Борьбаться пришлось с искусственным противником. С американцами и англичанами. Их было не так легко победить. У этих большая школа и конкурентный опыт. Он выиграл борьбу.

Рассказывая об этом, Гарсунян посмотрел пытливо и улыбнулся.

— Вы знаете, что значит выиграть такую борьбу!

Вначале он очень внимательно изучил все то, что относится к кофе. Он правильно рассчитал потребность времени. Теперь, когда убыстрился темп жизни, — кофе в большом ходу. Он подстегивает, поднимает тонус. Кофе, как алкоголь. Теперь его пьют весь мир.

Он верно сделал ставку на кофе. Кто стал одновременно с ним заниматься какао, тот ничего не добился. Спрос на какао значительно меньше. К тому же на рынке какао есть крупный конкурент — страны Латинской Америки. Они сбивают цены. Владельцам плантаций какао приходится туго...

Да, Гарсуняну пришлось нелегко. Но он гордится своей победой. В его руках почти треть кофе, который сегодня вывозится из Камеруна.

В Париже коммерческими делами заведует его старший брат. В Париже живет и жена Гарсуняна. Она — пианистка. Возможно, поедет с гастролями в Советский Союз. И дети в Париже. В Нконгсамбе нет школы, в которой они могли бы учиться. Он хочет дать им блестящее образование. Но только одно образование без четкого делового навыка мало что даст теперь человеку. Сына он будет с детства приучать к делам...

Мы ездили с Гарсуняном по складам, по приемным пунктам.

На одном из пунктов между плантатором и приемщиком кофе возник горячий спор. В него включился и Гарсунян. Я отошла к стоящему в стороне африканцу и попросила разбить подаренный мне кокос. Когда мы ели ядро, я, прислушиваясь к разговору, спросила:

— О чем они спорят?

— Эти люди приехали издалека, а хозяин снижает цену, говорит, что кофе недостаточно высушен. Конечно, им обидно, но не везти же обратно.

Когда мы снова сели в машину, хозяин был явно раздражен. Однако, как воспитанный человек, держался по-прежнему любезно.

• • •

В положенное время простившись с Дуалой, мы отбыли на аэродром. Путь наш лежал через экватор. В ожидании самолета компании «Эр Африк», осуществляющей внутренние африканские связи, мы сидели в обвешанном фенами здании аэровокзала.

Художники и тут не расставались с альбомами.

Неторопливо прошел африканец с тростью, в темном, отлично сшитом костюме. За ним — жена, три девочки в розовых платьицах, с куклами. Они заняли диван, сидели тихие, робкие, озираясь по сторонам. Отец углубился в газету.

Несколько низкорослых музыкантов какого-то джаз-ансамбля в поношенных джинсах и ярких рубашках держались так, словно были на сцене: притоптывали, приплясывали и напевали. Они и разговаривали ритмами, покачиваясь при каждом слове. Рядом со мной сидел пожилой европеец и толстыми пальцами в рыжих свечащихся волосах перебирал в кошельке бумажки. Он пересчитывал их, перекладывал, как будто что-то хотел найти, но в старом истрепанном кошельке ничего больше не находилось, и он огорченно вздыхал.

В зале появилось несколько африканок. Они заняли кресла вокруг журнального столика. Их темные лица были спокойны и мудры. Позвякивали браслеты, блестели старинные ожерелья. Сквозь легкие покрывала просвечивали точеные плечи. На руках африканок были шоколадные дети, с тихим любопытством вращавшие глазками. Девочка лет пяти, сидевшая у матери на коленях, заметив мой взгляд, заулыбалась и спряталась в складках парчового платья. Выглядывала, улыбалась и снова пряталась.

Камерун. 1966 г.

Я мельком взглянула на проходившего невысокого африканца. Его круглое выразительное лицо с умным пристальным взглядом широко посаженных глаз показалось мне знакомым. Но откуда могут быть у меня знакомые здесь, в Дуале?

Африканец подошел к конторке, за которой сидел чиновник. Я видела, как тот, поискав глазами, кивнул на нас. Африканец еще не приблизился, но я уже знала: это — он. Мне показалось даже, что я его когда-то видела. Конечно, не здесь, а в Москве, на проспекте Ломоносова, спешащего в университет. Может быть, возле кинотеатра «Прогресс». Встав навстречу ему, я сказала по-русски: «Жюстен, я оставила книгу для вас в Нконгсамбе».

— Я получил ее в тот же день! Бросился в отель, но вас уже не было. Я очень боялся, что не застану вас в Дуале. Автобус задерживался. Я только сегодня приехал.

Мы сели на диван.

— Как вы устроились, Жюстен? Как все же хорошо, что мы увидались!

— Я еще не устроился. — Голос у него прозвучал озабоченно. — Я, видимо, буду работать здесь, в этой местности. Неподалику от Дуалы обнаружены выходы нефти, месторождения газа, а топливо нашей стране очень нужно. Вы знаете, наши реки порожисты. Энергии много, а топлива нет. Электростанция только у Эдея, на реке Санаге. Конечно, у Камеруна еще долгий путь. Немало трудностей. Но все же...

Он не закончил фразы. Диктор по радио объявил о посадке. Пестрая, сверкающая толпа пришла в движение.

Жюстен протянул мне руку.

— Счастливо! — сказал он по-русски. — И передайте привет Москве. Сейчас там зима, — сказал он, провожая меня к выходу.

— В Москве сейчас снег идет, Жюстен...

Небольшой наш самолет поднялся над Камеруном и лег на курс, направляясь в Габон.

КОНСТАНТИН ФЕДИН

(К 75-летию со дня рождения)

Когда-то в той дачной подмосковной местности, которая носит ныне название «Городок писателей», Константин Александрович Федин посадил в своем саду несколько десятков робких липок. Проходя ныне мимо разросшегося сада, цветенье могучих лип которого ощутишь даже в конце поля, простертого перед этим садом, я вспоминаю ту далекую пору, когда прочел первые рассказы совсем неведомого мне молодого автора: «Сад» и «Анна Тимофеевна».

Я помню свое ощущение, что в литературе пришел настоящий писатель, следующий тем традициям, которые отличали лучших писателей нашего прошлого. Почти полвека служит Константин Александрович Федин Слову, служит так, как учили этому наши писатели-классики, строго помня, что Слово это не только искусство писателя, но и его исповедание или даже учение, если уподобить художественную литературу той высшей педагогике, которая воспитывает человека и организует его сознание.

Тот маленький «Сад», который Федин посадил в самом начале своей деятельности, давно разросся, и «Города и годы», и «Братья», и «Санаторий „Арктур“», и трилогия, начатая «Первыми радостями», и писательские раздумья «Писатель, искусство, время» — все это давно стало составной частью советской литературы и одним из надежных камней ее фундамента. Мы вытеснили из нашего обихода некоторые слова, которые иным кажутся старомодными, вроде «честного служения». Однако старые эти слова лучше всего выражают назначение писателя.

В глубине души каждый писатель надеется, что хоть крупинку золота оставит он в литературе, что не все написанное им унесет время, и мы знаем, что в этом отношении история строга и беспристрастна. Есть писатели, на долю которых выпадают не запоздалые оценки, когда писатель уже не услышит их, а еще при жизни и действительности писателя оценки эти правомерно определяют то, что он делает. Константин Федин принадлежит к этим счастливым писателям. Все, что он пишет, всегда глубоко основано на понимании задач писателя, и ответственности писателя, и на бережении Слова, без которого — каковы бы ни были

цели, проблемы, сюжеты — не может быть литературы.

Когда я думаю о бережении Слова, то всегда в первую очередь вспоминаю о Федине. Нравственный облик писателя неотделим от написанного им: это определяло во все времена службу обществу передовых художников слова, особенно русских писателей; а в наше время служба своему народу определяет и тембр голоса писателя, и широкое признание этого голоса.

Обо всем этом можно было бы в отношении Константина Федина сказать безотносительно от той даты, которая означает лишь возраст, физическое бытие. Но приятно, однако, что к семидесятипятилетию писателя можно сказать ему: спасибо, дорогой друг, что ты всю жизнь оставался таким, каким заявил себя в годы молодости, ни в чем не изменил себе, не одно десятилетие с достоинством носишь звание советского писателя, и слова «честное служение» вряд ли покажутся кому-либо старомодными: это хорошие, простые слова, их из песни о службе писателя своему народу не выкинешь.

Время давно подкинуло снежку на головы тех, кто начинал советскую литературу; да многих и нет уже на этой перекличке. Но как это приятно, и как это нужно, и как это важно, что можешь сказать писателю не только в силу своей старинной дружбы с ним, но и по истинной оценке всего того, что он сделал для литературы, — как приятно сказать ему: радуюсь, что ты остался таким же, каким и начинал со всеми обещаниями молодости, выполнил эти обещания, стал большим писателем, написал много книг, которые вошли в советскую литературу, в ее историю. И как приятно сказать ему еще: липки, которые ты посадил когда-то, разрослись ныне в большой, тенистый сад, и это относится, разумеется, не к тому саду, в котором прошлым летом сидели мы с Константином Александровичем на скамеечке и вспоминали многое, хотя не только вспоминали, но говорили и о будущем, — это относится не только к саду в подмосковной местности, но и ко всему тому, что Константин Федин сделал в нашей литературе, сделал достойно и умно, с твердым пониманием назначения писателя для общества.

ПОСВЯЩАЮ КАРЕЛИИ

ПО СЛЕДАМ АНТИКАЙНЕНА

Есть строчки, стихи, обладающие одной примечательной особенностью: ты твердо знаешь, что пережил то же самое, что и их автор, но вот почему-то не догадался об этом сказать вслух, не удосужился сесть и хотя бы одним словом закрепить мелькнувшую счастливую находку. Так было и со мной, когда — хоть убей — не помню где — я вычитал:

В карельских лесах заплутала
Военная юность моя.

Моя юность тоже заплутала в карельских лесах. Двадцать два года минуло с той поры, как молоденьким лейтенанчиком, выпускником Московского военно-инженерного училища, с кирзовой кобурой, с кирзовой полевой сумкой я перемахнул через борт фронтальной полуторки и спрыгнул на пыльную обочину. Кругом громоздились замшелые, потрескавшиеся валуны. Многие из них были подрыты — края лазов и нор засыпаны пожухлой хвоей и маслянисто желтевшими автоматными патронами. Редкая рваная тень сосен падала на камни, хранившие отметины снарядных и минометных осколков. Высоко синело июльское небо. Я прошел вдоль обочины и наткнулся на первую солдатскую могилу. Сосновый столбик истекал янтарной смолой — капля смолы тянулась по столбу, как медленная слеза, приметно лучась на солнце. Жестяная звездочка была в пятнах ржавчины. Песок на могиле осел. Я постоял у безыменного холмика и беспечно зашагал дальше, навстречу глухому, немолчному, как немолчный рокот мельничных жерновов, гулу передовой.

И вот снова — жаркой июльской порою — я с пристальным вниманием вглядывался в каждый придорожный камень, в каждый поворот пустынной лесной дороги. Мне казалось, что вот сейчас, отогнув от лица колючий лапник, выйдут ребята в масхалатах, подымут руку и, когда машина остановится, скажут: «А ты, младший, вовремя прибыл. Будешь делать проходы в минных полях: ночью берем языка!» И вся моя сегодняшняя жизнь, все мои треволения, беды, обиды, ночные телефонные звонки, гонка на такси из одной редакции в другую — все это окажется чем-то нереальным, ненастоящим, как тревожное забытье перед рассветом, когда явь и сон непрерывно меняются, рвутся, словно старая кинолента, томят ожиданием чего-то, что разом разрешит все твои сомнения и все напасти. Но ребята не выходили ни у этого поворота, ни у сле-

дующего, и только время от времени на вершинах каменных высоток вставали бетонные обелиски.

Сбегали сосновые рощи
Напиться озерной волны.
И думалось чище и проще
О судьбах любви и войны...

Да, вблизи этих серых остроконечных обелисков думалось чище и проще и о судьбах окаянной, по-человечески трудной любви и о войне, которую не стереть в памяти никаким силам на свете.

Измотанный тряской дорогой, я выходил из автомашины, бродил по старым, столь памятным местам, бродил там, где заросли мелколесьем окопы, покосились колы проволочных заграждений, где когда-то

Пели в потемках осколки,
Шарахались мины окрест,
Где выросли низкие елки,
И каждая елка как крест.

Так оканчивалось стихотворение «Тропинку трава заплетает», строчки из которого я твердил про себя в Карелии. Нащел я потом эти стихи в двухтомнике Михаила Дудина, участника финской кампании и — позднее — обороны Гангута, обороны Ленинграда с первого до последнего дня войны. Но летом на ухабистой лесной дороге, ведущей в Кимас-озеро — конечный пункт моего маршрута, я этих стихов не помнил, однако почему-то думал, что стихи должны быть именно такими, и даже образ «каждая елка как крест» должен быть в этих стихах, прерываемых горьким, невольным вздохом сожаленья.

Итак, я ехал в Кимас-озеро! Мне обязательно надо было попасть в этот далекий, почти у самой государственной границы, поселок. Среди многих побуждений, которые владели тогда мною, не последнее место занимало и любопытство, желание посмотреть наяву легенду моего детства. Ведь с Кимас-озером меня связывали воспоминания даже не юношеских (я не был там в дни войны), а детских лет. Высокие истины, до которых мы немалые охотники, нередко набивают оскомину, начинают лосниться, как потерятое сукно. Так, например, мы часто говорим о воспитательном значении литературы, но делаем подчас это с какой-то обидной скороговоркой, с какой-то казенной обязательностью в голосе. Мы забываем, как неприметно, активно, настойчиво формирует наш душевный облик, наш внутренний мир повседневная книжная продукция, тот обильный кинематографический поток, который

струится с серебристо мерцающих экранов на подростков — самых восторженных зрителей кинематографа.

Среди кинокартин, выпущенных в предвоенные годы, теперь редко упоминается одна — «За советскую Родину». Эта картина была сделана по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера» и повествовала она о легендарном зимнем походе отряда Антикайна по вражеским тылам в 1922 году. Помнится, на нас, учеников вологодской школы, эта картина произвела незабываемое впечатление. Наши лыжные прогулки приобрели особый смысл: вооружившись самодельными пистолетами, мы гонялись друг за другом по заснеженным перелескам с утра до позднего вечера. А через год лыжные батальоны шли через Вологду на фронт в Карелию, и в письме двоюродного брата Виктора, который был немногим старше меня, я прочитал странное название «Терюки» и узнал, как трудно выискать «кукушек» в непроходимом лесу, как надо беречь и понимать лыжи, не раз спасавшие ему жизнь.

Забегая вперед, скажу, что, работая над очерками о Карелии, я перечитал «Падение Кимас-озера» и еще раз, как говорится, пережил эту небольшую повесть, пережил тяготы и лишения, выпавшие на долю небольшого отряда курсантов-интернационалистов. Под командованием Тойво Антикайна они совершили трехсоткилометровый переход по январским снегам, топям и озерам и, с ходу разгромив штаб белофиннов в Кимас-озерской, способствовали утверждению Советской власти в Карелии. Конечно, в книге немало наивной для современного читателя публицистики, характерных для того времени стилизованных оборотов и речевых штампов, но ее пафос — пафос беззаветной преданности идеям Октябрьской революции, железной классовой дисциплины — невозможно не оценить и по сей день. Книга эта, в отличие от иных бравадных сочинений, написанных по принципу «шапками заклдаем», настойчиво учила упорству в достижении цели, мужеству, героизму.

Одним словом, «Падение Кимас-озера» была и остается честной, хорошей книгой нашего писателя-современника.

И вот к вечеру, когда я был вконец измотан дорогой, наш мощный лесовоз подъехал к жердевому отводу, обычно для северных деревень. На узком полуострове виднелись дома поселка. К воде сбегали крохотные баньки, какие-то сарайки. На другой стороне залива белела крыша лесничества с четким аэроопознавательным знаком «Т». Это был поселок Кимас-озеро!

Хмурым дождливым вечером, когда в жарко натопленной комнатке было особенно уютно и домовито, мы разговорились с хозяйкой, Татьяной Егоровной Богдановой, пожилой карелкой с морщинистым лицом и красными от воды и стужи руками. Я люблю деревенские сумерки: тикают ходики на стене, полумгла медленно заливаает комнату и только изредка долетают с улицы глухие порывы ветра и скрежет жестяного листа на соседской крыше. Лицо Татьяны Егоровны смутно белело в темноте.

— Знаете ли вы что-нибудь об Антикайне? — спросил я хозяйку.

— Как же, как же, — охотно отозвалась она с тем певучим смягчением звонких согласных, которое невозможно передать на бумаге, но именно оно сразу же отличает жителя Карелии. И Татьяна Егоровна рассказала мне, как девочкой она увидела однажды возникшие в метели фигуры солдат.

— Вон с того берега, — показала мне она, — слетели они на озеро, в белых балахонах, в шапках с красными звездами, стреляя на ходу, крича «ура». Тогда же у нас и школу сожгли: в ней был штаб белофиннов, и склады разные, и домов несколько.

В рассказе моей хозяйки не было каких-то особенных деталей и подробностей, — да и что могла запомнить маленькая девочка в то метельное утро, когда отряд Антикайна ворвался в деревню. Но то, что пожилая карелка сама видела этого легендарного человека и его бойцов, что я находился в деревне, которая была для меня раньше чем-то отвлеченным, условным, фантастическим, вроде клондайкских зимовок в рассказах Джека Лондона, — все это взволновало меня неизъяснимо.

Книга детских лет соединилась с жизнью, и я не знаю, какому впечатлению мне отдать должное, что сильнее и глубже поразило меня. Конечно, сфера литературной и художественной жизни Карелии интересовала меня больше всего. Но мечталось запечатлеть в заметках и какие-то отдельные штрихи из повседневного быта братской республики, передать ощущение красоты и необычности ее природы, памятников архитектуры, народных ремесел — всего, что составляет неповторимое своеобразие в облике того или иного края, той или иной страны.

ПОЮЩИЙ АВТОБУС

На станции Кочкома, в сотне метров от Беломоро-Балтийского канала, мне довольно долго пришлось ждать рейсовый автобус. Я кружил вокруг телеграфного столба, к которому было прибито расписание. Кружил, напоминая плотву, посаженную на кукурузу, злился и все-таки не решался отойти далеко в сторону: автобус мог прибыть с минуты на минуту, а у столба его поджидала толпа пассажиров. Наконец из-за поворота вынырнул запыленный ковчег местного назначения, и начался штурм задней двери.

По наивности я думал, что Кочкома — это почти край света, и я буду ехать две сотни километров, наслаждаясь пейзажами Карелии, прославленными во всех путеводителях и туристических справочниках. Между тем все было точно так же, как у нас на Дмитровском шоссе в часы пик, только, может быть, побольше мешков, узлов и чемоданов, да поменьше портфелей и сумок. На остановках мне приходилось выходить, ожидая, когда из автобуса вырвутся распаренные пассажиры, и по возможности первым вклиниваться обратно.

Однако с каждым километром в салоне что-то утрясалось, что-то перемещалось, и в конце концов я получил возможность притутиться на одно сиденье с кондукторшей, развитой, словоохотливой девахой. Повернувшись к ней боком — делать нечего: теснота, — я прильнул к окну.

Я впервые был на севере Карелии и понятно, что хотел набраться свежих впечатлений, как говорят на заседаниях творческих секций. Но набраться этих самых впечатлений мне никак не удавалось: мимо текли редкие сосенки, мелькали замшелые валуны, вздымались, пропадали горы камней, и снова струился редкий сосняк со сквозной, как бы дымчатой хвоей. У себя на родине, в вологодском крае, я рассмотрел этих сосенок, этих валунов вдоволь. Но здесь почти все время за сосняком виднелась вода. Она стояла голубой стеной, и эта стена то подступала к обочине, то едва-едва просвечивала сквозь струящийся волнистый часток: ее присутствие угадывалось всегда, угадывалось во всем. Глядя на эту манящую голубизну и прохладу, я решил припомнить, сколько же озер в Карелии, но вспомнить никак не мог, хотя и пытался приблизительно прикинуть — ну, тысяча, пять тысяч, в крайнем случае десять тысяч. Лишь в Петрозаводске от знакомых я узнал астрономическую цифру — сорок четыре тысячи, — вот сколько, оказывается, больших и малых озер в Карелии. Недаром поют в песне, что она будет долго сниться с ресницами-елями над широко распахнутыми голубыми глазами озер. Во время моих скитаний по родине «Калевалы» я был постоянно окружен синевой и зеленью. Да, только синевой и зеленью, да еще, пожалуй, серебристо-серым цветом старого дерева и камня — серым от многолетних дождей, снегов и ветров, сбивающих наповал.

Мельканье сосен, валунов, песчаных осыпей быстро утомило меня, и я перевел глаза в салон. Виднелись пестрые косынки пассажирок, их темные жакеты да коричневые шелковые плащи. Большинство женщин было в пожилом, если не сказать, преклонном возрасте. Сквозь однообразный рокот мотора, скрип сидений, позвякивание железок и стихающий детский плач ко мне не сразу пробился негромкий голос. В передних рядах кто-то пел. Пела женщина, пела для себя, про себя, чтобы скоротать скуку дальней дороги. Но голос ее все-таки заставил прислушаться, уловить мотив. И вдруг — совершенно неожиданно дружное трехголосие подхватило припев:

И снова у проходной
Встречает милый меня.

Я вздрогнул и немного оторопел. Уж очень согласно, до удивления красиво зазвучала песня. Теперь не одна, не две, не три пассажирки, а, казалось, весь автобус принял ее как свою, развернул свободно, дал ей силу и пронзительную — до мурашек по спине — выразительность. Слушая этот хор, я думал, какую неожиданную радость принесла мне встреча с Карелией. Неужели всюду так правильно, многоголосно поют в северных ле-

сах? Что женщины — карелки, — я догадался по их мягкому акценту и голубым, перевозанной синевы глазам, как будто с детства освещенным синевой большой озерной воды. В автобусе между тем стали слышаться заказы: «Вечером на реке!», «Сормовскую лирическую!», «Костры горят далекие!»

— Нет, нет, — убеждала всех кондукторша, — пусть споят эту... Как ее? Да там еще есть слова... ну, как их? Ну, что кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня.

И женщины безотказно пели про зори, про костры, про кавалеров, которых, судя по всему, действительно вполне хватало нашей кондукторше. Вкладывали они в задушевные слова свое неутоленное, незаглушенное невзгодами былое, увя, для многих уже былое, страстное желание взаимной любви и счастья. Они как бы вновь переживали молодость, выпевали ее невозвратное очарование, ее радости и ее беды, они жили этими песнями, они отреклись от себя, дородных матерей семейств, старых домохозяек, — и разом помолодели.

Наконец парень, впрыгнувший на одной из остановок в автобус, догадался и крикнул: «Карельскую! Просим карельскую!» Женщины поотнекивались, мол, неинтересно будет, но когда все пассажиры стали их угваривать, они сдались. Трудно, не зная языка, до конца постигнуть красоту и выразительность исполнения, но едва женщины смолкли — в автобусе на время установилась тишина. Сами женщины притихли, потрясенные неостановимым, как приборная волна, раскатом мелодии. Я не выдержал, перегнувшись через спинку сиденья и спросил у ближайшей соседки: о чем эта песня?

— Это о девушке, которая живет у моря, — сказала она.

— Ну, а вы кто? — решился я, наконец, выснить загадку, мучившую меня всю дорогу.

— А мы самодеятельный карельский хор из Реболы. Ездили на праздник торговли в Сегежу. Да вот, видно, не напелись, — она улынулась, выждала такт и подхватила вместе с подружками громко и счастливо:

Люби, куда любится,
Встречай, пока встречается.

...С наступающими сумерками наш автобус въехал в Тикшу — поселок лесорубов, в котором я должен был сделать остановку. И хотя двести километров остались позади, хотя я уже сутки не спал в дороге, жаль было расставаться с этим певучим ковчегом. Кажется, еще минута, и я тронулся бы вместе с ними на Реболу. А до Реболы — без малого триста километров, и пришел бы автобус в три ночи!

КИЖИ

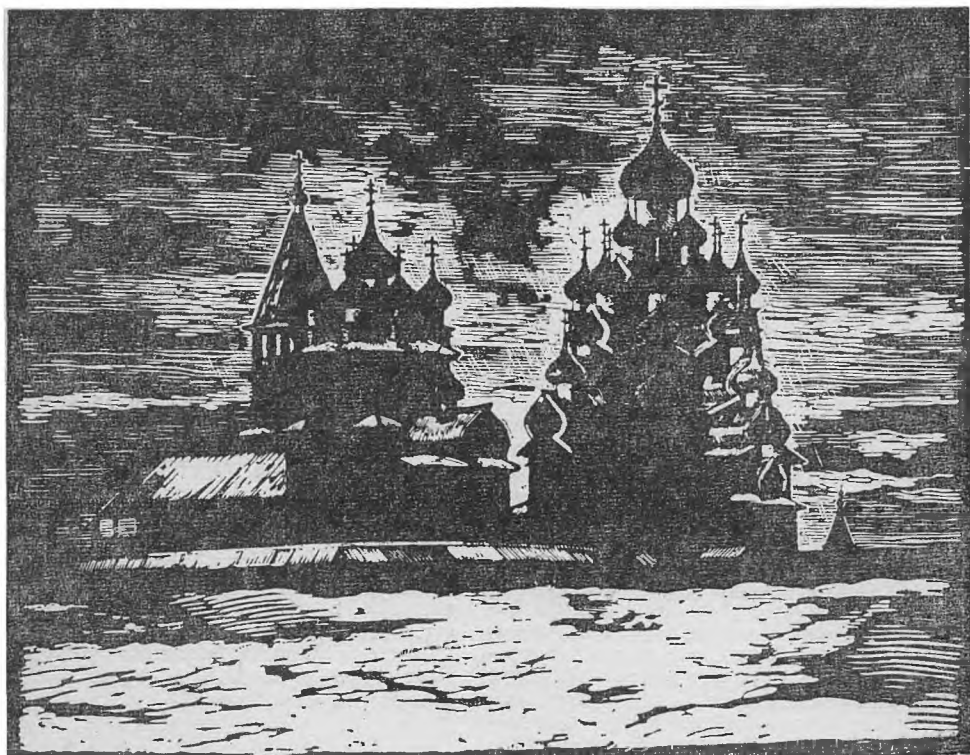
Кижы ныне прославлены. Кижы знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издают о нем фотоальбомы, серии цветных открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На

дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижы — уникальный архитектурный ансамбль: посетите Кижы».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят вытянутые, как ракетопосцы, «Метеоры», юркие речные трамвайчики, и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного

в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радушно.

Естественно, мы разговорились о том, какое впечатление на меня произвели Кижы. Сам Алексей Иванович — старожил этих мест. Он знает здесь каждый камень, каждую отмель, рыбачит ранней весной и поздней осенью и пишет «картинки», как иронически говорит о своей работе. Теперь к Авдышеву пришло заслуженное признание. Но успех его линогравюр — лирики в черно-белых тонах — объясняется не только талант-



зодчества, что высота главной Преображенской церкви — тридцать пять метров, иначе говоря, высота двенадцатизэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубями, на сруб поставлены еще два восьмерика, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, а на бочках расположены двадцать две главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами, — и многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принял, но вот что касается души...

В общем я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Валентиной Михайловной — тоже художницей —

ливно и трудолюбием художника. Когда мы вышли на высокое деревянное крыльцо, то в глаза бросился плоский остров Кижы, дебаркадер, моторки, лодки, ныряющие в озерных волнах, а главное — храм Преображенья и соседние с ним колокольня и Покровская церковь, которые действительно составляют с храмом единый ансамбль.

Зная, как много художников пытаются выразить резцом — на линолеуме и дереве, кистью — на холсте и бумаге нечто колдовское, присущее Кижскому погосту, я думал раньше, что Алексею Авдышеву просто повезло. Но здесь, присев вместе с хозяином дома на перила крыльца, я понял, что за этим везением по существу стоит вся сознательная жизнь художника. Чтобы так «повезло», надо было не просто часто бывать в Заонежье, но и вырасти здесь, найти себя в зрелые годы не в чем-нибудь другом, а в том, что с детства было перед глазами, что ты всегда любил неосознанной любовью, к

чему тянулся непроснувшимся еще для творческого деяния сердцем. Именно с детских лет влюбился в Заонежье Алексей Авдышев.

— Однако, как вам Кижж? — повторил он вопрос.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего. Когда с верхней палубы «Метеора» впереди замаячил погост, мне он показался хрупким, вроде старинной резной этажерки, нереальным, даже каким-то ненужным среди россыпи каменистых островов, вспененных вод, бездонного утреннего неба.

— Не так надо смотреть Кижж, как вы смотрели, на ходу, вполглаза, — с укором заметил мне Алексей Иванович. — Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и нудном дожде, при тихом мяснице и шестибалльном шторме. Попробуйте проплыть вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижжский погост, — и тогда вы, может быть, — он повторил в раздумьи, — может быть, поймете, что такое Кижж!

Я с сомнением покачал головой, и мы оба, по молчаливому согласию, больше не возвращались к этому разговору.

...Случилось так, что на утлой лодчонке, взятой напрокат на турбазе, я выехал порыбачить в озере за деревню Ольжино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображенья. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взглядывать на нее всякий раз, когда мою верткую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне. Напоминала она что-то неувольно знакомое, виденное множество раз и вместе с тем необычайно величавое, вечное. Погост, четко врубленный в небосвод, не казался, как прежде, хрупким, ненужным среди этой глубины и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес органично и просто, как вписывается... Нет, я не мог найти сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, могучая столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, подымающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь, и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они безмянные плотники и мастеровые, выросли в заонежских лесах, впитали с молоком матери любовь к лесам и к седым красавицам елям. Внутренним чувством, интуицией истинных художников они шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы фантастически стройный, многоглавый деревянный собор своими контурами не разрушал очарования закатов и восходов, лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменистой, неласковой и все-таки щедрой к труженику матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова, или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком. Дорога была знакома, она шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными грядками камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны тоже были размечены, разделены оградами из крупных и мелких валунов. Солнце тихо сгорало в густеющей мгле. Я не видел погоста, он остался у меня за спиной, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня открытие. Я понял, по-своему понял, мастерство строителей Кижж, и это понимание сделало меня богаче чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромодили эти камни, нет, они были все сложены человеческими руками! Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижж, уходя с луговины или с клочка пашни, уносили с собой камни — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать остро заточенную косу, повредить копыто коня, ногу человека. Они складывали их в груды, груды росли, ширились, пока, наконец, не образовали эти нескончаемые гранитные лабиринты. Они не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их — вечных памятников крестьянскому труду и терпенью, — не было бы Кижж, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: Кижж — уникальный архитектурный ансамбль, посетите Кижж. Только, пожалуйста, прислушайтесь к совету моего друга — художника Алексея Авдышева и научитесь смотреть не вполглаза, а во все глаза на этот остров сокровищ.

О «КАЛЕВАЛЕ»

Карелия немыслима без «Калевалы». Сейчас, спустя сто тридцать лет после первой публикации народного эпоса, можно уверенно говорить об этом. Влияние «Калевалы» на художественную, литературную жизнь Карелии глубоко и непреходяще. Подвиг безвестного сельского лекаря Элиаса Лённрота, который, ссылаясь по глухим волостям и приходам беломорской и тогдашней финской Карелии, записал десятки и десятки тысяч стихов, а затем, отобрав из них более двадцати двух тысяч (цифра сама по себе грандиозная), составил окончательный текст «Калевалы», — этот жизненный подвиг трудно переоценить. Конечно, у меня, как, вероятно, и у других собратьев по перу, теплилась тайная надежда увидеть и послушать рунопевцев: вдрызг мне повезет и я хотя бы несколько строф великого эпоса услышу из уст деревенского старика или старухи. Между тем надежда эта мало имела под собой реальных оснований. Еще в пер-

вой половине прошлого века, когда Лённрот «пожинал урожай рун на песенных полях Карелии» (О. Куусинен), рунопевцы были редки — период высшего расцвета героико-эпических сказаний миновал. Архип Перттунен, бедный крестьянин из местечка Латваярви, патриарх певцов рун, едва не плакал от волнения, когда рассказывал Лённроту, как редко, по сравнению с прежними временами, стало рунопевческое искусство и насколько меньше он знает рун по сравнению со своим отцом, с которым никто не мог сравниться в целой округе.



И все-таки я услышал «Калевалу»! В Карельском государственном музее хранится запас магнитофонных записей рун, заонежских былин, песен, причитаний. Этот запас пополняется экспедициями этнографов, фольклористов, которые отправляются в дальние районы Карелии и с трудом разыскивают последних, увя, последних исполнителей рун и былин. В музее шел ремонт, но мне отвели какую-то пустую комнату, заставленную шкафами, принесли магнитофон и включили запись. С крутящейся ленты слышался тягучий медленный речитатив, и на миг повеяло такой старинной, такой древностью, что сердце захолонуло. Подобное чувство я испытал однажды, когда на другом конце страны — в Бурятии — старик, с

почти пергаментным лицом и обвислыми щеками, покачиваясь и полужакрыв глаза, пел древнюю песню своего народа. Одностонностью, суровой заунывностью его песня походила на руну в исполнении Марии Ивановны Михеевой. Запись этой руны сделал в селе Калевала доктор филологических наук Виктор Яковлевич Евсеев.

Позднее я узнал, что руны обычно исполнялись мужчинами вдвоем — запеваляой и его помощником. На берегу, у рыбацкого костра, в охотничьей избушке, засыпанной снегом, в теплой просторной избе в окружении односельчан они садились друг против друга, брались за руки и начинали петь. Оба поющих покачивались взад и вперед, как будто попеременно перетягивали друг друга, и так, покачиваясь, запеваляой начинал каждую строфу один, а к концу строфы к нему присоединялся помощник, повторявший затем строфу целиком. Пение рун нередко сопровождалось игрой на кантеле.

У карельского скульптора — резчика по дереву Ю. О. Раутанена — есть небольшой барельеф «Рунопевцы». Два пожилых карела сидят на скамье друг против друга и, взявшись за руки, поют. За ними — камин, сложенный из грубых камней, дым расстилается под низким потолком, и вся обстановка лесной избушки как нельзя больше подходит к суровому, мужественному пафосу «Калевалы». Долго я разглядывал этот барельеф, мысленно довоссоздавая то, что мне так и не удалось увидеть воочию.

О ГЕРОЯХ «КАЛЕВАЛЫ»

«Герои «Калевалы» не боги, а люди, живущие полнокровной жизнью», — эти слова О. В. Куусинена позволяют многое понять в великом карельском эпосе. Люди эти живут в необычном мире, полном чудесных превращений и простодушной прелести, их речи, действия, поступки тоже необычны, сказочны, условны. Однако фантастика и условность в эпосе тесно переплетены с повседневным бытом пахарей, воинов, рыбаков, охотников — жителей светлой страны Калевы, Калевалы. Насколько органична, неразрывна эта взаимосвязь показывает хотя бы такой эпизод. Старый, верный Вяйнямейнен как-то ехал на санях по зимней дороге и столкнулся с юным Еукахайненом.

Зацепились оглобли
И гужи переплелись,
Хомуты вдруг затрещали,
И дуга с дугой столкнулась.

Самое поразительное в этой бытовой сценке — поведение героев...

Тут они остановились,
Стали оба, размышляя...

Не надо обладать пылким воображением, чтобы представить себе недоумение, огорчение, раздражение двух мужиков, которые, размышляя, как же им быть, почесывая в затылках, стояли у своих саней.

Но перед нами не байка, не бывальщина, а героический эпос. И здесь же, без

перехода, безвестный сказитель поражает слушателей эпической мощью героев: их сани столкнулись с такой силой, что

Из двух дуг сочилась влага,
От оглобель пар поднялся.

Разгневанный Вяйнямёйнен в ответ на хвастливые и неразумные речи Еукахайнена, начинает одну из своих геройских песен-заклинаний. При звуках песни всколыхнулись тихие озера, задрожали медные горы, треснули твердые камни, рассыпались в прах утесы. Подлинное воодушевление охватывает рунопевца — полет его фантазии неудержим, но чтобы фантазия не превратилась в бесомощную выдумку, он вновь возвращается к злополучным саям лапландца. От заклинаний у обидчика Еукахайнена на дуге разрослись ветки, хомут пророс иввой, позолоченные сани стали прибрежным тальником, а конь превратился в скалу у водопада. Сам же Еукахайнен по плечи погрузился в трясину и только после этого стал просить Вяйнямёйнена, чтобы тот снял чудесные заклятия.

В северных дебрях, где гора горе руку подает, где перекликается озеро с озером, народная фантазия поместила и светлую страну Калевалу, и страну мрака Похьелу, и таинственное царство мертвых Туони, Туонелу, в черных водах которой люди находят вечное небытие. Борьба мрака со светом, зла с добром олицетворяется в «Калевале» в образах злой старухи Лоухи, царствующей в Похьеле, и героев страны Калевалы — старого песнопера Вяйнямёйнена, знаменитого кузнеца Ильмаринена, удалого бойца Лемминкайнена. Эта борьба ведется за мельницу-самомку Сампо — символ народного благосостояния, счастья, и является идейной и сюжетной сердцевиной эпоса. Вокруг этой сердцевины концентрируются все события и все герои «Калевалы».

Отягощенный многочисленными повторами, отступлениями, разъяснениями, что характерно для устнопоэтической традиции вообще, эпос вместе с тем преисполнен динамики и действия. О. Куусинен нашел точное определение этого диалектического динамизма в сказании о героях Калевалы.

«В «Калевале», — писал он, — почти каждая мысль преподносится нам ступень за ступенью, последовательно появляясь в поле нашего зрения как бы в виде четырех, пяти, шести разноцветных волн. (Разрядка моя. — В. Д.). Вот эта цветовая, сказочно радужная стихия эпоса может служить и действительно служит благодатным материалом для творческой фантазии художников».

В заметках о «Калевале» я отнюдь не случайно обращаюсь к высказываниям О. В. Куусинена. Крупнейший деятель международного рабочего движения Отто Вильгельмович Куусинен был знатоком и тонким ценителем карело-финского фольклора и, в частности, рун, вошедших в текст «Калевалы». На протяжении долгих лет жизни он собирал все, что имеет отношение к эпосу, к толкованию его идейно-художественных особенностей. Одну из своих задач Отто

Вильгельмович видел в защите подлинно демократических корней «Калевалы», в защите от буржуазных концепций ее «феодално-аристократического» происхождения, во всемерной популяризации этой сокровищницы устнопоэтического творчества народа. По инициативе Куусинена в феврале 1961 года было создано совещание переводчиков, для того чтобы осуществить новый перевод «Калевалы». Перевод Л. П. Бельского сыграл свою положительную роль, познакомив русских читателей с содержанием «Калевалы». Но сделанный более восьмидесяти лет тому назад, этот перевод, естественно, содержал немало архаизмов, да и по стилю своему он фактически был ближе к подстрочному переводу, чем к поэтическому. Литературная общественность Карелии горячо откликнулась на предложение О. В. Куусинена. Прошло пять лет, и летом 1966 года в Москве, в Союзе писателей РСФСР, состоялось представительное обсуждение нового перевода «Калевалы», осуществленного группой авторов. Были отмечены несомненные достоинства нового перевода и сделаны существенные замечания по композиции, по характеристике отдельных персонажей, по исторической достоверности эпоса. Сейчас работа над новым переводом вступила в завершающую стадию. Надо надеяться, что скоро к «Калевале» получат свободный доступ самые широкие слои наших читателей. А это будет и лучшим памятником О. В. Куусинену.

СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА

У Маяковского есть одно любопытное признание. Поездки по стране, замечал поэт, встречи с людьми заменяют ему чтение книг. В поисках своего Сампо, своей творческой удачи, я не раз испытывал нечто подобное. Так в Петрозаводске художник и искусствовед Василий Михайлович Агапов, человек подвижнической биографии, много часов подряд рассказывал мне о знаменитых заонежских вышивках «тамбуром по филе», о пудожских и вепских рукодельницах, об инкрустациях по карельской березе, выполненных старыми мастерами А. С. Гайдиным из Подмозера и С. И. Синявиным из деревни Дорохово. Ни одна книга по народным ремеслам, вероятно, не дала бы мне столько, сколько дал рассказ старого художника и знатока карельского прикладного искусства.

— Почему так прекрасны заонежские вышивки «тамбуром по филе»? — спрашивал он меня и тут же отвечал: — Да потому, что домотканое льняное полотно похоже по колориту на тусклое сияние северных снегов и «досюльный шов», как говорят мастерицы-вышивальщицы, делает необычайно выпуклым, рельефным весь рисунок. Так выпукла лыжня на снеговом насте, когда снег уже подтаял и вновь прихвачен мартовскими заморозками.

Позднее, разглядывая заонежские вышивки в Кижском музее-заповеднике, в том числе и изумительные художественные пан-

но по мотивам «Калевалы», которые были изготовлены по эскизам В. М. Агапова, я удивлялся меткости этого образа. Действительно, выпуклый шов напоминал охотничью стежку на тускловатых мартовских снегах Заонежья.

Художественное панно в Кижях еще раз показало мне, что поэтический мир «Калевалы» безбрежен и безграничен. Этот мир дает возможность художникам самых разнообразных направлений и дарований испо-

«Калевалы», от которого мы поотвыкли в других строго реалистических рисунках. Имя Т. Юфа запомнилось, и когда я приехал в Петрозаводск, то первым делом постарался разыскать иллюстратора к «Калевале». У меня не было сомнения, что этот художник-график родился на Севере, что его работы — сплав детских впечатлений и зрелых раздумий над эпосом. Я оказался прав и не прав. Тамара Юфа родилась и выросла в средней полосе России, в нынешней Ли-



бовать свои силы, внести посильную лепту в пропаганду великого эпоса. В Карелии проводились и проводятся конкурсы на лучшее графическое оформление «Калевалы». Но сейчас мне бы хотелось рассказать об одном «внеконкурсном» вторжении в сказочную страну старого песнопевца Вяйнямейнена.

На второй выставке «Советская Россия» среди тысячи трехсот работ, помнится мне, немало зрителей толпилось у листов, подписанных мало кому известной фамилией: Т. Юфа. Эти листы выделялись резким своеобразием почерка художника, особой напряженностью и вместе с тем ажурностью рисунка, мягкими пастельными тонами — голубоватыми, блекло-зелеными, розоватыми, серебристо-серыми. Зрители невольно замедляли шаг и останавливались у этих листов, иллюстрирующих карельские руны. Но самое главное, пожалуй, было не в технике исполнения, а в том отчетливом ощущении сказочности, фантастичности мира героев

пецкой области. В Карелию она попала по распределению как молодой специалист — выпускник Ленинградского художественного училища. Из трех названий — Кемь, Беломорск, Ладва — Тамаре понравилось по звучанию название Ладва, и она поехала в далекое поморское село учить деревенских ребятишек рисованию. Такова фактическая сторона дела. Но прав я оказался в другом, в том, что мир народной сказочности был всегда близок Тамаре Юфе, что она вначале инстинктивно, а затем осознанно тянулась к этому прекрасному миру, удивительному в своей духовной озаренности.

...Деревня с жутковатым названием Волчья. Голодное, тяжелое время: война. Тамара живет у бабушки. Вечерами, когда за плотно занавешенными окнами раздавался посвист метели да редкие винтовочные выстрелы, бабушка начинала рассказывать сказки. От этих сказок замирало сердце,

А по утрам хотелось как-то рассказать об этих сказках самой. Первые рисунки где попало — углем на печке, на случайном клочке бумаги, на фанерном листе. Затем Задонск. Школа. Первый экзамен в елецком художественном училище — и двойка по живописи: в деревне некому было подсказать, что краски можно смешивать. Но в училище все-таки удалось поступить, а после того, как оно было расформировано, заканчивать учебу довелось уже в Ленинграде, Ну, а потом Ладва. Снова длинные метельные вечера, — и увлечение «Калевалой». Высоченные деревянные дома, синющая крошка лесов, бескрайняя снежная пустыня, — все это сближало с карельским эпосом, с народными сказками и песнями Беломорья. На праздниках хозяйки иногда доставали из сундуков старинные наряды, и Тамара с любопытством разглядывала, запоминала затейливые узоры вышивок и кружев, покроя и цвет нарядов.

Летом минувшего года на выставке молодых художников Карелии я снова встретился с листами Тамары Юфы. Ее «Айно» — одна из самых чистых, самых поэтических созданий «Калевалы» — удалась ей не меньше, чем образ Ярославны из «Слова о полку Игореве». Это была реальная девушка и вместе с тем девушка из сказки, из руны, бытующей в народе сотни лет, тронутой приметной дымкой фантастического очарования. Айно вся была как бы соткана из легких, замысловатых, текучих линий, и только ее лицо, ее губы, ее печальные глаза были удивительно знакомы, говорили мне о том, что такая девушка есть, должна существовать на свете. А ведь в этом-то и заключается главная идея образа сестрицы Ёукахайнена, ставшей таинственной серебряной рыбкой и навсегда скрывшейся в волнах от старого Вяйнямёйнена, ее неудачного жениха.

Работа Тамары Юфы по мотивам «Калевалы» еще далеко и далеко не закончена. Художница — молода. Всегда останется молодой и народная поэзия, к которой она имела счастье приобщиться благодаря своему незаурядному мастерству.

«ВСЕ ЗЕМНОЕ В АВГУСТЕ ДОРОЖЕ»

Расхожие суждения порой кажутся верными и непогрешимыми до тех пор, пока с ними не столкнулся истинный поэт. Если такое столкновение произошло, то эта непогрешимость рассыпается, как песчаная горка от прибойной волны: истинный поэт приходит в этот мир, чтобы не соглашаться с обветшалыми мнениями. Прондираясь сквозь них, он хочет собственными руками ощупать мир, возникающий на его глазах, выявить новую меру вещей и явлений. Тем скорее это удается сделать поэту, чем тверже, прочнее он стоит на земле.

Что-то подобное испытал Тайсто Сумманен, когда он множество раз слышал выражение «каменное сердце». Многие оттенки

неприятны — от осуждения до обиды и горечи — вкладывались в это выражение. Но Сумманен, выросший в стране озер и каменных россыпей, знал другое: он знал, как греют камни на закате, как шершавы и теплы бывают их крутые бока. Он знал, наконец, что «твердость, но не холод в них живет»:

Ведь ночами камень отдаст
Нам обратно теплые лучи —
Те,
Что он от солнца получил.
Камень отдаст свое тепло,
Трескаясь, морщинится чело.

Так в неожиданном и — с точки зрения поэта — в наиболее истинном свете предстает перед нами старая житейская быль о каменном сердце.

Стремление к истине, проверенной жизненным опытом, опытом друзей-одногродков, я заметил во всей книге «Лирика» Тайсто Сумманена, — своеобразном «избранном» за десятилетие творческой работы поэта.

В стихотворении «Осень Севера» он вновь возвращается к полюбавшемуся образу. Стихи начинаются с воспоминаний о детстве. Северной осенью

Босиком бежишь ты в лес рассветный —
Жжет земля подмерзшая подошвы.

Но на холодном рассвете лучше, отраднее всего вбежать на прогретую солнцем скалу — «ласкова она — ты знаешь это».

Камень жесток, груб, но нет добрей:
Греет он, как матери ладони.

Поэтизируя родную природу, рассеивая миф об ее угрюмости, неласковости, суровости, Сумманен главную творческую задачу видит в большем: в поэтизации человеческой доброты и отзывчивости, в умении разглядеть под хмурым обликом теплоту и щедрость.

Быть благороднее, добрее лирическому герою Сумманена помогает сокровенное общение с природой, любовь к родному краю. В раннем стихотворении «Первый снег» поэту и его возлюбленной на какой-то миг показалось, что нет больше любви и их разлука неизбежна. Однако временное помрачение ума и сердца проходит, когда они встречаются с подлинным чудом — чудом первого снега.

Палал снег, ложась у наших ног,
Застылая белым черный берег.

Кому не знакома эта картина: после тоскливых сумерек осени первый снег кажется особенно праздничным и светлым на темном берегу. Таким стал этот первый снег и для влюбленных. Неожиданное просветление в природе вызвало в них самих душевную просветленность, прежнюю близость, веру в счастье.

«Лирика» Сумманена богата контрастами, переходами одного настроения в другое. Почти неизменно поэт черпает темы в карельском пейзаже, хотя у него есть и публицистика и пафос гражданственности во многих стихах. Но к лучшим страницам сборника я все-таки отношу те страницы, на которых Сумманен пишет родную природу и в неразрывном единстве с нею отображает

свой личный мир. Ведь именно им были сказаны прочувствованные, продуманные слова:

Песня птиц задумчивей и строже,
Грусть и радость породнились в ней.
Все земнее в августе дороже,
Многое яснее и видней.

Возраст Тайсто Сумманена далек от августовского, но в творчестве он вступил в пору своего возмужания, когда действительно все земное становится не только дороже, но во многом яснее и видней. Его книга лирики убеждает меня в этом.

«МГНОВЕНЬЕ» РОБЕРТА ВИНОНЕНА

Мне нравится резкость, стремительность поэтического почерка Роберта Винонена, который в прошлом году закончил Литературный институт и выступил с первой книгой стихов «Мгновенье». Эта стремительность, порывистость как-то не вяжется с традиционным представлением о медлительных, «небритых и зеленоглазых финнах» (Блок), но за время моей поездки по Карелии я убеждался не раз, что наши традиционные представления о крае, в котором мы не бывали, страдают нередко приближительностью, неточностью. Роберт Винонен — финн по национальности — пишет на русском языке. Впрочем, в заглавном стихотворении им сказано об этом гораздо яснее и экспрессивнее, чем в моих заметках. Думая о родине далеких предков, молодой поэт пишет:

Да, сосны финские на камне
берегам русским не родня,
но вот —
в груди сплелись ветвями,
а разорви — и нет меня.

Ныне Винонен живет в Таллине. Однако его первый сборник полон отсветов и отзвуков Карелии, и мне было интересно перечитать его стихи по возвращении в Москву. То, что раньше было значительным и важным, отступило куда-то, а то, что казалось менее значительным, — приобрело характер открытого. Взять хотя бы первую пришедшую на память частность: сколько есть поэтов — столько имеется сравнений неподвижной глади вод и берегового обрыва. Но Винонен бросает две строчки: «Как берег каменный тяжел, как легок берег отраженный», — и эти строчки западают в память. В другом месте, не в силах сдержать восторга перед раздольем пойменных лугов, Винонен восклицает:

...Глянешь назад — до чего же хорош
уложенный в полосы скошенный дождь!

И снова молодой поэт покоряет своей прозорливостью, зрительной памятью, потому что валки свежескошенного сена действительно похожи на полосы прошедшего по лугам проливного дождя.

Если бы подобные, как мы говорим, по-

этические находки изредка сверкали в невыразительном, сером потоке стиха, то в своей «самоценности» они бы мало чего стоили! Но в том-то и дело, что эти находки — завязи на древе образной мысли, которое развивается на наших глазах, мучает в бореньях с неподатливым, как жернов, избитым словом, приобретает поэтическую многозначность.

Многозначность Винонена происходит из желания охватить современный мир в его сложнейших взаимосвязях, в его диалектическом единстве. Интересно в этом смысле стихотворение «Витают множество идей». Поэт считает, и справедливо считает, что никакой китайской стеной невозможно мир отгородить от него, как и ему, поэту, отгородиться от мира. Множество идей витает в напряженной атмосфере двадцатого века и многими из них бывал увлечен автор сборника «Мгновенье». Но, — говорит Винонен, —

...в самый трудный миг
я стану коммунистом,
чтобы не дать свой мир,
свой дом спалить дотла...

Так в решающий момент поэт избирает язык оратора и трибуна, чтобы веско, значительно сказать о самом главном для себя и своих современников, о том, что спасение человечества в верности одной идее — идее коммунизма.

Название сборника Роберт Винонен взял из двустипия поэта прошлого века Баратынского: «Мгновенье мне принадлежит, как я принадлежу мгновенью». В этой краткой поэтической формуле таится свой сокровенный смысл: поэт в такой же степени принадлежит мгновению времени, веку, как время, состоящее из череды мгновений, принадлежит ему. И не только принадлежит, но и подотчетно, подвластно поэту. Может быть, поэтому в его книге такое значительное место занимают раздумья о сущности и характере поэзии, о вдохновенье, о призвании художника: молодой поэт уясняет избранный им путь.

...Долгим кружным путем — через пороги Нагеуса, через озеро Нюк, через поселки лесорубов — я возвращался к линии железной дороги. Карелия провожала меня холодноватым блеском озер, протяжным шумом корабельных сосен и высоким полуденным солнцем. Но еще долго после того, как я вернулся в Москву, вытряхивал я из карманов пиджака рыжие хвоинки, разглядывал их на ладони, улыбался и вспоминал густой смолистый дух сосновых рощ, прогретых солнцем, и беспредельную голубизну водной дали. Где-то там, в этой дали, плыла рыбацья лодка, заваленная сеном. Одна женщина сидела на носу, другая — на корме, помогала ей маленькими веслицами, отгребаясь, по карельскому обычаю, от себя. Лодка шла споро, и ни встречная волна, ни клубящиеся на горизонте тяжелые дождевые тучи не могли остановить ее легкого движения. До свиданья, северная моя сестра Карелия! До новых многопамятных встреч!

НАРОДНОЕ — ВЕЧНО

Юрий Арбат. Путешествия за красотой. Рассказы о недавних поездках, полетах, плаваниях, походах по русскому Северу, о поисках и находках, связанных с неизвестными страницами истории народного искусства нашей Родины. М. Издательство «Искусство». 1966. 184 стр. Цена 1 руб. 80 коп.

Хочется начать эту рецензию с необычного — с сопоставления цифр. Говорят, что цифры — упрямая вещь. Сие верно, но — уву! — подчас между некоторыми цифрами очень трудно найти логическое соотношение.

И в данном случае, когда я говорю о новой книге Юрия Арбата, трудно. В самом деле, книга «Путешествия за красотой» стоит дорого. Как мы привыкли говорить, 18 рублей в старых ценах. Вторая цифра — тираж книги — казалось бы, объясняет, по крайней мере нам, литераторам, первую цифру. Да, при тираже книги 6 500 экземпляров любое издание будет убыточным, и никакая высокая цена не покроет убытков.

Но ведь высокая цена бьет прежде всего не по издательству, а по читателю! И малый тираж бьет по нему же, по читателю, когда речь идет, конечно, о хорошей книге. Как тут подсчитать моральный убыток? Как найти логику?

Мне могут возразить: мол, лимитирует бумага. Но лимит бумаги — не логика, когда мы говорим о книге отличной (а книга «Путешествия за красотой» — не просто хорошая, а именно отличная!), о книге очень нужной и полезной (а книга «Путешествия за красотой» — нужная и полезная по всем статьям современных проблем воспитания человека нового коммунистического завтра), наконец, о книге, исполненной на самом высоком полиграфическом уровне (а «Путешествия за красотой» изданы именно так).

В самом деле, книга Юрия Арбата — уникальное издание: превосходная обложка и супер, прекрасно выполненные вклейки и фотографии, отменного качества бумага и, что особенно важно, качество печати. Но дело, конечно, не только в этом...

И вот теперь мне хочется сказать об этом «не только...»

Юрий Андреевич Арбат вот уже многие годы посвятил изучению и пропаганде русского народного (добавлю, н а ц и о н а л ь н о г о, о чем в силу какой-то странной стеснительности мы порой боимся говорить) искусства. Книги Ю. Арбата — «Шесть золотых гнезд», «Добрым людям на загляденье», «Фарфоровых дел мастера», «Кона-

ковские умельцы», «По всему свету», «Пюющее дерево», «Красота вокруг нас», «Народное декоративное искусство» — посвящены этой теме. Ей посвящены «Путешествия за красотой». И, право, есть особый смысл, когда мы говорим о работе писателя, упорно, последовательно отстаивающего эту свою тему. Вспомним, что в силу многих причин развитие русского национального искусства или промысла, как его скромно называют, было и есть сопряжено с тысячами сложностей всякого рода. Сейчас мы занялись и реставрацией памятников старины и шире — поднятием интереса к своей собственной истории, ее культуре, без чего немыслима ни наша жизнь, ни жизнь наших детей.

Создание специального Общества, цель которого — сохранить для потомков все, что было создано в материальной культуре наших народов, — событие сверхнадеждавшее...

Да, обо всем этом говорили многие из нас, но, к сожалению, в основном лишь в частных, личных разговорах. «Путешествия за красотой» — продолжение этого сложного и вместе с тем радостного разговора, смысл которого сводится к утверждению русского народного искусства, к тому, что народ, великий народ, не может потерять своего искусства...

«Путешествия за красотой» — книга истине подвижническая. Она не появилась бы на свет, если бы автор ее не объездил десятки областей и районов нашей страны, где, наперекор всем перипетиям жизни, развивается и утверждается подлинно национальное русское искусство.

Книга «Путешествия за красотой» — произведение истинно писательское. В нем десятки портретов живых интересных людей: Новинского и Дружинина, Бабкиной и Амосова, Антонова и Малышева, Полякова и Колесова, Коновалова, Рожковой и Паромова, Кутышева и десятков других художников — создателей неповторимых росписей на туесках и прялках, мастеров игрушки, резьбы по дереву, мастеров кружева и шитья. Их смело можно назвать героями книги Ю. Арбата, ибо они живут в книге вместе со своим неповторимым искусством...

И все же мне не хочется подробно анализировать эту книгу, хотя, признаюсь, при подробном анализе я мог бы еще сказать о многих ее достоинствах и о некоторых недостатках, в частности стилистических (есть в манере письма автора подчас нарочито казенная усложненность фразы, дурная «газетность» стиля, информационность и прочие языковые огрехи).

Куда важнее, по-моему, сейчас повести разговор вокруг этой книги, которую по достоинству мог бы оценить самый широкий наш читатель. Мог бы оценить, если бы она была доступна ему...

Но, повторяю, и я с этого начал рецензию, ни по чрезмерно малому тиражу своему, ни по высокой цене своей книга «Путешествия за красотой» просто-напросто не дойдет до широкого читателя.

Не дойдет она до читателей городских, которым небезразлично искусство. Не дойдет до деревни. Не дойдет до ребят наших, которым тоже не грех среди прочих мировых ценностей иметь на вооружении и свое народное национальное искусство.

Разумно ли это?

Признаюсь, мне бы хотелось, чтобы отличная и нужная книга Юрия Арбата обрела в нашей стране большого читателя. Она действительно очень нужна и взрослым, и детям, и в городе, и в деревне. И нужна именно сейчас.

Но кому подсказать эту мысль?

Может быть, Комитету по печати при Совете Министров СССР, который координирует издательскую и переиздательскую работу? Видимо, скорей всего ему.

Сергей Баруздин

СИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ

Лев Гинзбург. Бездна. М. «Советский писатель». 1966. 226 стр. Цена 46 коп.

Книга Льва Гинзбурга не легкое чтение. Фашизм, насилие над человеком, смерть, предательство — такова тема. Все, о чем идет речь, происходило давно, двадцать с лишком лет назад. Новые люди родились с тех пор, выросли, возмужали — новое поколение! Они знают о войне понаслышке, из книг. Они смотрят кинофильмы, иногда прекрасные, те, которые заставляют плакать, сжимают сердце. В них есть правда, окопная правда, изображаются силами великодушных актеров люди тех лет: герои, трупы, предатели — всякие.

И зрители верят: так было.

Но все же эти кинофильмы — искусство. Человек, сидящий в зале и смотрящий самый замечательный, правдивый художественный фильм, испытывает в первую очередь необъяснимое, неосознанное наслаждение искусством, а уж второе его впечатление — но главное, мощное, которое остается в памяти и которое можно объяснять, передавать, пересказывать, — впечатление от тех чувств, что сообщили художники своему произведению. Иная сила воздействия у документального кино: здесь все первично!

К сожалению, документальное кино успевает зацепить лишь осколки событий или же — результат, финал. Документальная литература обладает в этом смысле неизмеримо большими возможностями,

Сила книги «Бездна» Льва Гинзбурга — в ее документальности. Автор, понимая это, подчеркивает в подзаголовке: «Повествование, основанное на документах». И на первых же страницах публикует «несколько разрозненных документов». Эти документы — выписки из инструкций для зондеркоманд, цитаты из фашистских газет, частные письма, заявления, объявления из газет периода оккупации — производят сильное впечатление, сразу задают очень точный тон книге.

В них есть особая стройность, есть внутренняя связь, есть композиционная цельность.

Что может быть выразительнее такого, например, заявления. Некий доносчик Ярошенко И. В. пишет начальнику таганрогской полиции: «...Второе положение: Директор отдела добычи ТРЗ г-н Ковалев человек честный, действительно борется за новый порядок, но его окружает чуждый элемент и работает ему тяжело, надо ему помочь. Советую Вашему Величеству: надо вызвать г-на Ковалева, он даст кое-что, такой-то материал на Глушенку П. П. и старых рыбаков».

Документы вначале — внешние обозначения той бездны, куда автор собирается заглянуть. Уже одно такое сочинение, как заявление Ярошенко, со всеми его грамматическими ошибками и стилем, может дать пищу для размышлений. Невежество, тупость — подходящая почва для предательства.

Персонажи книги «Бездна» — все эти проходящие перед судом в Краснодаре, разоблаченные через два десятка лет подручные фашистских палачей, все эти выковыренные из нор и щелей скрипкины, жирухины, суховы, псаревы, сургуладзе, вейхи отмечены одной общей чертой: тупостью. А их хитрость, изворотливость? То хитрость волка, изворотливость крысы, то свойства нечеловеческие, звериные. Фашисты изобрели слово «недочеловеки», называли этим словом целые расы, народы, не подозревая того, что истинными «недочеловеками» были они сами.

В одной из глав книги, рассказывающей о недавнем посещении Западной Германии, Гинзбург описывает свое путешествие по этой стране, ночной поезд, города в огнях, благовоспитанных пассажиров с газетами и то, как он испытал вдруг ощущение непрочности этого размеренного бытия: «так легко все это разрушить, разбить — стекло, окна, перевернуть все это утро вверх дном, и длинноногих чудаков, обритых, плачущих, загнать за колючую проволоку — ведь так уже бывало однажды...»

Книга «Бездна» — тревожное и грозное предостережение. Германский фашизм разгромлен двадцать один год назад, но персонажи тех лет, «недочеловеки», когда-то торжествовавшие свою кровавую победу над людьми, еще нет-нет да и всплывают на поверхность — значит, они где-то существовали все эти годы, общались с людьми, которые могли быть их жертвами, работали

на каких-то мирных работах, ели, пили, рожали детей. Скрипкин работал на хлебокомбинате, Жирухин был учителем в школе, Сухов — охранником на бензоскладе, Вейх — пилорамщиком в глухом районе Кемеровской области. Сургуладзе арестовали в день его собственной свадьбы.

А вдохновитель палачей, начальник зондеркоманды СС 10-а Курт Кристман — ныне процветающий делец в Мюнхене, маклер по недвижному имуществу.

Смысл процесса над гитлеровскими пособниками, состоявшегося в 1963 году в Краснодаре, заключается в том, что ни одно преступление не должно остаться безнаказанным, ни один душегуб не должен затеряться среди людей. Гинзбург хорошо показал, как кропотливая, неустанная работа органов государственной безопасности выявила одного за другим карателей и заставила их отвечать перед советским судом. После двух очерковых книг о Германии «Дудка крысолова» и «Цена пепла» Лев Гинзбург, знаток немецкой поэзии, переводчик и публицист, написал глубокое, волнующее своей достоверностью произведение о безднах, в которые фашизм ввергает людей. Это — и бездны страха, и бездны подлости, и бездны злодейства.

Достоинство книги в том, что автор не просто заклеил «героев бездны», показал ход следствия и логический исход процесса — это для читателя ясно и решено с первой страницы, — а сумел психологически точно и глубоко, исследуя характеры, раскрыть некоторые причины нравственного падения людей, превращения их в «нелюдей», в палачей. Старая, как мир, легенда: человек продает душу дьяволу. Кто — от страха, кто — от корысти. «Дьяволизм», пришедший в серо-зеленой форме на нашу землю, оказался не сказкой, не порождением мрачной фантазии поэта, а грубой реальностью, и каждый, кого он коснулся, обязан был в кратчайший срок решать эту проблему: о душе. Мы знаем, как советский народ решил ее: в беспощадной схватке фашизм был уничтожен. Ни одна страна не дала столько героев войны, как наша. Проходит год за годом, и мы узнаем все новые имена живых и павших героев, партизан, разведчиков. (Одному из отважных, отчаяннейших наших разведчиков посвящена, кстати, последняя глава книги Гинзбурга: «По ту сторону легенды»). Но в многомиллионном народе были и отщепенцы, запродавшие душу. Надо ли писать о них? Стоит ли заниматься психологией подонков?

Надо! Стоит! Ибо идеология фашизма не исчезла бесследно. Мы знаем, что в некоторых странах Запада есть силы, стремящиеся прямо или косвенно реабилитировать Гитлера и все, что с ним связано. Поэтому показать, как фашизм растлевает, «расчеловечивает» людей, показать те неизбежные бездны, в какие попадают расчетливые или же невольные пособники фашизма, — задача все еще важная.

Гинзбург присутствовал на следствии, на допросах. Записи рассказов обвиняемых, живая речь с подробностями и словечками,

которых не придумаешь, меткие характеристики, поведение, жесты, портреты — все это воссоздает в нашем воображении отвратительные и страшные своей достоверностью фигуры. Новая книга Гинзбурга обнаруживает у автора истинный талант прозаика. Такие главы, как «Бунте Бюне», об артистке Сахаровой, служившей в годы оккупации в Таганрогском театре, как глава о Томке, наложнице Кристмана, — яркие, правдивые рассказы о жалких и сломленных человеческих жизнях.

Не потерял Гинзбург в этой книге и присущего ему острого публицистического дара: свидетельством тому — отличная написанная, злая глава о генерале Биркампе, представляющем самозащиту и саморазоблачение фашизма.

«Бездну» читать тяжело, но и оторваться от нее трудно. Это — серьезная книга.

Ю. Трифонов

ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ

Морис Уэст. Посол. Роман. Перевод с английского Н. Трениной и Т. Озерской. «Иностранная литература» № 6. 1966.

Максуэлл Гордон Эмберли тридцать пять лет прослужил на дипломатическом поприще. Он всегда славился хладнокровием и способностью разрешать самые сложные проблемы. Умные советы жены были для него критерием истины и этической правомерности. После смерти Габриеллы уверенному в себе дипломату Эмберли пришел конец. Теперь, когда все приходилось нести в одиночку, он стал сомневаться в своих силах. Он бывал нерешительным и мягкосердечным, а ведь в дипломатии особенно «ценится умение быть жестоким». Душевный разлад привел его в Японию, в священную рощу Тенрю-Джи, и вот именно теперь, когда с помощью философа Мусо Сосеки он вполне оценил прелесть созерцательной жизни и стал постигать один из путей духовного «просветления», Дзен, президент США, предложил ему пост американского посла в Сайгоне.

Мусо Сосеки не советовал Эмберли принимать назначение. «А как вы поступите, когда вас попросят убить кукушку?» — попытался он у своего ученика. Тот не нашелся, что ответить. Ему более понятен язык высокопоставленного чиновника госдепартамента Рауля Фестхаммера, «типичного прагматика, типичного оппортуниста», наставляющего Эмберли перед отправлением в Южный Вьетнам.

И вот торжественный кортеж уже следует по улицам Сайгона. У Эмберли кружится голова от восторженного ощущения власти и силы — он тот, кто несет освобождение. Но люди на улицах «не кричали «осанна» новоявленному освободителю. Они бросали в его сторону косые взгляды и отводили глаза»... А потом он увидел самоожжение буддийского монаха — вызов ре-

лигиозным гонениям президента Кунга, затем встретился со своими коллегами — первым секретарем посольства Мэлом Адамсом и представителем ЦРУ Гарри Яффой, был принят сайгонским диктатором Фунг Ван Кунгом — восточным деспотом и одновременно янсенистом, побывал на передовой. И, может быть, впервые за все годы дипломатической службы Эмберли усомнился в том, что считал непреложной истиной, — в праве Америки вмешиваться под предлогом защиты демократии во внутренние дела малых азиатских стран. Но усомнившись, Эмберли оказался перед нравственной дилеммой. Чему подчиниться: велению долга, который состоял в осуществлении бесперспективной политики, или голосу совести, встревоженной бесчеловечностью и лицемерием этой политики? Эмберли не из тех, кто не думает о последствиях, его страшит не только исход войны во Вьетнаме, но и моральный урон, который должен потерпеть человек, совершающий подлости, по внутреннему убеждению непозволительные. Он утешает себя тем, что дипломатия требует двойственности от человека, «дихотомии», подмены справедливого — целесообразным, неудобной истины — приятной казуистикой. И Эмберли примиряется с перспективой «двойной жизни», отказывается от всяких попыток соединить долг и совесть воедино.

Драма Эмберли усугубляется еще и тем, что на него возложена тайная миссия — свергнуть правительство Кунга. В Вашингтоне недовольные марионеткой, вышедшей из повиновения. Кроме того Кунг стал подумывать о переговорах с Северным Вьетнамом, с «коммунистами» — значит, его надо убирать. Как «сторонник демократической формы правления» Эмберли должен был приветствовать действия Кунга, его желание «сделать услугу народу и прекратить братоубийственную войну». На самом деле, констатирует Эмберли: «я держал над его головой меч и, если он скажет неуютное слово, мог поразить его этим мечом». Тут бы и восстать против воли Вашингтонских политиков, но Эмберли — трус. С «недопустимой наглостью» Кунг выкладывает эту истину в лицо американскому послу. Но если Эмберли изворачивается и хитрит с Кунгом и заговорщиками-генералами, если он всегда начеку с беспринципным Гарри Яффой, с друзьями — Адамсом, секретарем Энн Белдон, молодым дипломатом Джо Гротоном и особенно наедине с собою — он искривлен.

Он понимает, что быть честным и служить неправедному делу — понятия несовместимые. Он согласен с Энн Белдон, что бесчеловечно и стыдно «так жестоко и грубо распоряжаться судьбой и даже жизнью людей», стыдно и подло закрывать глаза на готовящееся убийство Кунга. Эмберли колеблется. Он мучится необходимостью делать выбор, он завидует солдатам, «которые, не задумываясь, вершат свое смертоносное дело», Гарри Яффе, для которого в политике существует только невозможное и возможное. Эмберли очень хо-

чется иметь чистую совесть, либо не иметь ее совсем. Но чтобы иметь право называться честным, надо в случае необходимости «взрывать за собою мосты», как это делает Адамс. Надо уметь сказать в решающий момент, как Мартин Лютер: «Здесь я стою и не могу иначе». Эмберли может иначе. В сцене, напоминающей библейскую «тайную вечерю», Эмберли заранее условленной иудинной фразой подает мятежным генералам «знак».

Военная хунта захватывает власть. Кунг убит. Стране грозит анархия. Гарри Яффа и генерал Толливер торжествуют победу. Джо Гротон, взывавший к совести посла, убит. Энн Белдон, любившая Эмберли, замыкается в холодном презрении. Адамс уходит в отставку. Эмберли считал его «фантазером и мечтателем», которому «не хватает некоторой доли безнравственности», чтобы смотреть на мир трезво и видеть вещи в реальном свете. На поверку выходит, что именно «прагматик» Эмберли боится смотреть правде в глаза и «погружается в мир иллюзорной реальности». Мир для него — театральные подмостки, надо принимать за чистую монету все, что происходит на сцене, и «прятать недоверие в карман». Не только Кунг, Эмберли тоже марионетка, хотя сам он предпочитает называть себя «символом», ведь «символ» не несет ответственности, он только присутствует. Но Эмберли уже не верит «приятной казуистике», начинается расплата. Теперь, когда он совершил непоправимое, ему становится ясен вопрос Мусо Сосеки. Да, он может убить кукушку, может предать, сделать подлость, нарушить законы «человеческого единства». И он не находит себе оправдания. Не в том ли корень зла, что он с самого начала усвоил такой взгляд на окружающий мир, который учит признавать только факты, извлекать только выгоду и всех считать потенциальными преступниками, как это делают Фестхаммер и Яффа.

«Гарри Яффы всего мира, — размышляет Эмберли, — начали с полуправды: на свете все в какой-то мере преступники, стало быть это жестокость, предательство, убийство — М. Т.) неизбежно. А кончили они, однако, абсолютной ложью: чувство вины — это только иллюзия и ненужная помеха в свирепой борьбе за существование».

Нет, «вина» существует, как существует предательство. Эмберли не отказывается от искупления своей вины — в этом его достоинство, потому что во сто раз человечнее признать свою вину и стремиться ее искупить, чем в сугубо «прагматическом» стиле выдать себе индульгенцию на все времена и никогда не сомневаться в правильности своих поступков.

Конечно, еще лучше не совершать преступления и не навлекать на себя вины, — покаянно продолжает рассуждать Эмберли, — но для этого он должен «быть свободным, иметь право на выбор или возможность изменить существующее положение со всеми вытекающими отсюда последствиями». Мэл Адамс свободен именно в этом смысле слова. Адамс не может изменить

положение, но он сохранил за собой человеческое право выбирать, «сомневаться и отказываться». Он не желает быть предателем по отношению к Кунгу, хотя знает, что за это ему придется расквитаться политической карьерой, положением в обществе, благополучием.

О необходимости видеть правду, стоять за нее и написан роман «Посол».

Для издателей книга австралийского писателя Мориса Уэста была находкой — автор два года провел во Вьетнаме гостем тогдашнего американского посла в Южном Вьетнаме. Читатели могли проводить самые смелые аналогии между Генри Кэботом Лоджем и Максвеллом Гордоном Эмберли. Критикам роман напоминал «Тихого американца» Грэма Грина. Действительно, эти произведения сходны разоблачением американской «демократии» и циничного политиканства. И гриновский Фаулер и Эмберли Мориса Уэста переживают глубочайший духовный кризис. Фаулер поступает согласно велению совести. История Максвелла Эмберли кончается печально. Из чувства «приличия», чтобы никто не посмел упрекнуть правительство Соединенных Штатов в причастности к политическому убийству, он еще год занимает должность посла. Потом, сославшись на болезнь и немало удивив друзей, уходит в отставку. Потребность душевного умиротворения, еще более настоятельная, чем прежде, опять заставляет его искать советов Мусо Сосеки, в саду, где монахи, неся свой вечный послух, терпеливо «претворяют каждую травинку в Золотого Будду». Эмберли несчастен и вряд ли когда найдет утешение, потому что Мусо Сосеки не желает обсуждать мучащие его проблемы. Японский философ ищет спасения только на путях примиренности с тем, что есть, а значит и с прошлым, ибо — говорит он страдающему Эмберли — «нельзя изменить ни прежнего себя, ни того, что... сделано». И он, конечно, прав. Но все-таки замученный воспоминаниями и бесповоротно себя осудивший Эмберли достойнее, чем все мудрецы, смиренным «претворяющие» духовный разгром в победу.

М. Тугушева

ОБ УРОКАХ ПОЭТОВ-СОВРЕМЕННОКОВ

А. Павловский. Поэты-современники. М.—Л. «Советский писатель». 1966. 272 стр. Цена 51 коп.

Да, все они, о которых пишет А. Павловский, и уже ушедшие от нас (Луговской, Заболоцкий, Ахматова, Хикмет), и живущие вместе с нами во второй половине XX века (Межелайтис, Берггольц, Борис Ручьев) — действительно наши поэты-современники. Но сколь же разными, трудными и непохожими путями пробивались они к этой современности.

Каждый путь — целая история, и одно-

временно — урок. И если первая отдана на откуп литературоведческой науке, которая изучает «по косточкам» все перипетии этой истории (достаточно сказать, что о многих названных здесь поэтах написаны или пишутся книги), то, видимо, задача критики состоит в ином — понять именно «уроки» и представить нам их в виде живой, движущейся истины...

И в тех случаях, когда Павловский не уходит от этого «неписаного» закона активной критики, его «творческий портрет», в котором он работает, жанр сам по себе довольно описательный, приобретает целеустремленность, остроту, подводит к точным и определенным выводам. Таковы портреты Ольги Берггольц, Анны Ахматовой и Николая Заболоцкого.

Приступая к «портрету» Ольги Берггольц, Павловский задался вопросом: почему простой, безыскусственный стих не затерялся сегодня среди более громких голов? Он «снял» ученые напластования с холста — все эти абстрактные разговоры о дозах лирического и эпического элементов, о недостаточной «чистоте» сюжета и композиции в ее поэмах. И тщательно протер «раму», куда, подчас механически, вставлялась лирика Берггольц.

Война, блокада, февраль 1942 года — это для Павловского живое время. Оно живет в свидетельствах очевидцев, перенесших блокаду (в статье приводятся дневники Вишневецкого, Фадеева, Инбер), и в сухих данных статистики, и в личных эмоциях самого автора. Но нетленным памятником этой трагедии — «блокадной рапсодией» — стала лирика Берггольц. Критик нашел единственно верный способ анализа — вывести особенности поэзии из особенностей времени. Такой анализ помогает понять, что никакие заботы об «изящной словесности» не дают поэтическому слову прописку на современность. Только неотделимость личного от общего, сопричастность «ведущим эмоциям эпохи» могут служить гарантией того, что стихи не будут забыты. «И — как знать! — пишет Павловский о стихах Берггольц — может быть, живут они сегодня как раз потому, что автор не ставил перед собой специальных литературных задач, а просто раскрывал свое сердце — без утайки и ухищрений. То, что вызывало слезы тогда, вызывает их и сейчас — по ассоциациям памяти и по тому неподдельному духу сердечного мужества, которым они впервые были вызваны к жизни».

А вот Анна Ахматова. Как случилось, что поэтесса, за которой тянется «акмеистический шлейф», сумела стать вровень с веком, со своим современником? И как отыскать эту самую «точку перелома», если стих ее никогда внешне не регистрировал тех сейсмических бурь и толчков, которые жили в его глубине?

Павловский начинает свое «следствие» с истоков — двадцати годов и, опираясь на высказывание Блока об Ахматовой по поводу поэмы «У самого моря», показывает, что жизнеспособное таилось уже в ранних вещах поэтессы,

Две благодетельные силы видит критик в этом щедром таланте — способность реалистически воспроизводить мир и любовь к Родине. Они-то, по его мнению, и выделили в свое время Ахматову из акмеистического лагеря, а позже, в годы войны, привели ее к политической лирике. Павловский убедительно прочитывает по сути еще никем внимательно не прочитанную страницу — творчество Ахматовой военных лет. Кроме «Клятвы» и «Мужества» — дежурных примеров газетной публицистики у столь камерного поэта — критик обращается к ее малоизвестному и малоизученному стихотворному циклу «Луна в зените» (1942—1944 гг.), стихотворению «На смоленском кладбище» (1942 г.), «Предыстории» (1945 г.), «Поэме без героя» (начата в 1940 году, закончена в 1960-м).

Анализ этих вещей, принципиально новых для Анны Ахматовой, сопоставимость их с блокадными стихами Берггольц и других поэтов дает все основания Павловскому утверждать: именно в это время закладывались черты историзма в лирике поэтессы, началось расширение ее внутреннего мира до самых далеких границ общественной жизни.

Совершенно иным путем шел Заболоцкий. Каждая его книга (а поэт при жизни выпустил четыре сборника) — по существу новое, незнакомое лицо. Эта способность поэта к метаморфозам неоднократно ставила критику в тупик. Думается, Павловский придерживается верного, выработанного нашим временем критерия в оценке сложного поэтического организма — он не зачеркивает раннего Заболоцкого, а пытается понять, проследить саму диалектику развития поэта. Хорошим подспорьем в этом деле служат критику факты, архивные разыскания, новые документы. Так, обнаруженная им переписка Заболоцкого с Циолковским, относящаяся к 1932 году, заставляет пересмотреть традиционный взгляд на поэму «Торжество земледелия».

В свое время к ней подошли как к произведению о коллективизации. Главное же, что занимало Заболоцкого в «Торжестве земледелия» (об этом свидетельствуют письма к Циолковскому, статьи, размышления, приводимые Павловским), это выяснение взаимоотношений между человеком и природой. То была тенденция самого времени, когда вырабатывался новый тип поэта — поэта-ученого, поэта-философа.

Кстати, о философских исканиях Заболоцкого. Казалось бы, кое-что из того, что открыл поэт, в частности взаимосвязанность всех элементов мира и преобразующую роль человеческой мысли, было уже открыто марксистской материалистической философией. Но в том-то и заключается один из уроков, преподанных нам Заболоцким и сформулированных критиком, что «философия не есть нечто внешнее; чтобы сделаться неотъемлемым достоянием личности, научные представления должны сложиться с максимальной самостоятельностью — только тогда они и становятся подлинными убеждениями, а не цитатами из великих трудов».

Точнее говоря, они должны быть по-своему открыты в сфере чувственной, эмоциональной, поэтической.

Как именно? Вот вопрос, который еще ждет сегодня своего исследователя.

В статьях о Луговском, Межелайтисе, Ручьева критик пошел по линии наименьшего сопротивления.

И впрямь ли «Середина века» Луговского всего лишь «гигантская вспышка таланта, огромные по силе и интенсивности света протуберанцы двадцати четырех ослепительных поэм» (заметим, что стиль Павловского, вообще-то яркий, экспрессивный, местами переходит в свою нежелательную крайность — претенциозность). Не просматриваются ли здесь иные — более важные, общественные закономерности в возможности появления этой вещи? Если да, то как «биография эпохи» стала «автографией века», поэмой, которую автор считал «самым крупным произведением в своей жизни»?

Павловский ушел от этих — неизбежных сегодня в разговоре о Луговском — вопросов в спокойном море литературоведческого анализа двадцати четырех поэм. И насколько же обескровился сам анализ, зажатый узкой литературной сеткой!..

Статьи о «Человеке» Межелайтиса и творческом пути Бориса Ручьева выглядят беглыми, эскизными. А главное — они написаны без внутренней заинтересованности, без того своего «поворота», в котором выполнены портреты Берггольц, Ахматовой и Заболоцкого.

Применительно к поэту, прозаику широко пользуемся мы выражением: «нашел себя», «нашел свою тему». Критикам редко говорят эти слова из бытующего обывательского убеждения — чего уж они там нашли, где им и т. д.

Так вот — у Павловского есть своя тема: испытание поэта войной. И те страницы его книги, где он специально или ненароком касается ее, страницы, написанные с большим знанием материала, взволнованно и как-то по-особому лично (а так именно и должен писать критик), убеждают нас в том, что ему стоит заняться ею вплотную.

И. Ростовцева

ШКОЛА ЖИЗНИ

Е. А н у ч и н а. Суворовский бульвар. М. «Московский рабочий». 1965. 99 стр. Цена 16 коп.

Пустой школьный двор. Скоро зазвучат здесь детские голоса. А пока, «расставив рябые крылышки, словно маленькие руки», прыгают воробьи, на солнцепеке «стоят выкрашенные парты (если погладить теплую крышку, она пискнет, как утенок)», железные кольца на пустой спортплощадке «одиноко звенят, ударяясь друг о друга», «пустой аквариум с гальками на дне, казалось, просит пить».

У деревянной ограды героиня повести — молодой педагог Наташа Карасева. Она только что получила свое назначение в школу и, с трепетом глядя на этот двор, пытается угадать, что ей уготовила судьба.

Первые страницы повести сразу же выявляют основное ее достоинство: при умении показать жизнь с ее бьющей в глаза «неразберихой» красок и запахов, света и теней, автор сохраняет полную ясность и точность в расстановке идейных «акцентов», непримиримость идейной позиции, ясность нравственных «опор».

В значительном и остром сюжете повести сталкиваются и раскрываются характеры главных ее героев. Наташа — физик по специальности, запомнила уроки своего школьного детства. Она помнит, как ей казалось, что «Физика» это склянки, трубочки и закопченные горелки и возиться с ними нужно, чтобы не получить двойку...» (втайне дети были уверены, что и учителю давно уже наскучили эти «ненужные вещички»). Но вот в школу приходит новый физик, которому дали прозвище Конек-Горбунук. (Это один из самых поэтических образов повести). «С мальчишескими прядями на лбу, большеносый, он не ходил, а бегал, слегка склонив голову и размахивая руками. Когда он выводил на доске формулы, крошки мела искрами летели вокруг...

С появлением Сергея Семеновича все изменилось. Торжествующе стуча мелом об угол доски, он сказал, что без физики не было бы ни кино, ни телевизора, ни радио... Цилиндры, латунные трубки, склянки, тигли — все получило смысл... Он ввел нас в огромный мир, где в каждой песчинке совершались чудеса, делающие песчинку равной звезде...»

Могла ли Наташа не попытаться в убогом и пыльном физическом кабинете своей школы сделать нечто подобное тому, что сделал Конек-Горбунук? Она водружает на стены кабинета портрет Альберта Эйнштейна. Она хочет дать школьникам представление о теории относительности, знакомству с которой не отведено место в школьных программах.

Вокруг действий молодой учительницы начинается «кристаллизация» героев. В ходе ее все персонажи резко разделяются на две группы, хотя это и не пресловутое деление людей на «положительных» и «отрицательных». С одной стороны — это люди высокого поэтического «накала», люди, души которых полны поэзией жизни, каждой познания ее. С другой — люди, обойденные этой высокой страстью, так или иначе «приземленные».

Если для первых дети — это, первым делом, маленькие люди, которых нужно сделать настоящими и хорошими гражданами, дать им высокое представление о жизни, то для вторых — это только детали «учебного процесса». Этот второй лагерь возглавляет завуч школы, некая Анна Дмитриевна. Она носит малиновый жакет и деревянные бусы. В повести этот жакет и эти бусы настаивают, отталкивают читателя больше, нежели традиционные для такого

типа героинь белые воротнички на темных платьях.

Анне Дмитриевне все раз и навсегда ясно, все разложено по соответствующим графам «учебного процесса». Учебник — ее евангелие. Все остальное — декорации, с которыми можно не считаться. Наташа с ее Альбертом Эйнштейном выпадает из ее твердо установившегося мира представлений о школе. И Анна Дмитриевна «предупреждает», «запрещает экспериментировать».

Наташа в замешательстве: «Как это она (Анна Дмитриевна.— Е. Ж.) не знает, что дети не боятся открытий... Что было бы с людьми, если б они так и не пожелали узнать мир, в котором живут? Какая сила заставляла Коперника совершить свой подвиг? Почему была героической вся жизнь Циолковского? Кто обязал Главного конструктора проводить дни и годы за чертежами космических кораблей? Нет на свете начальства, что могло бы приказать: совершайте открытия, будете награждены! Жажда знаний уводит людей в такие дали, о которых и не догадываются корыстолюбцы».

Как важно, чтобы учитель, тот, кто будет формировать души людей, думал именно так. Так думает героиня повести Е. Анучиной. Но, к сожалению, и корыстолюбцы, которые не догадываются о высокой поэзии знания, еще существуют. Молодой педагог Миша один из тех вполне сформировавшихся внутренне, несмотря на свою молодость, «практиков» жизни, который сделал предметом своих неусыпных забот свою собственную персону, свою собственную «выгоду». От Анны Дмитриевны, которая свято верит в «инструкции», он отличается тем, что не верит ни во что. Честная в своей прямолинейности Анна Дмитриевна, конечно, не сродни Мише. Но и он и она — на стороне школьной реакции. В этот же лагерь попадает и директор, сложный человек, с недавнего времени педагог, подавленный «авторитетом» Анны Дмитриевны, верящий ей больше, чем себе.

Мобилизованы все средства казенного нажима и на молодого неопытного педагога, все грозные силы инструкций, вся суровость программ и проверок. И Анна Дмитриевна почти побеждает. Наташе предложено подать заявление об уходе, с этой перспективой она однажды возвращается домой на Суворовский бульвар.

Да, это она живет на Суворовском бульваре. Он зримо вписан в эту повесть, очень московскую, хотя в пей совсем нет московского «модерна». На Суворовском бульваре старый дом и балкон с темными решетчатыми перилами. Здесь на продырявленном плетеном кресле, с книжкой в руках — тетя Зина, воспитавшая Наташу Карасеву, человек самоотверженной биографии и большой души.

Сюда, на Суворовский бульвар, приходят к Наташе из школы те другие люди, для которых поэзия и творчество в школьной жизни не пустые слова. И среди них — обаятельный Рем, тоже физик, однако уже умудренный несколькими годами опыта, «любимый» учитель (а ведь Наташу еще не при-

знали и школьники). Так же, как и Наташа, он видит в детях людей и чужд деревянных, как бусы Анны Дмитриевны, школьных канонов. Он приходит на Суворовский бульвар, чтобы помочь Наташе подготовиться к проверочному показательному уроку. «Атом только для мира» — урок на эту тему прошел ярко. Дети проявили способности перешагнуть за пределы представлений о пыльных пробирках и горелках, увидеть за ними очертания науки того будущего мира, где им предстоит жить.

Наташу поддерживают не только молодые педагоги школы (Рем, комсорг Дуся, преподавательница литературы Татьяна, парторг школы Иван Кондратьевич). Ее поддерживают и люди из других школ, которые вошли в состав комиссии роно. (Жаль только, что в числе их и постаревший Конек-Горбунок: пусть бы лучше остался он поэтическим образом детства героини).

Итак, сдвинулась с места «льдина-холодина» (как хорошо этот образ ассоциируется с огромным стеклом, лежащим на столе директора) «инструкций», теряющих связь с жизнью. Побеждает поэзия жизни, будущее, поэзия Суворовского бульвара, его высокие моральные и этические нормы.

В жизнь Наташи входит Рем. Ненавязчиво показано, как мало-помалу возникает и связывает их любовь.

«Вспомнив об уроке, я хватаю Рема за руку. «Хватит времени подготовиться? Так мало осталось!..» — Он берет мою ладонь и прячет в свой рукав. В рукаве тепло. «Много времени, вся жизнь...» Ветер. Снежинки падают мне в рот. «Я не о том», — «О том», —

говорит Рем. Я прижимаюсь к его плечу, снег уже не тает, летит, кружится, обгоняет нас. И впереди возникают белые шапки деревьев. Бульвар. Огни...»

Так разрешается главная сюжетная линия «Суворовского бульвара». Но это повесть не только о Наташе Карасевой и о трудности становления молодого педагога. Это повесть о воспитании чувств юного человека, человеческого к нему отношения. Без любви, искренности, непреклонной честности невозможно воспитание человека, подростка, ребенка.

Очень характерна в этом смысле проходящая сквозь всю повесть тема первой любви. Это любовь девятиклассников Жени Филимоновой и Коли Игумнова, детей трудных судеб, детей, лишенных семьи. Жестокость, равнодушие, холодные слова могли сделаться роковыми для них. Не сразу налаживаются отношения с ними у Наташи, но она сумела полюбить их. Это дало ей силы вместе с лучшими людьми коллектива спасти их для жизни большой и светлой.

Хорошо, что повесть посвящена школе. Она, конечно, не исчерпала эту тему, но она противостоит утвердившемуся у нас типу «школьной» повести, в которой школа почти во всем искусственно отрывается от жизни, от мира больших человеческих чувств. Перед нами произведение, в котором автор действительно «мыслит образами», а не подгоняет текст к заданной проблеме. От этого важные проблемы получили новое, не схематическое освещение.

Евг. Журбина

ВСТРЕЧИ СО СВЕТЛОВЫМ

Из записных книжек

«Здорово, старик!»

— Здорово, старик!

Это дружеская форма нашего комсомольского приветствия. «Здорово, старик, как поживает старуха?» — так мы приветствуем друг друга более сорока лет. Полвека. Так приветствовал нас Светлов.

— А теперь некоторые молодые не считают нужным с нами даже здороваться, — огорченно покачивает он головой.

— А между прочим, в издательстве «Молодая гвардия» шел разговор об издании альманаха, посвященного сорокалетнему юбилею нашего молодого гвардейского содружества.

— Давно пора. Многих уже не досчитываемся на дружеских переключках: ни Артема, ни Коли Кузнецова, ни Голодного, ни Огурцова. Ясный и Алеша Платонов погибли на фронте. Надо писать историю, старик. Один наш собрат опубликовал тут свои воспоминания — ни о них, ни о нас, грешных, ни слова. У автора большой культ маленькой своей личности. Мы еще живы, а они уже несут заупокойный лом. Представляю, что они напишут, когда нас не будет на свете...

И вспомнилась наша далекая юность...

Наша юность

Год — 1922. Серый дом на Воздвиженке — здание ЦК комсомола. На пятом этаже, под самой крышей, живут Безыменский и Жаров. Небольшая, насквозь прокуренная комната. Сегодня — первое собрание литературного объединения «Молодая гвардия». Меня привел сюда ивановский поэт Серафим Огурцов, я только что демобилизовался из погранвойск. Народу немного: высокий, худощавый Безыменский, Жаров, Артем Веселый, крутолобый, в матросском бушлате, он работает за столом, не обращая никакого внимания ни на шум, ни на дым, кудрявый Сергей Малахов, два Алексея — Костерин и Платонов, оба морячки, бледный, малоразговорчивый, похожий на подростка архангельский паренек Георгий Шубин, Лагин с неизменной трубкой, и с раскрытой настезь

грудью в потертой кожаной куртке поэт с рабочей заставы Николой Кузнецов. От ЦК комсомола — Зоркий.

Позже в «Молодую гвардию» вступили и другие наши товарищи.

Три друга с Украины

Жаркий летний вечер. С Украины приехали три друга, три поэта — Голодный, Светлов и Ясный. И сразу — дружба, будто сто лет знали друг друга.

Голодный читает стихи о проститутке.

Эх, станок, полюбил не на шутку я.
Разве можно ее не любить?

Эпизод по-комсомольски оптимистичен:

Знаешь, что?
Мы ее переделаем...
Ладно, станок?..

Никто из нас не сомневался, что любые социальные несправедливости легко исправлялись рабочим станком.

Партизанские стихи Ясного — буйные, дерзкие, в разорванных ритмах, в них — вольный ветер и захлебывающийся бег степных тачанок.

В глубоком и неброском своеобразии светловского таланта мы разобрались несколько позже...

У Светлова от природы был всегда свой собственный, светловский, голос, голос чистого сердца. Он никогда не стремился петь красиво.

«Скифы»

Год — 1923. Поварская, 52, вестибюль Литературного института. Нас, восьмерых, будет экзаменовывать лично ректор, Валерий Яковлевич Брюсов. На лестничных площадках и в нишах стен — пожелтевшие статуи обнаженных Венер и Диан. Средневековые рыцари с тяжелыми мечами и в старинных доспехах. Ушедший мир. Мы — посланцы новой эпохи. Мы — скифы. В шинелях, матросских бушлатах, кожаных куртках. Мы видели войну, голод, восстания, хлебные продрозверстки. Коммунизм уже не за го-

рами. И вдруг — нэп. Кричащие вывески частников. Толстопузые буржуи. Лихачи на дутых шинах.

Где-то... где-то... пляшут балерины,
У кого-то в сердце васильки,—
А вот я маячу у витрины
И скрипя сжимаю кулаки!

Это стихи Бориса Ковынева. Голодный в поэтическом письме к друзьям-комсомольцам признается:

Да, мы смеемся здесь не так,
Как мы смеялись раньше с вами.
Бывает, заходя в кабаки,
Выходим с темными глазами...

Светлов воспринимал эпоху по-своему, по-«светловски»:

Старый ребе говорил о мире,
Профиль старческий до боли был знаком...
А теперь мой ребе спекулирует
На базаре прелым табаком...

У Брюсова бледное, строгое лицо. Интеллигентская борода.

Его высокий крахмальный воротничок нас возмущает. Но—

Каменщик, каменщик в фартуке белом...

За это можно простить и крахмальный воротничок. Эти стихи читались на всех митингах и собраниях.

Брюсов знакомится с нами, дотошно расспрашивает о жизни, о профессиях, участии в гражданской войне, о том — что толкнуло к литературе, много ли читали, что именно, как понимаем искусство. Мы поражены его поистине необъятными познаниями, буквально во всех областях жизни, не говоря уж о литературе, живописи, театре, архитектуре. Он отлично разбирается и в литейном деле, кавалерийской рубке, морских уставах. Изучал Маркса и Энгельса. Непостижимо! Сердца наши постепенно оттаивают.

Светлов, Артем Веселый, Николай Кузнецов да и все мы зачисляемся на первый курс института. В институте учатся Эдуард Багрицкий, Иван Катаев, Андрей Платонов.

Лекции посещаем с пято на десято. Слушаем Брюсова, Шенгели, Сидорова, Сарбабянова, Гроссмана, Рукавишникову и других маститых.

Жить трудно. Голодно, холодно. Зарабатываем — кто чем. В издательстве «Молодая гвардия», где печатаются наши первые тоненькие книжечки, выплату гонорара задерживают по полгода. На стенах — протестующие надписи авторов. Запомнилась светловская: «Поэты пухнут с голоду».

У него шутильная кличка: «Самый толстый из всех скелетов». Работает Светлов неизвестно когда, большей частью по ночам, и именно в эти голодные годы выдает «на гора» один шедевр за другим.

Повесился Коля Кузнецов. Он писал о Замоскворецкой радиобашне:

Нашей работы упорной
Что может быть бесшабашней?
Когда нас душили за горло,
Мы строили радиобашни...

Светлов одним из первых ворвался к нему в комнату, вынимал его из петли.

Кузнецова любили все. Он очень нуждался, голодал. Смерть друга потрясла Светлова...

Покровка, 3. Бывший дом свиданий второго разряда, ныне здесь общежитие молодоговардейцев.

Здесь, в этих бедных, прокуренных, полутемных комнатах с неуходящими запахами туалетного мыла и дешевых одеколонов, под утробный вой примусов, создаются поэмы и романы, рассказы и целые эпопеи. Артем Веселый работает над «Россией, кровью умытой», Юрий Либединский над «Комиссарами», Фадеев, страдая зубами, с огромным, в полщеки, флюсом, спешит закончить свой «Разгром». Светлов пишет «Гренаду» и «Пирушку». Сюда по ночам, в затхлую полутьму сырых рассветов, приходят к нему на свидание Жаппа д'Арк и чубатый Тарас.

Он рассказывал, как совсем неожиданно возникла у него тема «Гренады». Ночью, в переулке, когда он возвращался домой. Сперва песня сложилась в голове.

— Пришел, и почти сразу вприсест написал все стихотворение...

На Покровке, 3 Светлов встречался и с живыми героями, товарищами по гражданской войне.

Не уздечка звенит
По бокам мундштука,
Не осколки снарядов
По стеклам стучат,—
Это пьют.
Ударяя бокал о бокал,
За здоровье комдива
Комбриг и комбат...

Быт у Светлова всегда был неустроенный. Но это его не смущало, он работал днями и ночами.

Я нынешней ночью
Не спал до рассвета,
Я слышал: проснулись
Военные ветры.
Я слышал: с рассветом
Девятая рота
Стучала, стучала
Стучала в ворота...

Маяковский и молодые

Жаркое июньское утро. В литературном отделе «Комсомольской правды», в Черкасском переулке, огромное полуовальное окно открыто настежь. Уткин в расстегнутой рубашке разговаривает по телефону с Кукрыниксами: он заказывает художникам шарж для очередной литературной страницы. Уткин ведет литературный отдел газеты.

Секретарь отдела, поэт Джек Алтаузен, за письменным столом непрерывно строчит ответные письма на присланные из провинции стихи. В просторной комнате прохладно... Широко запахивается дверь, и входит Маяковский. В комнате сразу становится тесно. Поэт здоровается с присутствующими и деловито лезет в боковой карман.

— Только что написал,— сообщает он всем.— Надоело ссориться...

Уткин заканчивает телефонный разговор, и Владимир Владимирович, положив на стол кепку и палку, становится посреди комнаты. Неяркий свет узкого переулочка мягко освещает его угловатое, «бетхоузенское» лицо. Маяковский вынимает исписанные листы бумаги и объявляет заглавие:

— «Послание пролетарским поэтам».

Это любопытно! За последнее время на литературных вечерах и диспутах споры между поэтами различных литературных группировок становятся все злей и беспощадней, в бой втянуты газеты и журналы. По-видимому, Маяковский подготовил очередную литературную бомбу против налитпостовцев. Сейчас он навалится на них, вооруженный своим грозным и неотразимым остроумием. Послушаем.

Товарищи,
 позвольте
 без позы,
 без маски,
 как старший товарищ,
 неглупый и чуткий,
 поразговариваю с вами,
 товарищ Безыменский,
 товарищ Голодный,
 товарищ Уткин.
 Мы спорим,
 аж глотки просят лужения,
 мы
 задыхаемся
 от эстрадных побед,
 а у меня к вам, товарищи,
 деловое предложение —
 давайте
 устроим
 веселый обед!
 ...Товарищи,
 бросим
 замашки торгашьи
 — моя, мол, поэзия —
 мой лабаз! —
 все, что я сделал,
 все это ваше —
 рифмы,
 темы,
 дикция,
 бас!

И когда поэт громово заканчивает чтение последних строк, слушатели благодарными аплодисментами приветствуют его дружеское чистосердечие.

— Грандиозно,— восторженно вскакивает Алтаузен,— только непонятно, почему вы адресуете стихи Голодному?

— Как почему? — удивленно полуоборачивается Маяковский, — а «Гренада»?

— «Гренаду» написал поэт Светлов.

— Простите, досадное недоразумение. Но мы это сейчас исправим...

И вынув из кармана перо, Маяковский перечеркнул фамилию Голодного и вписал сверху Светлова. Тут же он прочитал исправленное вслух.

Спустя много лет, подготавливая к печати книгу «Московские встречи», я прочитал эту запись Светлову.

— Всё правда,— подтвердил он.— Я об этом знал.

Книгу с надписью я подарил Светлову. Она хранится в его личной библиотеке.

Интервью Маяковского

Год — 1927. Маяковский — пограничникам. В интервью, данном сотруднику польской газеты «Эпоха», на вопрос корреспондента, кого из молодых писателей и из каких группировок, помимо Лефа, он считает наиболее талантливыми, Маяковский ответил:

— Важнейшей из них является ВАПП, или Всероссийская ассоциация пролетарских писателей... Самые выдающиеся среди них — это Светлов, Уткин и Фадеев.

Мечтатель-хохол

Киев. Год — 1932. Я служу в военной авиации. По городу расклеены афиши. Вечер поэтов. Вера Инбер, Михаил Светлов, Иосиф Уткин. Друзья просят попредседательствовать на вечере.

Концертный зал переполнен до невозможного. На стенах плакаты и лозунги на украинском языке. После выступления Инбер объявляю Светлова.

— «Гренада». Читает автор.

Бурные аплодисменты. Во время шума Светлов растерянно наклоняется:

— У меня там «мечтатель-хохол». Скандал. Могут обидеться. Как думаешь, чем заменить?

Пожимаю плечами. Нашему поколению первых комсомольцев чуждо чувство национализма. Тем более Светлову, выросшему на Украине. Однако ему видней...

По напряженному выражению лица можно без труда определить, как он мучительно думает о злополучном слове. Вот он подходит к строфе, где «медлит с ответом мечтатель-хохол»... С тревогой наблюдаю за ним...

Не моргнув глазом, Светлов читает:

Он медлит с ответом —
 Мечтатель Вукол:
 — Братишка, Гренаду
 я в книге нашей...

Уткин чуть не падает со стула.

Как рождается песня

Старинный зал нашего писательского клуба, сколько с ним связано воспоминаний, сколько здесь случилось встреч и разлук! Деревянные стены, скрипучие антресоли с причудливо резными поддерживающими колоннами и высоким потолком из черного мореного дуба, сколько повидали вы на своем веку! Здесь когда-то собирались масоны, император Александр III, неосторожно спускаясь по этой узкой винтовой лестнице, упал и вывихнул себе ногу, в этом зале выступали Горький и Маяковский, отсюда в последний путь провожали мы Анри Барбюса и Николая Островского, встречали

Чкалова и прославленную негритянскую певицу Мариан Андерсену.

Сегодня встречаем отважных летчиц Валентину Гризодубову, Полину Осипенко и Марину Раскову! Над неизведанной тайгой пришлось им прыгать на парашотах и сажать самолет в болото. И вот, наконец, они найдены, они в Москве.

Светлов скромно пристроился в полумраке под деревянной лестницей, у камина.

И вот героини уже входят в зал. Боже, сколько радости, восторга, слез и улыбок. Полина Осипенко привезла с собой и старую мать, никогда за всю свою жизнь не выезжавшую из глухого села.

В напряженной тишине слушают писатели рассказ-исповедь простой украинской дивчины, как она в совхозе пасла гусей и впервые увидела самолет. Он сел на вынужденную посадку. Из кабины выбралась женщина в кожаном шлеме. Это была пассажирка, но Полина приняла ее за пилота. Так у нее зажглась мечта — стать летчицей. Малограмотная птичница едет в далекий город и поступает судомойкой в столовую школы пилотов. По вечерам овладевает грамотой и изучает теорию авиации. Она помогает мыть машины. Так изо дня в день с подвижническим упорством идет она к своей заветной цели. Первая девушка-пилот! Сколько пришлось ей преодолеть препятствий, грубой мужской косности, насмешек и собственной женской робости на пути к небу, чтобы окончить школу военных летчиков «на отлично» и получить звание истребителя!

Невозможно без волнения слушать и бесхитростный рассказ ее старой матери.

Светлов молчалив, он сосредоточенно задумчив.

Не в тот ли вечер родилась тема его «Песни летчицы»:

...Полный газ! Ревут моторы.
Я не стану отдыхать,
Чтоб до вечера просторы
Всех республик облетать.

Казахстанские барханы...
Украины зной и тишь...
«Шо ж ты мене, мой коханий,
Ничего не говоришь?..»

Алюминевой птицы
Мчатся в небо два крыла...
Милой Родины границы
В полдень я пересекла.

Дышит воздухом прохладным
Незнакомая страна —
Ни-дер-лан-ды? Ну, да ладно!
Я всему обучена!

Вся земля раскрытой книгой
Подо мною проплывет...
По равнинам Уленшпигель
Ходит, песенку поет.

Встала близкой и понятной
Вся земля передо мной...
Я ложусь на курс обратный:
Семь часов — пора домой!

Сухопутные границы,
Океана мертвый штиль...
И поют вдогонку птицы:
— У-лен-шпигель!.. Тиль! Тиль! Тиль!

— Как это все удивительно и волшебю претворилось в песню, чисто «по-светловски»!

В литературе тоже нужно быть асом!

Год — 1948. Февраль. Светлов выступает на литературном кружке авиаторов ВВС. Он внимательно прочитал все произведения, присланные ему домой, и в заключение разбора говорит о том, что не должно быть никаких скидок на молодость: слово — это инструмент писателя, и им нужно владеть в совершенстве!

— Однажды на фронте ко мне обратился немолодой боец: «Верно, говорят, что вы пишете песни?» — «Верно!» Он помолчал, потом заметил: «Очень мы песни любим, и очень они нам нужны».

Этот разговор мне вспомнился сегодня, накануне большого праздника — тридцатилетия нашей Советской Армии. Наши песни, стихи, рассказы давно состоят у нее на вооружении.

Любовь народа к своей литературе, к искусству вдохновляет не только писателей-профессионалов, она будит чувства и тех, у кого еще неокрепшие голоса. Алексей Максимович Горький, незадолго до войны познакомившись с творчеством начинающих писателей-красноармейцев, писал: «...Прочитал я несколько десятков рассказов, написанных бойцами Красной Армии. Разумеется, эта литература — явление совершенно новое: нигде в капиталистических государствах нет и не может быть армии, которая воспитывала бы своих писателей-прозаиков и поэтов...»

Светлов называет имена писателей, вышедших из рядов нашей армии. Среди них — Фадеев, Либединский, Вишневский, Сурков, Уткин, Гончар, Некрасов и многие другие.

— В рядах авиаторов так же немало молодых писателей и поэтов, многие взялись за перо. — Светлов поднимает в ладонях довольно объемистую папку с рукописями. — Но дело теперь не за количеством, а за высоким мастерством!

В одном из писем к Чехову Горький писал, что он еще не писатель, а пока только хороший читатель. И это писал Горький, уже создавший к тому времени «Фому Гордеева»!

Я думаю, что каждый из вас учтет ту простую истину, что в литературе труд не менее важен, чем в авиации. Настоящий талант должен трудиться неустанно, не глядя ни на какие метеорологические неприятности. В литературе тоже нужно быть асом!

Новогодний турнир

Светлов любит шутку, розыгрыш, веселую компанию. И при внешней несобранности и кажущейся медлительности, всегда находчив и скор на выдумку.

В Доме писателей — встреча Нового года. Я — Дед-Мороз; вручаю гостям подарки. А подарки не простые — высокопородистые щенки. Остался последний — пушистый,

светло-дымчатый, с черными веселыми глазками, похожими на пришитые пуговицы, щенок кубанской овчарки.

Объявляю литературный турнир: кто напишет лучший стихотворный экспромт — тому и подарок. Весь зал включился в игру. Среди гостей — испытанные мастера.

После ознакомления с экспромтами, вручаю щенка Светлову. Но один из поэтов-песенников недоволен, он громко выражает свое несогласие и объявляет Светлову вызов, бросая ему поэтическую перчатку. Дело принимает неожиданный оборот. Создается жюри. Соперники рассаживаются по углам и приступают к литературному поединку.

Светлову щенок не нужен, он выиграл его шутя. Но теперь на кон поставлен его поэтический престиж. Сидя у камина, он сосредоточенно глядит в огонь. Затем на клочке бумаги, с ходу, почти без поправок, быстро записывает два четверостишия.

Поэт-песенник сочинил стихотворение в двадцать четыре строки! Оно написано с виртуозным блеском.

Читаю его произведение первым. Одобрительные аплодисменты. Восемь строк Светлова вызывают бурные овации всего зала. Щенок оставлен у победителя.

Светлов угощает его с ложки растаявшим мороженым и тут же дарит соседке по столу.

Доброго пути

Многих начинающих напутствовал Светлов своим добрым товарищеским словом, он отечески следил за их ростом и возмужанием. Его напутствие к стихам молодого поэта манси Ювана Шесталова полно светлой и нежной задушевности.

«Я сейчас провожаю в добрый путь товарища, которого никогда в глаза не видел. Как он выглядит и сколько ему лет? Наверное, он совсем молодой.

Я не провожаю Ювана до дверей, а спешу к нему на вокзал — поезд вот-вот отходит...

...Чем меня пленяет мой попутчик? Тем, что он удивительно легко бывает необыкновенным в обыкновенном. Значит, он безусловно поэт. Как вообще угадывается талант? Он может, я — не могу. Значит, он — талант. Разве могу я так написать:

Осен мерзлый звон над нами
Слышится в тиши.
Стынут в теплой снежной яме
Три живых души.

Три души на белом свете:
Мама, я и пес.
Нам уснуть в попутной яме
Не дает мороз.

Самое сложное и трудное в поэзии, как и вообще в искусстве, это быть естественным. Мастерство — это высшая естественность. Юван Шесталов, может быть, сам и не подозревая об этом, владеет таким мастерством.

Юван пишет на языке манси. Манси — малая народность. Этот поэт — представитель наших малых народностей — сидит ря-

дом со мной, я горжусь талантливой дружбой наших советских народов.

...Глубокая ночь. Мчится поезд. За окнами темно. Не разберешь, где осины, а где березы. Тем более, что я и при солнечном свете могу их спутать. Я только знаю, что у березы кора белая.

Пассажиры не спят. Они слушают стихи Ювана Шесталова. Такая поездка у них не часто бывает. Далеко не всегда твоим попутчиком бывает талантливый человек».

Влюбленность

Переделкино. Дом творчества. Сидим за одним столом с Олей Бергольц. Нас связывает старинная дружба: я помню ее совсем юной, в кожаной куртке, с длинными до колен белокурыми косами. Сейчас она работает над своими «Звездами». Работает иступленно, не зная ни дня, ни ночи... А встретимся — и засверкает боевая молодость наша комсомольская, зазвучат дорогие имена, и среди них — одно из самых дорогих для нее — имя Светлова. Светлова она боготворит. Его образ незримо осеняет ее труд над книгой. Она читает его стихи. Влюбленно, проникновенно...

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.

Мягким голосом сон зовет,
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

Такую беззаветную и преданную любовь заслужить не каждому дано.

О «губной помаде чувств»

В дружбе Светлов добр и нежен, терпелив к недостаткам. Но в вопросах творческих — бескомпромиссен и, несмотря на внешнюю мягкость, беспощаден, даже жесток.

В кругу друзей один молодой и высоко одаренный поэт читал цикл новых стихотворений. Автор — солдат-фронтовик, прошел всю войну, повидал горя.

Свои чувства и переживания он передал с высоким и эффектным мастерством. Литературные находки, одна другой краше и нарядней, поражали. Друзья хором хвалили поэта, восторгались, да и было чем... Автор на седьмом небе, поработал, потрудился, стихи приняты и скоро будут опубликованы в одном из толстых столичных журналов.

— Неважные стихи, старик, — негромким голосом в наступившей тишине выносит из угла свой строгий и нелицеприятный приговор Светлов.

Автор растерян, обескуражен.

— Михаил Аркадьевич, но почему же? Неужели ж это так плохо?

И Светлов, с присущей ему мудрой иронией, ласково отвечает:

— Я забочусь о твоей старости, мальчик!

К чести молодого поэта, после некоторого раздумья, он подошел к Светлову и с чувством сыновней признательности обнял его. Он понял...

Сидим со Светловым в нашем писательском кафе. Он устало помешивает ложечкой в стакане. Разговор о нашей молодости, какими мы были. Мимо метеором пролетает молодой, но уже на восходящих скоростях поэт. В руках у него — первая книжка стихов. На лице смешное, детское высокомерие, он даже не поздоровался.

Светлов грустно улыбается.

— А как потом жалеть будет! С этой книжкой он приходил ко мне, просил, чтоб я был ее редактором. Я внимательно прочитал ее и половину забраковал. И вдруг он пустил слезу: «Здесь все мое лучшее, а вы так...»

И с несвойственной для него жесткостью Светлов заключил:

— Я тут же возвратил ему рукопись: уходите, будем считать — я ваших стихов не читал! Ищите себе другого, более сговорчивого редактора...

И помолчав, добавил:

— На спекуляции чувств поэт долго не проживет. Эта губная помада мелких чувствешек скоро сотрется. Сам потом пожалует...

Все оправдалось: уже повзрослев, тот поэт в одной из своих поэм с горечью признался, что зря печатал в молодости многие свои незрелые и недооцененные произведения. Осознал, а тогда даже не подозревался...

Неопубликованное письмо

Он был не избалован вниманием и на всякую человеческую ласку откликался с теплотой и доброй признательностью. Ему были свойственны отзывчивость и благожелательность к людям, кто-кто, а он-то хорошо познал неприютность одиночества.

Молодая поэтесса Дина Терещенко, будучи в заграничной поездке, прислала Светлову небольшой сувенир — лезвие для безопасных бритв (в те времена они у нас были дефицитны). И каким добрым письмом откликнулся поэт на это дружеское внимание!

«Побрился вашим лезвием и сразу стал самым красивым мужчиной в Свердловском районе. Большое спасибо!»

Не удивляйтесь тому, что у вас сердце пошаливает.

Сердце поэта всегда вмещает в себе больше, чем оно может вместить, и быть нормальным не может.

Не удивляйтесь также тому, что вы ску-

чаете. Я был в Германии три дня после Дня Победы, и они мне показались тремя годами — кругом все чужое. Нет ничего лучше Москвы.

Не запейте от скуки. Будьте счастливы».

Сколько в этой небольшой записке дружеской и нежной озабоченности!

Из письма Светлова к Ярославу Смелякову:

«...Наступивший 1963 год чреват тяжелыми последствиями — тебе исполняется пятьдесят лет, мне — шестьдесят. Я совсем не убежден в том, что эти два исторических события будут отмечены всенародными празднествами. Все будет протекать нормально. Ни один ребенок не заплачет, ни один миллионер не дрогнет. Ни один автомобиль не забудет, что он двигатель внутреннего сгорания. Поэты часто об этом забывают».

Ты родился зимой, а я — летом. Твои снежинки начинают таять, мои капли — испаряться. Печально ли это? Нет. Нисколько. Давай разделим наши с тобой сто десять лет честно пополам. И тогда не будет ни наступившей старости, ни ушедшей молодости».

Светлов всегда остро ощущал ход времени, но относился к этому с мудрым пониманием.

Ну на что рассчитывать еще-то?
Каждый день встречают, провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают...

Он во всем был самим собой.

Последняя встреча

Все уже знают, что Светлов неизлечимо болен. Жить ему осталось совсем немного. Он лежит в больнице.

И вдруг он входит в клуб, с палочкой, прихрамывая. Боже, как он изможден и худ!

— Салют палководцу!

— Здорово, старина! Привет старушкам!

На лице все та же неугасимая, светловская, улыбка. Швейцары, гардеробщики, уборщицы, все рады его возвращению. Из бильярдной спешит старый маркер Николай Иванович.

Каждый торопится выразить Михаилу Аркадьевичу свое сочувствие, ободрить его, подбодрить, сказать что-нибудь доброе, ласковое. Знает ли он сам о своей болезни? Несомненно. Мудрый и тонкий человек, поэт, зная о безысходности своего положения, своей обреченности, он со взволнованной признательностью встречает это стихийное проявление человеческой нежности, света, любви, выражаемых в самых разнообразных формах. Одни по-запорожски хлопают его по плечу, делая вид, будто все по-старому, другие тянут к буфетной стойке — опрокинуть по стаканчику «двина». Но Светлов с обостренной прозорливостью, по самым малозаметным деталям, по слишком озабоченному проявлению внимания к нему отра-

женно видит и понимает, что друзьям все уже известно о его болезни. Он взволнован и растроган, чуть ли не до слез.

— Побудь со мной,— просит он.

Не спеша поднимаемся по лестнице. Народу полно, просмотр нового заграничного фильма. Приветы, рукопожатия, восклицания со всех сторон. Можно и забыть о болезни. Но вот еще один вид «участия», вернее, обывательской бестактности дамы с подкрашенным лицом и слишком слащавой улыбкой:

— Милый дружок, как ваше состояние? Поверьте, все это пустяки — две-три недели, и в ваших страданиях конец...

Светлов грустно усмехается, в его глазах невыразимая тоска.

28 сентября

Солнечный день осени. В десять утра он еще был жив: я собирался навестить его. По пути заехал в ЦДЛ. В вестибюле ни души, рань. Настойчивые телефонные звонки. Снимаю трубку, взволнованный женский голос:

— Говорят из больницы. Светлов умирает...

Входит Никулин, он только что из Парижа. Не успели поздороваться, телефон.

— Вас слушают.

— Только что умер Светлов.

Шагаю бесцельно по Садовой. Так и не собрался... Не успел.

Он был настоящий писатель!

Тридцатое сентября. Дожливый день. Захожу в цветочный магазин на Арбате. В один. В другой.

— Все цветы раскуплены. Поэту Светлову,

Все же добыл.

Центральный Дом литераторов. Тихая, приглушенная музыка, будто с небес. Цветы, цветы... Охалка желтых листьев клена. Среди цветов — страдальческое лицо Светлова. Мимо, замерев, проходят школьницы. В их возрасте мы уже скакали на боевых конях... Вспомнились строки:

Жил я, страшного не боясь,
Драгоценностей не храня,
И с любовью в последний час
Вся земля обнимет меня...

Почетный караул. Инбер. Безыменский. Кармен. Эренбург. Царев. Яншин. Ольга Берггольц. Валерия Герасимова. Товарищи по жизни и работе.

Из-за полога у дверей робкой стайкой жмутся официантки. Многие знали Светлова более тридцати лет. Он был их другом и неизменным собеседником.

Почему-то вспомнилось наше последнее свидание, добрая светловская улыбка, его неуверенная, как бы виноватая походка...

У окна — жена и сын поэта. Прощальные речи друзей по литературе, жизни, товарищей по фронту и гражданской войне. «Быть таким, как Светлов!» «Поставить памятник „От поэтов России“».

Новодевичий монастырь. По небу синие предвечерние облака. Резкий ветер качает осенние клены.

Здесь неподалеку — друзья и сверстники по времени и жизни: Фадеев, Либединский, Новиков-Прибой, Уткин, Велемир Хлебников...

Один из друзей Светлова относит от его имени цветы Маяковскому.

Над обнаженными головами провожающих однообразно поскрипывает разбитый, матово-молочный круглый фонарь.

Из-за высокой кирпичной стены отчетливо долетает строевая команда: «Равнение-е!.. Шагом марш!» Снимается фильм «Война и мир».

А по окружку железной дороги, заглушая голоса ораторов, с тяжелым грохотом проносятся груженные товарные поезда.

Жизнь провожает своего певца...

СТОЛИЧНЫЙ ДЕВОН

Однажды я шла по двору Московского мясокомбината. И вдруг вижу — буровая вышка. Рядом с ней на деревянном помосте — люди в брезентовых робах, выпачканных глинистым раствором.

На что же тут бурят? Что здесь надеются найти? Неужели — нефть, московскую нефть, о которой мечтал еще академик Иван Михайлович Губкин?

Мне вспомнился удивительный день: в кабинет главного инженера Главнефтедобычи Наркомата тяжелой промышленности В. Н. Беленького вошла взволнованная девушка. Поставила на письменный стол склянку с темной маслянистой жидкостью. Это была нефть, часть той, что заполнила свежевыкопанный колодец... Не прошло и часа, как мы с Губкиным мчались в машине к месту происшествия. Добрались до дома девушки. Иван Михайлович пошел от колодца в направлении, подсказанном ему чутьем ученого и следопыта. И обнаружил прохруदывающую цистерну, которую железнодорожники закопали в землю. Вот он, «источник нефти»... Мы улыбались. Так неужели теперь, спустя столько лет, установили, что в Москве все-таки имеет смысл искать жидкое топливо?

— Вовсе мы нефть не ищем, — ответил паренек, спустившийся с помоста. — На воду бурим. Уже восемьсот метров прошли. Скоро доберемся до девонского моря.

Радуюсь, что нашелся человек, которому понятен и интересен его рассказ, паренек сообщил, что эта скважина не первая. Одну пробурили на Новинском бульваре, другую — невдалеке, на территории баль-

неологической лечебницы, что на улице Талалихина. Из тех скважин качают минеральную воду, которой наполняют ванны. Возможно, в этой воде некогда резвились доисторические ящеры, а теперь она помогает излечивать болезни. А останкинскую воду, которую добывают на территории завода фруктовых вод, разливают по бутылкам. На них появляется этикетка «Московская минеральная». Еще больше пробурено скважин в Подмоскowie. Отпускники, получающие путевки в санатории «Дорохово», «Монино», «Архангельское», знают, что там их ждет минеральная вода, не уступающая «Ессентукам» и «Боржоми». В «Дорохово» уже сооружена питьевая галерея, которая одновременно может вместить сотни людей.

Но для чего подземная минеральная вода мясокомбинату?

— Тут все дело в соли, — ответили бурильщики. — Привоз ее из Соликамска обходится в копейку! Гораздо проще добывать из подземного моря природный рассол, который по трубам пойдет в цехи.

Оказывается, все зависит от горизонта. Скважины, о которых шла раньше речь, неглубокие. Не то что эта, достигшая горизонта, где концентрация солей чрезвычайно высока.

Значит, любое предприятие может пробурить скважину и добывать соль, которая обойдется в гроши!

Соль... Чуть ли не ежедневно в Южный и Химкинский порты столицы приходят баржи, груженные хлористым натрием. Его перебрасывают на грузовики. Ведь пищевые предприятия расходуют соль в огромных количествах. Кстати говоря,

на ней работают и холодильные установки. Особенно загружен речной и городской транспорт в осенние месяцы, когда в стране идет интенсивная заготовка продуктов на зиму.

1370-метровая уникальная скважина, пробуренная на Московском мясокомбинате по проекту А. Малояна и П. Ожерельева, почти полностью обеспечивает нужды предприятия в собственной соли.

Миллионолетия отделяют нас от того времени, когда пласты горных пород на Русской равнине приняли горизонтальное положение. В некоторых районах они так прогнулись, что образовалась гигантская чаша, края которой выходят близко к поверхности в Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Калининской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Калужской и Орловской областях. Море, находившееся раньше на поверхности земли, ушло в глубину. Задержанное твердыми горными породами, оно вынуждено было заполнять все пустоты в каменной чаше, которая таким образом превратилась в губку. Море, оказавшееся в плену, лишенное притока пресных вод, законсервировалось, превратилось в раствор, насыщенный солями.

Знакомство с мясокомбинатской скважиной привело меня на улицу Чернышевского, в трест «Промбурвод» Министерства монтажных и строительных работ СССР.

— Бурение на воды девонского моря — явление не частое, — заметили руководители этого учреждения. — Главная наша задача — пресная вода.

Итак, Москва стоит на воде. Никто из москвичей не ощущает в ней недостат-

ка. А ведь для жителей сотен городов мира проблема качественной пресной воды стоит на первом месте. Достаточно сказать, что каждый гражданин Москвы тратит на себя десять ведер воды в сутки. В Токио норма в пять раз меньше, и это еще не худший вариант.

В 1970 году в нашей столице намечается ежегодный расход 200 тысяч кубометров пресной воды. Но только 64 тысячи даст городской водопровод. Откуда же возьмутся остальные 136 тысяч кубометров?

Вкусная питьевая вода — из открытых источников. А еще больше — из артезианских скважин. По этим магистралям, вертикально проложенным в горных породах, поднимаются воды из одиннадцати горизонтов.

Итак, в Москве сотни артезианских скважин. Как же их бурят?

Трест «Промбурвод» и его филиалы оснащены на-

вейшим оборудованием. Представьте шасси гиганта «МАЗ-200», на котором смонтированы вышка и бурильный роторный станок. По команде бурильный агрегат трогается в путь. За ним — вся остальная техника. Идут компрессорные станции и электростанция, идет грузовая машина с запасными частями и трубами. Месяц — и скважина готова.

На улице духотища. Термометр на площади Пушкина показывает 25 градусов. Есть ли смысл идти в кино? В помещении, казалось бы, совсем нечем дышать.

Но спросите любого посетителя кинотеатра «Россия» — и он ответит, что в зале наслаждался чистым приятным воздухом, который хотелось пить и пить.

Дело в том, что «Россия», как и другие современные зрелищные и обще-

ственные предприятия и учреждения, оборудована установкой кондиционирования воздуха. Кондиционер немалым без артезианских скважин, ибо подземная вода всегда холодна.

В жаркие дни через камеру орошения «России» за полтора часа киносеанса проходит 120 кубометров воды. За месяц легкие зрителей выпивают целое озеро.

Артезианская вода необходима и промышленным предприятиям. Заглянем в ткацкий цех Московского комбината им. Щербакова. Сюда тянутся трубы от четырех артезианских скважин, насыщающих воздух влагой, 65 процентов влаги — иначе будет рваться шелковая нить, иначе неизбежен брак.

Для каждого предприятия свои нормы. Вода помогает создавать точные приборы и аппараты, здоровые условия для работы.

Генриетта Алова

АУРАНТИНЫ ПРИДУТ В КЛИНИКИ

У входа сюда можно с полным правом установить световое табло: «Тише! Здесь работают во имя того, чтобы человек жил долго». Ведь антибиотики, по данным мировой медицинской статистики, при прочих равных условиях (питание, климат, жилье) обеспечили продление жизни людей в среднем на 15—20 лет. Великое завоевание науки!

В Лаборатории антибиотиков Московского университета, возглавляемой доктором химических наук Алексеем Борисовичем Силаевым, ученые изо дня в

день ведут эксперименты, отыскивая новые и новые препараты.

Так недавно научные сотрудники — кандидат биологических наук М. В. Нефелова и В. С. Кузнецова — получили антибиотики — аурантины.

Вот они, в семи маленьких пузырьках, что стоят на столе, — семь новых антибиотиков: кристаллическое вещество оранжево-красного цвета. Сотрудники лаборатории рассказали, что результаты испытаний дают основание сделать вывод: новые аурантины обладают

способностью подавлять развитие злокачественных опухолей у некоторых животных. Такие опыты, в свою очередь, создают предпосылки для клинических исследований препаратов. Но, конечно, надо иметь в виду, что от предпосылок до клиники путь совсем не близкий...

В Лаборатории МГУ ученые развернули интересные работы по биосинтезу антибиотиков с заранее заданными свойствами. Новые аурантины — один из результатов этих работ.

А. Иванова

КОНЕЦ ОДНОЙ БАНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Кому неизвестна эта тривиальнейшая ситуация: приходят водопроводчики, разбивают асфальт, роют яму. Кончат работу, за-

льют все асфальтом, а завтра снова ломают и копают — на сей раз газовики. А послезавтра...

Сегодня город может

быть избавлен от этой неразберихи. Есть в Москве одна организация. Имя ее не очень благозвучно: Мосинжпроект. Здесь занима-

ются той важной частью городского хозяйства, которая скрыта от взглядов прохожих, но без которой немисляма жизнь современного города.

Представьте — водопроводчикам нужно реставрировать определенный участок своего хозяйства. Но прежде чем они начнут работы, специалисты Первой мастерской Мосинжпроекта определяют, нужно ли одновременно отремонтировать на этом участке газопровод или водосток. Просто, рационально и никаких поводов для сатирических обличений.

«Подземные архитекторы» быстро завоевали популярность. А как известно, эта гостя не приходит сама по себе.

Сегодня Мосинжпроект буквально осаждают паломники не только из других городов страны, но и из-за рубежа. И дело, конечно, не только в ремонте.

Мосинжпроект занимается и новым строительством — причем здесь научились строить рационально,

прокладывать подземные сети комплексно.

Валентин Алексеевич Филимонов, главный инженер института, показал мне два плана. Два квартала новой и «старой» — оба недавней застройки. В «старом» — множество газо-, водо- и прочих проводов образует густую сетку. В новом — подземные коммуникации смотрятся как несколько строгих линий. Это — «вина» Мосинжпроекта.

Дело в том, что институт сегодня может предложить несколько вариантов экономических и простых в выполнении магистральных подземных прокладок: коллектор, который вместит несколько десятков кабелей; совмещенную прокладку подземных коммуникаций прямо в грунте и т. д. И ремонт их станет проще и дешевле чем раньше.

Есть и третья направленная в работе института — реконструкция старых коммуникаций. Ну, тут инженерам, конечно, приходится поломать голову: как перенести, поднять, опустить все то, что укладывалось в мос-

ковскую землю и в прошлом столетии, и в разные годы нынешнего века.

А вот еще: дорожники жалуются — люки колодцев на проезжей части это плохо. Разрушается дорожное покрытие. И Мосинжпроект предложил вариант галерей, которые через каждые 80—100 метров пересекают улицы под землей. Колодцы придутся на тротуар или газон. А подходы к коммуникациям — в галерее. Рационально? Да.

Таких примеров десятки.

Мосинжпроект проектирует и транспортные и пешеходные тоннели. Многие из того, что покуда еще ложится линиями на листы ватмана, скоро станет подземными переходами, транспортными развязками. Например — на площади Лермонтова.

«Подземные архитекторы» столицы работают творчески, но им явно не хватает экспериментальной базы. А без экспериментов в их деле не обойтись. Ведь речь идет о проекте «подземной Москвы» будущего.

Анатолий Кричевский

«ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ»

Что бы ни говорили по этому поводу, я глубоко убеждена, что стиль поведения сотрудников любого учреждения зависит от его руководителей. Взять хотя бы ту же Лидию Ивановну Боловинову — товаровед из салона скупки ювелирных изделий. Ничто не мешало ей воспользоваться неведением посетительницы и мгновенно разбогатеть. Однако ей это даже в голову не пришло, хотя полмиллиона старыми деньгами лежали, что называется, в ее руках. Эту историю Лидия Ивановна рассказала очень просто, ни разу не упомянув о себе. Для нее и остальных сотрудников скупки это событие было довольно заурядным. Мало ли ценностей проходит через их руки... Вот как это было.

Однажды в салон при-

шла молоденькая девушка, предложившая купить у нее камень, который она приняла за горный хрусталь. Услышав, что он стоит более пятидесяти тысяч рублей, девушка заспешила домой и возвратилась с родителями, которые также не имели понятия о ценности камня. Он был слишком велик, чтобы отождествить его с бриллиантом.

Когда клиенту нужно уплатить крупную сумму, последнее слово остается за директором Центральной скупочной базы «Росювелирторга» Петром Павловичем Смирновым. Бывший моряк Балтийского флота, коммунист с 1930 года, стал крупнейшим специалистом в области оценки ювелирных изделий и драгоценных камней. Тридцать лет руководит базой этот человек, его зна-

ния так обширны, что он читает лекции дипломированным сотрудникам «Росювелирторга», и те на лету ловят его слова, ибо в них квинтэссенция опыта, накопленного за долгие годы.

К директору центральной базы и пришли сотрудники салона вместе с владельцами бриллианта (назовем их Бубновыми), весившего 16,77 карата. Осмотрев камень и сверившись с прейскурантом, Петр Павлович оценил его в пятьдесят шесть тысяч рублей, которые тут же были выплачены счастливым Бубновым. От них директор выслушал следующую историю.

После смерти своей матери Бубнова-старшая обнаружила безвкусное кольцо с крупными камнями. Повертев безделушку в руках, она отдала ее трехлетней доче-

ри. Та таскала «игрушку» по всем дворам и квартирам. В конце концов от всего великолепия остался один камень. Его-то она, став взрослой, и принесла в салон. Была у нее надежда купить на вырученную сумму туфли...

Стоит побыть некоторое время в кабинете директора Центральной базы, чтобы услышать множество интересных историй. Пришла как-то к Петру Павловичу старушка, извлекла на свет узенький мешочек, из которого «выдавила» бриллиант в форме груши. Весил он 32 карата. Но тут же схватила свою «грушу» и убежала. Купля-продажа не состоялась. При мне жена артиста принесла сюда портсигар своего мужа с дарственной надписью. На базе ей посоветовали обратиться с портсигаром в Бахрушинский музей, где дарственная надпись подобного рода имеет цену, а тут она помешала купить вещь. Но чаще всего ценности, приносимые в салон, не имеют ни имени, ни адреса.

Однажды сюда доставили серебряную вазу в виде

ладьи. Мастер, чеканивший ее, создал целую картину. Представьте себе голую скалу, на которой стоят три воина — офицер с обнаженной шпагой и матросы. Их лица и позы — олицетворение боевого порыва.

Кому принадлежала эта ваза? Возможно, ее принесли в дар знаменитому мореплавателю или открывателю новых земель. Не исключено, что талантливый мастер отразил в этой композиции событие, тесно связанное с его биографией или с биографией близких ему людей.

Давно уже известно, что русские мастера золотых и серебряных дел, фамилии и биографии которых постепенно выясняют исследователи, создавали уникальные произведения, которые ценятся выше работ прославленных французов. Возможно, сотрудники Государственного Исторического музея, к которым нередко обращаются работники центральной базы «Росювелирторга», определяют по «почерку» имя мастера, создавшего ладью.

Был однажды и такой случай: в Ташкентской скуп-

ке заплатили за полкилограмма золотых монет самой низкой пробы огромную сумму. За такой просчет товароведа хотели отдать под суд. Но прежде Петр Павлович Смирнов понес монеты, имевшие весьма непрезентабельный вид, в Государственный Исторический музей.

Нумизмат, Светлана Алексеевна Янина, сразу определила, что в Ташкенте был куплен уникальный клад. Об этом свидетельствовал состав монет, относившихся к концу XII и началу XIII вв. Были в кладе и мелкие золотые обломки. За такое собрание ГИМ готов был дать куда большую сумму, чем ташкентский товаровед.

Теперь кладом владеют ученые. Изучение этого собрания монет только начато, но уже ясно, что оно дает полное представление о денежном обращении определенного исторического периода, оставившего ничтожное количество памятников материальной культуры.

Г. Михайлова

ОПЕРАЦИЯ «В»

В этом репортаже, вопреки интригующему «детективному» заголовку, не будет никаких приключений, погонь, схваток. Речь пойдет совсем о другом — о новых витаминах, этих «эликсирах жизни», полученных в лабораториях московских ученых.

Вот этот витамин назван «Р» («П»), потому что его впервые выделили из перца. Все исследователи отмечают его удивительную способность укреплять стенки мельчайших кровеносных сосудов — капилляров, уменьшать их хрупкость и проницаемость. Нет необходимости объяснять, какое значение имеет это для профилактики кровоизлияний, особенно весной и зимой, когда наш рацион беден свежей растительной пищей.

Известно, что длитель-

ный прием антибиотиков резко понижает прочность капилляров. Значит — необходимо широко использовать препараты витамина «Р» при лечении этими средствами.

Еще одно важное свойство «Р» — его способность снижать кровяное давление при гипертонической болезни.

Некоторые ученые считают, что этот витамин смертельно опасен для вирусов. Например, кроликам, пораженным вирусным заболеванием, давали препарат «Р». Выжило более восьмидесяти процентов животных, тогда как в контрольной группе погибли все.

В сутки человеку требуется не более пятидесяти миллиграммов «Р». Содержится он в черной смородине, землянике, чернике, бруснике, сливе, алыче, виш-

не, винограде, свекле, моркови; много его в шиповнике и в черноплодной рябине.

«Р»-активные вещества не накапливаются в организме. Вот почему каждому так важно систематически пополнять свои «запасы» этого витамина: летом и осенью за счет естественных источников, а зимой — использовать искусственный препарат.

Передо мной — авторское свидетельство № 150584: «Способ получения кальциевой соли пангамовой кислоты». Авторы — В. Букин и И. Гаркина — сотрудники Института биохимии АН СССР.

Это название покуда еще мало кому что говорит. А между тем это — свидетельство рождения нового эликсира здоровья — витамина «В₁₂».

В последние годы витаминные группы «В» привлекают к себе внимание врачей всех специальностей, потому что помимо целебных свойств обладают профилактическим действием. И вот в этой группе появилась еще один представитель, которому с колыбели прочат блестящее будущее.

Витамин испытывался в двадцати клиниках, более чем на тысяче больных. Биологическая роль его еще изучается, однако уже сегодня известно, что «В₁₅» участвует в окислительных процессах, регулирует жировой обмен, повышает усвоение кислорода тканями, стимулирует работу гипофиза и центральной нервной системы, оказывает общее укрепляющее действие на организм.

Клинические исследования свидетельствуют, что «В₁₅» показан, как выражаются медики, при ревматических заболеваниях сердца, при коронарной недостаточности и стенокардии: у больных уменьшается или даже полностью прекращаются стенокардические боли, исчезает одышка, входит в норму ритм сердца. Врачи применяли его также при лечении хронических гепатитов, некоторых кожных заболеваний, алкоголизма. Результаты весьма обнадеживающие.

Витамин «В₁₅» — пангамат кальция — белый порошок, легко растворимый в воде, без запаха, слегка горьковатый на вкус, не токсичен. Для удобства его выпускают в виде таблеток. Производство — помимо Москвы — планируется также на Уфимском химическом заводе.

Содержится «В₁₅» в семенах растений, в их зародышевой части, в ростках, в ядрах косточковых плодов — миндаля, абрикосов.

Есть он также в печени, пивных дрожжах.

Когда ведут речь о рациональном питании, то на первое место ставят белки животного происхождения. И это правильно. Но не нужно забывать, что качество мясомолочных продуктов прямо зависит от кормовой базы. Вот почему ученые сегодня разрабатывают витаминные препараты не только для человека, но и для животных. Речь идет о витаминах «А», «Д», «В₁₂». Обогащение ими рационов ускоряет рост животных, заменяя дорогостоящие корма.

Витамин «Д» имеет первостепенное значение для минерального обмена. Под его влиянием соли кальция и фосфора лучше усваиваются и откладываются в костях. А ведь на формирование скорлупы яйца у куриц идет около десяти процентов калия, содержащегося в ее теле. Его надо быстро восполнять, иначе курица перестанет нестись.

С каждым литром молока корова выделяет свыше одного грамма кальция, расходуя, при недостаточном его поступлении, кальций из своего костяка, а это ведет к «износу» высокомолекулярных животных.

Естественные источники витамина «Д» ограничены. Выпускаемые промышленностью масляные концентраты витаминов «Д₂» и «Д₃» крайне неудобны для дозирования и плохо смешиваются с кормами. Сотрудники Института биохимии создали витамин «Д₂» в виде сухих облученных дрожжей, а витамин «Д₃» — в виде сухого казеинового концентрата. Эти препараты в полтора-два раза лучше усваиваются, хорошо смешиваются с водой в любых соотношениях, поэтому их легко добавлять в корм или к питьевой воде.

Концентраты витамина особенно нужны для цыплят и молодняка. Так, опыты показали, что норму цельного молока, необходимого для телят, можно снизить с четырехсот до восьмидесяти — ста литров, а затем перейти на снятое молоко, обогащенное витаминами «А» и «Д».

Животноводы давно заметили, что в условиях пустынного пастбищного каракулеводства резко снижается приплод. Объясняется это тем, что, например, на пастбищах Юго-Востока и Средней Азии зеленая трава сохраняется два-три весенних месяца, а в остальное время года животные довольствуются выгоревшими травами, не содержащими каротина — носителя витамина „А“. Опыты, проведенные на трехстах тысячах голов овец, показали, что подкормка одних только баранов, используемых для искусственного осеменения, повышает приплод с пяти до тринадцати ягнят на каждые сто овцематок. Это значит, что, если бы комбикорма обогащались витамином, мы могли бы получить дополнительно в этих районах от двух до пяти миллионов ягнят в год.

Интересные расчеты сделаны в Главптицепроме. При полном комплексе добавок к комбикормам курица несет двести яиц в год, при обогащении лишь витаминами «А» и «Д» — сто шестьдесят, а питаясь небогащенными кормами — восемьдесят.

Операция «В» — широкое внедрение разнообразных витаминов в народное хозяйство — поможет сделать полноценным питание населения, то есть, в конечном счете, — отодвинуть границы старости.

И. Ильинская

19



67

ГОРОДА-ГЕРОИ УЛЫБАЮТСЯ

Такую рубрику вводит наш отдел юмора в юбилейном 1967 году.

Первое слово — Одессе.

Подборку открывают карикатуры художника Андрийца, опубликованные в областной газете «Большевицкое знамя» 30.7.44 года.

Им были предпосланы такие строчки:

Врага повсюду поражая,
Бойцы решимости полны.

Идет уборка «Урожая»
Повсюду на полях войны.

Итак:

УБОРКА 1944 ГОДА В РАЗГАРЕ...



МОЛОТЬБА



ФРИШЕСДАЧА



ОРУЖИЕМ СМЕХА

Грозный 1941 год. Город в осаде. Семьдесят три дня обороны. Шли в бой без глотка воды. Умирили у стен родной Одессы. Но никогда не умирала шутка. Она тоже была на вооружении защитников солнечного города.

...По улицам на передовые позиции идут странные бронированные машины. На вид они очень грозны, но движутся медленно. Это одесские рабочие кустарным способом переоборудовали обыкновенные тракторы под танки. На броне крупными буквами выведена марка «НИ». «Что это?» — спрашивают пехотинцы у танкистов. И те серьезно отвечают: «Или не понимаешь? «НИ» — значит — на испуг!»

И танки-самоделки не только пугали. Они уложили под Одессой немало захватчиков.

Мы вспоминаем грозные атаки морской пехоты первых месяцев войны.

— Нас мало, но мы в тельняшках, — шутили матросы. И эта шутка помогала им в рукопашных схватках. Друзья называли тель-



УЛЫБКИ ОДЕССЫ

няшки — «морской душой», враги — «полосатыми тиграми». А враги наседали и справа и слева. В те дни крылатыми были слова, сказанные героем обороны полковником Осиповым, «Бей фашистов на все стороны, чтобы забыли они, где правая, а где левая!» Так и поступали.

Пожелтевшие от времени листки. Письмо из окопов:

«...А будьте покойные, папаша, от фашистов останется каша. На то мы и одесситы, чтобы они были той кашей сыты...»

Образцом агитационной литературы армейские и флотские политработники единодушно считали знаменитое «Письмо фашиствующему фюреру Адольфу Гитлеру от потомков запорожцев».

«...Решили мы с тобой, сукин сын, поговорить один на один. Как завещали нам наши прадеды и деды, пусть на тебя обрушатся все беды. На этом мы писать кончаем и одного желаем, чтобы у тебя, пса, застряла во рту польская колбаса, чтобы ты со своими муссолинами подавился греческими

маслинами. И тебя, свирепый ты гад, не минет советский снаряд. Передай это Герингу, Геббельсу и Риббентропу...», и далее следовала такая сочная рифма, что будь живы запорожцы, они остались бы довольны.

Письмо дошло по назначению. Как стало недавно известно, оно было подшито в дело и до мая 1945 года хранилось в берлинской райхсканцелярии. Хорошо хранилось. За семью замками. Под грифом «Совершенно секретно».

СКОЛЬКО В ОДЕССЕ ЖИТЕЛЕЙ!

По данным последней Всесоюзной переписи в Одессе проживает 735 тысяч человек.

По количеству жителей Одесса впереди Днепропетровска и Ростова-на-Дону. Однако посади Горького, Харькова и Челябинска.

Одесситы говорят, что данные эти не совсем точные, так как перепись проводилась зимой. А вот если бы летом, то картина была иной.

— Давайте подсчитаем,— говорят они, загибая пальцы,— курортники — раз! Отдыхающие — два! Туристы — три! Наши родственники — четыре! Знакомые родственников — пять! Друзья родственников — шесть! Соседи родственников — семь! Родственники родственников — восемь! Спортсмены, приехавшие на тренировки,— девять! Рыболовы-любители — десять! Гастролеры — одиннадцать! Влюбленные (проживающие преимущественно в Аркадии без прописки) — двенадцать! А командировочные? Кто может подсчитать, сколько летом у нас командировочных. Это же вторая Одесса!

А теперь приплюсуйте сюда курсовочников, пансионатцев, прибывающих с путевками «ЛПЖ» (лечение, питание, жилье), «ЛП» (только лечение и питание) и «ПЖ» (только питание и жилье), а также дикарей — и вот вам уже миллион.

Но сколько бы ни было в Одессе жителей — каждого гостя здесь встретят с душевной радостью. И если вы едете в Одессу к другу, смело берите с собой тещу и племянников. Всем найдется место и на пляже и в доме друга. Только вот раскладушку с собой захватите. Летом их не достать здесь ни за какие деньги.

Так что, если разобратся, то Одесса по числу жителей находится где-то между Киевом и Баку.

Недаром же в песне поется: «Вся Одесса очень велика...» Особенно летом.

В. Николаев

Весёлая Рыбья

(Из записных книжек)

В трамвай воскресным утром вошел молодой человек, сел и сказал:

— Билет я не беру!

Кондукторша улыбнулась и спросила:

— Чего так?

— Сегодня день моего рождения!

— Почему вы решили это праздновать в трамвае?

Весь вагон смеялся, но билет он так и не взял!

В Филармонии мой сосед, прослушав 5-ю симфонию Чайковского, вздохнул и сказал:

— Да!.. Это надо уметь так скомбинировать!

Я купила маслины. Продащица упаковывает, заявляет, и я ухожу из магазина. В дверях сталкиваюсь с какой-то женщиной. Она говорит строгим голосом:

— Вы купили маслины?

— Да!

— Откройте пакет!

Думая, что это какой-то контролер, открываю. Она

берет одну маслину, съедает и говорит:

— Ничего!.. Не плохие!.. Пожалуй, можно купить грамм двести.

На 10-й станции Большого Фонтана красивая клумба. В середине плакат: нарисован медведь, который топчет цветы, и написано: ТЫ ЖЕ НЕ ОН!

Базар. На лотке груды рыбы-тютльки. Подходит женщина, смотрит на рыбу и говорит:

— Сколько вы хотите за эту комедию?..

Торговка кричит:

— Купите мясо! Такое свежее, только что не говорит.

Старик продает семечки. Мальчик несет на веревочке только что пойманные рыбки:

— Дедушка! Купите бички!

— У меня нет кому за ними ухаживать!

— Надо иметь совесть, а не семь рублей помидоры!

Я прошу холодного сапожника прибить мне подметки. Он говорит:

— Вообще, мадам, я это не делаю, но вам, как вы из Москвы, я могу причинить эту любезность!

— Как пройти на Пушкинскую улицу?

— Идите направо, и она вас пересечет.

На пляже фотограф. Плакат: «Пляжевые сюжеты у камня». Почти все снимки неудачные. Когда ему показывают плохие фото, он говорит:

— Да! Плохо! Совсем непохоже на вас! Но... лишь бы не было войны!

После этого никто претензий не предъявляет.

Л. Давидович

На всех подступах к стадиону в дни футбольных баталий бабки, не очень страшась окриков милиционеров, торгуют семечками. Болельщик спрашивает у одной из них, глубокой старушки:

— Бабуся, а вы не знаете, кто сегодня играет?

Бабуся кровно обижена:

— Или ты думаешь, что я такая темная? Конечно,

знаю. Играет наш «Черный Мориц».

Дядя Яша обращается к дяде Мише:

— Миша, как тебе кажется, между тигром и херсонским кавуном есть что-нибудь общее?

— А как же? Конечно есть. Они же оба полосатые!

— Так теперь подумай, какая умница наша мамочка-природа. Представляешь, что было бы, если бы ка-

вуны росли в джунглях, а тигры ходили по Одессе?..

Один одесский болельщик пришел в загс с просьбой заменить ему фамилию. Он хочет более звучную, более знаменитую.

— Какую?

— Лобановский!

— А как ваша теперешняя фамилия?

— Лобачевский.

Г. Мазин

Чернильница

(Басня в прозе)

Бумажный Лист назвали рукописью. И даже талантливой рукописью.

Лист был скромн, ему стало неловко от высокой похвалы, и он сказал стоявшей рядом Чернильнице:

— Это твоя заслуга. Ведь я был бел и нем, как пустыня, пока чернила не коснулись меня.

— Пожалуй, так! — согласилась Чернильница, обожавшая похвалу.

— Каждая капля чер-

нил делала меня красивее и мудрее, — продолжал Лист.

— Конечно! Это так и было! — приподнялась Чернильница над Бумажным Листом.

Она сказала это так уверенно, что Лист и сам поверил: без Чернильницы он никогда бы не стал Рукописью.

— О, щедрый родник моей красоты! О, неиссякаемый источник моей мудрости, бездонный кладезь

таланта моего! — шелестел Бумажный Лист.

Славословие так вскружило Чернильнице голову, то бишь крышку, что она не выдержала, опрокинулась на Бумажный Лист и... не залила его. Дело в том, что Чернильница была пуста. Человек уже давно ею не пользовался. Он писал автоматической ручкой.

Григорий Карев

Тосты

Желаю вместе с датами
Годами опаленными:
Влюбленным — стать женатыми!
Женатым — быть влюбленными!

Желаю со студентами,
Наукой увлеченными:
Ученым — стать доцентами!
Доцентам — быть учеными!

Желаю между прочими
Меж тостами речистыми:
Министрам — быть рабочими!
Рабочим — стать министрами!

До звезд достигли роста мы
Делами небывалыми!
Сдвигаю бокалы с тостами,
А тосты все — с бокалами!

Владимир Домрин

СОДЕРЖАНИЕ



ПРОЗА

Арсений Рутько. СУД СКОРЫЙ. Повесть	5
Э. Шим. РАССКАЗЫ	61
Евгений Пермяк. БАБУШКИНЫ КРУЖЕВА. Повесть	94
Д.м. Еремин. ГОЛУБАН. Рассказ	125



СТИХИ

Владимир Измайлов. ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ	2
Марина Альперт. А МЕНЯ ВОЙНА НЕ УБИЛА...	92
Виктор Афанасьев. ОТ СУДИСЛАВЛЯ ДО ЗАВРАЖЬЯ...— ИДЕТ ПОЭТ ИЗ СЕЧИ В СЕЧУ...—ВСЯ ВЛАГА ЗЕМЛИ...	139



ГОД ОКТЯБРЯ ПЯТИДЕСЯТЫЙ

Семен Ляндрес. ТОВАРИЩ СЕРГО. Из воспоминаний	140
---	-----



СТРАНЫ И ЛЮДИ

Вера Шапошникова. БЕРЕГ КРЕВЕТОК	149
--	-----



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вл. Лидин. КОНСТАНТИН ФЕДИН	189
Валерий Деметьев. ПОСВЯЩАЮ КАРЕЛИИ	190



НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ

Сергей Баруздин. НАРОДНОЕ — ВЕЧНО (200).— Ю. Трифонов. СИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОСТИ (201).— М. Тугушева. ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ (202).— И. Ростовцева. ОБ УРОКАХ ПОЭТОВ-СОВРЕМЕННИКОВ (204).— Евг. Журбина. ШКОЛА ЖИЗНИ (205).



ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ

Иван Рахилло. ВСТРЕЧИ СО СВЕТЛОВЫМ. Из записных книжек. 208



МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Генриетта Алова. СТОЛИЧНЫЙ ДЕВОН.— А. Иванова. АУРАНТИНЫ ПРИДУТ В КЛИНИКИ.— Анатолий Кричевский. КОНЕЦ ОДНОЙ БАНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ.— Г. Михайлова. «ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ».— И. Ильинская. ОПЕРАЦИЯ «В»	215
---	-----

●

САТИРА — ЮМОР

ГОРОДА-ГЕРОИ УЛЫБАЮТСЯ. УЛЫБКА ОДЕССЫ. В. Николаев,
Л. Давидович, Г. Мазин, Григорий Карев, Владимир
Домрин 220

●

ГАЛЕРЕЯ «МОСКВЫ»

ПОРТРЕТ КОНСТАНТИНА ФЕДИНА
ЭСКИЗ МЕМОРИАЛЬНОГО ПАМЯТНИКА МОСКОВСКОЙ БИТВЕ
РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Г. ХРАПАКА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (главный редактор), В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ,
Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ, Л. В. НИКУЛИН,
В. П. РОСЛЯКОВ, С. А. САВЕЛЬЕВ, Г. А. СЕМЕНИХИН, Ю. С. СЕМЕНОВ,
С. В. СМИРНОВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ (заместитель главного редактора),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор Г. Л. МУРАВИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

МОСКВА, Г-2, АРБАТ, 20. ТЕЛЕФОНЫ: Г 1-78-01, Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа
не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи.
Редакция вопросами подписки не занимается.

Технический редактор Л. И. ФЕЙЛЕР. Корректоры Н. А. АКИМОВА, М. В. АКСЕНОВА.

Подписано к печати 8/II 1967 г. А04197. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Тираж 143 700 экз.
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,352 + 4 вкл. = 22,92 уч.-изд. л. Заказ № 4504. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16,

50 коп.

Индекс

73 253.